Николай Вольский

Почему начальники не любят интеллигентов?

Я знаю, что у меня в этом труде много повторений и много недомолвок (а может быть местами и недомыслия); подозреваю, что колебания мои в одних случаях очень скучны, а самоуверенность в других слишком своенравна. Но прошу читателей и судей моих простить эти недостатки за мою откровенность и прямоту.

К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние (1890)

Интеллигентность – способность человека понимать больше, чем ему выгодно.

Александр Круглов

Часть 1
О чем шумите вы, народные витии

Вопрос в лоб

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что вопрос, вынесенный в заглавие, поставлен по существу. Ведь, действительно, не любят. Невозможно отрицать это, не вступая в конфликт с массой известных каждому фактов, жизненных случаев и литературных примеров. При этом все понимают, что речь идет не о простом отсутствии нежных чувств к тем немногочисленным лицам и общественным группам, у которых распоряжающийся и приказывающий субъект усматривает некие признаки интеллигентности. Начальники (буду называть их так, не пытаясь определить более точно, - и без этого ясно, о ком идет речь) вообще мало кого любят ниже своего уровня, да и с какой стати им пылать любовью к подчиненным, которые их тоже, надо сказать, не особенно жалуют. Но одно дело просто не любить, а другое – испытывать активную нелюбовь. Такая нелюбовь по степени пылкости вполне может соперничать с истинной любовью, приобретая по временам, так же, как и она, черты иррационального, не подвластного разуму и логике чувства. Именно такую, идущую из глубины души и часто не осознаваемую неприязнь к интеллигентам питает тот, кто чувствует себя начальником, руководителем, тем, кому по должности обязаны подчиняться другие люди. Как заведующего подотдела очистки начинало ломать и корежить при виде промелькнувшей кошки, так и настоящий руководитель (начальник по призванию и сущности) не может не чувствовать душевного дискомфорта, сталкиваясь с малейшими проявлениями интеллигентности или с поведенческими реакциями, свойственными ненавистному племени. Даже само понятие и слово, его обозначающее, вызывают у типичного начальника глухое раздражение и злость. Можно ли себе представить опытного матерого начальника, который, желая похвалить подчиненного, охарактеризует его как «глубоко интеллигентного сотрудника»? Тот, кто сможет это сделать, не дрогнув и не выдав себя, либо недюжинный лицемер, либо нетипичный начальник, и его собственному начальству стоит поинтересоваться, по праву ли он занимает руководящий пост.

Конечно, все вышесказанное следует рассматривать лишь как идеализированную модель широко распространенной жизненной ситуации. В реальной жизни практически не встречаются ни *идеальные начальники*, душевные реакции которых однозначно определяются их начальственной сущностью, ни *идеальные интеллигенты*, не обладающие никакими другими человеческими чертами кроме всеобъемлющей интеллигентности. Все люди - разные, и отношения, в которые они вступают, весьма разнообразны. А потому в конкретном случае реакция на подчиненного может определяться не столько его интеллигентностью, сколько тем, что он – сосед по даче или очаровательная женщина, или прекрасный игрок в преферанс. Все это очевидно. Однако столь же очевидно, что описанная выше тенденция существует, она

глубоко укоренена в психологии современного начальства[1] и прокладывает себе путь через все жизненные хитросплетения.

И тогда возникает закономерный вопрос: а за что, собственно, эти бяки-начальники так невзлюбили интеллигентную публику? Чем она так уж режет начальственное око и вызывает у начальствующих изжогу и разлитие желчи? Конечно, многие интеллигенты далеко не сахар, но ведь и обычные люди (т.е. все трудоспособное население минус начальники и минус интеллигенты) не лишены тех же недостатков. Скорее наоборот. Интеллигент, в среднем, лучше воспитан, более аккуратен, ухожен, реже хамит, обычно не склонен к пьяному буйству и безобразиям, чего не скажешь о среднестатистическом гражданине нашей страны. Казалось бы, такие люди имеют все основания рассчитывать на благосклонное отношение тех, кто управляет разнообразными социальными и производственными процессами. Да и бытовое общение с ними в процессе работы проще и приятнее. И тем не менее, начальники игнорируют все эти – для начальства же удобные – качества своих интеллигентных подчиненных и продолжают относиться к ним с недоверием и неприязнью. Начальственный (подсознательный) вывод можно, вероятно, сформулировать так: всем был бы хорош Евгений Николаевич – и образован, и умен, и на гитаре прекрасно играет – если бы не эта его интеллигентность, черт бы ее побрал.

Как ни относись к умственным способностям нашего начальства (я, кстати сказать, не склонен их переоценивать), но все же нельзя не признать, что большинство из них вполне здравые, трезвомыслящие люди, способные выбрать рациональную линию поведения. И если они массово выбирают стереотип, при котором избыточная интеллигентность приравнивается к непогашенной судимости за кражу со взломом или пребыванию на оккупированной территории, значит этому должна быть какая-то разумная причина. Посмотрев на проблему чуть шире, придется констатировать, что и все прочие обычные люди не питают к интеллигентам нежных чувств, чураются их и склонны при любых неприятностях приписывать на счет «четырехглазых» всяческие свои истинные и воображаемые беды и несчастия. Говоря о себе: «Мы – люди простые», обычный человек чаще всего проводит границу не столько между «нами» и социально привилегированными слоями (богатыми, знатными, начальниками и т.п.), сколько между обычными людьми («нормальными», «такими, как все») и этими «умниками», «высоколобыми», вечно куда-то встревающими и выдумывающими сложности на ровном месте, короче говоря, интеллигентами. Хрущев, сокрушавший «педерастов в искусстве» на выставке в Манеже и грозивший им всяческими карами, выступал не столько как большой начальник, имеющий право крушить и стирать в порошок всякого, кто ему не понравится, сколько в качестве «простого человека», представителя того всеобъемлющего «мы», по сравнению с которым все эти «извращенцы» вместе взятые представляют ничтожно малую величину. И в данном случае ссылка на «народ», которому не нужно такое искусство, не была обычной советской демагогией. Нет сомнений, что обычного человека (независимо от его социального статуса) авангардистские художественные конструкции раздражили бы так же, как и главу государства. В вопросе отношения к интеллигентам «народ и партия едины». Дело, таким образом, не в начальниках – они оказываются лишь чувствительным прибором, с помощью которого можно легко измерить степень раздражения обычных людей, – дело в самих интеллигентах. Надо понять, чем они отличаются от прочих и что в их способе жить и в их душевной организации вызывает отторжение окружающих, то есть надо решить, что они из себя представляют. И здесь мы переходим к вопросу, ради выяснения которого, собственно, и был задуман этот труд, к вопросу: *что такое интеллигентность.*

---

[1] Мне трудно судить, как относились к интеллигентным людям Суворов или Александр Македонский. Но не удивлюсь, если окажется, что неприязненное отношение к ним существовало задолго до XIX века (о котором я могу судить по классической русской литературе) и что оно характерно не только для России, но и для прочих стран и народов.

Тайна сия велика есть

На первый взгляд кажется, что решение этого вопроса не должно представлять особых трудностей. Интеллигенты у всех перед глазами, они никуда не прячутся, достаточно сравнить их с прочими людьми и найти то отличие, которое и делает их интеллигентными. Непонятно, какие здесь могут быть трудности и в связи с чем могут возникнуть споры относительно определения соответствующего понятия. Если любой туповатый начальник может за версту учуять интеллигента, то, казалось бы, о чем тут копья ломать. Но на поверку все оказалось сложнее, чем можно было бы предполагать. Споры о том, что такое *интеллигенция* и какими качествами должен обладать человек, чтобы мы признали его *интеллигентом*, тянутся уже больше столетия и конца им пока что не видно. За это время были высказаны все возможные мнения, предложены десятки разнообразных способов и критериев, позволяющих провести более или менее ясные границы между интеллигенцией и прочими не принадлежащими к ней людьми, однако ни один из предлагаемых вариантов решения этой терминологической проблемы не был достаточно убедителен для большинства спорящих и не получил всеобщего признания.

Длящиеся десятилетиями публичные дискуссии на эти темы породили огромную литературу. Даже если выбросить всю относящуюся сюда макулатуру, написанную для заполнения журнальных страниц и для расширения «списка работ по теме диссертации», останется неисчислимое количество книг и статей, авторы которых искренне старались разобраться в данном вопросе и высказывали свои мнения, волей-неволей многократно повторяя друг друга. Уже сама длительность обсуждения неизбежно должна была привести и привела к тому, что на каждом новом витке дискуссии она двигалась по колеям, уже заезженным предшествующими поколениями. С одной стороны, такое положение вещей делает совершенно невозможным краткий обзор мнений, высказанных по интересующему нас вопросу, а с другой – порождает сомнение в том, что такой обзор был бы плодотворным и существенно подвинул бы нас к решению вопроса о значении термина *интеллигентность*. Заранее можно не сомневаться, что за сто лет было высказано много верных и метких определений обсуждаемых понятий, но вычленить их из всей имеющейся налицо путаницы мнений и воспринять эти суждения как истинные, как искомое решение вопроса, вероятно, не так-то просто – иначе это давно было бы сделано. Поэтому, оставив пока что в стороне историю вопроса, попытаемся подойти к его решению с несколько иной стороны.

Мое предположение заключается в том, что значительная часть возникшей на протяжении десятилетий и всякий раз при рассуждениях на эту тему возобновляющейся путаницы обусловлена смешением нескольких близких и взаимосвязанных, но все же различных понятий.

Центральное ядро этого словесного гнезда составляют слова *интеллигентный, интеллигентность, интеллигент* и *интеллигенция*, несколько на периферии располагаются *интеллигентский* и *интеллектуальный, интеллектуал, интеллигибельный*. Эти слова появились в русском языке лишь недавно (вошли в широкое употребление на протяжении XIX века) и представляют собой заимствования из латинского языка, в котором с классических времен существует гнездо слов, чьи значения связаны с понятиями *рассудок, разум, познание, восприятие*[2]. Попавшие к нам, в основном, через французский и немецкий языки слова эти не утратили своей связи с исходным, свойственным латинскому языку набором понятий и достаточно хорошо корреспондируют с соответствующими производными словами в других европейских языках, однако в русском языке они, как это часто бывает, приобрели

[2] «Intellectus – ощущение, понимание, познание, рассудок, смысл, художественный вкус; intellectivus, intellectualis – интеллектуальный, умозрительный, теоретический; intellegentia – понимание, рассудок, познавательная сила, понятие, умение, искусство; intellego – воспринимать, замечать, познавать, мыслить, знать толк, разбираться» (Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 2000, с. 412).

своеобразные оттенки значений и в большинстве случаев их современного употребления обозначают совсем не то, что обозначается тем же, на первый взгляд, словом в немецком или, например, английском языке. Несмотря на то, что этимология этих русских слов вполне прозрачна и ясна, она не дает нам возможности четко определить их сегодняшние значения. Чтобы уяснить их смысл, мы должны руководствоваться, главным образом, своим собственным языковым чутьем, проверяя им любые принятые нами определения.

История появления и распространения в русском языке интересующих нас слов выяснена очень детально, если не сказать исчерпывающе[3]. В дневниковой записи В.А.Жуковского от 2 февраля 1836 года –

> …осветился великолепный Энгельгардтов дом, и к нему потянулись кареты, все наполненные лучшим петербургским дворянством, тем, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию…[4]

– термин *интеллигенция* легко истолковать как примененный в его исходном «латинском» значении, как «(высший) разум». Однако уже здесь он связывается с определенным кругом людей, с социальной группой, которая концентрирует в себе этот разум (понимание, умение, искусство) и представительствует в обществе от его имени. Очень быстро второе значение полностью вытеснило первоначальный смысл слова, и со второй половины XIX века в русском языке *интеллигенция* означает лишь особую общественную группу, взявшую на себя роль органа мышления – мозга общества[5]. Отсюда и русское *интеллигент* понимается как «человек, принадлежащий к интеллигенции»[6], т.е. как некто, признаваемый окружающими в качестве члена данной социально оформленной группы. Поскольку формального членства в ордене интеллигенции не предусмотрено и не существует общепризнанных инстанций, присваивающих человеку право именоваться интеллигентом, необходимы некие пусть косвенные, но все же ясные большинству критерии, пользуясь которыми, мы могли бы определить, принадлежит ли тот или иной индивид к интеллигенции.

Жуковский, вероятно, не сомневался, что в современной ему России за пределами дворянства (четко очерченной группы) не имеет смысла искать лиц, чья деятельность и чьи мнения имели бы какое-то значение для совершающегося в обществе мыслительного процесса. Российское общество руководствовалось в своей жизни только тем уровнем понимания стоящих перед ним проблем, которого к этому моменту достигло его дворянство, – все разумные элементы, находившиеся вне этого круга, никакого влияния на общественную мысль не оказывали. Более того, «русскую европейскую интеллигенцию» поэт ограничил «лучшим петербургским дворянством», т.е. дал ей очень расплывчатое определение, но при этом сузил круг интеллигенции настолько, что все ее члены были ему лично знакомы и, при необходимости, он мог бы перечислить их поименно. Однако ясно, что такое «личностное» решение терминологической проблемы не может быть удовлетворительным. Поэтому очень быстро место основного критерия принадлежности к интеллигенции заняло образование (точнее, европейское образование). Достижение определенного уровня образованности, можно сказать, автоматически давало право считаться интеллигентом. Гимназиста еще так

---

[3] Для краткого обзора см. Виноградов В.В. Интеллигенция. // Виноградов В.В. История слов. М.: РАН, 1999, с. 227-229; Степанов Ю.С. Интеллигенция. // Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2001, с. 668-690; Гаспаров М.Л. Примечание филологическое. // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2001, с. 88–91.

[4] Цит. по Степанов Ю.С. Константы. М., 2001, с. 678

[5] В отличие, например, от немецкого или английского языков, в которых аналогичный термин сохранил исходный заимствованный смысл: «die Intelligenz – 1. Ум, интеллект… понятливость, смышленость…» (Большой немецко-русский словарь. В двух томах. Под рук. О.И.Москальской. Т.1. А – К. М.: Сов. Энциклопедия, 1969, с. 670); «intelligence – 1. Ум, интеллект, умственные способности…» (Большой англо-русский словарь. В двух томах. Под рук. И.Р.Гальперина. Т.1. А – L. М.: Сов. Энциклопедия, 1979, с. 724)

[6] Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. Энциклопедия, 1968, с. 245

назвать нельзя, но, вероятно, он вскоре пополнит ряды интеллигенции, человек же, хотя бы несколько лет проучившийся в университете, вполне может называть себя интеллигентом, особенно если он выбрал себе требующее образованности занятие и его стиль жизни соответствует типичному интеллигенту. Несмотря на то, что интеллигенция вплоть до революции рекрутировалась в значительной степени из дворян, и окончившие университет получали личное дворянство, в целом, эта общественная группа стала внесословной, включающей в себя всех европейски образованных людей. До сих пор образованность служит главнейшим признаком, позволяющим причислить кого-либо к интеллигенции[7].

И все же наше языковое чутье не позволяет нам считать *образованность* и *интеллигентность* синонимами. В нашем языке понятия, стоящие за этими словами, не совпадают, хотя между ними и имеется довольно тесная связь. Из опыта мы знаем, что далеко не всякого получившего образование можно назвать интеллигентным человеком. Кстати сказать, наш исходный тезис предполагает, что начальники, большинство которых имеет сегодня весьма высокий уровень образования, не считают интеллигентность своей характерной чертой, она их скорее раздражает и вызывает отторжение. Мы держимся о них того же мнения и, стоя перед дверью начальственного кабинета, можем ожидать увидеть за ней какого угодно человека: умного, воспитанного, образованного, честного – все это может быть, но нам и в голову не приходит, что хозяином кабинета окажется интеллигент – это было бы слишком необычно. В то же время, можно согласиться, что в наши дни трудно представить себе типичного интеллигента, не имеющего никакого образования. Даже если у него нет соответствующего диплома, мы не сомневаемся, что он затратил много усилий на самообразование. Вероятно, образовательный процесс как-то все же связан с формированием интеллигентности и способствует ее развитию, хотя и не гарантирует высокий ее уровень у каждого, получившего образование.

Можно было бы успокоиться на том, что интеллигентный человек должен быть не только образованным, но и обладать еще чем-то, чего мы еще не сумели определить и что мы называем *интеллигентностью*. Однако такое деление всех окончивших вузы «работников умственного труда» на «истинных интеллигентов» и малоинтеллигентных «образованцев» терминологически избыточно. Предложенное Солженицыным словечко обладает явной полемической заостренностью и имеет целью разрушить привычное, но, как выяснилось, неадекватное представление о неразрывной связи между уровнем европейской образованности индивида и степенью его интеллигентности. Сорок лет назад полемика с этими сложившимися в обществе представлениями была вполне оправданной, и солженицынский неологизм сыграл свою роль в избавлении от устаревших взглядов. Сегодня же, когда всякому ясно, что не только формальное обладание дипломом, но и любые приобретенные путем старательного изучения специальные познания еще не свидетельствуют об интеллигентности рассматриваемого субъекта, когда стремительно разросшаяся за столетие интеллигентская «прослойка» на девяносто процентов состоит из явных «образованцев», нет никакого смысла сначала идти к определению *интеллигентности* через понятие *образованности*, а затем отрицать логическую связь этих понятий, повторяя тем самым уже снятый историей загиб общественной мысли. Следует, по-видимому, признать, что между образованностью и интеллигентностью нет необходимой внутренней связи, а тот факт, что в течение длительной эпохи между ними существовала теснейшая корреляция, приписать действию неких исторически преходящих внешних факторов.

---

[7] «**Интеллигенция**. Социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, обладающих образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры». (Там же).

Интеллигент *vs* интеллектуал

Отражением такого хода мысли, разводящего интеллигентность и образованность в перпендикулярные друг другу плоскости, можно объяснить ставшее вполне обычным противопоставление западных *интеллектуалов* русским *интеллигентам*. При изложении этого взгляда подчеркивается, что свойственное западным странам наименование *интеллектуал* полностью исчерпывается указанием на уровень образования индивида и его род занятий[8]. Интеллектуал – человек, обладающий достаточным уровнем интеллекта и приобретший значительные специальные познания для того, чтобы выполнять определенную умственную работу, требующую высокой квалификации. С этой точки зрения, интеллектуалом следует признать всякого, кто более или менее успешно работает бухгалтером или учителем, но на практике таковыми обозначаются только специалисты, достигшие высоких ступенек социальной лестницы, чье мнение может оказывать значимое влияние в профессиональной среде, а за ее пределами восприниматься как авторитетное мнение эксперта. Поэтому журналист местной газеты еще не доказал своей принадлежности к кругу интеллектуалов, в то время как политический обозреватель столичного издания, выпустивший несколько нашумевших книг по проблемам многополярного мира – интеллектуал несомненный, принадлежащий, вероятно, к сливкам этого социального слоя. Вышеуказанное противопоставление невольно подталкивает к выводу, что существенное содержание, вкладываемое в понятие *интеллигент*, ничем, собственно, не отличается от того, которое на Западе связывается с существительным *intellectual* (*intellectuel*, *der Intellektuelle* и т.п.). Те же специфические неуловимые нюансы, которые приписываются русскому слову, никакого значения не имеют и ничему реально существующему не соответствуют, так что пресловутая *интеллигентность* не более как интеллигентская же выдумка, призванная еще резче подчеркнуть кастовую замкнутость этого общественного слоя и его отличие от массы «простых» людей. Дескать, сколько бы вы не учились, а обрести наше специфическое качество и стать с нами вровень вам вряд ли удастся и, самое главное, это мы будем решать, достаточно ли вы интеллигентны, чтобы мы приняли вас в свои ряды.

Как бы ни был прост взгляд, отрицающий существование интеллигентности как особого человеческого качества, принять его мешает обыденный здравый смысл: ведь мы – худо ли, хорошо ли – умеем определять в людях это качество. В подтверждение еще раз сошлюсь на начальственное чутье. Начальники, несмотря на свою склонность к самодурству, в основе своей трезвы, прагматичны, и если бы интеллигентность была лишь ничего не значащей выдумкой, они не стали бы обращать внимания на эту безобидную блажь. Кроме того, в выступлениях многих активных сторонников этого взгляда, так сказать, *идеологов движения за освобождение от фантома интеллигентности*, очень часто доминирует не радость по поводу избавления от интеллигентских умственных вериг, а открытое раздражение и даже озлобленность. Трудно отделаться от впечатления, что в этих филиппиках есть нечто личное, что в них выражается глубоко переживаемая обида на тех, кто упорно держится прежних понятий об интеллигентности. В глубине этой идеологии слышится раздраженный вопрос: Чего вы от нас требуете? Какой-такой интеллигентности? Вот мы уже и дипломанты, и лауреаты, и Дерриду в подлиннике читаем, и на канале «Культура» фигурируем, и… Так какого же рожна вам надо? Чем мы отличаемся от вас?

Ясно, что все эти подозрения и соображения, вкупе с исходной интуитивной уверенностью в несомненном существовании в высшей степени интеллигентных и в то же время реальных людей, сильно снижают притягательность этих взглядов – открытых и последовательных сторонников у них немного. В то же время появление первых публикаций на эту тему вызвало

---

[8] «…западный ‘интеллектуал’ — это специалист умственного труда и только, а русский ‘интеллигент’ традиционного образца — нечто большее». (Гаспаров М. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Российская интеллигенция: история и судьба. М.: Наука, 1999)

оживленную и длительную дискуссию[9], причем спорили между собой в основном те, кто склонен признавать – пусть с теми или иными оговорками – специфичность русского понятия *интеллигенция*, смысл которого нельзя передать иноязычным термином *intellectuals*. Казалось бы, при существующем соотношении сил проще всего было бы отмахнуться от несерьезных нигилистических воззрений на *интеллигенцию* и не обращать на них особого внимания. Если бы не одно «но». Дело в том, что, как ни легковесны взгляды нападающих на *интеллигентность* «нигилистов», окончательно развенчать их можно лишь одним способом: четко указав, чем *интеллигент*, в русском его понимании, отличается от *интеллектуала*. А с этим, как мы видим, дело обстоит не так просто. Поэтому-то дискуссия и вращалась, главным образом, вокруг извечного вопроса: что стоит за словами *интеллигенция, интеллигентный, интеллигентность*?

Слова, слова, слова…

В спорах – в очередной раз – было высказано множество различных интересных мнений и соображений, но если их попытаться мысленно факторизовать, то обнаружится «первая главная компонента» этой, проходившей в недавние годы и еще, по-видимому, не законченной дискуссии: большинство склонно было искать различие между *интеллигентами* и *интеллектуалами* в нравственной плоскости. Еще раз сошлюсь на мнение, высказанное М.Л.Гаспаровым, но свойственное далеко не ему одному. Вот несколько обширных выдержек из его уже цитированной статьи, специально посвященной обсуждению этой проблемы:

> Слово *интеллигентный* и Ушаков, и академический словарь определяют: «присущий интеллигенту, интеллигенции» с положительным оттенком: «образованный, культурный». «Культурный», в свою очередь, здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова *культура* в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений слова *культурный* в том же словаре). Антитезой к слову *интеллигентный* в современном языковом сознании будет не столько *невежда*, сколько *невежа* (а к слову *интеллигент* — не *мещанин*, а *хам*)».
> Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова *интеллигентность*: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.
> Таким образом, понятие «интеллигенция» в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности»».
> «Интеллигенция» в первоначальном, этимологическом смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, — ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. «Интеллигенция» в теперешнем, заключительном смысле слова, как интеллигентность, «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными, «ближними», говоря по-старинному.
> …А интеллигенция в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими — с властью и с народом. Причем оба этих понятия, и «власть» и «народ», достаточно расплывчаты и неопределенны.

[9] В качестве примера можно привести книгу, в которой опубликованы материалы международной конференции с очень представительным составом участников: *Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология.* (Материалы международной конференции. Неаполь, май 1997). Сост. Б.А.Успенский. М.: О.Г.И., 1999

> Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX – начала XX в., – тем самым явлением, которое находится в центре внимания этого сборника. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: intelligentsia[10].

Приведенные цитаты достаточно велики, чтобы дать представление о том, насколько безнадежно запутывается исходный вопрос, если в него внести такую тонкую и трудноуловимую материю, как нравственные качества *интеллигента*. Достаточно сделать ничтожный уклон в эту сторону и рассматриваемая проблема моментально превращается в другую, так что мы, сами не заметив, начинаем выяснять не *кто* такой интеллигент, а *какой* он. И как ни интересен сам по себе вопрос о том, каковы нравственные качества типичного (или, может быть, идеального?) интеллигента, но, даже ответив на него, мы можем остаться в неведении относительно сущности того кардинального признака, который мы называем *интеллигентностью*. К тому же, не решив предварительно, какой точный смысл мы вкладываем в понятие *интеллигент*, и полагаясь лишь на свое интуитивное представление о предмете, обозначаемом этим словом, мы рискуем окончательно запутаться, как это обычно и бывает при подобных спорах.

Поэтому, отвергнув данный – весьма популярный, но, на наш взгляд, малопродуктивный – подход к проблеме, вернемся несколько назад и обратим внимание на то, что данное выше объяснение слова *интеллектуалы* (*intellectuals*) почти дословно совпадает с определением слова *интеллигенция* в современных русских толковых словарях. Точно так же трактует эти определения и авторитетный двуязычный словарь, переводящий английское *intellectual* как «интеллигент, представитель интеллигенции», а *the intellectuals* – русским «интеллигенция»[11]. Приходится признать, что составители словарей, люди, несомненно, компетентные в вопросах лексикологии и семантики, по существу, стоят на той же позиции, что и уже поверженные нами «нигилисты». Поскольку спорить с лексикологами не хочется, да и, по-видимому, они правы в своих утверждениях, а с другой стороны, никак нельзя согласиться с теми, кто отрицает интеллигентность как реально существующее человеческое качество, остается один выход[12]: считать, что *принадлежность к интеллигенции* и *интеллигентность* – два логически независимых свойства, т.е. конкретный человек может принадлежать к интеллигенции, но не обладать качеством интеллигентности, и наоборот. Несмотря на неожиданность и даже внешнюю парадоксальность этого вывода, он оказывается верным и позволяет распутать большинство тех хитросплетений, которыми сопровождается решение интересующего нас вопроса.

Две интеллигенции

Взяв на вооружение этот освященный авторитетом Шерлока Холмса тезис, мы оказываемся именно в той точке, где произошла подмена близких по смыслу понятий. Когда Жуковский, используя слово *интеллигенция* для обозначения того круга лиц, которые исполняли в русском обществе функцию ума[13] и от его имени высказывали некоторые обращенные ко всему обществу мнения, указал на петербургское дворянство, он, вероятно, вовсе не имел в виду, что

---

[10] Гаспаров М. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Российская интеллигенция: история и судьба. М.: Наука, 1999

[11] Большой англо-русский словарь. В 2 тт. Под рук. И.Р.Гальперина. Т. 1. М.: Русский язык, 1979, с. 724

[12] Как говорил Шерлок Холмс: «Отбросьте все, что не могло иметь места, и останется один-единственный факт, который и есть истина». (Конан Дойл А. Знак четырех // Конан Дойл А. Весь Шерлок Холмс. Дебют. Л.: Лениздат, 1993, с. 112)

[13] Именно ту функцию, которую М.Л.Гаспаров определил как «службу ума»

принадлежность к столичному высшему свету сама по себе делает человека способным исполнять данную функцию. Он лишь подчеркнул то обстоятельство, что не имеет смысла искать таких людей за пределами данного узкого кружка. Возможно, поэт несколько перегнул палку, столь резко ограничив слой, из которого в то время рекрутировались представители интеллигенции, но с точки зрения обсуждаемой нами проблемы, гораздо важнее тот факт, что, по его мнению, роль общественного разума могут играть лишь вполне определенные люди – люди, имеющие особые качества. Естественным образом, хотя и не сразу, необходимое для выполнения этой функции качество (или совокупность качеств) получило в русском языке наименование *интеллигентности*, а, соответственно, субъекты им обладавшие стали именоваться *интеллигентными людьми* или просто *интеллигентами*. Таким образом, можно сказать, что сначала интеллигенция в России формировалась как совокупность лиц, которые, по существу, были интеллигентами, хотя так они еще не назывались. Но очень быстро – на протяжении всего нескольких десятилетий – это положение существенно изменилось. К концу девятнадцатого века основную массу интеллигенции составляли уже не случайные люди, возникающие как побочный результат расширяющегося европейского воспитания и образования и объединяемые в совокупность лишь на основе их выраженной интеллигентности, а те, кто заранее избрал деятельность на «службе ума» в качестве своей профессии и специально к ней готовился, получая соответствующее образование сначала в гимназии, а затем в университете. Это было следствием того, что русская интеллигенция (т.е. интеллигенция Российской империи) профессионализировалась, и функцию общественного ума стали выполнять не отдельные лица, произвольно объединявшиеся в какие-то кружки, группки и течения (вроде кружка «Арзамас» или «Вольного общества любителей российской словесности»), но специфические профессиональные сообщества – врачей, юристов, историков, филологов, художников, журналистов и т.п., – спаянные более или менее жесткой корпоративной дисциплиной, имеющие свои табели о рангах и внутреннюю субординацию, а кроме того – что немаловажно – служащие основным источником дохода для большинства их членов. Тем самым интеллигенция в России оформилась как особый социальный институт, выполняющий специальную общественную функцию – функцию ума. Здесь стоит заметить, что поскольку все общественные функции, связанные с европейским развитием, в России традиционно брало на себя государство[14], институт интеллигенции в значительной мере формировался государством, и быть членом «службы ума» в большинстве случаев одновременно означало состоять на государственной службе, так что почти всякий филолог был чиновником такого-то класса (с соответствующими наградными, видами на пенсион, казенной квартирой, командировочными и т.д.), а окончившие Императорскую академию художеств с золотой медалью получали не только звание художника, но и чин коллежского секретаря. Эволюция интеллигенции от разрозненных группок первобытных интеллигентов к патронировавшемуся государством комплексу социальных институтов привела к незаметному смещению смысла соответствующих слов: теперь уже не *интеллигенция* понималась как совокупность всех *интеллигентов* (т.е. *интеллигентных* людей), а напротив, слово *интеллигент* стало означать человека, достаточно активным образом участвующего в деятельности профессиональных организаций, представлявших *интеллигенцию*. И здесь наш язык не ошибся. Действительно, если исходить из «жуковского» (и «латинского») понимания слова *интеллигенция*, то в основе его значения должна лежать функция, и тогда *интеллигенцией* должны называться любые выполняющие эту функцию социальные структуры и, соответственно, составляющие их члены.

В результате мы имеем дело со своеобразной языковой ситуацией: как слово *интеллигенция*, так и слово *интеллигент* употребляются сегодня в двух – очень близких, но не совпадающих – значениях, в «старом» и в «новом».

---

[14] «…правительство всё еще единственный Европеец в России…» (Пушкин А.С. Письмо к П.Я.Чаадаеву. Черновая редакция // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 тт. Т. 16. Переписка, 1835—1837. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949, с. 422)

[1]**Интеллигенция** – совокупность всех [1]*интеллигентов*.

[2]**Интеллигенция** – комплекс организаций и социальных институтов, выполняющих функцию ума в обществе.

[1]**Интеллигент** – человек, способный выполнять функцию ума в обществе.

[2]**Интеллигент** – член корпорации, называемой [2]*интеллигенцией*.

Поскольку значительная часть [1]*интеллигентов* одновременно является и [2]*интеллигентами*, путаница обеспечена, и начав говорить об одном из этих предметов, мы легко перескакиваем на другой, так как и в том, и в другом случае речь, большей частью, идет об одних и тех же людях.

Понятно, что, работая в одной из относимых к «службе ума» организаций и даже занимая в ней руководящую должность, человек не выполняет функцию ума в обществе – ее выполняет организация в целом, – и потому было бы странно требовать от него обладания особыми душевными качествами, достаточно того, что он оказывается способным эффективно выполнять свои служебные обязанности. Мы же не требуем от каждой гайки в быстроходной машине, чтобы она тоже была быстроходной, нет, напротив, для обеспечения быстроходности всей конструкции гайка на своем месте вовсе не должна двигаться. Исходя из этого, от [2]*интеллигента* и не требуется непременное наличие интеллигентности, главное, что от него требуется, это наличие специальных познаний и навыков, позволяющих ему работать на занимаемой должности. Имея их, он вполне может оставаться тем *простым человеком*, которого мы ранее противопоставили интеллигентам[15], его работе это никак помешать не может. Тогда, естественным образом, на первый план в определении *интеллигента* выходит уровень специального образования, и то это вызвано не логической необходимостью, а потребностью избежать такой неудобной ситуации, в которой к интеллигентам придется причислить всех вахтеров и сантехников, работающих в системе Академии наук.

Мы приходим к выводу, что *интеллектуалы*, от которых никто никакой особой интеллигентности не требует, удовлетворяясь занимаемым ими положением в обществе, и [2]*интеллигенты* фактически во всем равны между собой, и следовательно, правы составители словарей, приравнивающие эти слова по смыслу. Конечно, употребление этих слов в различных контекстах не всегда совпадает в разных языках, но это легко объяснить своеобразием взглядов, исторически сложившихся в той или иной стране, на то, какие сферы деятельности следует относить к «службе ума». Рассуждая подобным образом далее, следует признать, что как среди [2]*интеллигентов* можно встретить [1]*интеллигентов*, так же они должны встречаться и среди западных *интеллектуалов*, и если на Западе о них не говорят, то лишь потому, что там по традиции не принято выделять этих людей в особую группу[16].

Вот где собака зарыта

Теперь, несколько разобравшись с взаимоотношениями интеллигентов и интеллектуалов и выяснив основную причину возникновения дополнительной путаницы в вопросе, который и без того остается неясным, можно идти дальше и заняться самой интересной частью рассматриваемой проблемы, а именно, попытаться понять, что из себя представляет та самая

---

[15] Здесь мы уже можем уточнить, что речь шла, конечно, об [1]*интеллигентах*

[16] «Русские интеллигенты уверены, что таких, как они, больше на свете нет. Расхожая схема: в России – интеллигенция, на Западе – интеллектуалы. Противопоставление надуманное и бессмысленное. Интеллектуал – определение техническое: человек, занятый умственной деятельностью. Интеллигент – тот, чьи умственные, духовные и душевные интересы выходят за пределы работы и семьи. Таких сколько угодно на Западе, они отдаются по-настоящему, истово – пацифизму, феминистскому движению, борьбе за выживание кашалотов, за права индейцев, за спасение совы в лесах Северной Дакоты» (Вайль П. Карта родины. М.: Независимая газета, 2003, с. 137)

интеллигентность, которую приписывают [1]*интеллигентам* (чтобы свести до минимума употребление индексов, будем называть их *интеллигентными людьми*).

Исходный тезис, гласящий, что интеллигенция – это олицетворенный в конкретных людях разум общества[17], подталкивает к логичному выводу: *интеллигентность* – высокая степень умственных способностей, или *интеллигентный* человек – это *умный* человек. И все было бы хорошо и просто, если бы мы употребляли слово *интеллигентность* для описания умственных способностей человека, а *интеллигентный* – для того, чтобы указать на разумность того или иного мнения, высказывания, лица или поступка. Но ведь в нашем языке, в отличие от большинства европейских, это не так. Попробуем в каком-то высказывании заменить *умный* на *интеллигентный*, например, *умное решение* заменим на *интеллигентное решение* – смысл высказывания заметно изменится. Точно то же произойдет, если мы вместо *Он поступил умно* скажем *Он поступил интеллигентно* и т.д. Разве, говоря *Ему интеллигентности не хватает*, мы хотим сказать, что тот, кого мы имеем в виду, глуп? Вовсе нет. Вполне возможно, что поводом к этому высказыванию как раз и послужило некое очень умное и расчетливое действие обсуждаемого лица. Бессмысленно приводить дальнейшие примеры, поскольку всякому говорящему на русском ясно, что во множестве контекстов *умный* и *интеллигентный* не являются синонимичными выражениями. Да, и, если обратиться от слов к реалиям, можно ли сказать, что встречающиеся нам в жизни интеллигентные люди поголовно отличаются чрезмерным развитием умственных способностей или что они в абсолютном большинстве случаев принимают умные решения? Никакой статистики здесь нет (да и быть не может из-за неформализуемости обсуждаемых понятий), но обыденный жизненный опыт говорит, что интеллигентность может сочетаться как с блистательным умом, так и с очевидной глупостью, и если количество ума (как его не понимай) у интеллигентной публики в среднем и выше, чем у прочих категорий населения, то это различие не столь велико, чтобы бросаться в глаза.

К аналогичным выводам приведут и попытки приравнять *интеллигентность* к *честности, совестливости, вежливости* и прочим нравственным категориям. Многие из интеллигентных людей обладают этими завидными качествами, но это лишь сочетание *разных* качеств, присущих одной и той же личности. Вероятно, между интеллигентностью и этими признаками существует определенная корреляция, но логической, понятийной связи между ними нет. Мы не можем отказать интеллигентному человеку в способности лгать, подхалимствовать, быть скандалистом или подделывать кредитные билеты. Все это – его неотъемлемые права, которые он при желании может реализовать на практике, теряя, возможно, уважение окружающих, но не лишаясь автоматически звания интеллигентного человека[18]. Отмеченная ранее склонность к растворению *интеллигентности* в комплексе тонко нюансированных нравственных понятий ведет к тому, что ее специфичность моментально теряется и одновременно теряется связь с этимологически определяющим ее умом. А такая связь,

---

[17] Ср. с определением, которое приводит в разговоре один из героев Г.Успенского: «…я запомнил, не помню чье-то, превосходное определение этого слова – вот оно: ‘Интеллигенцию надобно понимать вне званий и состояний, вне размеров благосостояния и общественного положения. Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда *одну и ту же* задачу. Она всегда – свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу. В поле – светят сучья хвороста, в избе – лучина, в богатом доме – лампа. Но везде разными способами задача исполняется одна и та же: во тьму вносится свет...’» (Успенский Г.И. Из разговоров с приятелями // Успенский Г.И. Собрание сочинений в девяти томах. Т.5. М.: Художественная литература, 1956, с. 237)

[18] «Один мой знакомый на вопрос, как бы максимально кратко он определил интеллигента, подумал и сказал: ‘Ну, это, видимо, тот, кто без ошибок пишет слово *интеллигент*’. Можно и так. А можно, говоря предельно схематически и ради пущей выразительности максимально сгустив краски, предположить, что интеллигент от неинтеллигента отличается тем, что неинтеллигент в гостях стырит, допустим, ложку, а интеллигент — книжку». (Рубинштейн Л. Интеллигентные подтяжки // Рубинштейн Л. Словарный запас. М.: Новое издательство, 2008, с. 39)

несомненно, должна быть – как же может быть иначе, если обладание именно этим качеством позволяет человеку предстательствовать от имени ума.

Выяснив, что интеллигентность не является умом или его мерой, но как-то глубинно с ним связана, мы оказались в той точке рассуждений, где путь последовательных, шаг за шагом выводов, опирающихся на предыдущие построения или на некие факты действительности, обрывается. Перед нами бесчисленное множество возможных решений, связывающих понятие *интеллигентности* с понятием *ума*, и каждое из этих решений может оказаться верным, но, не зная заранее правильного ответа, мы не понимаем, в какую сторону мы должны направить свои исследовательские усилия. Если мы не склонны идти путем бесконечного перебора возможных вариантов, мы должны сделать в этой точке мыслительный скачок и, испытав мгновенное озарение, внутренним взором увидеть в свете этой вспышки истинное значение слова *интеллигентность*, одновременно осознав его истинность.

Чтобы не томить далее читателя, скажу, что суть истинного понимания *интеллигентности* выражена в предваряющем статью эпиграфе. Когда, начиная писать эту работу, я наткнулся на определение А.Круглова[19], у меня было ощущение, что мои старания оказываются совершенно избыточными: главное из того, что я собирался сказать, уже сказано. Однако писательский зуд победил и привел к появлению на свет опуса, который вы читаете. В свое оправдание могу лишь сказать, что я честно поместил афоризм Круглова в самое начало текста, а не стал прятать его до момента, когда понадобится дать читателям разгадку обсуждаемой проблемы. Всякий, кто уже после прочтения эпиграфа действительно понял, что́ такое *интеллигентность*, имел возможность со спокойной совестью отложить мои рассуждения в сторону и заняться другими насущными делами. Если же он продолжил чтение и, увлекшись прихотливостью авторской мысли и изобилием употребляемых автором риторических приемов, дочитал текст до этого места, то мне и вовсе не в чем перед ним оправдываться.

Поскольку два интеллигентных человека никогда не могут совпасть в своих взглядах, как бы ни были близки их исходные позиции, то, отдав должное первооткрывателю ключевого для нас определения, все же продолжим выяснение, с ранее изложенной точки зрения, тех следствий, которые вытекают из предлагаемого понимания *интеллигентности*. Здесь еще есть о чем поговорить.

Человек *vs* его ум

Понимать больше, чем выгодно… – что это значит? Как вообще объем понимания может определяться выгодой? *А плюс В…* – понимаю, *…и минус С…* – нет, не понимаю, *минус* – не выгодно, зачем мне это понимать. Но ведь, если я вижу, что *минус* невыгоден, значит я уже понял сущность и значение этого *минуса*, и все мои «жалкие слова» о непонимании только проявление лицемерия или выражение невротического нежелания принимать действительность такой, какая она есть, и склонности спихивать все неприятные факты в подсознание. То есть мой *отказ понимать* лишь подтверждает, что я, на самом деле, *понял* и знаю это, якобы мною *непонимаемое*.

Если читатель считает, что рассуждение в предыдущем абзаце убедительно, то, вероятно, он может с достаточным основанием считать себя интеллигентным человеком. По крайней мере, именно так рассуждает обычно человек, обладающий высоким уровнем интеллигентности. Так проявляет себя *интеллигентное* применение ума, присущего человеку. Потому что суть интеллигентности не в степени развития ума или отдельных умственных способностей,

---

[19] Круглов А. Словарь. А – И. Психология и характерология понятий. М.: Гнозис, 2000. Словарные статьи: **Интеллигентность**, **Интеллигенция**. (Вообще, эти книги – пять томов *Словаря*, выложенные на авторском сайте [http://alkruglov.narod.ru/glossary.html] – предлагают читателю россыпь интереснейших мыслей обо всем на свете: от *Абсолюта* до *Языка*)

составляющих целостный человеческий ум, а в ***способе применения*** наличного у человека ума, в ***модусе***, в котором функционирует данный ему Богом ум.

Не пытаясь точно эксплицировать понятие *ума*[20], что, наверняка, окажется посложнее определения *интеллигентности*, сойдемся на том, что одним из главных проявлений присущего субъекту ума, служит обнаруживаемая им способность выбирать правильные решения, с большой вероятностью ведущие к достижению поставленной цели. Конечно, будет ли цель достигнута зависит не только от выбора соответствующих средств, но и от удачи (от вмешательства непредвиденных обстоятельств и т.п.), тем не менее, если мы видим, что один раз за разом попадает впросак, а другой регулярно получает желаемое, мы склонны предполагать, что первый – глуп, в то время как второй – умен. С этой точки зрения, совершенно неважно, какие человеческие способности участвуют в выборе решений. Некоторые из них принимаются интуитивно, на основании ранее усвоенного жизненного опыта, выступающего не как вербализованный алгоритм, а как усвоенный навык – *умение* выбирать верный путь для решения таких задач. В других случаях человек для того же может использовать сознательный анализ ситуации и оценку вероятностей входящих в нее событий, рассчитывая таким образом шансы на достижение цели тем или иным путем и выбирая из них оптимальный. Он может даже, приложив умственные усилия, изобрести некий новый способ достичь недостижимой иным путем цели. Но нас не должны интересовать внутренние механизмы принятия решений, мы оцениваем ум в зависимости от эффективности такой внутренней деятельности: тот, кто умеет добиваться поставленных целей, тот и обладает умом. При таком взгляде даже собака, про которую нельзя сказать, что она *думает*, может быть оценена как умная или не очень, в зависимости от того, насколько адекватные способы достижения целей она выбирает.

Вопрос о том, кто задает цели и тем самым запускает деятельность ума, обычно просто не встает. Очевидно, что таким заказчиком для ума выступает тот, о чьем уме идет речь, – хозяин ума. Но, если это так, то становится очевидной и связь выгоды с деятельностью ума. Результат этой деятельности – некая *истина*, но заказчик нуждается не в любой истине, а лишь в той, которая помогает ему достичь поставленных целей, то есть в истине, выгодной хозяину ума. И тогда картинка будет несколько иной: *А плюс В*… – понимаю… так-так… и сколько же это будет в неделю?.. а в год?.. отлично, …*и минус С…* – та-ак.. и где же здесь прибыль? …чепуха какая-то! что ты мне подсовываешь? зачем мне это понимать?

В данной системе координат выгода оказывается регулятором деятельности ума: он начинает функционировать, когда хозяин ума ставит перед ним какую-то цель, и отключается, когда выясняется, что его деятельность не ведет к решению хозяйских проблем. Именно в этом, обслуживающем хозяина режиме привык работать ум «простого человека». Пока хозяин пишет дипломную работу, его специально натренированный ум будет решать дифференциальные уравнения – и, вполне возможно, с успехом, но как только хозяина после окончания вуза поставят руководить баней, выражение $(\cos x)' = -\sin x$ потеряет для его ума всю свою истинность и станет очевидной бессмыслицей, понимать которую нет ни малейшей нужды. При этом свойства ума останутся, возможно, теми же самыми, и он – опять же с успехом – будет решать текущие проблемы, обеспечивая хозяйскую выгоду. Продолжая развивать эту мысль и, по-видимому, доводя ее до абсурда, можно сказать, что понятие *истины* осмысленно только в том случае, когда эта истина кому-то полезна, и только для него она обладает истинностью, для всех прочих она – лишь информационный шум, не обладающий никакой ценностью. Как ни дико выглядит такой доморощенный «прагматизм», но внутренне он вполне согласован и, можно сказать, логичен. Действительно, если замена в вышеприведенном выражении *минуса* перед $\sin x$ на *плюс* ничего не меняет в конечном результате, то о чем тут можно рассуждать и где тут задача для ума, что тут можно *понимать*?

---

[20] Заинтересовавшиеся этим вопросом могут обратиться к тому же *Словарю* Круглова (Т. 5. Т – Я, статьи **Ум**; **Ум и чувство**; **Умничанье**; **Умствование**), где высказываются различные соображения по этому поводу.

Понимание и деятельность ума в целом заканчиваются там, где исчезает полезность такой деятельности для обладателя ума.

Эти рассуждения кажутся дикими и уводящими в сторону от существа дела только потому, что мы привыкли к интеллигентному взгляду на себя и свой ум. С нашей привычной точки зрения, ум не является инструментом, которым мы пользуемся по своему желанию и который останавливается, как только мы перестаем нагружать его своими заданиями. Что-то такое можно, пожалуй, сказать о наших руках и ногах или о языке, которые сильно озадачили и раздражили бы нас, начни они действовать по собственной воле, но для ума такое послушное поведение вовсе не характерно. Он во многих случаях действует вполне самостоятельно, не дожидаясь заданных ему вопросов и имея свою внутреннюю мотивацию для функционирования. Ум вместе с приданными ему чувствами следовало бы, скорее, уподобить тем частям нашего организма, которые живут своей особой жизнью и, если и реагируют на потребности нашего «я», то делают это по своим эволюционно затверженным программам, вовсе не повинуясь нашим приказам и увещеваниям. Сердце бьется, не спрашивая у нас на то разрешения, желудок что-то урчит в животной темноте – переваривает пищу, но не надо строить иллюзий по поводу того, что это же, дескать, мы, поев, задали ему эту задачу. Кто на самом деле дает задания, а кто должен слушаться и брать под козырек, выяснится уже через несколько часов, когда наше нутро, закончив свое дело и слегка передохнув, потребует очередной порции и, видимо, достаточно быстро добьется выполнения своего заказа, даже если мы имели на этот счет другие планы и собирались сбросить пару лишних килограммов за ближайшую неделю. Нет сомнений, наши органы неустанно пекутся о нашем благе, но они вовсе не интересуются нашим мнением относительно того, в чем это благо состоит. У них есть собственные мотивы деятельности.

Что-то похожее мы можем увидеть, и обратив внимание на деятельность своего ума: правда, обычно он не отказывается выполнять наши поручения, когда нам нужно обдумать какую-нибудь торговую операцию, рассчитать величину оплаты за электроэнергию или подготовить выступление на конференции, но как только мы оставим его в покое, он займется обдумыванием каких-то других проблем и большей частью трудно сказать, что в этот раз привлечет его внимание. Это может быть нечто, только что увиденное или услышанное, но может оказаться и проблемой из далекого прошлого – *что она хотела этим сказать, когда*… - или наоборот из ближайшего будущего – с*могу ли я купить, наконец, ботинки, если пятого вдруг дадут премию…*, или человек может сочинять стихи, или задуматься над тем, как несправедливо устроена наша жизнь, или попробует разобраться, откуда все же берется *минус* перед *sin x*, или… Все эти непредсказуемые варианты различных действий ума не беспричинны: их выбор и развитие определяются имеющимися в нашей душе разнообразными «силовыми линиями», которые направляют течение наших мыслей и которые зависят от нашего житейского опыта, воспитания, образования, склада характера, темперамента, актуальной жизненной ситуации, уровня умственных способностей и множества других условий, делающих наши мысли и переживания, взгляды и оценки индивидуальными и неповторимыми. И хотя в этом отношении наш ум не свободен от нашей личности и самые неожиданные мысли несут на себе ее отпечаток, все же в таких случаях наш ум функционирует в свободном режиме и, руководствуясь собственными внутренними мотивами, сам ставит себе задачи. Мысль сама *приходит в голову*, развивается в соответствии со своей собственной логикой, продуцирует вытекающие из нее выводы и оценки, и лишь после этого может встать вопрос о пользе, которую может принести нам открывшаяся уму истина[21]. Речь здесь идет не только о каких-либо теоретических рассуждениях, оторванных от обыденной жизни и наших

---

[21] «Мысль думает так, что ей все равно, что случится с тем, в ком она думает, от того, что она думает. Мысль еще не думает, если она не решила так, что перемена всей жизни, целого существа того, в ком она думает, ее не остановит и не отклонит» (Бибихин В.В. Язык философии. СПб.: Наука, 2007, с. 291)

«Для интеллекта процесс творчества важен сам по себе; интеллект глуп, как солнце, он работает бескорыстно» (Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922, с. 12)

бытовых потребностей. Предметы наших размышлений, расчетов и оценок могут быть самыми приземленными (*не пора ли мне купить новые шнурки?..* или *опять эта скотина поставила машину на тротуар!..*), а могут быть и весьма возвышенными (*что же следует понимать под интеллигентностью?..*), но важно не это, важно то, что ум выбирает эти предметы самостоятельно, очень часто не соотнося этот выбор с некой предполагаемой пользой. Так функционирует ум всякого человека: как самого интеллигентного, так и самого простого, интеллигентностью не обремененного. Возможность деятельности и в *инструментальном*, вынужденном внешним заданием, и в *свободном* режиме заложена в самой конструкции человеческого ума.

Более того, почти то же самое мы можем сказать о душевной организации высших животных, по крайней мере, млекопитающих. После открытия Павловым ориентировочно-исследовательского рефлекса, который мотивирует «бескорыстную» поисковую деятельность, не обусловленную актуальными в данный момент жизненными потребностями животного, мы можем, не впадая в антропоморфизм и оставаясь на естественнонаучной почве, говорить о том, что и собака, и обезьяна, и даже какой-нибудь глупенький хомячок способны «искать истину», не приносящую им никакой очевидной пользы, и находить удовольствие в самом процессе исследования[22]. Такая совершенствовавшаяся на протяжении миллионов лет биологической эволюции способность живых организмов имеет вполне разумное обоснование в потребностях их индивидуального и видового развития. Обретенная в ходе свободных поисков истина, несмотря на свою сиюминутную бесполезность, накапливается и проявляет себя как дополнительная информационная вооруженность, как жизненный опыт особей, из которого вид может черпать знания для расширения спектра поведенческих реакций и, соответственно, для вовлечения в свою жизнедеятельность новых, ранее неучитываемых компонентов своей среды обитания. В свою очередь, распространившиеся в популяциях новые формы поведения создают добавочные точки приложения естественного отбора и, тем самым новые направления прогрессивной эволюции. Таким образом, направление части жизненных ресурсов особи на свободное исследование, на бескорыстный поиск истины – не блажь, не легкомысленное расточение жизненных сил, а вполне осмысленная и оправданная многомиллионолетним опытом стратегия вида. Прогрессивные виды животных, т.е. виды, на предыдущем этапе межвидовой конкуренции уже выигравшие право на дальнейшее существование, вновь вкладывают определенную долю наличного энергетического потенциала в доказавшую свою успешность стратегию, чтобы в своем развитии не отстать от соперников и не сойти на очередном круге с беговой дорожки эволюции. Те же, кто пренебрегал *истиной*, как самостоятельной ценностью, заботясь только об очевидной и непосредственно распознаваемой *пользе*, уже давно исчезли с лица земли, своей участью напоминая нам о том, что *нет ничего практичнее истинной теории*.

Мы видим, что свойственное человеку интеллигентное применение ума имеет фундаментальную биологическую основу – уже физиология человека предрасполагает его к тому, чтобы мышление в свободном режиме стало его потребностью. Но род *Homo* не только возник в результате этого направления развития животных, но и, сделав основную ставку на

---

[22] «В настоящее время можно считать окончательно решенным вопрос о том, что исследовательское поведение животных побуждается самостоятельной потребностью в получении информации, т.е. новых стимулов с невыясненным прагматическим значением (Eisenberger, 1972; Berlyne, 1974, 1979). На базе этого безусловного рефлекса можно выработать условные инструментальные реакции, где единственным подкреплением служит возможность осуществлять исследовательскую активность.
…Исследования последних лет показывают, что подкрепление исследовательского поведения тесно связано с механизмами положительных эмоций. При регистрации активности нейронов в переднемедиальной коре у крыс оказалось, что нейроны, усиливающие активность в ответ на стимуляцию эмоционально позитивных пунктов мозга, усиливают ее и при ориентировочно-исследовательском поведении (Kanui, Martin, Sinnaman, 1983). Вознаграждающий эффект удовлетворения исследовательской потребности реализуется с участием эндогенных опиатов (Katz, Gelbart, 1978)» (Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987, с. 36-37, 38)

данную стратегию, многократно усилил эту эволюционную тенденцию, благодаря чему стал развиваться со стремительностью, совершенно недоступной всем прочим видам животных. Не вдаваясь глубоко в этот чрезвычайно интересный, но еще далеко не освоенный наукой комплекс проблем, остановимся на бесспорном утверждении о том, что не связанный ни с чьим личным или групповым интересом поиск чистой истины – «истины как таковой», – накопление таких истин, их систематизация и сохранение в течение многих поколений должны иметь в человеческом обществе приоритетный характер. Не надо тратить лишних усилий на доказательство реальности именно такого отношения к истине на протяжении всей известной истории человечества – это несомненный и широко известный факт[23].

Способность и выраженная склонность к бескорыстному поиску истины – родовой признак человека. Подобно всем другим человеческим свойствам, эта способность очень сильно варьирует от индивида к индивиду, отличаясь по времени, уделяемому праздным наблюдениям и размышлениям, по степени увлеченности этим процессом, по степени сложности создаваемых мыслительных конструкций, по излюбленным предметам размышлений и т.д. Один в своих свободно текущих, но обрывочных и куцых мыслишках, все время крутится вокруг своих повседневных жизненных забот и решается на серьезное обдумывание какого-либо предмета лишь в тех случаях, когда в его рассуждениях замаячит надежда на несомненную конкретную выгоду (или опасение такую выгоду потерять). Другой неустанно возвращается в мыслях к вопросу *прав ли Эйнштейн?* и *что могло бы означать выражение* $E = mc^3$*?* Третий, и едучи на работу, и сидя на совещании, и в буфете, и уже дома в постели напряженно обдумывает: *мог ли все же Дон Игнацио убедить Марию выйти за него замуж, если бы успел встретить ее на вокзале?*

Но как бы ни велика была склонность отдаваться построению мыслительных конструкций, не имеющих отношения к реальной жизни индивида, в какие бы заоблачные астральные сферы она его не уводила, не следует считать наличие этого свойства самого по себе свидетельством *интеллигентности*. О присущей человеку интеллигентности мы можем говорить лишь тогда, когда найденная в процессе свободного размышления истина становится важным регулятором его решений и поступков, начинает определять его жизненные установки. Интеллигентным мы называем того, кто не только склонен пользоваться своим умом интеллигентным образом, но и в жизни предстательствует от имени ума. Несколько огрубляя, можно сказать, что *простой* человек пользуется умом для достижения своих целей, в то время как у *интеллигентного* – руководителем является ум, пользующийся человеком для того, чтобы воплотиться в реальной жизни. Конечно, мы не можем столкнуться с идеальными образцами *простого* или *интеллигентного* человека в окружающей нас жизни: это всего лишь крайние точки на воображаемой координатной оси, на одном конце которой значение *интеллигентности* принимается равным единице, а на противоположном – нулю. Человек с интеллигентностью, равной единице, умер, вероятно, уже в колыбели, не проявляя ни малейшего желания сосать материнскую грудь, а тот, чья интеллигентность равна нулю, возможно, и существует, но только как пациент специализированного учреждения, и его затруднительно назвать истинным человеком, поскольку на эволюционной шкале он занял бы положение намного ниже хомячка, с любопытством исследующего конструкцию и свойства стоящего в углу веника. В действительности мы все располагаемся где-то около середины этой мысленной оси, идущей от *абсолютной простоты* до *абсолютной интеллигентности*, и весь интерес сосредотачивается на некоторых уклонениях от средней величины – в ту или другую сторону, – характеризующих конкретных индивидов. Соответственно, говоря о том, что некий человек *интеллигентен*, мы имеем в виду, что его мнения и поступки, выражающие проявления его личности, очень часто представляются нам исходящими из его представления

---

[23] Который только подтверждается столь же хорошо известными эпохами гонений на истину: те общества, где производство и воспроизводство истины были надолго затруднены, неуклонно деградировали и разрушались вследствие внутренних неурядиц и внешнего натиска более разумных соперников.

об истине, а не диктуемыми ему его собственными интересами и целями, и что в этом следовании истине он заметно отличается от других – *малоинтеллигентных* – людей.

Разговор на скамейке

Интересно, что с уверенностью судить о проявлениях интеллигентности мы можем только в тех случаях, когда она входит в противоречие с личными интересами человека и когда совершенный под ее влиянием поступок наносит ему некий ущерб (не обязательно имущественный). В этом отношении понятие *интеллигентный поступок* вполне аналогично понятию *нравственный поступок* в описании Канта, не без оснований утверждавшего, что о *нравственном* поступке мы можем с уверенностью говорить лишь в том случае, когда поступок, соответствующий требованиям нравственного долга не может быть объяснен какими-либо иными побудительными мотивами, вытекающими из интересов и склонностей субъекта действия.

Разберем это чуть подробнее на вымышленном бытовом примере.

Одним из широко распространенных способов удовлетворять потребность ума в свободном функционировании можно считать *сплетни*. Я не хочу сказать, что у записного сплетника или сплетницы не может быть иных мотивов, нежели бескорыстное выяснение каких-то – лучше скрытых – подробностей из жизни окружающих и такое же бескорыстное стремление поделиться полученными сведениями со своими знакомыми. Безусловно, целенаправленные сплетни такого рода существуют и даже, по-видимому, дали название этой человеческой активности[24], но, с другой стороны, ясно, что они играют весьма незначительную роль в целостном феномене сплетен. Для большинства людей склонность к сплетням по смыслу близка к увлечению телесериалами, благодаря чему обсуждение героев сериалов сегодня успешно конкурирует с традиционным перемыванием косточек ближним.

Институт сплетен – а это, конечно, социальный институт, имеющий многовековую давность – не так прост, как он кажется с виду, и был, судя по всему, одним из важнейших механизмов социального контроля в традиционных обществах. Видимо, ему надо приписать главную роль в создании устойчивой репутации каждому из членов общества: тысячи внимательных глаз следили за каждым твоим шагом, при каждом удобном случае припоминались не только твои поступки чуть ли не от рождения, но и поступки твоих дедов и прадедов, оставшихся жить в памяти народной, и все эти многообразные, часто противоречащие друг другу мнения самых различных людей кристаллизовались, в конечном итоге, во вполне определенный общественный образ тебя, который в значительной мере определял отношение к тебе самых разных людей и с которым тебе и всем прочим приходилось считаться. Аналогичным образом формировался образ всех общественно значимых событий и явлений, которые, может быть, и не привлекали того внимания рядовых сплетников и сплетниц, что и новая юбка соседской дочки, но так же время от времени становились темами досужих разговоров. Понимание этих, не имеющих определенной цели и, по видимости, ни к чему не ведущих разговоров как генератора представлений общества о себе и мире выразилось в русской пословице: *Глас народа – глас Божий* (и еще в десятках других пословиц). Казалось бы, это явный нонсенс –

---

[24] Словарь Ожегова делает акцент именно на таких злостных сплетнях: «**Сплетня**. Слух о ком-чём-н., основанный на неточных, заведомо неверных или нарочито измышленных данных» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. Энциклопедия, 1968, с. 746). Но я-то говорю об обычных, не имеющих определенной направленности житейских пересудах, в которых время от времени участвует каждый, и здесь ближе определение, данное Далем: «***Сплетник***. Нескромный перескащик или смутник, смутчик, баламут, перенощик, заглазный пересудчик. …*Посидели, посплетничали и разошлись*» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. Р – V. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1953, с. 292), которое охватывает оба понимания *сплетни*.

приравнивать мнения, высказываемые десятком-другим лиц, относительно умственных способностей, объективности и справедливости которых не возникает избыточных иллюзий, к голосу абсолютной Истины. Но народ, как и утверждает эта пословица, всегда прав – прав он оказывается и в этом суждении. Как бы вкривь и вкось не судили досужие сплетники об избранном ими предмете, все же, если взглянуть на это дело статистически, можно заметить, что в их зачастую размашистых и неточных мнениях отсутствует систематическая ошибка – подавляющая их часть формулируется без влияния личной заинтересованности, руководствуясь стремлением верно понять и оценить наблюдаемые факты, а потому усреднение этих мнений при смешении и трансляции должно, в итоге, давать достаточно точный образ явления. Крайности и случайные индивидуальные ошибки нивелируют друг друга и постепенно образ стягивается в точку, близкую к истинному центру обсуждаемого предмета. Если множество стрелков стремится поразить цель, то, хотя точно в яблочко попадают лишь очень немногие, вся совокупность пробоин безошибочно определяет истинные координаты цели. Нетрудно заметить, что описанные таким образом архаичные *сплетни* почти идеально выражают понятие присущей обществу *интеллигенции* (в смысле Жуковского) и выполняют социальную функцию, сходную с той, которую взяла на себя современная *интеллигенция*. И это вовсе не случайно, это отражает тот факт, что в основе обоих феноменов лежит одна и та же способность человеческого ума генерировать суждения, не обусловленные никакой конкретной целью кроме стремления к истине.

Однако, вспомнив про интеллигенцию, пора вернуться к исходному вопросу, который привел к появлению сплетен в этом тексте. Предположим, что на скамейке (на деревенской улице или около подъезда городского дома) сидит группка вышедших почесать языки бабушек и тетушек, они делятся новостями и по своему обыкновению отпускают замечания, иногда выливающиеся в бурную и длительную дискуссию, по поводу проходящих мимо соседей. Их наблюдения и оценки определяются их жизненным опытом, образованием, эстетическими пристрастиями и т.д., но обсуждаемые ими предметы не затрагивают их интересов, и их суждения не имеют в виду конкретную пользу или выгоду. В таком случае налицо функционирующий механизм формирования народного гласа. Несмотря на то, что, по нашему предположению, умы и чувства всех участвующих в разговоре работают в режиме интеллигентного функционирования, у нас нет оснований судить о том, есть ли среди сидящих на лавочке интеллигентные люди, – ситуация не позволяет их выявить. Но предположим, мимо скамейки идет дочка местной достопримечательности, хорошо известной и во дворе, и в ближайшем отделении милиции. Чешущим языки, безусловно, есть что сказать по поводу проходящей красотки и по поводу всего ее семейства – результаты тонких наблюдений и едкие замечания так и просятся на язык, но вслух их никто не высказывает, наступает неловкое молчание. Действительно, если суждения сидящих дойдут до ушей мамаши (а это не исключено), будет много крику, скандалу и даже, может быть, выдранных волос. Никто не решается рисковать. И вот тут-то возникает ситуация, в которой может проявить себя интеллигентный человек. Если одна из кумушек скажет что-то нелицеприятное вслед ушедшей девушке, мы можем с уверенностью предположить, что именно выступившая обладает интеллигентностью в большей степени, чем другие, сидящие с ней рядом. Пока интересы свободно мыслящего ума не вступали в конфликт с интересами его обладательницы, невозможно было определить, кто из них занимает в душе руководящее положение, но, как только возникла ситуация конфликта, обе его стороны – *ум* и *я* – стремятся взять верх, и по исходу этой борьбы мы можем определить главенствующую в душе силу. У всех промолчавших победило *я*, которое прицыкнуло на *ум*, побуждающий открыть рот для опасного высказывания, и тот смирился, признав власть хозяина. Только у мадам Х исход внутренней борьбы мотивов оказался иным: она сделала то, что требовал от нее ее *ум*, и донесла выработанное им – и истинное, с его точки зрения, – суждение до города и мира.

Эта простенькая мысленная модель интеллигентного поведения хороша тем, что представляет пример ситуации, очищенной от влияния всех прочих факторов. Она –

идеализированный элементарный прототип всех реальных ситуаций, в которых интеллигентность проявляет себя в нашей жизни. Поэтому не надо представлять «скамейку» слишком реалистично, пользуясь своим житейским опытом и личным знакомством с теми, кто таким образом проводит свое свободное время. Нас интересуют не эти персонажи во всей полноте их душевной жизни, а лишь один изолированный и доведенный до идеальной чистоты аспект их поведения[25]. Прежде чем делать вывод, что все это чепуха и что в жизни *истинно интеллигентная* женщина ни в коем случае не станет сидеть на лавочке, лузгая семечки и гадая, откуда работающая в школьном буфете Антонина тащит такую тяжеленную сумку, нужно вспомнить, что упомянутая выше *мадам Х* – точно такой же теоретический объект, как и *материальная точка*, поведение которой изучается в теоретической механике. В обыденной жизни мы не можем пользоваться правилом: *Легкие и тяжелые предметы падают с одинаковой скоростью.* Тот, кто попытается непосредственно использовать это правило в жизни, будет им жестоко обманут. Но, если мы хотим разобраться с падением разнообразных, имеющих различную форму и неодинаковый удельный вес предметов в реальных земных условиях, мы должны построить некоторую теорию, одним из первых положений которой будет это, казалось бы, совершенно расходящееся с нашим жизненным опытом правило. В задачу этой статьи, ясное дело, не входит описание реальных, встречающихся в жизни интеллигентов или реальных проявлений присущей им интеллигентности, цель наших рассуждений – подготовка теоретической базы для такого описания и выработка более или менее точных терминов, с помощью которых можно было бы начать описывать интеллигенцию и ее роль в общественной жизни. Поэтому не следует воспринимать приводимые примеры как некие картинки из жизни, которой автор, вероятно, вовсе не понимает – иначе бы он сам чувствовал фальшь и надуманность своих описаний. Используемые в качестве иллюстраций примеры – не художественные миниатюры и не социологические зарисовки, это всего лишь теоретические схемки для более полного и ясного понимания сути дела.

После этого лирико-методологического отступления, возможно, и излишнего, еще один схематический пример проявления интеллигентности.

Копать вам не перекопать

Предположим, некий приказчик дает задание нанятой бригаде землекопов: для орошения поля надо прокопать такой-то глубины и ширины канаву от реки до вон того дерева. Сообщает, что после окончания работы хозяин обещает простить недоимки и выставить бочку вина. Получив задание, работяги с энтузиазмом (а, может, и напротив: хмуро и безрадостно) начинают копать. Однако после нескольких взмахов лопатой один из них останавливается, чешет затылок и, обращаясь к приказчику, молвит: *Дык, это… вода же в гору не пойдет*. Прослушав такую разумную речь, все приостанавливаются и вопросительно смотрят то на оратора, то на прораба. Последний оказывается вынужденным как-то реагировать. После того, как его ткнули носом в очевидный факт, он не хуже этого мыслящего пролетария видит, что, конечно, вода не пойдет, но какое это имеет отношение к делу. И, самое главное, у него есть свой начальник, который не станет разбираться, что да как – канава должна быть выкопана, и точка. Поэтому, чем разумнее и убедительнее замечание подчиненного, тем большее

[25] Чтобы усилить в глазах недоверчивого читателя свою позицию, приведу цитату из работы известного русского мыслителя: «Послушайте разговор сплетниц за утренним кофе. Вы поразитесь, сколько в нем любознательности, неутомимых попыток ума. Здесь вся наука бы пасс со всеми своими утонченными методами. Раскопать римский форум и раскопать тайны соседского дома – одинаково сложно, и в логическом отношении (т.е. именно в концепции ‘истины’) эквивалентно». (Федотов Г.П. О гении // Вопросы философии, 2015, № 3, с. 121)

раздражение оно вызывает. *Тебя не спросили, умник!* – с места в карьер набрасывается приказчик на мужика. – *Копай давай! Рассуждать он тут будет.* И тут же поворачивается к другим рабочим: *Ну, чего встали?! Дождетесь у меня!* Те, ворча и чертыхаясь, опять начинают ковырять землю. Начинает работать и нарушитель спокойствия, но на душе у него кошки скребут.

Казалось бы, он выполнил свой гражданский долг и вовремя предупредил начальство об очевидной ошибке, ведущей к бесполезным затратам, следовательно, он вправе рассчитывать если не на премию за свой ум и усердие, то хотя бы на похвалу. Однако эффект его действий оказывается прямо противоположным. И это уже не в первый раз. *Черт меня опять дернул за язык!* – думает он, - *Сколько раз зарекался, и опять… Ничего хорошего из этого не получается. Канаву как копали, так и копаем. Только приказчик разозлился. Теперь он не упустит случая меня на чем-нибудь подстеречь. Может, и выгонят. Но хуже всего, что другие мужики недовольны – они-то и вовсе ни за что страдают. А раз приказчик вызверился, он будет искать, на ком зло сорвать. Опять меня все шпынять будут за мои слова. Но я ведь правильно сказал. Ведь это правда! Э-эх!..*

Действительно, в большинстве подобных случаев собратья по положению (мужики, сослуживцы, серая скотинка), как правило, занимают сторону начальника, а не горе-интеллигента. Разлом идет не между начальниками и подчиненными, но между простыми людьми и интеллигентами (чаще всего оказывающимися в единственном числе). Социальные антагонизмы оказываются менее значимыми, чем различие в отношении к истине. И рабочих, которые злятся на выступавшего не меньше, чем приказчик, нетрудно понять. Если бы рабочие хотели поставить на место зарвавшегося и слишком притесняющего их приказчика, они могли бы воспользоваться высказанной вслух правдой, как удобным поводом для того, чтобы обличить дурь приказчика и продемонстрировать ему свое недовольство. При этом интеллигентская правда могла бы послужить интересам рабочих, а ведь именно такой – полезной – правды ищет простой человек. Но в данном случае этого нет. Открытый конфликт с приказчиком ничего хорошего рабочим не сулит, и потому не входит в их планы. А значит эта правда – правда сама по себе – никому не нужна. Она никому не служит и только злит приказчика, который попытается сорвать свою злость на рабочих. Он, конечно, поступает несправедливо, но глупо считать его виновником ухудшения ситуации. Ничего другого от него ожидать нельзя. Собственно, в этом и состоит его функция: орать, материться и грозить всякими карами. Он таков, каков есть, и с этим ничего нельзя поделать. Он не может не придираться ко всем и каждому, если его что-нибудь разозлит. А следовательно, приказчика, равно как и более высокое начальство с его идиотскими планами, нужно при оценке происшествия вынести за скобки, как нечто данное, как то, чего нельзя изменить. А потому остается только один виновник: этот самый умник со своей дурацкой правдой – кому эта его правда нужна? чего он с ней вылез?

Тут следует еще учесть, что после того, как слово «не пойдет» было открыто высказано, *простые* рабочие, которые до того не обращали внимания на этот совершенно не касавшийся их аспект работы, теперь ясно видят полную бессмысленность порученного им дела. Идиотизм задания превращает обычную тяжелую работу в мучительный каторжный труд. Вполне возможно, что и ранее выкопанные ими канавы имели ровно столько же смысла, входя в систему очередных *Епифанских шлюзов*, но они-то об этом не знали, а теперь все своими глазами видят, что никто и никогда не воспользуется результатом их труда – он совершенно напрасен. Мысль, что, принимая работу, приказчик будет тщательно вымерять ширину и глубину канавы – не дай бог, она будет на вершок уже, - а потом заставит аккуратно подрезать края и подобрать со дна осыпавшуюся глину, и все это зачем? за что они будут маяться? – уже одна эта мысль может привести человека в бешенство. Всех этих отрицательных эмоций не было бы, если бы им не открыли глаза на откровенную дурь выполняемого ими задания. А кто им открыл глаза? – *Умник*. Вот он во всем и виноват.

Все было бы совершенно по-другому, если бы у кого-то из участников этой истории была личная заинтересованность в орошении данного поля. Предположим, задание дает не приказчик, а хозяин орошаемого поля. Как бы ни расстроился он, услышав справедливые интеллигентские слова, он не мог бы их игнорировать, а должен был либо убедиться в их ложности, либо прекратить работы и каким-то образом поощрить честного работника за своевременно поданный совет, позволивший ему избежать дополнительных убытков. Правда, другие работники могли быть недовольны прекращением работ, за которые они предполагали получить плату. Но это был бы обычный конфликт интересов: каждый заботится о своей выгоде, и его нельзя за это упрекать. С другой стороны, предположим, что умник был бы хозяином поля. И в этом случае ни приказчик, ни входящие в артель рабочие не имели бы оснований негодовать по поводу того, что у хозяина поля достало ума спохватиться в последний момент и прекратить бессмысленную работу. И наконец, третий возможный вариант этого события: канаву роет крестьянская артель, чтобы оросить свои собственные поля. В этой ситуации человек, первым усмотревший, что *вода не пойдет*, несомненно, заслужил бы искреннюю благодарность всех участников артели за избавление от бессмысленной тяжелой работы. Несмотря на их вероятное разочарование, вызванное крахом оросительных планов, они бы долго и восхищенно вспоминали, как *Иван (вот умный мужик, не то, что мы – бараны) сходу увидел…* и т.д.

Почему же одно и то же соображение, одни и те же слова, сказанные в одной ситуации, создают человеку репутацию *умного, толкового, сообразительного*, а произнесенные в другой – характеризуют его как *умника*, то есть того, кто только *умничает*, а настоящим-то умом и не обладает? Ясно, что такая оценка опирается на полезность высказанной правды о мире, на приносимую этой правдой выгоду какому-то конкретному лицу (неважно, что это за лицо, важно, что высказанная правда служит его интересам и высказывающийся имеет в виду эти интересы). Если же никакой выгоды высказанная правда никому не приносит, то это не *настоящая* (= *полезная*) *правда*, поскольку, несмотря на свою формальную истинность, она в данной конкретной ситуации неуместна. С такой – *простой* – точки зрения, интеллигентный *умник*, как бы сообразителен и проницателен он ни был, приравнивается общим мнением к известному сказочному персонажу – деревенскому дурачку, который говорит, в общем-то, правильные слова, но ухитряется произнести их как раз в той ситуации, где они совершенно неуместны, и этим накликает на себя ругань и побои[26].

Весьма существенно, что очень часто такую же оценку дает своему поведению и сам умник. *Дурак я, дурак* – корит он себя после очередного инцидента. – *Опять я вылез со своим «таскать вам, не перетаскать». Уже вроде бы все знаю, все понимаю… Ан, нет, опять вляпался!* И поскольку говорит это его *я*, оно вполне право: с точки зрения *я*, совершенный поступок был неразумен, попросту говоря, глуп. Истинный же виновник произошедшего – *ум* – работает в этот момент в инструментальном режиме и, обслуживая цели *я*, он приходит к вполне закономерному (и истинному!) выводу о том, что поведение субъекта в данной ситуации не соответствовало целям и интересам *я*, а следовательно его нельзя назвать *умным*. Круг замкнулся: *ум*, который подтолкнул *я* брякнуть свою *умную* правду, теперь, перебежав на другую позицию, осудил *я* за глупость и, таким образом, дезавуировал самого себя.

Эта душевная эквилибристика становится возможной (и даже неизбежной) вследствие того, что *ум*, работающий в свободном интеллигентном режиме и, соответственно, не обслуживающий в это время *я* с его целями, только формально может быть назван *умом данного конкретного человека*, в то время как по сути своей – это *ум вообще,* абстрактный ум, Логос, Разум, понимаемый как субъект безличных, по существу, высказываний[27], ум, как

---

[26] Набитый дурак // Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. В 3 т. Подготовка текста и примечания В.Я.Проппа. Т. 3. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1957, с. 200-201.

[27] Можно сказать: *Разум свидетельствует, что сумма углов треугольника равна двум d,* но то же самое можно сказать и проще, не приписывая авторство никакому субъекту: *Сумма углов треугольника равна…*

самодеятельная сущность, говорящая и действующая от своего собственного имени. Как ориентировочно-поисковая деятельность хомячка не столько имеет в виду интересы этого конкретного животного (для индивида она большей частью сводится к бесполезной трате ресурсов), сколько долгосрочные интересы вида *Phodopus sungorus* (то есть можно сказать, что поиск ведет вид, а конкретный хомячок служит инструментом этой деятельности), так и человеческий ум, передающийся каждому из нас по наследству от предыдущих поколений, дается нам не только для того, чтобы обеспечить наше индивидуальное выживание и благополучие (хотя и эту функцию он, конечно, выполняет, обслуживая потребности нашего *я*), но и для того, чтобы познавать мир, то есть выполнять функцию, независимую от потребностей нашего личного существования. Опять же можно сказать, что, когда речь идет о свободной деятельности ума, субъектом этой деятельности правильнее было бы считать не конкретного мыслящего человека, а род человеческий, который пользуется умственными способностями индивида как инструментом познавательной деятельности, необходимой для существования и безостановочного развития человечества. Поскольку во множестве случаев интересы человечества не совпадают с интересами индивида (их нельзя также приравнять к интересам любой группы людей и даже совокупности всех ныне живущих на Земле людей), неудивительно, что потребность человеческого ума в познании истины и сообщении ее возможно большему числу людей нередко вступает в конфликт с интересами индивида – носителя этого ума, а также с интересами его окружения. И тогда ум, поступающий правильно и умно, с точки зрения человечества, перейдя на точку зрения индивида, оценивает эти совершенные им поступки как глупые и безрассудные. Такова своеобразная диалектика отношений ума интеллигентного человека со своим хозяином, который, не переставая быть господином своего ума, одновременно является и его слугой.

Конфликт в Ученом совете

Рассмотрим еще один вымышленный пример проявления интеллигентности в обыденной жизни. Он в значительной мере аналогичен предыдущему примеру, но действие в нем развертывается в более привычной нам сфере – в среде творческой интеллигенции, занятой свойственной ей профессиональной деятельностью. Предположим, что незадолго перед объявленным заседанием Ученого совета к его председателю (проректору по науке Краснознаменной N-ской академии им. В.В.Куйбышева, академику РАЕН, недавно награжденному орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-ой степени, автору многих книг и статей, короче говоря, маститому ученому и заслуженному деятелю науки) подходит один из членов этого совета (тоже видный ученый, но несколько менее заслуженный и ордена еще не получивший) и сообщает, что в диссертации, которая будет представлена к защите на очередном заседании Ученого совета, он обнаружил грубую ошибку. Он, дескать, заглянул в полученный им автореферат и там обнаружил такое… *Какая ошибка? О чем вы?* – остолбеневает председатель. – *Ну, там, в уравнении (1). Перед sin x должен быть минус, а его нет. Поскольку из этого уравнения выводятся последующие, то… сами понимаете*… Немая сцена… *При чем тут синус икс? Чего он несет?* – машинально прокручивает в голове председатель, а в глубине души нарастает тоска и злоба. - *Что делать?* – лихорадочно соображает он. – *Диссертант-то от самого Петрова. Вот подловили меня. Знает ли этот радетель правды, что от Петрова? Если знает, то это не случайность. Кто его науськал? Кто за ним стоит? Но, вообще-то, вряд ли знает. В такие дела он не будет ввязываться. Наверное, все же не знает – он именно такой: не от мира сего. Синус заметит, а Петрова не заметит. Он же и на заседании ляпнет, в протокол придется заносить. А что нам всем придется делать, как мы-то будем выкручиваться? И эти, черт бы их побрал! Ну, диссертант, понятное дело, баран, но эти-то, гвардейцы петровские, куда смотрели? Лень*

им в автореферат заглянуть – разжирели, сукины дети, а я отдувайся. – Он с диким раздражением вспоминает про своего собеседника: *Вот он, скромный герой! Стоит, ждет, что я скажу. Доволен. Как же – ошибку обнаружил. Все прошляпили, а он враз узрел. Тьфу! Правду говорят: лучше иметь в совете трех полковников, чем одного интеллигента. Ну, что я теперь делать буду?!*

И председателя можно понять. Его положению, действительно, не позавидуешь. Всем изначально понятно, что диссертация – полная труха, уровень ее ниже обычной студенческой курсовой работы, и читать ее совершенно незачем. Никто ее читать и не собирается. Ну, может, оппоненты наискосок просмотрят, чтобы обосновать хоть чем-нибудь свой вывод о «большом вкладе в решение актуальной научной проблемы» и найти две отсутствующие запятые, которые они отметят в разделе замечаний. Все прочие никакой науки здесь искать не будут, понимая, что все содержание этой стопы бумаги сводится к записке от Петрова: *Выдать подателю сего…* и т.д. Задача председателя с вверенным его руководству советом сводится в данном случае к тому, чтобы поставить штампик *«Не возражаю. Полыхаев»* и отправить бумажки далее по инстанции. Ничего другого от них не ожидают, и никакие *синусы* здесь не при чем.

В общем-то, это отнюдь не экстраординарный случай: большая[28] часть успешно защищаемых диссертаций представляет из себя точно такую же бледную немочь, к науке отношения не имеющую. Голосующие «за» прекрасно это понимают, но проголосовать «против» они не могут, поскольку сами в качестве научных руководителей представляют в этот и в аналогичные советы точно такие же квазинаучные труды. А как же они могут поступать иначе? Ведь реальные открытия случаются крайне редко. Никто не может рассчитывать на то, что всем его сотрудникам удастся найти нечто, действительно «вносящее вклад…» А что же делать с теми, кому это не удалось? Ведь они тоже работали. Наука – наукой, но должен же был кто-то выполнять учебную нагрузку, набирать экспериментальный материал и писать статьи, чтобы отчитаться по всем этим нахватанным дурацким грантам и хоздоговорам. Какие они ни дурацкие, а приносят деньги – в том числе и на настоящую науку. Они честно пахали, и трудно требовать от них, чтобы они пахали так до сорока лет на ставке ассистента или мэнэсса. Им надо что-то предложить, какую-то перспективу, иначе они просто уйдут, и никто не придет им на смену. Тем более, что Петров, Иванов, Сидоров и иже с ними так и пекут кандидатов и докторов – чем эти-то хуже.

Конечно, от пишущих требуются некоторые умения: если то, что они пишут, и нельзя считать реальным вкладом в науку, то все же написанное должно быть оформлено по всем правилам науки – пишущий должен показать, что он, по крайней мере, знает, как выглядит истинный научный труд с введением, формулами, таблицами, графиками, ссылками на соответствующую научную литературу, выводами и т.п. Поскольку этот диссертант не выполнил основное требование и нагородил чепуху, которую и студентам не прощают, – а в этом уважаемому коллеге председателя можно доверять, здесь-то он не ошибется – есть веские основания работу завернуть, предложив ее доделать и исправить допущенные ошибки. В обычных случаях такое вполне возможно, и председатель не стал бы сильно забивать себе голову, если бы это произошло с кем-то другим. Но дело в том, что этот случай обычным не назовешь. Все упирается в тот факт, что диссертант от Петрова. А он не рядовой профессор или даже академик, он деятель высокого полета. По слухам, он вхож в такие круги, которые, по-видимому, и следует считать «отечеством», пожаловавшим председателю орден. Так это или не так, но нет сомнений, что слово Петрова может много значить в тех сферах, где решаются важные и для председателя, и для всей их академии вопросы. Поэтому его благосклонность весьма существенна для общего дела, которым они все занимаются, и поэтому много усилий и дипломатических ухищрений было затрачено, чтобы добиться расположения этого знающего себе цену прохиндея. И их старания, похоже, не были напрасными – то, что Петров направил диссертанта именно в их совет, следует считать определенным жестом, символизирующим

[28] Читатель может поставить ударение там, где он считает верным.

налаживание доверительных отношений. Если в этой ситуации они дадут от ворот поворот его протеже, то Петров воспримет это как личное оскорбление и *casus belli*. Никаких иных реакций ожидать от него невозможно – он к таким афронтам не привык. И потому ответ будет незамедлительным и непропорциональным, причем сразу во всех местах: и в министерстве, и в ВАКе, и в фондах, выдающих гранты – руки у него длинные, и он уж постарается продемонстрировать, что бывает с теми, кто вызвал его справедливый гнев, – чтоб другим неповадно было. Можно только надеяться, что это не коснется долго пробиваемого и уже почти окончательно подписанного решения о выделении средств на строительство нового лабораторного корпуса. Даже страшно представить, как озвереет ректор, когда услышит об этом происшествии. Да и коллеги по ученому совету взвоют, когда поймут, куда может повернуть дело. У них тоже здесь завязано много интересов, и новый корпус для них лакомый кусок – они его уже делят и составляют списки на новое оборудование. А если все сорвется, кто будет виноват? Понятно, что в первую очередь председатель совета – это его епархия, и он должен улаживать все возникающие здесь коллизии.

Какое решение должен принять попавший в такой переплет человек? Не будем принимать во внимание тот, не такой уж редкий, но неинтересный для нас случай, когда председателем совета оказывается один из вышеупомянутых баранов, защитившийся и вскарабкавшийся на этот почетный пост на предыдущем этапе эволюции отечественной науки. Предположим, что данный руководитель – честный человек и настоящий ученый, искренне заботящийся о коренных интересах своей отрасли науки. Однако в этой заботе он не может не учитывать влияния самых разнообразных факторов, большинство из которых к науке отношения не имеет, но вполне может помешать ее естественному течению. Именно такое поведение подсказывает ему его ум, обслуживающий благую цель способствовать прогрессу науки – цель, к достижению которой стремится председателево *я*. Так, как же должен поступать в подобных ситуациях умный и рассудительный человек, руководствующийся в своих поступках не спонтанными эмоциями, а долгосрочными целями? Трудно ожидать, что он выберет путь, рекомендуемый стоической максимой: *делай, что должно, и будь, что будет*. Как ни красив этот девиз и как ни безупречен он в моральном отношении, человек, строго ему следующий никак не мог стать председателем Ученого совета – он был бы отсеян на гораздо более ранних этапах научной карьеры[29]. Занимающий это положение не может поступать так, как велит ему моральный императив, он – часть сложной машины и, если он пытается чего-то добиться, ему остается лишь одна возможность: действовать таким образом, чтобы изменить ход всей машины в нужном направлении. Никакие благие поступки, не учитывающие запутанные взаимодействия частей этой машины или противоречащие ее механике, ни к чему хорошему привести не могут и скорее всего лишь усугубят сложность проблемы. И поэтому, не имея возможности повлиять на Петрова, и вынужденный считаться с существующим раскладом сил, герой нашей басни должен будет (если, конечно, не решит плюнуть на все и уехать в Урюпинск) избрать противоположный путь: каким-то образом воздействовать на обнаружившего ошибку коллегу и уговорить его воздержаться от ее публичного обнародования. Например, сказаться больным и не приходить на заседание Ученого совета. Ясно, что разговор по этому поводу не может доставить удовольствия ни одному из его участников: интеллигент, скрепя сердце согласившийся на этот (позорный, с его точки зрения) компромисс, будет чувствовать себя как оплеванный и считать председателя главным виновником своей моральной деградации, но и его руководитель вряд ли будет лелеять в душе теплые чувства к человеку, ставшему причиной стольких неприятных переживаний. Было бы нереалистично предполагать, что он будет

[29] Скорее всего, такой человек работает где-нибудь кочегаром или ночным вахтером, да и на таких должностях он вряд ли подолгу задерживается на одном месте. Бескомпромиссность – завидное качество, но очень мешающее работе в любой организации. Для его культивирования крайне желательно обладать независимым материальным положением, либо выбирать профессию, позволяющую работать в одиночку.

восхищен прозорливостью и научной честностью несгибаемого интеллигента. Особенно после того, что ему пришлось в разговоре сообщить собеседнику кое-какие подробности о стоящем за данной диссертацией Петрове и тем самым обнажить свои коррупционно-мафиозные связи с разлагающейся верхушкой административно-научного сообщества, да при этом еще уговаривать этого желающего остаться чистеньким и незапятнанным интеллигентного остолопа. К тому же, любые чувства, которые испытает председатель во время всех этих треволнений, не играют существенной роли в определении его дальнейшей стратегии. Будет ли он злиться на интеллигента или отнесется к нему спокойно и доброжелательно, понимая, что тот ведь тоже, в сущности, не виноват в доставленных председателю огорчениях, в любом случае он, как руководитель, действующий исключительно в интересах дела, должен будет придти к выводу, что следует избавиться от присутствия плохо управляемого интеллигента в составе Ученого совета и таким образом предупредить возникновение подобных инцидентов в будущем. Так что, при очередном повороте своей научной карьеры интеллигент может пойти на повышение и поедет руководить кафедрой в абаканском филиале академии. И, вполне возможно, будет счастлив, поскольку Ученого совета там нет, и никто не будет принуждать его к сомнительным сделкам с собственной совестью, хотя, конечно, и на новом месте могут возникнуть свои аналогичные проблемы.

Еще раз подчеркну, что я не пытался дать реалистическое описание конфликта в научной среде. Я вовсе не уверен, что могу адекватно передать ход мыслей и чувства, возникающие в душе ректоров, проректоров и председателей ученых советов, – я с ними незнаком, и своими мыслями они со мной не делятся. Вышеприведенная миниатюра создана не только с целью украсить и расцветить страницы рукописи, но и с целью более существенной: наглядно проиллюстрировать – пусть на полностью вымышленном примере – ту своеобразную механику, которая выталкивает интеллигента из, казалось бы, родственной и духовно близкой ему интеллигентной среды.

Часть 2
Этюд о начальниках

Тот же вопрос по лбу

Но прежде, чем обратиться к анализу этого – парадоксального, на первый взгляд – противоречия между *интеллигентом* и *интеллигенцией*, которое я постарался наглядно обозначить в конце предыдущей части своего труда, нам надо ненадолго приостановиться, чтобы ответить на заглавный вопрос: *почему начальники не любят интеллигентов?* У нас уже достаточно материала, дающего возможность обосновать вполне определенный вывод. Он гласит:

начальники любого ранга терпеть не могут интеллигентных людей за их непредсказуемость и неуправляемость.

Все мы, в той или иной степени, умеем предсказывать поведение окружающих нас людей, основываясь на представлениях о каких-то их интересах и целях. Это не значит, что мы редко ошибаемся в своих прогнозах, как раз это случается сплошь и рядом, но ошибаясь, мы с необходимостью приходим к выводу, что наши несбывшиеся предсказания были основаны на нашем ложном представлении о том, чего хотел и к чему стремился данный человек. Идея о том, что чей-то поступок может противоречить его коренным целям и интересам, воспринимается нами как абсурдная. Человек, конечно, может сделать глупость, не понимая, что сам себе копает яму, он даже способен на некоторый каприз, как бы забывая на минуту о своей выгоде, но если он в существенных вопросах, когда он не может не понимать последствий своих поступков, упрямо поступает так, что предполагаемый результат его действий должен нанести ущерб его интересам, мы либо объясняем его поведение скрытой психопатологией, либо уверяемся в том, что за его поступками стоят некие неизвестные нам мотивы и что мы, следовательно, ошибаемся относительно того, в чем состоит его истинная польза. Таким образом, мы исходим из неявного предположения, что все окружающие нас – *люди простые*, существование *интеллигентных людей* в расчет не принимается. Трудно представить себе какую-то другую более рациональную стратегию оценки и прогноза чужих поступков, поскольку введение в теорию возможности появления на сцене интеллигентов нисколько не улучшает качества прогнозов. Мы не в состоянии заранее предусмотреть, куда заведет интеллигента его ум, и потому поступки, мотивированные проявлениями интеллигентности, относятся нами в ту же недоступную для прогнозов область, куда попадают поступки сумасшедших и других лиц, чьи мотивы для нас совершенно непроницаемы. Мы поневоле списываем их на ошибку используемого нами метода прогнозирования.

Сегодня мы живем в обществе, которое, судя по всему, очень далеко от демократических идеалов и даже прилагает значительные усилия, чтобы не допустить образования социального

слоя, заслуживающего наименования *демос* и способного претендовать на участие во власти и управлении, но которое в одном, по крайней мере, отношении совпадает с демократией: наше общество – это общество с достаточно высокой вертикальной мобильностью. Это значит, что начальниками в нем, как правило, не рождаются, начальниками становятся. Каковы бы ни были имеющиеся в обществе сословные, семейные, кастовые, имущественные и прочие границы, затрудняющие доступ в начальственные кабинеты людей «со стороны», все они оказываются недостаточными, чтобы удержать мощный поток самых разнообразных по происхождению субъектов, попадающих в сонм начальников не по праву рождения, а благодаря удаче, своей авантюрной хватке и особым свойствам личности. Среди таких свойств не последнее место должно занимать умение распознавать истинную структуру интересов и целей, мотивирующих поведение других людей. Желающих стать начальниками гораздо больше, чем освобождающихся и вновь возникающих кабинетов, конкуренция между претендентами очень высока, и отсюда следует ожидать, что стандартный начальник обладает способностью прогнозировать чужое поведение гораздо лучше, чем средний обыватель. Это результат не только упражнений и опыта, но и, главным образом, жесткого предварительного отбора, осуществляемого на самых первых ступеньках лестницы, которая ведет на вершины власти. Человек, который окажется неспособным понимать, чего *на самом деле* хотят от него его ближайшие начальники, в чем состоит их истинная выгода, к которой они стремятся и участия в достижении которой они добиваются от подчиненных, практически не имеет шансов стать нужным начальству и, следовательно, не может рассчитывать на продвижение наверх. Даже если он игрою обстоятельств прорвется на несколько ступенек, карьерный его рост будет крайне затруднен, и он, в конце концов, почти неминуемо будет вынужден расстаться со своим креслом. Основной кадровый резерв формируется еще на «игровых», можно сказать, стадиях подготовки: в комсомольских комитетах, в школьных органах самоуправления, в молодежных отделениях партийных и церковных организаций, студенческих научных обществах, в «элитных» учебных заведениях и тому подобных питомниках будущего начальства. Хотя попасть туда при желании может, если не всякий, то очень многие, но через их частое сито пройдут и получат «путевку в жизнь» почти исключительно те, кто будет соответствовать стандарту начальника и в достаточной степени обладать необходимыми для такой карьеры свойствами. Остальные тоже будут как-то поощрены, но начальниками им, вероятно, уже не стать.

Среди прочих качеств, требуемых от будущих начальников, можно отметить неукротимое желание лезть наверх (вовсе несводимое к жажде приобретаемых таким образом материальных благ), управляемость и – единственное интересующее нас в этом контексте – умение безошибочно понимать, чего от тебя *действительно* хотят. Я подчеркиваю слово *действительно*, потому что здесь может крыться ловушка для тех, кто хочет понравиться своему начальству и, если не продвинуться, то хотя бы быть у него на хорошем счету, но не понимает его истинных целей и мотивов. В качестве требований к подчиненным начальники вынуждены, большей частью, «озвучивать» официальные цели той организации, которой они руководят, однако это вовсе не значит, что истинные цели и мотивы начальника полностью или хотя бы частично совпадают с декларируемыми. Если завкафедрой, почтивший своим присутствием заседание студенческого научного кружка, призовет юных исследователей *смело дерзать и ставить перед собой высокие научные цели, стремясь стать настоящим ученым*, то, скорее всего, правильно поймет его декларацию не тот, кто будет день и ночь трудиться, не вылезая из лаборатории и библиотеки, а тот, кто привезет с *9-ой Международной научно-практической конференции «Рериховское наследие» (г. Санкт-Петербург, 8-9 октября 2009 года)* диплом, отмечающий его достижения в изучении научного наследия Н.К. и Е.И.Рерихов. Как и за что получил он этот диплом, никто всерьез интересоваться не будет. Главное, он понял, чего от него хотят, и выполнил пожелание руководства – честь ему и хвала. А уж как ему это удалось – его личное дело.

Добравшийся до начальственного кресла должен, во-первых, хорошо понимать мотивы поведения своих начальников, во-вторых, тех, с кем он общается на своем уровне (партнеров), и, в-третьих, своих подчиненных.

Конечно, на главном месте – понимание вышестоящих: это основа выживания в качестве начальника и залог успехов в продвижении на следующую ступеньку. Главные мысли начальников всех рангов касаются того, каковы ближайшие и долгосрочные цели их собственного начальства, что их руководители собираются предпринять, на кого они рассчитывают и кого боятся. Тот, кто не учтет всех этих моментов, может оказаться у разбитого корыта, столкнувшись с неожиданными поступками и внезапной сменой линии поведения тех, от кого зависит карьера данного начальника. К счастью для заинтересованных лиц, основная масса начальников любого уровня не только обладает высокоразвитой способностью понимать цели и мотивы поведения других людей, но и сама оказывается вполне предсказуемой в своих реакциях и поступках. Это легко понять, если взглянуть на любого из составляющих эту массу не снизу, как это привычно нам, обычным, не занимающим завидных должностей людям, а сверху – с позиции начальника этого начальника. Кто захочет иметь среди своих ближайших и доверенных сотрудников человека, чьи цели непонятны или настолько нестандартны, что делают его совершенно непохожим на обычных известных нам людей? Никто не захочет. И если ему придется на это пойти, будет с нетерпением дожидаться того момента, когда сможет, наконец, избавиться от такого подчиненного. Ведь иметь его в своем ближайшем окружении, это значит сидеть на бочке с порохом – ты вынужден ему доверять, но не можешь на него положиться. Поскольку его цели для тебя непрозрачны, ты не знаешь, что́ он может выкинуть в следующий момент или как он поведет себя в решающей ситуации. Поэтому одно из существенных условий успешной начальственной карьеры – принципиальная прозрачность для окружающих. Твои цели должны быть, в основном, понятны тем, решающим что-то в твоей судьбе людям, с которыми тебя сталкивает жизнь. В идеале, желающий быть начальником должен иметь лишь одну ясную всем цель – удержаться на своем месте и вскарабкаться на следующую ступеньку иерархии. Понятно, что это лишь идеальный образец, который в жизни до конца воплощен быть не может. Каждый реальный начальник имеет и другие побочные цели, которые в определенных случаях могут конкурировать с главной, но это не страшно, если такие отклонения от идеала проявляются в привычных, стандартных и понятных для окружающих формах. Таким образом, первостепенные для каждого начальника задачи по предсказанию поступков своего начальства и (на втором месте) своих партнеров – таких же начальников, как и он сам – заметно упрощаются, поскольку практически все учитываемые в игре лица стандартизованы предыдущим отбором – от них не стоит ожидать ничего экстравагантного и непредусмотренного требованиями известной всем игры. Они превращаются в фигуры с заранее известным набором ходов: конь ходит *буквой Г*, а слон – по своей диагонали и т.п. Тем самым, задачи по предсказанию ходов-поступков становятся типовыми, их решения не зависят от индивидуальности человека, чье поведение прогнозируется. Само это поведение уже заранее стандартизовано и определяется относительно небольшим количеством факторов, которые, в принципе, поддаются выяснению и учету. Несмотря на то, что любой начальник – не идеальная шахматная фигура, а живой человек со своими страстями, страстишками, особенностями характера, болезненными детскими комплексами и индивидуальными душевными склонностями, и в этом отношении он в значительной степени подобен нам с вами, все же, в отличие от нас, он не только хотел стать начальником, но и стал им, а это значит, что основная линия его поведения определяется его выгодой, и его индивидуальные особенности не мешают осуществлению такой рациональной стратегии – иначе он не смог бы успешно играть в ту игру, в которой он участвует. Зная, в чем состоит выгода того или иного начальника, можно заранее с большой вероятностью предсказывать их поведение.

Но это в гораздо меньшей степени справедливо в отношении третьей категории лиц, с которыми приходится иметь дело типичному начальнику, то есть в отношении подчиненных.

Большая часть этой разношерстной публики либо вовсе не участвовала в отборе на способность быть начальником, либо, участвуя, не обнаружила таких способностей, и многие не прошли сито отбора именно из-за своей нестандартной структуры целей, непредсказуемости поведения и, соответственно, неуправляемости. Предсказывать реакции и поступки таких разномастных нестандартизованных индивидов (не соответствующих по своим параметрам никакому единому ГОСТу), а следовательно, и управлять их поведением, планируя достижение своих начальственных целей, оказывается непростой задачей. Можно предположить, что в ее благополучном разрешении начальники не так уж и заинтересованы: их карьера в гораздо меньшей степени зависит от поведения подчиненных, нежели от поведения их руководителей и партнеров. Все это так, но все же начальник потому и называется *начальником*, что своих целей он добивается, руководя действиями подчиненных ему людей. Если человек оказывает существенное влияние на некие социальные процессы, не используя для этого формально подчиненных ему лиц, его можно – в зависимости от круга и способа его влияния – назвать *вождем, гуру, местным авторитетом, популярным публицистом* или *кумиром молодежи*, но *начальником* его не назовешь. Начальник – звено иерархической организованной структуры, и его функциональная роль заключается в трансляции нижестоящим подчиненным планов и задач, сформулированных вышестоящим руководством. Для успешного выполнения этой роли всякий начальник пытается подобрать себе в качестве подчиненных таких работников, которые не только обладают профессиональными навыками, необходимыми для выполнения поставленных начальством задач, но еще и достаточно просты и предсказуемы в своем поведении. И это не каприз начальника, не его желание облегчить себе жизнь – этого требуют интересы дела, интересы той организации, в которой нашли себе место и начальник, и его подчиненные. Каким бы виртуозом по вытачиванию гаек ни был некий токарь, но если он, побуждаемый ему одному известными причинами, может в любой момент заглушить станок и уйти с завода или вдруг, повинуясь собственному желанию, вместо гаек взяться за втулки, работник из него никудышный. Еще опаснее и неприемлемее в качестве подчиненного технолог, способный по своей воле внести изменения в чертежи, по которым изготовляют эти самые гайки и втулки. Никакие его таланты и квалификация не спасут его от замены на менее, может быть, квалифицированного, но более послушного и предсказуемого специалиста. Одно лишь подозрение в непредсказуемости и неуправляемости дисквалифицирует сотрудника в глазах его начальства, и мы должны согласиться, что негативное отношение начальников к таким подчиненным вполне рационально и оправдано, с точки зрения интересов не только конкретного начальника, но и той организации, к которой начальник принадлежит.

Мертвого Мидаса уши

Все вышесказанное с неизбежностью влечет к выводу о том, что человек, обладающий интеллигентностью, которая заметно превышает средний уровень, будет в глазах начальства плохим, не заслуживающим доверия подчиненным. В лучшем случае у него будет репутация подозрительного и опасного человека, за которым нужен особо бдительный присмотр и с которым разумнее всего было бы расстаться при ближайшей возможности. И мы уже согласились, что такая реакция начальников в основе своей рациональна (хотя, вероятно, многими из них она внутренне переживается как иррациональная идиосинкразия к интеллигентам). Ведь вызываемые проявлением интеллигентности поступки не только непредсказуемы, они принципиально непредсказуемы – даже сам попавший под подозрение интеллигент не может заранее знать, какую именно истину узрит его свободно функционирующий ум в следующий момент. Нельзя быть уверенным и в том, что узревший неудобную истину интеллигент спрячет ее поглубже в карман и будет благоразумно

помалкивать, осознав, что ее обнародование может больно ударить по его интересам. Будучи *интеллигентным*, ему, согласно нашему определению, не всегда удается следовать этой выгодной для него тактике, поскольку во многих случаях внутренняя борьба в его душе заканчивается победой интересов *ума* над интересами *я*, что приводит к поступкам, прямо противоречащим его собственной выгоде. Здесь стоит вспомнить о поведении *мадам Х*, а также о древней байке, известной нам от Овидия и других античных авторов, а именно о предании, повествующем о царе Мидасе и его ослиных ушах[30].

Один из героев этой поучительной сказочки – брадобрей – описан как человек чрезмерной, редко встречающейся интеллигентности. Несмотря на угрожавшую ему казнь (т.е. максимальный ущерб его интересам) он не мог справиться с внушениями собственного *ума*, вновь и вновь требовавшего обнародовать в интересах истины выясненную им пикантную подробность о личной жизни царя. С другой стороны, тот же *ум*, обслуживая интересы *я*, резко этому сопротивлялся и приводил очень весомые доводы в пользу решения молчать, тем более что обнародование никакой пользы брадобрею принести не могло. Измученный противоборством разнонаправленных побуждений в его душе брадобрей придумал остроумный выход, но тут в дело вмешались какие-то еще непонятные нам природные силы, и даже такая компромиссная уступка требованиям собственной интеллигентности окончилась для брадобрея печально. Мораль сей басни обращена не только к интеллигентам, предупреждая их об опасности свойственной им манеры поведения, но и к начальникам – ведь Мидас поплатился своей жизнью и репутацией за то, что воспользовался услугами специалиста, не проверив предварительно уровень его интеллигентности. Правда, предъявлять царю такие претензии не вполне справедливо. Занимая царский трон по праву рождения, он, конечно, не был настоящим начальником. Те, кто сегодня добирается до высших ступеней власти, таких ошибок допустить не могут.

Сказка становится еще интереснее, если обратить внимание на самое начало этой цепи событий, приведшей ее главных героев к печальному концу. За что был наказан ослиными ушами царь Мидас? Нет ни малейших сомнений, что это было наказанием за проявление им интеллигентности. Ведь он высказал свое суждение об игре состязавшихся только из стремления к истине, не заботясь о том, может ли это высказывание принести ему пользу. Будь он *простым человеком*, он бы, оказавшись в такой неприятной ситуации, думал бы не о истине, а том, чтобы не нажить себе могущественных врагов, и, возможно, сумел бы как-то выкрутиться. Таким образом, в предании очень красочно изображено, как два древних интеллигента довели своей интеллигентностью и себя, и друг друга до мучительной гибели.

---

[30] Вот как звучит это предание в пересказе Р.Грейвса:
«Мидас присутствовал на знаменитом музыкальном состязании между Аполлоном и Марсием, судьей которого был речной бог Тмол. Тмол присудил приз Аполлону; а когда Мидас не согласился с его решением, наделил его ослиными ушами. Долгое время Мидасу удавалось прятать уши под высокой фригийской шапочкой, но его цирюльник, узнав о таком уродстве, не сумел сохранить тайну даже под страхом смерти. Страдая от того, что никому не может доверить свою тайну, он выкопал на речном берегу ямку, огляделся, чтобы вокруг никого не было, и прошептал: «У царя Мидаса ослиные уши!» Затем он закопал ямку и со спокойной душой пошел домой. Но покой его длился недолго: из ямки вырос тростник, который передавал секрет всем прохожим. Когда Мидас узнал, что его уродство ни для кого не секрет, он приговорил цирюльника к смерти, напился бычьей крови и мученически умер» (Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М.: Прогресс, 1992, с. 216-217)

Интеллигентность как страсть

Наблюдая подобное поведение интеллигентных людей, начальники приходят к обоснованному заключению, что они не только непредсказуемы, но и неуправляемы. Интеллигент интеллигентствует не по собственному решению, а по велению живущего в нем *ума*, и бесполезно, следовательно, уповать на стимулы, связанные с интересами его *я*, – реальным субъектом интеллигентного поступка оказывается не *я*, а *ум*, на который эти стимулы не действуют. Если всадника понесла лошадь, нет смысла обращаться к нему с посулами и угрозами, он бы и сам рад остановиться, да не может, а лошадь посулов не слышит. Отталкиваясь от этих соображений и фактов, естественный ход начальственной мысли доходит до формулы: на интеллигентных людей полагаться нельзя, они только с виду такие мягкие, предупредительные и уступчивые, на самом же деле в каждом из них кроется потенциальный смутьян и дезорганизатор нормально текущих жизненных процессов. Благодаря логически безупречной процедуре интеллигенты оказываются в категории лиц, которые не полностью владеют собой и могут совершать поступки, прямо противоречащие их жизненным интересам, то есть той категории граждан, куда обычно относят душевнобольных, имеющих официально установленный диагноз психического заболевания, лиц, страдающих тяжелыми формами алкоголизма, наркоманий и других явно выраженных аддикций (например, лиц с болезненным пристрастием к азартным играм), клептоманов и т.п. Не так уж и давно все эти отклонения от простой, нормальной, здоровой психики, управляемой из одного, интегрирующего все человеческие побуждения центра, обозначались одним емким и очень точным словом *одержимость*. Такие люди рассматривались как одержимые бесами. Поскольку поступки, совершаемые ими, нельзя было приписать воле самого человека ввиду их очевидной бесполезности и даже вредности для самого совершающего эти поступки, их приписывали самостоятельному злому началу – *бесу*, поселившемуся в человеке и подчинившему себе его волю, так что человек, можно сказать, и не совершает эти поступки (их совершает бес) и, следовательно, не может нести за них полную юридическую ответственность.

Современная психология ничего не говорит о бесах, но их место сегодня занимают *психологические комплексы* – источники психической активности, не интегрированные в *я* и вытесненные за его пределы. Они, как и бесы, обладают своей внутренней энергией и движимы собственными побуждениями, независимыми от целей и мотивов *я* и непонятными ему, так что поступки, обусловленные действующими из глубин подсознания комплексами, воспринимаются как чужие, навязанные человеку извне. Не как его собственные действия, смысл и целенаправленность которых он хорошо понимает, а как результат действия независящих от него сил, часто входящих в конфликт с целями и принципиальными установками *я*. Вероятно, только в редких случаях самостоятельная, интеллигентная активность ума может приобретать характер, свойственный бесовским комплексам, мотивация и механика проявлений которых полностью непрозрачна для сознания. Обычно мы сталкиваемся с гораздо более мягким вариантом проявлений интеллигентности, не доходящей до степени одержимости и не выливающейся в виде неукротимого, не считающегося ни с чем психического импульса. Наверное, наиболее подходящим для описания интеллигентности понятием является *страсть* – выступающая в форме чувства часть нашей души, которая сходна с комплексом в том, что обладает самостоятельностью и не выводима из других активных психических сил (не инструментальна), но в отличие от явных бесовских наваждений *страсть* интегрирована в *я* и даже, можно сказать, входит в состав его структуры. Законность побуждений страсти *я* признает и заботится не о полном искоренении страстей и об освобождении от их власти (такая атараксия – чистая фикция, недостижимая в реальности и противоречивая в теории), но лишь о некотором гармоническом равновесии страсти с другими умеряющими ее побуждениями, которые не позволяют данному влечению стать

всепоглощающим и сравняться в этом с болезненной одержимостью[31]. ***Стремление к истине, понимаемое как страсть*** – пожалуй, и есть наиболее точное на данный момент определение *интеллигентности*.

Начальник vs интеллигент

Начальнику, выступающему в своей начальнической роли, не до выяснения тонких различий между *одержимостью* и *страстностью* – им движет простой прагматический интерес, и, руководствуясь им, начальник вполне резонно относит людей с выраженными проявлениями интеллигентности к сборной категории ненадежных, трудно предсказуемых и плохо управляемых людей, от которых не знаешь, чего и ожидать. Такие люди, при всех их возможных достоинствах, потенциально опасны для дела, которым руководит данный начальник, и для его личной карьеры.

При этом, если в качестве подчиненного интеллигентный человек еще может быть терпим – надо только отодвинуть его подальше от рычагов управления, то интеллигентный человек, стоящий в начальственной пирамиде ступенькой выше, представляет прямую угрозу благополучию и карьере всех зависящих от него начальников меньшего ранга. При появлении среди начальников интеллигентных людей весь рациональный иерархический механизм, построенный на взаимовыгодном обмене услугами по известной стоимости, на взаимных подмазываниях, подсиживаниях, сложнейших комбинациях и интригах в сочетании с простейшими демонстрациями власти и запугиванием, начинает сбоить. В нем появляется непредсказуемый и непредусмотренный конструкцией элемент – некая *правда*, которую не купишь и не запугаешь и которой дела нет до благополучия всей начальственной пирамиды и до принятых в ней правил игры.

Предположим, наш начальник, благодаря свободной игре своего незаурядного ума, приходит к убеждению, что то, чем наш отдел (главк, комитет, департамент) занимается со времен царя Гороха и в чем он накопил гигантский опыт, никому не нужно. Мало того, что вся наша деятельность не приносит никакой пользы тем, ради кого мы, якобы, стараемся, но она еще и прямо противоречит уставным целям той организации, чьим отделом мы являемся. Если наш начальник – *простой* человек, то он просто и отбросит свои гениальные мысли как легкомысленную блажь, неприличную для той солидной, облеченной властью персоны, каковую он представляет. Все его умственные построения рассеются и забудутся, как только он встанет с дивана и возвратится к своим ответственным, серьезным делам по руководству

---

[31] У Даля *страсть* и *одержимость* переходят друг в друга без отчетливой границы, как и наблюдается в привычном словоупотреблении: «*Страсть*, душевный порыв к чему, нравственная жажда, жаданье, алчба, безотчетное влеченье, необузданное, неразумное хотенье. В животном *страсти* слиты в одно с рассудком, образуя *побудку*, а потому *в страстях животного* всегда есть мера; *страсти человека*, напротив, отделены от разумного начала, подчинены ему, но вечно с ним враждуют и никакой меры не знают. *Всякая страсть слепа и безумна*, она не видит и не рассуждает. *Человек в страсти пуще зверя. Страсть к игре. Скупость легко обращается в страсть. Нет страсти неистовее безумной любви, но и она гаснет современем; напротив, властолюбие, обратившись в страсть, растет с годами. Любовь и ненависть противоположные страсти. Его обуяла несчастная страсть*» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. Р – V. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1953, с. 336).

Ближе к нашему пониманию толкование в словаре Ушакова: «Сильное чувство, увлечение, создаваемое побуждениями инстинкта» (**Страсть** // Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н.Ушакова. В 4 тт. Т.4. С – Ящурный. М.: Астрель; АСТ, 2000, стлб. 547-548)

отделом[32]. Но, если, не дай бог, окажется, что в кресло начальника отдела каким-то образом просочился интеллигентный человек, для всех нас – его прямых подчиненных – это может стать просто крахом. Начальники нашего начальника тоже, вероятно, не одобрят возникшей в его уме ереси, но все же для них поведение начальника одного из отделов – лишь второстепенное обстоятельство, которое следует учесть (а, по возможности, и использовать в своих целях), но которое не затрагивает основ их собственной стабильности. Мы же, для кого начальник отдела – царь и бог, в руках которого все кнуты и все пряники, оказываемся в незавидной ситуации. Что мы должны теперь делать, чтобы удостоиться его похвалы и повышения по службе? Сделает ли он своим первым замом того, кто раньше всех успеет разогнать всех своих сотрудников и закрыть все подчиненные ему филиалы на периферии? Кем мы будем руководить, если дружно включимся в конкуренцию за этот вожделенный пост? И не урежут ли нам жалованье, если наш отдел сократится до начальника и пяти его заместителей? Как посмотрят на все это вышестоящие? Поддержат ли они такую реорганизацию или досрочно отправят нашего начальника на пенсию по инвалидности? Все становится совершенно непредсказуемым и не поддается рациональному расчету. А потому первая забота всякого начальника – не попасть в подчинение к интеллигентному (или заподозренному в интеллигентности) человеку, и в этом его поймет любой, входящий в корпорацию начальников.

Система отбрасывает любого, кто дал повод усомниться в своей стопроцентной неинтеллигентности. Всякий, желающий стать начальником должен всеми силами искоренять в себе малейшую склонность к бесплодному умствованию (особенно в сфере профессиональных занятий, но лучше бы и во всех прочих сферах), но еще пуще того опасаться, что внешние проявления такого умствования станут известны окружающим. Каждый, кто даст себя в этом заподозрить, поставит жирный крест на своей начальственной карьере. Поэтому-то мы и не ожидаем увидеть в начальственном кабинете интеллигентного человека – даже если он туда попадет, он будет всячески подчеркивать и демонстрировать свою неинтеллигентность. Распознать его будет не так-то просто. Поэтому же у сторонних наблюдателей складывается впечатление об особой, из ряда вон выходящей тупости племени начальников – вспомним хотя бы образ *генерала* в классической русской литературной традиции. Но это всего лишь оптическая иллюзия, неверное истолкование смысла рассматриваемого явления. В действительности, средний начальник заметно умнее и смышленее большинства тех, кого он вызывает к себе «на ковер». Но понять и заметить это удается редко. Никто не спорит, что втолковать что-либо стандартному начальнику, как правило, не удается – он просто и тупо не понимает того, о чем вы ему толкуете, и, даже если вы его чем-нибудь заставите напрячься и постараться вникнуть в суть излагаемого вопроса, шансы, что он действительно поймет, о чем идет речь, близки к нулю. Однако это всего лишь результат его личной незаинтересованности в излагаемом деле – он не видит в нем пользы, а потому и не понимает его смысла. Смысл и польза для него нераздельны. Но как только он почует пользу, он поймет вас с полуслова: его мозги, наконец, получат приказ включиться и, вполне вероятно, он увидит в проблеме такие интересные для него аспекты, о которых вы и сами не подозревали. Его ум выполнит свою инструментальную функцию и обнаружит потенциальную мощь, о которой до того трудно было бы догадаться.

---

[32] *Чего тут думать – работать надо!* – резюмирует известный анекдот, в котором сравнивается психология простого трудящегося человека с психологией бездельничающей любопытной обезьяны, бездумно тратящей потенциал своих трех извилин на поисково-ориентировочную деятельность.

Отсюда можно сделать простой и заранее предполагавшийся вывод: выраженная интеллигентность и способность быть начальником практически взаимно исключают друг друга, по крайне мере, они очень плохо уживаются в одном и том же человеке[33].

Волк и ягненок

На этом можно было бы закончить с выяснением ответа на заданный в заглавии статьи вопрос: причина иррациональной, на первый взгляд, неприязни начальников к интеллигентам оказалась вполне разумной и логично вытекающей из социальных установок этих групп, вынуждающих их быть в перманентном конфликте. Однако есть еще один небольшой, но довольно каверзный вопрос, который, оставшись без удовлетворительного ответа, вызывает сомнение в правильности наших предыдущих рассуждений. Если основная претензия начальников к интеллигентам связана с непредсказуемостью и неуправляемостью последних, то почему же начальники не испытывают столь же острой неприязни к сумасшедшим и к злостным пьяницам – категориям лиц, имеющих те же неприемлемые начальниками особенности поведения, что и интеллигенты, но при этом значительно превосходящих их по количеству? Почему все прочие мешающие руководству граждане рассматриваются им как недоброкачественный, осложняющий деятельность элемент, и лишь интеллигенты – почти как личные враги? Я думаю, что дело здесь в особом психологическом компоненте, осложняющем почти каждый конфликт между простым начальником и интеллигентным подчиненным.

Если не увлекаться идеализацией начальников и не рассматривать их поведение как чистую функцию тех постов и должностей, которые они занимают, то придется признать, что подавляющее большинство начальников имеют те же психологические свойства, что и все остальные люди. В частности, начальственный ум так же, как и у всех, может работать в интеллигентном (свободном) режиме, а следовательно, практически каждый начальник обладает определенной степенью интеллигентности. Пусть ее средний уровень у начальников снижен, по сравнению с другими группами населения, вследствие жесткого предварительного отбора. Пусть он снижается еще больше вследствие привычки к строгой цензуре всех своих суждений и высказываний, чтобы не вызвать у окружающих подозрений в интеллигентности, и вследствие натренированной способности не давать своему уму излишней свободы. Но как бы не снижалась степень выраженности этого опасного для начальников свойства, совершенно невозможно полностью от него избавиться, ведь оно – характерный признак всего человеческого рода. А потому начальник, как и все мы, нередко способен увидеть, понять и осмыслить ненужную для него правду. И в этом принципиальном сходстве начальников с людьми кроется, по-моему, причина их особого отношения к интеллигентам. Каждый раз, когда начальник вынужден что-то предпринимать, нейтрализуя интеллигента с его неудобной правдой и затыкая ему рот, он не может внутренне не чувствовать его правоту: правда, если она действительная правда, – правда для всех, в том числе и для начальника, который вынужден противостоять тому, что он сам же считает правдой. Ничего подобного не возникает в ситуациях, когда начальник сталкивается с пьяницей, сорвавшим выполнение важного заказа (тот и сам понимает, что его поступок противоречит здравому смыслу и заслуживает осуждения), или с сумасшедшим (у этого, конечно, есть убежденность в своей сумасшедшей

---

[33] Интересно, что нечто, отдаленно подобное такой отрицательной корреляции между интеллигентностью и способностью занять доминирующее положение в группе, наблюдается и у животных. Как пишет П.В.Симонов в уже цитированной книге: «Наиболее сильно исследовательская активность выражена у среднеранговых животных. При помещении в клетку с крысами нового рычага для получения пищи доминирующий самец стремится закопать этот предмет, а приближенная самка подражает ему. Первыми осваивают новый рычаг среднеранговые крысы. Низкоранговые боятся нового и потому пассивны» (Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987, с. 37-38)

правде, но начальник-то ее правдой не считает). Таким образом, противостоя разнообразным нарушителям заведенного начальством порядка, начальник в большинстве случаев остается в согласии со своим представлением об истине, и лишь интеллигенты ставят его в положение человека, который вынужден поступать наперекор своему ощущению истины. Только беспредельно циничные люди могут с полным равнодушием настаивать на том, что ясно воспринимаемое черное – *белое*, у большинства более или менее нормальных людей необходимость такого поведения вызывает чувство душевного дискомфорта, ощущение беспомощной злости. Юпитер сердится именно потому, что он не прав и осознает свою неправоту. Естественно, его злость обращается на того, кто поставил его в столь унизительное положение, то есть на интеллигента.

Хороший пример этой коллизии дает басня «Волк и ягненок». Ягненок в ней, конечно, не может быть полностью уподоблен интеллигенту, поскольку в своих возражениях волку руководствуется не чистым стремлением к истине, а желанием спасти свою жизнь, но вот позиция волка совершенно совпадает с той, в которой оказывается начальник в стычках с интеллигентами. Волк в басне – субъект здравомыслящий и не лишенный чувства справедливости, которое подает ему необдуманный совет: обвинить ягненка в каком-то проступке, а затем представить расправу с ним как возмездие за нанесенный волку ущерб и покушение на волчьи права. И вот тут-то, втянувшись в спор с отчаянно защищающимся и, главное, убедительным в своей защите ягненком, волк оказывается вынужденным на каждом шагу признавать истинность предъявляемых ему аргументов. В этом споре ему, что называется, нечем крыть. Начав с желания создать хотя бы видимость справедливости, волк приходит к положению, в котором его несправедливость выявлена, доказана и разложена по полочкам. Конфликт ведет волка к необходимости отбросить привычную маску строгого, но справедливого начальника и обнажить свою волчью сущность, и потому он не просто съедает ягненка, как того требует волчий аппетит, но съедает его с отвращением и глубокой обидой на маленького смутьяна, сумевшего в последние минуты жизни уязвить своего повелителя до самых печенок.

Вопреки своему обещанию быть кратким и лишь ненадолго отвлечься от рассуждений об интеллигенции и интеллигентах, чтобы ответить на вопрос о причинах нелюбви к ним начальников, я выпустил вожжи из рук и пустился по прихоти своей туда, куда повлек меня свободный ум, что в итоге вылилось в уже известный читателям эскиз *Идеального начальника* – набросок субъективный и, вероятно, весьма далекий от реалистических портретов реальных начальников, но, надеюсь, не искажающий реальность в ее общих чертах. Хотя в отношении плодов своего свободного ума я, по определению поэта, *сам свой высший суд*, все же для оправдания перед читателями скажу, что главной причиной пространности этюда о начальниках следует считать не мой личный каприз, но внутреннюю логику текста и требования композиции. Несмотря на то, что явно выраженной целью работы было описание *интеллигента*, само упоминание *начальника* в заглавии, а также структура завязки, построенной на конфликте *начальников* и *интеллигентов*, неизбежно привели к тому, что *начальник* вместо уготованной ему автором роли второстепенного персонажа, выполняющего служебные функции, выдвинулся на авансцену и стал одним из главных протагонистов сочиняемого текста. Смутное понимание того, что *начальник*, привлекший внимание читателя в завязке, не может сойти теперь со сцены, не удостоившись никакого развития своего образа[34], и стало неосознаваемой для автора, но действительной причиной того направления мыслей, которое и привело к появлению данного *эскиза о начальниках*. Однако теперь требования правильной композиции удовлетворены в той степени, на которую я оказался способен, и мы можем вернуться к основной линии наших рассуждений.

[34] Обрыв этой сюжетной линии был бы непростительным обманом читательских ожиданий и, следовательно, художественным дефектом текста.

Часть 3
Зачем нужны интеллигенты

[1]Интеллигенция *vs* [2]интеллигенция

Напомню, что перед этим пространным лирико-социологическим отступлением я обещал заняться исследованием той своеобразной социальной механики, благодаря которой интеллигентный человек в проявлениях своей интеллигентности вынужден вступать в многочисленные, затяжные и часто весьма резко выраженные конфликты с теми, кто составляет основную массу интеллигенции. Казалось бы, конфликты такого рода могут возникать только по недоразумению, так как и интеллигентный человек ([1]интеллигент) и [2]интеллигенция призваны выполнять одну и ту же функцию – функцию *ума общества*, и следовательно, их цели должны в подавляющем большинстве случаев совпадать. Они могут вступать в споры и даже затяжное противоборство относительно того, какое из высказанных мнений истинно, какие из предложенных решений проблемы более перспективны, чьи аргументы более убедительны и т.п., но любые такие разногласия являются спорами между единомышленниками, стоящими на одной принципиальной платформе – их общая цель достижение истины. Однако мы видим – и не только на вымышленном примере, – что и в среде интеллигенции, то есть в составляющих ее профессиональных организациях, существует выраженная тенденция: при противоречии, возникающем между некой истиной и личными или групповыми интересами, поступать в соответствии с этими интересами, игнорируя, а во многих случаях даже грубо подавляя истину и ее интеллигентных глашатаев. Но, если это так, мы неизбежно приходим к выводу, что [2]интеллигенция не вполне соответствует своему определению: в него надо вносить какие-то поправки, поскольку во многих случаях эффектом деятельности [2]интеллигенции оказывается не сохранение и приумножение истины, а напротив ее сокрытие и подавление. Это равносильно тому, что результатом деятельности ума оказывается ложь. Но возможно ли это? Не входит ли это в противоречие с исходным определением ума? Нет, не входит. Наше базовое представление об уме вовсе не упоминает об истине, которая, если и появляется в связи с деятельностью ума, то лишь как полезная истина – та, что может помочь хозяину ума решать его проблемы.

Мы опять приходим – на новом витке рассуждений – к уже достигнутому пониманию деятельности ума, только здесь речь идет уже не об индивидуальном уме, а об уме общества. Общество, в качестве обладателя ума, ставит своему уму, в качестве которого выступают социальные институты, объединяемые в [2]интеллигенцию, некоторые цели и ожидает от ума выяснения наиболее оптимальных путей их достижения. Работая в инструментальном режиме и обслуживая общество, [2]интеллигенция вполне последовательно отмахивается от бесполезных истин, которые не могут помочь в разрешении актуальных задач, и, если носители таких истин начинают мешать членам [2]интеллигенции, то такие не способные ходить строем интеллигенты, оказываются в числе нежелательных, тормозящих общую работу элементов.

Как следовало из нашей истории о конфликте в Ученом совете, той части [2]интеллигенции, о которой шла речь, требовался новый лабораторный корпус. Предположим, что он действительно был нужен для успешного выполнения уставных задач академии, в частности,

для подготовки и профессионального образования молодых кадров внутри данной растущей и развивающейся отрасли [2]интеллигенции. Даже глядя со стороны и не принимая во внимание массу индивидуальных интересов, связанных с достижением данной конкретной цели (таких как повышение престижа и значимости академии в целом, а следовательно, и ее руководителей, расширение кафедр, появление новых ставок и рабочих мест, нового оборудования и, соответственно, новых возможностей для повышения профессионального статуса и увеличения доходов сотрудников академии и т.д.), мы должны согласиться, что цель, к достижению которой устремлены возглавляемые начальством профессора, доценты, а также сотрудники бухгалтерии и отдела капитального строительства, разумна, вытекает из реальных запросов дела и, что самое главное, адекватна важнейшей задаче, поставленной обществом перед интеллигенцией – сохранению и ретрансляции в поколениях всей суммы накопленных человечеством знаний. Новый корпус предназначен для того, чтобы в нем учились студенты, которые, усвоив необходимый для избранной специальности запас истин, будут использовать его в интересах всего общества и в свою очередь передадут его следующим поколениям. Решение этой крупной задачи, естественным образом требует решения множества проблем на каждом уровне, как внутри академии, так и за ее пределами. Необходимо учесть множество факторов, согласовать позиции различных сторон, найти компромиссные решения, поступиться чем-то относительно маловажным, чтобы выиграть в кардинальных вопросах – все это и представляет задачу для общественного ума, роль которого в данном случае играет академия как часть системы образования и как организация, представляющая интеллигенцию. На фоне этих сложных проблем, вопрос о том, станет ли кандидатом наук какой-то малообразованный и недостойный этого научного звания человек, представляется совершеннейшим пустяком. Ну и что ж, что он не умеет взять производную от *cos x*. Это, конечно, плохо, но, позволив ему жевать в уголке ту крошку общественного пирога, которую ему удастся урвать в результате защиты диссертации, мы проведем в жизнь свои планы и за ближайшие годы подготовим тысячи квалифицированных специалистов, не только освоивших азы дифференциального исчисления, но и во всех отношениях стоящих на современном уровне научных и технологических знаний. Если взглянуть на дело в целом, то окажется, что академия успешно выполняет задачи, поставленные обществом перед данной отраслью интеллигенции, и что процент брака в ее работе, куда войдет и упомянутый малограмотный «ученый», составляет лишь незначительную долю всего интеллектуального продукта деятельности этой организации.

Эти хваленые интеллигенты

Рассуждая, вроде бы, логично, мы пришли к выводу, что организация и поведение лиц, входящих в [2]интеллигенцию, рациональны и адекватны той профессиональной роли, которую они взяли на себя, – роли ума, обслуживающего интересы данного общества. Пусть некоторые аспекты их деятельности, подобные обсуждаемому эпизоду, выглядят некрасиво, пусть им время от времени приходится поступаться истиной и впутываться в неблаговидные комбинации, но в целом – как организация – они делают свое дело. Они обычные, не лишенные недостатков люди, и от них нельзя требовать идеального совершенства. Конечно, и в среде [2]интеллигенции, как и везде, есть свои жулики и проходимцы, которым глубоко наплевать на социальную роль интеллигенции и на профессиональные правила поведения, но не они определяют общее направление движения. Их присутствие в системе может ограничивать ее эффективность и снижать коэффициент полезного действия, но в целом работа данной социальной машины определяется не целями составляющих ее элементов, а наличием в ней разнообразных управляющих механизмов, обеспечивающих единство действий всех сотрудников данной организации и их подчинение воле общества. Важнейшими из этих механизмов, по-видимому, следует считать наличие пронизывающей все уровни

иерархической структуры, которая, приписывая каждому сотруднику определенный ранг и подчиняя его решениям вышестоящих в этой структуре лиц, делает организацию более жесткой и интегрированной, а также существование материальной зависимости сотрудников от их деятельности в данной организации, что обеспечивает вышестоящие звенья структуры необходимыми рычагами управления нижестоящими. Каждый сотрудник делает то, что от него требует начальство, и получает за это соответствующее вознаграждение. При такой организации умственного труда присущая индивидам интеллигентность не только оказывается избыточной – ведь функцию ума выполняет не индивид, а учреждение, в котором он трудится, – но даже, как мы выяснили, во многих случаях вредит деятельности [2]интеллигенции, поскольку может нарушить слаженную общую работу.

Если это так, то приходится признать, что не так уж неправы те, кого мы, рассуждая о спорах вокруг понятия *интеллигенция*, обозначили как «нигилистов», яростно отрицающих само существование особой категории *интеллигентных людей* и противопоставляющих им четкое и ясное европейское представление об *интеллектуалах*. Конечно, как мы уже разобрались, интеллигентные люди существовали испокон веку и продолжают существовать – здесь «нигилисты» явно перегибают палку. Но пафос их выступлений связан не столько с отрицанием этого факта, сколько с желанием доказать, что *вся эта хваленая интеллигентность ничего не значит – грош ей цена*. И вот с этим – пусть несколько запальчиво выраженным – утверждением нам, исходя из предыдущих рассуждений, придется, по-видимому, согласиться.

С тех пор, как функция ума общества перешла от расплывчатого и аморфного сообщества интеллигентных индивидов к социальным институтам и организациям, объединяющим [2]интеллигенцию, роль интеллигентности как особого ярко выраженного качества, присущего некоторым людям, поневоле должна была практически сойти на нет. Сегодня, когда мы нуждаемся в специальных знаниях или когда мы должны принять обоснованное решение, требующее учета всех относящихся к делу обстоятельств, мы обращаемся к представителям соответствующих профессиональных сообществ: к врачам, инженерам, юристам и т.п. Именно у них мы ищем те, недостающие нам, но имеющиеся у человечества знания и опыт, особые навыки и умения, технологию и искусство, которые позволяют принять правильное в данной ситуации решение, с наибольшей вероятностью гарантирующее достижение нами желаемого результата. При этом в подавляющем большинстве случаев мы ожидаем от специалистов не их личного мнения по поводу решения наших проблем, а мнения, которое выражало бы сегодняшний взгляд на эти проблемы всего профессионального сообщества, чьим представителем является данный специалист. И это естественно. Приходя в поликлинику, мы рассчитываем на помощь, которую нам окажет не этот конкретный чем-то понравившийся нам субъект в белом аккуратно отглаженном халате, а вся современная медицина, по отношению к которой и этот врач, и вся поликлиника – лишь исполнители и носители всех имеющихся на сегодняшний день медицинских знаний и умений, лишь представители врачебной корпорации. Даже выбирая, к какому из врачей или в какую именно больницу обратиться со своими недомоганиями, мы ориентируемся на тот ранг, которым обладают те или иные представители медицины в самом медицинском сообществе, обращая внимание на ученые степени, звания, дипломы, титулы и награды. Всякий норовит попасть в известную клинику, и консультация профессора – это не то же самое, что осмотр участкового врача. То есть наше доверие к конкретному специалисту зиждется, главным образом, на доверии ко всему профессиональному сообществу и составляющим его учреждениям, и поэтому, в своих оценках представителей [2]интеллигенции мы руководствуемся теми внутренними рангами, согласно которым создается иерархия внутри самого этого сообщества. Однако, если сегодня основным носителем интеллигентности выступают не отдельные лица, а учреждения и организации, то нет смысла выделять [1]интеллигентов в особую социальную категорию. Вероятно, в быту они еще отличаются от других менее интеллигентных граждан, но, если они выполняют функции интеллигенции профессионально, то на своем рабочем месте они делают то же самое, что и другие, не отличающиеся высокой интеллигентностью специалисты, поскольку

профессиональное поведение и тех, и других определяется, главным образом, не их личными качествами, а требованиями системы, в которую они встроены. Таким образом, основной «нигилистический» тезис обнаруживает свою убедительность: действительно, чтобы выполнять сегодня функцию ума в обществе надо быть интеллектуалом, в то время как интеллигентность перестала играть важную роль в этом процессе. Ее социальная значимость утеряна, и, следовательно, само выделение интеллигентных людей в особую прослойку стало архаичным пережитком, который можно рассматривать как признак нашей отечественной культурной отсталости, уже отсутствующий в более цивилизованных краях.

Вот такой, печальный для тех, кто считает себя интеллигентными людьми, итог наших рассуждений. Никакой значимой роли в современном обществе носители интеллигентности не играют, и обладание ею никаких ощутимых дивидендов не приносит, скорее наоборот – в большинстве случаев оно только затрудняет профессиональную карьеру и препятствует успешной деятельности в качестве ума общества. У интеллигентов сегодня нет оснований гордиться своей интеллигентностью и лелеять ее как очень ценный – хотя и опасный для его носителей – дар богов. В нынешних условиях это талант, подобный способности перемножать в уме шестизначные числа. Вы, разумеется, вправе гордиться этим редким даром и даже поражать им своих родственников и знакомых, но, если вы попытаетесь использовать его на работе при расчете нагрузок проектируемого моста, ваш начальник резонно порекомендует вам не выделываться, а поступать как все, то есть использовать соответствующую вычислительную программу, с помощью которой это можно сделать в сотни раз быстрее и намного надежнее. Точно то же самое произошло и с интеллигентностью: социальный прогресс привел к тому, что интеллигентные люди стали не нужны обществу, их заменила армия интеллектуалов, без всякой страсти, но за приличное вознаграждение выполняющих функцию *общественного ума*.

Поворот «Все вдруг»

Однако, придя к такому удручающему итогу, надо, по-видимому, остановиться и задуматься: не ошибаемся ли мы в своих рассуждениях? Не представляют ли все эти внешне правдоподобные выкладки очередные интеллигентские бредни? (Я говорю *интеллигентские*, потому что только интеллигентный человек может придти к убеждению, что его интеллигентность не только для него лично является обузой, но и всем прочим не приносит ничего хорошего). Дело в том, что результат, к которому нас привел ход мысли, изложенный на последних нескольких страницах, оказывается в резком противоречии с тем непосредственным, не зависящим ни от каких логических построений ощущением, которое сопровождает восприятие ситуации, описанной в нашем гипотетическом примере. Глядя на всю эту нелепую возню вокруг никуда не годной диссертации, не испытываешь ни малейшего сомнения в том, что единственный правильно, разумно и естественно ведущий себя человек – это тот, кто прямо и без всяких задних мыслей указывает на обнаруженную им глупость. Только он и соответствует занимаемому им месту – ученого, специалиста, эксперта. Все же прочее «академическое сообщество» не только выглядит в этих обстоятельствах, мягко говоря, нереспектабельно, но и производит впечатление людей, дружными усилиями затягивающих петлю на собственной шее. Пусть это всего лишь непосредственное чувство, адекватность действительности которого не подтверждается пока что никакими рациональными доводами, но ведь в обыденной жизни мы так и действуем, основывая свои поступки не столько на логическом расчете, сколько на неизвестно как возникающих, но все же редко нас обманывающих чувствах. Чувство – такой же инструмент постижения реальности, как и рациональные рассуждения, и чаще всего наши выводы и оценки основываются и на тех, и на других свидетельствах разума – желательно только, чтобы они были согласованы и не

противоречили друг другу. В данном же случае мы столкнулись как раз с таким противоречием: наши чувства на стороне того, кто не обращает внимания на всякие махинации и прямо говорит правду, в то время как, рассуждая, мы пришли к выводу, что в подобных ситуациях для всего общества, а значит и для нас, выгоднее, чтобы члены Ученого совета закрыли глаза на эту неудобную правду и любым путем продолжали добиваться своих целей. Такое их поведение оптимально для решения задач, стоящих перед данной организованной группой интеллектуалов. Поскольку проверить истинность непосредственных ощущений нам не под силу, то, стараясь добиться согласованности своих полученных разными путями оценок, мы можем лишь одно: еще раз продумать свою систему аргументации, приведшую к заключению о социальной бесполезности интеллигентных людей в современных условиях, и попытаться найти в ней серьезные изъяны, обусловливающие ее принципиальную ложность.

Для этого вернемся к нашему исходному положению: организованные в специфические учреждения и сообщества члены [2]интеллигенции не обязаны обладать выраженной индивидуальной интеллигентностью и, в общем, не склонны интересоваться истиной как таковой, однако это не мешает им успешно работать в организациях, играющих роль общественного ума. Каждый из них получил соответствующее образование, является специалистом в своей области и использует накопленный им запас знаний и умений для того, чтобы удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему той профессиональной структурой, в которой он работает. Основным мотивом его деятельности является не постижение, приумножение или сохранение неких истин, а вполне прагматический интерес – получение как можно большего дохода от своей профессиональной деятельности и (связанное с этим) достижение как можно более высокого ранга в своей отрасли.

Наши предыдущие рассуждения были основаны именно на тезисе о том, что существование и эффективное функционирование структур, состоящих только из интеллектуалов и не содержащих [1]интеллигентов, вполне представимо в реальной жизни и, более того, в сегодняшних условиях роль общественного ума взяли на себя такие независимые от [1]интеллигентов социальные институты. Поскольку логические выводы из этого тезиса, противоречащие нашим чувствам, представляются нам сомнительными, следует проанализировать верность самого тезиса: действительно ли организации и сообщества, не включающие [1]интеллигентов, способны адекватно выполнять функции общественного ума, т.е. находить, репродуцировать и сохранять истины, требующиеся обществу для его успешного воспроизводства и прогрессивного развития? Анализом этого вопроса мы сейчас и займемся, разобрав еще один гипотетический пример.

Эти хваленые интеллектуалы

Предположим, что исследуемая нами организация (сообщество) состоит всего лишь из одного человека – интеллектуала, не обладающего высокой степенью интеллигентности. Пусть он законным образом претендует на то, чтобы выполнять обсуждаемую нами общественную функцию, будучи «лицом свободной профессии», получившим соответственное образование. Предположим для конкретности, что это журналист, который, окончив факультет журналистики МГУ, а затем и Высшие курсы сценаристов и режиссеров, выступает в печати в качестве кинокритика и специализируется в своей журналистской деятельности на проблемах современного киноискусства. Успешно законченные им два солидных учебных заведения и присущий с молодости определенный художественный вкус, позволяющий ему не только отличать талантливые фильмы от модной халтуры, но и высказывать проницательные суждения об их достоинствах и недостатках, гарантируют, что перед нами тот самый интеллектуал, о котором мы ведем здесь речь. У избранного нами персонажа нет никакого начальника, который имел бы формальное право указывать нашему журналисту, что и как ему

делать. Однако он сумел достаточно хорошо вписаться в ту журналистско-кинематографическую среду, в которой он уже много лет промышляет своими статейками. Прочные давнишние связи налажены у него с множеством фигурантов, выступающих на этом поприще: его все знают, и он со всеми знаком. Иначе он и не мог бы успешно работать. Он, что называется, «встроен» в эту профессиональную среду, чувствует себя в ней как рыба в воде и, вследствие этого, хорошо зарабатывает и имеет репутацию «крепкого профессионала». Несмотря на то, что он работает в одиночку, на собственный страх и риск, он – один из многочисленных элементов той обширной сети мелких и крупных организаций, которые выполняют функцию *ума общества* в этой специфической сфере деятельности.

Условия сформулированной нами задачи содержат исходное предположение, что в своей деятельности сей гипотетический кинокритик руководствуется исключительно своим узко понимаемым житейским интересом. Грубо говоря, все его мотивы в профессиональной сфере сводятся к стремлению получать как можно больший и устойчивый во времени доход. Будучи не чужд ничего человеческого и обладая достаточно острым и тренированным умом, он способен генерировать истинные (и даже оригинальные) суждения относительно фактов и событий в сфере своей профессии и верно оценивать чужие мнения и выводы, но если эти истины, возникающие у него в результате свободной деятельности ума, не оплачиваются и не ведут к увеличению его текущего и будущего дохода, они и не представляют для него практического интереса. Увлечься ими может лишь желторотый юнец, мечтающий поразить публику своими открытиями, или какой-нибудь «фрик», безуспешно обивающий пороги редакций, но не такой матерый профессионал как наш журналист. Он – интеллектуал (то есть трезвый и знающий, что почем, специалист, а не какой-то, прости, Господи, прекраснодушный интеллигент), а потому твердо держится правила, что смысл имеет только та истина, которую можно достаточно легко обменять на необходимые всем жизненные блага.

В условия задачи, помимо этого – основного – предположения, необходимо ввести еще одно допущение: предположим, что наш герой – абсолютно честный человек, никогда не идущий на сделку с совестью; человек, которого никакие барыши не могут ввести в соблазн преступить писаные и неписаные каноны своей профессии. В своей работе он не станет называть черное белым и восхвалять никуда негодную халтуру, не будет передергивать при цитировании или рассказывать гадости про лиц, чем-либо не угодивших сильным мира сего. Он никогда не опустится до лжи и сугубо принципиален во всех высказываемых им суждениях, ни в чем не погрешая против истины, как он ее понимает. Ясно, что этот безупречный интеллектуал представляет собой в высшей степени идеализированный образ киножурналиста, разительно отличающийся от подавляющего большинства своих реальных коллег. Но именно такой – столь же далекий от реальности как «материальная точка» или «абсолютно черное тело» – идеальный образ интеллектуала и нужен нам для рассматриваемой задачи. Его безупречная честность и принципиальность в профессиональных вопросах должна предостеречь нас от соблазна объяснять его отличия от «истинного интеллигента» невысоким моральным статусом, присущим среднестатистическому интеллектуалу. Дескать, настоящий интеллигент – в высшей степени честный и совестливый (мы уже видели, что некоторые запутавшиеся в проблеме авторы пытаются именно эти черты сделать основанием самого определения «интеллигентности»), а не обладающий избытком интеллигентности интеллектуал мало чем разнится в этом отношении от обычных двуногих – вот этим-то, дескать, и отличаются разбираемые нами персонажи и результаты их деятельности. Чтобы избежать в рассуждениях нежелательного соскальзывания в плоскость нравственных оценок, мы и вводим в условия задачи такой – явно нереалистичный – образ интеллектуала, который в моральном отношении не только не уступает любому реальному интеллигенту, но и может служить для него образцом честности и принципиальности. По условиям нашей задачи интеллектуал отличается от интеллигента только в кардинальном вопросе: *в своем отношении к истине*; во всем же прочем они предполагаются равными и достойными друг друга протагонистами.

Сформулировав условия нашей задачи, поставим теперь и венчающий ее вопрос: сможет ли описанный кинокритик достойным образом выполнять функцию *ума общества* в своей профессиональной сфере? Мне кажется, что подобная постановка вопроса в данной задаче сама собой переводит его в разряд риторических. Никакого другого ответа, кроме отрицательного, здесь невозможно предположить. В самом деле, если функция ума заключается в поисках истины и представлении ее обществу, с какой стати мы можем ожидать, что человек, ни к какой истине не стремящийся и занятый своими личными проблемами, возьмет на себя эту функцию и будет по мере сил ее регулярно выполнять? Никаких рациональных оснований для такого предположения у нас нет. На этом можно было бы и закончить обсуждение данного вопроса, но все же – для более детального представления и вящей убедительности – вернемся к нашему гипотетическому кинокритику и постараемся мысленно смоделировать его профессиональную мотивацию и вытекающие из нее следствия.

Подумаем, станет ли такой специалист тратить свое драгоценное время на статью о фильме, поставленном относительно молодым, мало кому известным режиссером, или о ярком дебюте в кино замечательного актера, всю жизнь прослужившего в провинциальном драмтеатре и потому ценимого лишь немногочисленными театралами своего родного города. Пусть, по мнению нашего кинокритика, эти новости – самые существенные факты из жизни отечественного кинематографа последнего времени, и, не зная их, нельзя составить истинного представления о его текущем состоянии. Но зачем о них писать, если социального заказа на такую работу нет. Да и откуда ему взяться, если ни широкая публика, ни редакторы киножурналов, ни большинство других кинокритиков, об этих – значимых для сегодняшнего кинематографа – фильмах ничего и не слышали. Фильмы эти – вследствие исходной безвестности их творцов, а отсюда и скромности съемочных и прокатных бюджетов – не получили практически никакой рекламной поддержки, их не отобрали для участия в Каннском фестивале и не собираются номинировать на «Оскара». О них никто не пишет, и никакого скандала в связи с их появлением не произошло. Они так и пройдут незамеченными, если обсуждаемый нами критик – сам, можно сказать, случайно наткнувшийся на эти «кинематографические самородки», – не вытащит их из социального небытия и не представит широкой публике, которая вовсе не рвется о них узнать. Но зачем он станет это делать? И кто ему эту не заказанную работу оплатит?

Ориентированный на приличествующую его статусу оплату и, следовательно, на устойчивый платежеспособный спрос, он естественно будет во всех случаях предпочитать уже «раскрученные» темы или те события, за которыми стоит щедрая (надежнее всего бюджетная) финансовая поддержка. Всегда и всюду он будет стараться попасть в «мейнстрим». Более того, вся его репутация интеллектуала и видного специалиста зиждется на его способности не просто держаться на плаву, но многие годы держаться близко к осевой линии этого стремительного течения, следуя всем его прихотливым изгибам и минуя всевозможные мели и заводи. Именно в этом проявляется его ум – в умении так рассчитать и планировать свою работу, чтобы его способности и знания оптимальным образом удовлетворяли существующий социальный заказ.

Исходя из такой установки и действуя рационально и расчетливо, наш вымышленный кинокритик, вне всякого сомнения, безжалостно отбросит свою благую, но не сулящую явных выгод идею прославить безвестные таланты, и употребит максимум усилий на то, чтобы через ему одному известные рычаги добиться возможности взять обширное интервью у чрезвычайно влиятельного, обласканного властью, и при этом известного всему мировому киноистеблишменту мэтра отечественного кино. Интервью, полученное у такой эмблематичной фигуры, не только с руками оторвут и опубликуют (с фотографиями на обложке и соответствующим гонораром) в любом журнале, но растиражированное, а также процитированное и упомянутое в десятках статей и статеек, оно еще раз подтвердит высокий профессиональный статус кинокритика и упрочит его репутацию как выдающегося специалиста в своей области (вот куда он залетает – в какие горние сферы – не чета прочим). И что с того,

что пресловутый киномэтр к современному кино имеет лишь косвенное отношение, – это делу не помеха. Когда-то имя сей медиафигуры было тесно связано с несколькими замечательными фильмами, действительно, создавшими целую эпоху в нашем кинематографе, но это было так давно, и последний вклад мэтра в киноискусство – выразительная эпизодическая роль хама-кинорежиссера (в фильме другого, тоже известного, но всё же менее знаменитого киномастера) – был сделан им тридцать лет назад, а с той поры он не столько утомляет кинообщественность своими беспомощными «блокбастерами» (их только ленивый не успел лягнуть), сколько стрижет купоны со своего накопленного ранее кинематографического капитала (вовремя конвертированного во влиятельную позицию в мире кинобизнеса и близость к властям предержащим).

Всё это общеизвестно, но что бы мы ни думали о роли бывшего властителя дум в современном киноискусстве, это никак не может отменить того факта, что его сегодняшние действия и высказывания являются определенного рода «событиями» в той профессиональной сфере и среде, которая, собственно, и представляет виртуального коллективного субъекта, формулирующего социальный заказ на работу обсуждаемого нами специалиста. Событием в этом специфическом (если посмотреть со стороны), но привычном (для его участников) и постоянно самовоспроизводящемся мире считается лишь то, что может стать предметом оплаченной информации. И такой подход (непосредственно руководящий деятельностью нашего киножурналиста) прямо вытекает из инструментального понимания истины: настоящая истина лишь то, что приносит кому-то пользу. А раз ты намереваешься ею воспользоваться, то, будь добр, заплати тому, кто принесет тебе в клюве полезную (тебе) информацию. Ничего аморального или неприличного в этой сделке нет. И совесть нашего интеллектуала может спать спокойно. Он не станет доказывать (в противоречии с истиной), что последние шедевры мэтра открывают новую страницу в истории истинно русского кино, или приводить свидетельства из Велесовой книги, подтверждающие измышления интервьюируемого по поводу своей родословной, восходящей чуть ли не к Владимиру Красное Солнышко – это не его стиль. Он – не мелкий льстец и подхалим, таких и без него хватает. Он – специалист, знающий себе цену и строго блюдущий свою незапятнанную профессиональную репутацию. А потому он не станет расстилаться перед надувающимся спесью киномэтром, а в строгом соответствии с фактами и по возможности дословно (но без явно выраженной брезгливости) передаст его высказывания на тему этих и других вопросов. А вы, читающие, сами решайте, испытывать ли вам чувство восхищения перед таким феноменом или злобно плеваться – наш интеллектуал свою задачу выполнил: представил вам заказанную вами истину в неискаженном виде. Конечно, он мог бы сообщить вам еще многое, оставшееся за пределами данного интервью, но не менее истинное и не лишенное интереса, однако это было бы нерационально, поскольку, не давая существенной выгоды, могло бы испортить его личные отношения с киномэтром и его окружением и, тем самым, осложнить его дальнейшую деятельность. Да и редактор, которому он принесет такое слишком явно выражающее отношение к киномэтру интервью, вряд ли согласится его публиковать – зачем ему плевать против ветра, наживая лишние дрязги и неприятности. Таким образом, действуя рационально и в рамках предписанных моралью и традицией правил, наш кинокритик будет строго выдерживать некую незримую (но тонко ощущаемую им – на то он и профессионал!) линию, вблизи которой в публикации появляется некоторый оттенок скандальности (редакторы это любят, и это увеличивает популярность), но пересечение которой опасно и, в конечном счете, невыгодно для пишущего.

Мы несколько отвлеклись, и все эти соображения находятся в другой плоскости, не противоречащей истине, но и не определяемой ею. Что же касается главной плоскости рассмотрения, то интеллектуал, как мы видим, вполне оправдывает свое название и строго следует условиям мысленного эксперимента: он работает с истиной и зарабатывает именно на ней. При этом, как это ни парадоксально звучит, содержание сообщаемой им истины ему, в конечном итоге, безразлично – с ним (содержанием) его заработок не связан. Суть

сообщаемого полезна и приносит некоторую выгоду другим лицам (в нашем случае такими очевидными выгодоприобретателями можно считать самого киномэтра и редактора журнала; именно с ними вступает в сделку интеллектуал), а рассматриваемый нами специалист играет здесь только инструментальную роль – он лишь средство, с помощью которого реальные субъекты действия находят полезную для себя истину[35]. Он в данной ситуации – лишь зеркало, по возможности беспристрастно и точно отражающее какую-то часть действительности, а какую именно часть, зависит не столько от него, сколько от заказчиков, оплачивающих его работу.

Благодаря своему профессиональному нюху, многолетнему опыту и многочисленным деловым знакомствам наш кинокритик ухитряется, даже будучи фрилансером, находить достаточное количество потенциальных заказов на свои услуги и постоянно мелькать в самом центре происходящих в кинематографической среде «событий». Не удастся ему прорваться к вышеописанному киномагнату, он найдет себе еще какое-нибудь подходящее занятие: например, осветит в печати проходящую в «северной столице»[36] «Неделю альтернативного кино», организованную фондом «Gay Germanica» и посвященную непростым проблемам однополых браков в современном немецком обществе или же, напротив, спроектирует и доведет до мыслимого совершенства красочный буклет к открывающемуся кинематографическому форуму «Гей, славяне», поставившему своей целью пропаганду идей то ли православия, то ли русского язычества (организаторы сами еще окончательно не решили; да, и кого это волнует). И опять же, подчеркнем, в любом из этих случаев подготовленные им тексты не будут иметь ничего общего с откровенным и беспардонным рекламированием освещаемых им мероприятий. Отнюдь. Не на того напали. Если представляемые на Неделе или Форуме фильмы таковы, что не заслуживают и одного доброго слова, то, будьте уверены, он этого слова и не скажет. Мало ли еще тем, на которые можно говорить, не вступая в конфликт ни с истиной, ни с заказчиками. На крайний случай, всегда можно привести заздравную цитату из статьи другого менее щепетильного специалиста, и уравновесить ее соображением о том, что автор, вероятно, перебирает в своем восторге, но и это мнение имеет право на существование, как и многие другие высказанные в ходе бурной дискуссии мнения. Что тут можно возразить? Можно ли поставить такую сентенцию в вину нашему интеллектуалу? Это было бы уж чрезмерным ригоризмом. А для него это сознательная и заранее рассчитанная линия поведения, следование которой дается ему тем проще, что ни бедные однополые брачующиеся, ни перспективы славянского язычества его абсолютно не волнуют. Дело, как вы понимаете, не в них, как таковых, а в том, что как у пресловутого Фонда, не ограничивающегося Германией и имеющего разветвленные международные связи, так и у организаторов Форума, получающих дотации из какой-то вовсе непрозрачной глубоко законспирированной конторы, есть определенные денежки, непосредственно предназначенные на работу с прессой, и они готовы, не скупясь, платить за предоставляемые им интеллектуальные услуги.

Я думаю, что на этом можно остановиться: суть дела уже ясна, да и читатель, боюсь, уже утомлен моими фантастическими вариациями на заданную тему. Пора подводить итоги нашего мысленного эксперимента. Можем ли мы, исходя из вышеизложенного, сделать вывод о том, что наш идеальный кинокритик действительно играет роль *ума общества* в избранной им профессиональной области? Разумеется, нет. Чтó общество в целом (то есть мы с вами) имеет от его деятельности: некие отчеты о «событиях», которые либо непосредственно связаны с уже многократно жеванными и пережеванными темами (а ведь только на такие темы может быть устойчивый платежеспособный спрос), либо такие, которые кто-то, обладающий достаточными ресурсами, стремится выдать за «события». Разве этого мы ждем от *ума общества* в сфере кинокритики? Мы хотели бы знать, что действительно происходит в киноискусстве сегодня,

---

[35] Здесь мы видим полную аналогию тому инструментальному модусу функционирования *ума*, о котором мы уже говорили, но перенесенном с уровня *ума индивидуума* на уровень *ума общества.*

[36] Этот термин, конечно, выглядит как уступка бульварной прессе, но это же – мелочь, стоит ли к ней придираться.

какие появляются новые имена, на которые следует обратить внимание, есть ли фильмы, которые стоит посмотреть, чем заняты уже известные нам мастера кино, что они говорят и о чем беспокоятся. Но ожидать подобной информации от интеллектуалов, подобных нашему кинокритику, нет никакого резона. Они не станут этим заниматься, потому что наш «спрос» на такого рода истинную информацию расплывчат и неопределенен, он не создает никакого ясно выраженного заказа, способного каким-то образом дойти до профессиональной среды и побудить ее к выполнению этого заказа. Про нас – ту разношерстную и никак не организованную публику, которую если что и объединяет, так это широко понимаемая любовь к кино[37], – давно и метко сказано: «Они сами не знают, чего хочут». А как мы можем это знать? Если бы мы заранее знали, о чем мы конкретно хотим узнать, мы бы и не нуждались ни в каком внешнем по отношению к нам *общественном уме*, разбирались бы во всем своим собственным умом, сами бы выискивали безвестные таланты и сами, наверное, писали бы о них критические статьи. Но мы, к сожалению, не можем этого знать – у нас для этого не хватает ни способностей, ни времени, ни образования – а следовательно, не можем и конкретно сформулировать свой заказ на информационное обслуживание[38]. Мы, как и во многих прочих случаях, полагаемся в этом на других людей, которые добровольно и осознанно взяли на себя эту функцию: информировать нас обо всем значимом и достойном нашего просвещенного внимания в сфере киноискусства, доносить до нас вновь открытые или старые, но уже подзабытые истины. Если же наш гипотетический кинокритик эту функцию не выполняет, то с какой же стати нам продолжать считать его частью *ума общества*?

По понятиям доброго старого времени, он – всего лишь мелкий прохиндей, интеллектуальный побирушка, который не без ловкости ухитряется цопнуть там и ухватить здесь какую-то толику общественного пирога, практически ничего не давая обществу взамен. Как бы ни был велик лакомый кусок, который ему удается урвать из-под носа у зазевавшихся коллег, как бы не превозносился его авторитет и профессионализм в той околокинематографической «тусовке», в которой он успешно крутится, как бы сам он не надувал щеки, обращаясь к публике со своего профессионального амвона, никто из понимающих людей (в том числе, и он сам) не сомневается, что вся его «интеллектуальная продукция» носит бутафорский характер, а по существу, он – либо профессиональный нищий, либо – бери выше – профессиональный мошенник (наперсточник, катала), который, пользуясь имиджем интеллектуала и специалиста, облапошивает доверчивую публику

---

[37] Не любовь к кино, понимаемому как способ приятно провести время с нравящейся тебе девушкой, посетив с этой целью кинотеатр и похрустев там чипсами, глядючи при этом на интересные движущиеся картинки, а любовь к кино как искусству. Нас не так уж и много в процентном отношении, но, по идее, именно мы являемся той массовой аудиторией, для которой существуют более или менее серьезные киножурналы, печатающие критические статьи. Чтобы писать статьи для любящих кино в первом смысле никакие интеллектуалы и кинокритики не нужны, эту роль может взять на себя любая из похрустевших чипсами девушек.

[38] Ситуация, в которой от потребителя интеллектуальной продукции ожидают четкого описания заказа, очень близка по смыслу к той – пока еще маловероятной ситуации, – в которой врач интересуется у больного, чего он, собственно, хочет от врача: какое заболевание – будьте добры, четкий развернутый диагноз! – и каким именно способом его надо лечить. Мне не хотелось бы углубляться в обсуждение деятельности интеллектуалов в медицине – тема для меня излишне болезненная, – но можно кратко сказать, что, хотя дела в этой отрасли приложения *общественного ума* обстоят, по-видимому, еще далеко не так печально, как в «кинокритике» или в «истории отечества», все же развитие и этой сферы человеческих знаний идет, как можно судить по некоторым признакам, точно в том же направлении, как и в тех сферах, где этот путь пройден практически до конца.

Что называется: приехали

Видимый результат всех наших предшествующих упражнений на воображаемой ниве киноискусства и его критики оказывается просто удивительным. Как же это получается, что кристально честный человек, обладающий всеми мыслимыми способностями и высокой квалификацией в профессиональной области, не отказывающийся ни от какой достойно оплачиваемой работы, занимается, в конечном итоге, тем, что лишь играет роль интеллектуала, а, фактически, плывет по течению, направление и скорость которого определяется либо внешними факторами, лишь косвенно связанными с жизнью и развитием кинематографа, либо сомнительными личностями, ни уха, ни рыла не смыслящими в тех вопросах, о которых идет речь? Может, в своем моделировании ситуации мы, увлекшись разоблачением интеллектуала, чья жизненная позиция нам не близка, а потому и не симпатична, что-то недосмотрели и недоучли? Попробуем несколько расширить круг действующих лиц и добавить некоторые факторы, оставшиеся за пределами нашего поля зрения.

Предположим, у нашего кинокритика появляется заказчик, заинтересованный в получении «истины» (как бы ее ни понимали) и готовый ее оплачивать. Пусть это будет редактор одного из киножурналов – энтузиаст, желающий создать эталонное средство печати и не скупящийся при этом на издержки (этакий гипотетический «Абрамович», который почему-то уже расхотел бороздить морскую гладь, а увлекся киноискусством и решил истратить на его изучение и пропаганду высвободившиеся от содержания яхты средства). Мы видим, что такое предположение лишает рассматриваемую ситуацию исходной чистоты: до сих пор наше внимание занимал только интеллектуал, а прочие контактирующие с ним лица никак не были охарактеризованы с точки зрения их отношения к истине (она могла быть для них как самоцелью, так и средством для достижения неких других целей), теперь же мы имеем двух взаимосвязанных персонажей, один из которых использует истину как инструмент (интеллектуал), в то время как другой одержим стремлением к истине как таковой (следовательно, мы должны считать его ^{1}интеллигентом). В итоге, в разбираемом нами вымышленном примере образовалась ^{2}интеллигенция (состоящая из ^{1}интеллигентов и ^{2}интеллигентов), особенно если учесть, что в журнале должно печататься по крайней мере несколько авторов, и следовательно, редактор должен иметь дело не только с уже известным нам кинокритиком, но и с другими занимающими ту же позицию лицами (для простоты пусть все они будут точно такими же интеллектуалами). Мы предположили, что в роли редактора выступает человек, бескорыстно стремящийся к истине – это неизбежно, потому что без этого предположения мы вернемся к уже исследованной нами ситуации. Однако, теперь мы оказываемся перед дилеммой и можем выбрать один из двух возможных вариантов.

Первый из них, на мой взгляд, не слишком интересен, а потому с него и начнем. В этом случае запланированный нами на роль редактора олигарх, хоть и стремится к истине, но не обладает способностями и квалификацией, позволяющими ему эту истину самостоятельно находить и распознавать, а потому в решении всех содержательных вопросов он вынужден полагаться на мнения подчиненных ему специалистов-интеллектуалов. Таким образом, именно они будут определять содержание журнала, а редактор будет лишь создавать для этого организационные рамки. Внешне всё замечательно, но ясно, что организованная таким манером ^{2}интеллигенция никакую истину искать не будет, поскольку в ситуации заказа на «то, что вы считаете важным», интеллектуалы будут озабочены не истиной, а стремлением уменьшить свои трудозатраты (и соответственно, увеличить производительность труда) и минимизировать риски, так что фактически мы возвращаемся к ситуации, уже рассмотренной выше, где фигурировал лишь один интеллектуал-кинокритик.

Перейдем ко второму – более жизнеспособному – варианту организации нашей [2]интеллигенции: редактор – не только [1]интеллигент, но и профессионал, способный самостоятельно разобраться в любом вопросе, относящемся к сфере кинокритики. Такого редактора на мякине не проведешь: он мигом отправит в корзину все подсовываемые ему «лирические заметки» об убогих Форумах и Неделях и поставит на первые страницы большую статью о достоинствах того молодого режиссера, который, по моей вине, уже отчаялся ожидать появления своего имени в центральной печати. По крайней мере, в этом случае можно предположить, что сформированная нами «кинокритическая компания», в которую мы включили одного стоящего у руля интеллигента и нескольких руководимых им интеллектуалов, будет издавать интересный, живой и стремящийся к истине журнал, оправдывая тем самым свое наименование – *интеллигенция* (ум общества). Однако не будем спешить с победными реляциями о том, что нам удалось – пусть всего лишь на бумаге – создать жизнеспособный социальный организм из смеси [1]интеллигентов и интеллектуалов, причем такой, в котором интеллектуалы имеют абсолютный численный перевес и который – в то же время – способен выполнять свою интеллигентную функцию. Обратим свое внимание на то, что практически все живые элементы этого организма принадлежат руководителю – [1]интеллигенту. Именно его предпочтения, оценки и решения, подкрепляемые его финансами, являются основой устойчивости журнала и сохранения им своей идентичности во времени. Интеллигент держит на себе всю конструкцию, в то время как прочие сотрудники играют роль наполнителя – опилок, которые засыпают между двумя рядами досок; они играют свою положительную роль (задерживают тепло), но из них одних стены не построишь. И как только наш интеллигент-олигарх оставит организацию без своей опеки, она либо вмиг рассыплется, либо (что бывает чаще) быстро переродится и на протяжении нескольких номеров превратится в один из тех безликих глянцевых журналов, которые нам неинтересны, поскольку представляют уже отработанный нами материал. Кроме своей статической устойчивости организация обязана интеллигенту и своим динамическим импульсом. Только его энтузиазм и инициатива стимулируют прочих сотрудников куда-то двигаться и достигать каких-то новых рубежей и высот. Ему есть куда стремиться – к новым еще не познанным истинам, у других же членов этого коллектива, по нашему предположению, такого стремления нет, и следовательно, в данной конструкции они – элемент, увеличивающий ее общую инертность. При любых обстоятельствах их главный приоритет – минимизация собственных затрат и рисков (в пределах уже оплаченного минимума). Поэтому вся подвижность и живость в работу журнала вносится только действиями руководителя-интеллигента: как только мы удалим этот динамизирующий систему фактор, ее деятельность выродится в стохастические низкоамплитудные движения недалеко от точки абсолютного нуля.

Таким образом, мы приходим к выводу, что только люди с высоким уровнем интеллигентности ([1]интеллигенты) способны привести [2]интеллигенцию в движение и заставить ее выполнять свою функцию, лишь они в состоянии донести до интеллектуалов необходимый им *социальный* (то есть, действительно, исходящий от общества в целом) заказ и проследить за его надлежащим исполнением. Без их непосредственного и ежедневного участия в работе [2]интеллигенция лишь симулирует интеллектуальную деятельность, практически не давая обществу ничего в обмен на выделяемые ей общественные ресурсы.

Картинка, которая получилась у нас в итоге, разительно отличается от того – тоже итогового – вывода, к которому мы пришли несколько ранее и чуть было не успокоились на нем. Мы посчитали, что интеллигентные люди сегодня совершенно излишни и что современная профессионально организованная *служба ума* (вспомним рассуждения М.Л,Гаспарова) прекрасно обходится и без них. Но оказывается, в тот раз мы заблуждались, и хорошо, что мы не поверили в справедливость своих дедуктивных выводов, увидев их расхождение со свидетельствами нашего внутреннего чувства. Конечно, и чувства, случается, нас обманывают. Им нельзя доверять безгранично, однако не стоит ими и пренебрегать. Как бы то ни было, чувства намного старше логического постижения реальности. И лишь относительно недавно (их

послужной список вряд ли превышает две-три тысячи лет) логические построения и выводы стали использоваться людьми (опять же: лишь относительно небольшим количеством людей) для регуляции и планирования своих поступков. До этого многие десятки тысяч лет своей истории люди имели для этого в своем распоряжении только чувства. Более того, базовые механизмы выражаемой в чувствах оценки текущих ситуаций люди получили от своих животных предков. Так что можно считать, что совершенствование этого компонента нашей ориентировки в мире продолжалось в течение многих миллионов (или даже десятков миллионов) лет. Наш только что проделанный опыт лишь еще раз подтверждает эффективность этой системы даже в таких – казалось бы, полностью обеспечиваемых логической составляющей интеллекта – рассуждениях.

О происхождении интеллектуалов

Вздохнув с облегчением по поводу того, что нам пусть не с первой попытки, но все же удалось реабилитировать любезных нашему сердцу интеллигентов и снять с них позорное обвинение в социальной никчемности, все же не станем забывать, что совсем недавно мы – и тоже, вроде бы, с искренней убежденностью – скрепя сердце, признавали справедливость этого обвинения. А вдруг мы и на этот раз ошибаемся? Ясно, что полной гарантии непогрешимости наших суждений достичь невозможно, но всё же попробуем найти еще какие-нибудь аргументы в пользу защищаемой и представляющейся нам истинной точки зрения. Ведь в этом же состоит долг каждого, считающего себя интеллигентом?

Во-первых, слегка подмочим репутацию нашего безупречного кинокритика, с которого мы начали свой анализ роли интеллектуалов в деятельности [2]интеллигенции. В условиях задачи мы предположили, что он обладает обширнейшими познаниями в своей профессиональной области и высоко тренированной способностью тонко и верно распознавать и оценивать произведения киноискусства. Такие превосходные характеристики были нам необходимы для создания идеального образа интеллектуала, чтобы его моментально обнаруживающуюся профессиональную бесплодность нельзя было бы свести к его личной тупости, безграмотности или еще чему-нибудь такому, что прямо не связано с его определением как интеллектуала. Однако, сознаюсь, предлагая читателям такие условия задачи, я чуточку покривил душой, поскольку мне и тогда уже было видно, что описание нашего экспериментального объекта содержит в себе малозаметное, но неискоренимое противоречие[39]. Такой человек в реальности невозможен не только из-за невероятной гиперболизации его предполагаемых достоинств, но также и потому, что достижение этих характеристик несовместимо с определением героя как интеллектуала, начисто лишенного стремления к истине. Действительно, если истина никогда не представлялась ему обладающей самостоятельной ценностью, то какой мотив заставлял его – в годы его учения – *обогащать свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество*? Что заставляет его сегодня пристально следить за всеми новыми перспективными течениями в области киноискусства, не давая себя одурачить всякой разрекламированной модной мишурой? А если он не следит за развитием кинематографа, довольствуясь теми сведениями, которые он получил от своих профессоров двадцать лет назад, то в чем же состоит его профессионализм? Как, с этой точки зрения, совместить его тонкий художественный вкус (ведь не родился же он с ним) с его полным сегодняшним равнодушием к тем предметам, которые он освещает в своих статьях.

[39] Обычно я так не поступаю и стараюсь быть с читателем предельно откровенным (см. эпиграф), но в данном случае меня подтолкнуло к этому желание завернуть сюжет как можно круче, и я не устоял перед соблазном. Каюсь и обещаю больше этого не допускать, по крайней мере, до конца данного текста.

Разве не ясно, что человек, настроенный грубо прагматически на «пользу», извлекаемую из своей профессии, не станет тратить драгоценные молодые годы на усвоение той «бездны премудрости», которую перечисляет *Список дополнительной литературы* к учебнику. Зачем она? Какая в этой «бездне» польза и где он сможет применить извлеченные из нее сведения и приобретенные им навыки моментально отличать истинный шедевр от манерной халтуры? Но если на эти вопросы не может быть вразумительного ответа, то мы останавливаемся перед загадкой: как же мог возникнуть такой идеальный интеллектуал? Что за процесс мог его сформировать? Или же наше представление об этом типе специалиста внутренне противоречиво и в действительности он существовать не может? Поставив таким образом вопрос, мы без особого труда находим разрешение этой коллизии.

Теоретически, такой тип специалиста вполне возможен, и, вероятно, немало подобных людей существует и в реальности. Это бывшие интеллигенты. Предположение о том, что пресловутый «интеллектуал» по своему генезу представляет собой интеллигента-ренегата, снимает все недоуменные вопросы о его происхождении[40]. Действительно, основную массу своих знаний, способностей и навыков наш сегодняшний интеллектуал получил, по всей видимости, в те юные годы, когда он еще не открещивался от своей интеллигентности и с жаром постигал науки, мечтая о своей будущей роли властителя дум и кумира миллионов и принимая похвалы педагогов за предзнаменования своего будущего взлета. Он читал заумные книжки, мотался на авангардистские выставки и закрытые кинопросмотры, с гордостью ощущая, как растут его возможности и как расширяется кругозор. Его профессиональное будущее казалось ему вполне обеспеченным теми знаниями и умениями, которые он уже приобрел. Сравнивая себя с другими юными адептами кинокритики и с теми заслуженными ее деятелями, с которыми он был знаком по их статьям и книгам, он чувствовал, что лучше многих может разбираться в сложных проблемах современного киноискусства. Следовательно, он правильно выбрал свою профессиональную стезю, он обладает всеми необходимыми талантами для такой деятельности, и для него открывается широкий и ясный путь. Однако очень быстро выяснилось, что всё это – лишь юношеские мечты, а реальность, в которую ему пришлось окунуться, далеко не так лучезарна. Главное, что интеллигентность, которой он гордился и на которую делал ставку, оказалась практически невостребованной в том журнальном околокинематографическом мирке, где ему приходилось вращаться. В цене были совсем другие свойства: послушность, конформность, цепкость, умение вовремя почуять, куда сегодня дует ветер. Интеллигентность не оплачивалась, а бескорыстное стремление к истине расценивалось как блажь, которую могут позволить себе богатые бездельники, но которая вовсе не к лицу серьезному профессионалу. И эти жизненные уроки пошли нашему кинокритику впрок, он их успешно усвоил и тем самым избавился от своих интеллигентских иллюзий и порывов, оставил их в прошлом – там же, где остались рваные джинсы и ночные споры о *монтаже у Эйзенштейна*. Теперь-то он понимает, что почем, а потому он не интеллигент, а интеллектуал. Вот такая – знакомая многим изнутри – «обыкновенная история».

Может возникнуть естественный вопрос: а зачем нам знать все эти (несомненно, выдуманные) подробности душевной эволюции нашего героя? Что они дают для понимания его сегодняшнего статуса интеллектуала? Не вернее ли было бы оставить их за скобками, а не изобретать, рискуя наговорить лишнего? Я не стану отвергать эти упреки – в них, вероятно, есть свой резон, но скажу, что такое уточнение, внесенное в нашу модель интеллектуала,

---

[40] Заимствованное из английского слово *бич*, получило в русском языке слегка ироническую расшифровку: БИЧ – Бывший Интеллигентный Человек. Теперь мы видим, что это определение с равным основанием можно отнести не только к помятым жизнью, редко трезвым, а главное, постоянно находящимся в поисках денег на «портвешок» индивидуумам, но и к вполне обеспеченным и респектабельным интеллектуалам – у двух этих внешне мало похожих друг на друга типов есть кардинальный общий признак: генетическое родство, общие предки. Так что интеллектуалов следует рассматривать как один из специализированных видов обширного рода *бичей*.

существенно, на мой взгляд, меняет наше представление о нем. Мы начали с того, что определили интеллектуала как *простого человека*, *обогатившего свою память*… и т.д., но после недолгих размышлений пришли к выводу, что *исходно простой* человек не имеет рациональных мотивов загромождать свою память разнообразными истинами, в которых он не усматривает прямой и непосредственной пользы для себя лично. Максимум, чего от него можно ожидать, это усвоение некоторого шаблонного (и чаще всего минимального) набора сведений, требующегося для работы в избранной им области. Отсюда предположение, что интеллектуал (по определению, *обогативший свою память*…) не был исходно *простым человеком*, он им стал уже после того, как *обогатил*… и т.д. Но тогда мы должны рассматривать его как индивида, пережившего в душевной эволюции крутой вираж, связанный с заменой своей исходной жизненной установки (жизненной стратегии) на прямо противоположную. Это человек – *сжегший то, чему поклонялся* и *наступивший на горло собственной песне*; ренегат, изменивший своим идеалам ради житейской пользы. Сколь бы мягко и постепенно (почти незаметно для самого индивида) ни происходило такое превращение, оно в любом случае оставляет глубокий след во всей внутренней конструкции личности, проявляясь в первую очередь в антагонизме (часто неосознаваемом) разнонаправленных мотивов и установок. Одним из очевидных и бросающихся в глаза симптомов такого внутреннего антагонизма мотивов и оценок является потребность в самооправдании, выражающаяся, помимо всего прочего, в антипатии или демонстративном пренебрежении к тем, кто остался на прежней (когда-то близкой нынешнему интеллектуалу) позиции – к интеллигентам. Может показаться, что, хая этих ничего не понимающих в жизни юродивых, заботливо подмечая каждую их глупость и профессиональную ошибку, с удовольствием сравнивая убогий уровень их благосостояния и их социальный статус со своим «элитарным», интеллектуал отклоняется от общей избранной им линии поведения. Какая ему польза от такого злопыхательства? Это ведь то же самое отринутое им *искусство для искусства*! Но это только кажется снаружи, а если взглянуть на всё это изнутри, то выявится и несомненная польза. Хая интеллигентов, интеллектуал льет бальзам на свою израненную душу, убеждая себя очередной раз в том, что, распрощавшись со своей интеллигентностью, он поступил правильно, что, если бы он так не сделал, он ничего в жизни бы не добился и сегодня бы жил как *эти*. И эти мысли успокаивают его, дают ему временное облегчение. А вы говорите: нет пользы!

Кстати, здесь кроется и ответ на малоинтересную (а потому редко замечаемую) загадку: почему интеллектуалы (а точнее, люди, выступающие от их имени) так стремятся обособиться от интеллигентов и даже противопоставить себя им? Какой в этом смысл? Что они выгадывают, публично рекламируя сугубую меркантильность (грубо говоря, корыстность) мотивов своей деятельности? Вроде бы, это вовсе не характерно для других разновидностей практических дельцов – те, достигнув определенного уровня, скорее склонны поразглагольствовать о своих заслугах перед человечеством и своей тяжкой доле, сопоставимой с положением рабов на галерах. А ничего идеологи интеллектуальной элиты и не выгадывают. Они, вероятно, и рады бы были промолчать, но не могут с собой справиться – так настоятельно выражает себя их потребность в самооправдании и самоуважении.

Наше исходное представление об интеллектуалах как о специфическом подклассе образованных людей, составляющих [2]интеллигенцию, требует существенной коррекции: они, явно, не те «простые» и одновременно высококвалифицированные люди, за кого себя выдают. Это бывшие интеллигенты, то есть люди с исходно гипертрофированной интеллигентностью, позволившей им достичь высокого уровня квалификации в одной из сфер интеллектуальной деятельности, но затем отказавшиеся от услуг присущей им способности (ввиду ее низкой эффективности в процессе достижения житейского благополучия) и, по возможности, подавляющие в себе любые ее проявления[41]. Интеллектуал – человек, закопавший в землю

[41] Доведенное до высокой степени абстрактности и лишенное индивидуальных человеческих черт представление о типичном интеллектуале оказывается чем-то подобным монстрам с острова доктора

свой талант, но как бы глубоко он ни был упрятан от посторонних глаз, сам-то владелец не может полностью забыть о его существовании. Когда-то приобретенная и доведенная путем тренировки до совершенства способность «видеть и понимать больше, чем выгодно», не может исчезнуть бесследно, она постоянно со своим владельцем и так и норовит высунуть свою мудрую змеиную голову из того подземного убежища, в которое ее загнал хозяин. Он не может, как все служащие кинокритиками «простые» люди, спокойно радоваться своей пройдошливости и удачливости, обеспечившими ему интервью с киномэтром, перебирая в уме радостные перспективы и многочисленные будущие прибыли, которые принесет ему публикация этого интервью. Нет, наряду с этими радужными картинками в его сознании неизбежно появляется и ощущение полной никчемности и пошлости того, чем он занят. «Ты этого хотел, Жорж Данден?» - шипит из подземелья неугомонная интеллигентность, всегда имеющая наготове какую-нибудь, выхваченную неизвестно откуда, но с юности завязшую в памяти цитату, и душу заливает раздражение на себя, на эту жабу – киномэтра, на весь мир, не оправдавший его младенческих надежд. И на какое-то мгновение ему – можно сказать, удачно продавшему свой Богом данный дар за горстку серебреников, – все им достигнутые блага, почести и награды кажутся лишь грудой глиняных черепков, в которые превратились – как это было в гоголевской сказке – полученные от нечистой силы червонцы.

Интеллектуал & интеллигент

Следующее, что стоит уточнить в нашей модели «интеллектуала», это его моральный облик. Я вовсе не собираюсь дезавуировать свои собственные слова и доказывать, что такого безупречно честного человека, каким мы его вообразили, в жизни существовать не может. Модель – это модель, и я уже объяснил, с какой целью выбрана такая характеристика нашего персонажа. Дело здесь в другом: обладая этой характеристикой, сконструированный нами персонаж не может добиться больших успехов на избранном им поприще. При формулировании условий задачи, мы, детально не обсуждая данный аспект и полагаясь на самохарактеристики лиц, претендующих быть интеллектуалами, предположили, что престиж и доминирующее положение нашего персонажа среди прочих кинокритиков вытекают из его высочайшей квалификации, с которой мало кто может конкурировать. Но, как мы выяснили, та ерундовская работа, которой, в основном, приходится заниматься нашему кинокритику, не требует для своего выполнения никакой особенной квалификации или наличия безупречного художественного вкуса – ее может выполнить практически любой из обширной гильдии кинокритиков, способный зазубрить несколько расхожих фраз и модных слоганов (тем более, что сегодня, в эпоху общедоступного интернета и повсеместного передирания друг у друга стократно изжеванных фраз и абзацев, даже это вовсе не обязательно). Тогда какие же преимущества у интеллектуала перед огромной стаей ловких жуков и комбинаторов, подхалимов и беспринципных деляг, конкурирующих между собой и с нашим кинокритиком, в том числе, за выгодные и перспективные заказы? Таких преимуществ у него нет, и если он к тому же будет пользоваться репутацией человека, которого никакие посулы не могут склонить к искажению истины, еще более снижающей его конкурентоспособность, его шансы на успех в этой среде становятся близкими к нулю. Следовательно, воспользовавшись в своих рассуждениях постулатом о его кристальной честности (и убедившись, что честность сама по себе не гарантирует успехов на *службе ума*), мы должны затем внести в свою модель поправку, делающую ее менее противоречивой, и в дальнейшем исходить из того, что в общем случае моральные характеристики интеллектуала мало отличаются от тех, которые

Моро: туловище «простого человека» с приставленной к нему головой «интеллигента» (при этом «ужасным доктором Моро» оказывается сам «интеллигент», подвергший себя такой вивисекции).

господствуют в окружающей его профессиональной среде. В этом отношении он, по-видимому, такой же, как все.

И еще одно попутное замечание к нашей модели ^{2}интеллигенции. Когда мы пытались создать профессиональную среду, способную дать нашему кинокритику конкретный и оплачиваемый социальный заказ на работу, действительно требующую его высокой квалификации, нам пришлось изобрести журнал, во главе которого стоит редактор-интеллигент. Однако у читателя, возможно, уже возникло сомнение: как же так? Ведь редактор – это начальник, а сколько до этого было сказано о том, что интеллигент и должность начальника несовместимы. Всё верно. И именно поэтому я назначил редактором экзотическую фигуру олигарха, полностью независимого от той кинематографической среды, в которой функционирует его печатный орган (база, на которой зиждется могущество олигарха и из которой он черпает средства на издание журнала, находится далеко за пределами этой среды). Только вследствие такого редкостного стечения обстоятельств мы могли без чудовищных натяжек предполагать, что наш журнал сможет ярким метеором прорезать окружающий мрак, а не исчезнет в процессе подготовки третьего номера. Конечно, журнальный мир устроен сегодня не так жестко, как крупные организации, имеющие разветвленную иерархическую структуру, однако и он пронизан сложной системой отношений «доминирования-подчинения», достаточно эффективной для того, чтобы поставить на место всякого, кто попытается действовать в ней по своему усмотрению, не соблюдая сложившихся в ней традиций и конвенций и залезая на «чужие участки», а тем более того, кто будет ставить под сомнение существующую в данной среде «табель о рангах». Поэтому в обычных условиях, исключающих ту сверхэкзотическую ситуацию, которую мы были вынуждены встроить в нашу модель, интеллигент вряд ли сможет занять место редактора и тем более продержаться на нем достаточно долгий срок, если будет вести себя в соответствии со своим наименованием, – среда, изыскав необходимые рычаги влияния, быстро восстановит привычный статус-кво и возвратит зарвавшегося интеллигента в состояние подчиненного.

Учитывая такую расстановку сил, вероятнее предположить, что, если в редакции журнала появится интеллигент (не миллиардер и олигарх, а кто-нибудь попроще, вроде племянника одной из жен киномэтра, который хоть и паршивая овца в благородном семействе, но надо же его куда-нибудь пристроить), то он займет не главную, а одну из подчиненных позиций. Однако, даже при таком, казалось бы, не влияющем на принципиальную схему устройства этой ячейки ^{2}интеллигенции, раскладе появление в редакции интеллигента может значимо изменить ситуацию. Он, согласно своему определению, будет стараться проталкивать в очередной номер интересные и талантливые, по его мнению, статьи; редактор, верный своему призванию[42], будет ему в этом препятствовать и ставить палки в колеса (просто выгнать его не получится, поскольку где-то на горизонте маячит всемогущий киномагнат), но, в конечном итоге, с этого момента можно ожидать появления в журнале материалов, действительно отражающих важные моменты в развитии киноискусства. Если же, паче чаяния, жизненные случайности забросят в редакцию еще одного-двух интеллигентов, то и вовсе возникнет особая – не характерная для большинства редакций, но и отнюдь не беспрецедентная – ситуация, когда обычная интеллектуальная кормушка, не переставая быть таковой и не меняя, в принципе, своей сущности, станет в то же время проводником и глашатаем истины. В круговой обороне, занятой «простыми» людьми и примкнувшими к ним интеллектуалами, появится щелка, узнав о существовании которой, в нее устремятся все те, кто давно уже ищет возможности поделиться с миром своими мыслями о наболевшем.

Дойдя до этого пункта, я предвижу возможное возражение в том смысле, что ничего подобного не произойдет, так как редактор и спевшаяся с ним интеллектуальная обслуга быстро и эффективно задавят все эти ненужные им новации. Возражение это (свидетельствующее о том, что мы с читателем, если не единомышленники, то всё же мыслим

---

[42] «Редактор – застрельщик всего нового». (*Старая – советских времен – шутка*).

в одном направлении) я с удовольствием принимаю и соглашаюсь, что во многих случаях дело часто приходит именно к такому концу. Часто, но не всегда. Нужно учесть и факторы, противодействующие такому печальному исходу.

Главный из таких факторов заключается в том, что, работая на подчиненных позициях и не пытаясь взять бразды правления журналом в свои руки, интеллигенты никому особенно не мешают. Разумеется, редактор не допустит, чтобы в протаскиваемых ими статьях были высказывания, угрожающие добрым отношениям редактора с теми лицами, от которых он в какой-то мере зависит, или, вообще, нарушающие установившийся внутриотраслевой консенсус. Такое критиканство будет пресечено им в зародыше, при полном одобрении всех сотрудников, заинтересованных в дальнейшем существовании журнала. И понятно, что интервью с киномэтром вытеснит из ближайшего номера не только статью об этом юном, неизвестно откуда вынырнувшем киногении – об этом и говорить нечего, – но и эксклюзивный материал (с картинками) об эскападах Жерара Депардье, внезапно посетившего Заможайск и сразу же получившего там трехкомнатную квартиру в панельной пятиэтажке (как щедрый дар горадминистрации, пожелавшей таким способом внести свой – то есть заможайский – вклад в развитие мирового кинематографа). Но почему бы статье о молодом таланте не появиться в следующем номере? В ней нет ничего, вызывающего подозрение редактора, и ее публикация не ущемляет ничьи интересы. Обстоятельства могут сложиться так, что редактор выберет для очередного номера именно эту статью и отодвинет в долгий ящик материал одного из своих приближенных интеллектуалов, ведущего раздел «Из истории кино» и подготовившего статью о знаменитых любовниках Марлен Дитрих. Мотивом редакторского решения может быть простейшее желание в очередной раз напомнить своим коллегам-подчиненным, кто в доме хозяин: все эти «заслуженные специалисты» и «звезды кинокритики» должны твердо помнить, что все ранги и приоритеты устанавливает именно он, который не позволит вертеть собою, как им того хочется. Вполне возможно, что в лоббировании интеллигентской статейки примет участие и наш гипотетический кинокритик, имеющий зуб на этого «квази-историка кино», благодаря чьим проискам в прошлом номере репортаж нашего героя о Неделе «Gay Germanica» был сокращен почти вдвое. И так далее. В конце концов, почему бы даже не предположить, что редактору нравится фильм, о котором идет речь в проталкиваемой интеллигентом статье, ведь редактор, вероятнее всего, и сам из бывших интеллигентов, и у него есть личные художественные пристрастия. Короче говоря, мы видим, что вопрос о том, смогут ли интеллигенты, входящие в состав [2]интеллигенции, реализовывать свое стремление к истине – вопрос, поднятый нами на вершины теоретических размышлений, – в реальности решается (и не так уж редко решается положительно) на уровне бытовых соображений, мелких коммунальных дрязг и препирательств, не выходя, в целом, за рамки обычной внутривидовой конкуренции.

Присущая интеллигентам неуступчивость в вопросах истины играет в этой конкуренции двоякую роль: как препятствуя проталкиванию этой самой истины к потенциальному ее потребителю (то есть к обществу в целом, нуждающемся в руководстве со стороны *ума общества*), так и способствуя этому процессу. С одной стороны, центрированность на своей (конкретной) истине ограничивает возможности ее носителя в состязаниях с коллегами, готовыми защищать любую хорошо оплачиваемую позицию, но, с другой стороны, такая граничащая с маниакальной одержимостью «упертость» на чем-то конкретном (я уверен, что *дважды два – четыре*, и ни на *одиннадцать*, ни даже на *шесть* не соглашусь ни при каких обстоятельствах) делает эту интеллигентскую истину более «пробивной» в долгосрочном плане, нежели те противостоящие ей точки зрения, которые сегодня выигрывают конкуренцию, будучи по каким-то причинам более предпочтительными в смысле оплачиваемого заказа, но завтра и послезавтра будут заменены другими, столь же безотносительным к истине утверждениями. Всякие Дерриды приходят и уходят бесследно, а Маркс пребудет вовеки. И потому *капля камень точит* и *истина* – в конечном итоге – *пробьет себе дорогу*.

Самое существенное, лежащее в глубине обсуждаемой нами проблемы, но видимое и с поверхности, заключается в том, что интеллектуалы, нашим волеизъявлением выдвинутые на роль главных конкурентов последовательным интеллигентам, вовсе не являются принципиальными врагами тех истин, которые занимают умы интеллигентов (конечно, такие *бескорыстные борцы с истиной* тоже существуют, но не о них речь), они всего лишь равнодушны к таким – неоплачиваемым – истинам. И следовательно, – вернемся к исследуемым нами внутриредакционным взаимоотношениям – интеллектуалы не имеют серьезных мотивов противодействовать публикации интеллигентских статей, если это не вступает в конфликт с их непосредственными интересами. Даже если на личностном уровне они недолюбливают интеллигентов и часто испытывают раздражение при общении с ними, всё же в своей стратегической линии интеллектуал, отрефлектировавший свою позицию и сознательно ее придерживающийся, не станет *лезть в чужие дела*, если не видит пользы для себя лично в таком вмешательстве – зачем он будет тратить понапрасну силы и подвергать себя избыточному риску, если это не сулит ему никаких барышей. И кроме того: это мы, расставляя фигуры на своей шахматной доске, можем без тени сомнений объявлять, что данный человечек будет «интеллектуалом» (*интеллектуал* ходит буквой «Г»), а этот – «интеллигентом»; в жизни же всё туманно и очень запутанно, и никаких бейджиков на нагрудном кармане «NN – интеллектуал I категории» сотрудники редакции не носят, кто они и каковы мотивы их поступков, распознать непросто. То ли NN, действительно, такой, не заинтересованный ни в чем кроме истины интеллигент, каким мы его себе представляем, то ли за его действиями кроется какой-то непрозрачный для нас мотив: например, прокламируемый им режиссер – его шурин, а, может быть, за этим якобы сверхталантливым сопляком стоит какая-то неизвестная нам сила, способствующая его промоции; мы этой силы не знаем, но, возможно, шельмец NN как-то ухитрился выйти на связь с ней и теперь отрабатывает обещанный ему гонорар. Кормушек множество, и вычислить, кто где кормится, удается далеко не всегда – кто ж тебе сам расскажет об известных ему грибных местах. А что касается репутации NN как закоренелого интеллигента, то это тоже еще требует тщательной проверки: не исключено, что это – всего лишь искусно сработанная маска. Ведь и наш интеллектуал-кинокритик, продавливая свой репортаж на редакционной коллегии, помалкивал о том, что его действительно склонило в пользу однополых брачующихся (на деле, ему прозрачно намекнули, что организаторы «Недели» могут способствовать включению его почтенной особы в жюри Берлинского фестиваля), и аргументировал свой выбор общественной актуальностью и новизной еще не вполне освоенной современным кино тематики демонстрируемых на «Неделе» фильмов. От таких соображений только один – давно уже пройденный – шаг к политкорректной максиме: *Живи и жить давай другим*. И какой же ты интеллектуал, если этой максиме не следуешь?

И еще один – на мой взгляд, самый убедительный – аргумент в пользу того, что интеллигенты могут выживать и выполнять свои интеллигентские задачи в разношерстной среде [2]интеллигенции, как бы ни была эта среда им чужеродна. Аргумент этот не теоретического, а исторического свойства. Взглянем на известную многим по собственным впечатлениям картину советской журналистики (именно ее, раз уж мы брали свои вымышленные примеры из этой отрасли). Вряд ли кто-то решится спорить с утверждением, что в классический период существования советской власти в нашей стране отрасль эта была построена по схеме, основанной на гиперцентрализации управления, и находилась под строжайшим бюрократическим контролем. Никакие самостоятельно действующие поборники истины этой схемой не только не предусматривались, но – теоретически – возможность их существования просто отвергалась. Всякий, кто действовал здесь без прямых начальственных указаний, рассматривался не как человек, имеющий по какому-то вопросу собственное мнение, а как агент, выполняющий чуждый (или даже враждебный) системе заказ. Оставалось только разобраться, на чью именно мельницу он льет воду, и делает ли он это осознанно за прямую плату (продался за поношенные джинсы) или же по глупости и недомыслию –

возможность других толкований не принималась во внимание. Воспитывались целые поколения «советских писателей и журналистов», которых высшее начальство высокопарно именовало «автоматчиками партии»[43], задавая этим термином, так сказать, ориентир отношения к журналистике нижестоящим начальникам. За каждым самым незначительным печатным изданием следило бесчисленное количество контролирующих организаций. Так что редактор в своих решениях должен был не только следовать прямым указаниям тех, кому он был непосредственно подчинен и кто поставил его на руководящую должность, не только ежедневно читать газету «Правда», силясь вычитать между строк последние веяния относительно того, к какой именно такой «деревне» дано сегодня задание стать лицом[44], но и учитывать возможную реакцию на публикуемую в его журнале писанину множества самых разнообразных инстанций, вплоть до откликов «Череповецкого отделения Общества ветеранов войны и труда» или «шахтеров Кузбасса», неожиданно усмотревших в невзрачном рассказике неуважительное отношение к «тяжелому шахтерскому труду». И за каждую промашку, приведшую к действительному или мнимому отклонению от «генеральной линии» или к запаздыванию колебания в унисон с колебаниями этой самой линии, редактор и все его сотрудники могли подвергнуться самым жестоким карам. Казалось бы, в таких экстраординарных условиях монолитная и жестко взнузданная советская печать должна была производить строго унифицированную продукцию и доводить до сведения общества только те, регламентированные в мельчайших подробностях истины, которые высшее руководство (скрытое где-то в недрах Идеологического отдела ЦК КПСС, а то и выше) по не ведомой никому причине считало полезными для себя в каждый данный момент – тем более, что в большинстве случаев власть считала полезной какую-то актуальную для нее ложь, а отнюдь не истину. Но, как легко убедиться, ничего подобного в действительности не существовало. Вся пресловутая монолитность и послушность всех винтиков гигантской машины спускаемым сверху циркулярам существовала только на бумаге – в установочных статьях журнала «Коммунист» (ныне известного под названием «Свободное слово»). Всё это было лишь бюрократической утопией, приятно ласкавшей начальственное самолюбие: вот мы, дескать, какие – без нашего приказа ни одна муха не прожужжит. В любом самом задрипанном и предельно забюрократизированном органе советской печати (включая и такие как «Блокнот агитатора» или тот же самый «Коммунист», и даже районные многотиражки), если просмотреть его комплект за несколько лет, можно обнаружить немало материалов, статей или художественных произведений, которые и сейчас – по прошествии многих лет – могут заинтересовать читателя, донести до него какие-то любопытные сведения, открыть ему глаза на малоизвестные события, насмешить его метким словцом или навести на добрые чувства и мысли. Правда, все эти свидетельства живой жизни образуют лишь небольшие островки среди моря бюрократической мертвечины, заливающего страницы советской печати. Но нас, в контексте наших рассуждений, интересует не столько процент истины в лживой писанине, сколько сама возможность ее появления в условиях, всячески способствующих ее искоренению.

Кто писал эти несущие истину странички не только в отсутствие заказа на них, но и тогда, когда за них можно было огрести полной мерой? – те интеллигентные люди, которые, ежась, озираясь и коря себя за безрассудство, все же не могли устоять перед соблазном высказаться (пусть хотя бы в ямку стенгазеты или заводской многотиражки); почему эти высказывания доходили до печатных страниц, где им, вроде бы, вовсе не оставалось места? – только потому, что никакие драконовские меры не могут полностью регламентировать действия десятков и сотен тысяч людей, формально подчиненных чуть ли не единоличной воле руководителя, а в действительности обладающих разнообразной мотивацией и находящихся под воздействием

---

[43] Словосочетание, изобретенное, по словам многих свидетелей, Николаем Грибачевым, но понравившееся Хрущеву и затем подхваченное официальной пропагандой.

[44] «'Лицом к деревне' – заданье дано, – за гусли, поэты-други!» (В. Маяковский. «Верлен и Сезанн». 1925 год)

множества факторов, учесть и предсказать эффекты которых не может никакая воля. Руководящие призывы (подкрепляемые и кнутом, и пряниками) закрыть существующие и потенциальные щели и исключить несанкционированную активность раздавались непрестанно, и нельзя сказать, чтобы редакторское племя к ним не прислушивалось или не вставало навытяжку при их прослушивании. Однако все эти генеральские планы (*Die erste Kolonne marschiert…* и т.д.), над которыми издевался Лев Толстой, никаких радикальных изменений в ситуацию внести не могли, так что даже сами «высшие инстанции» генерировали их, похоже, больше для проформы, чтобы подчиненные не забывали об их недремлющем оке, но вовсе не надеялись на их реальную эффективность[45]. Слишком много игроков было на этом поле, чтобы дотянуться до каждого и заставить его плясать строго под начальственную дудку. Мы сами убедились – пусть лишь мысленно – в том, что даже в редакции небольшого журнальчика подчинить всех сотрудников единой редакторской воле – задача практически невыполнимая: несмотря на данные нами редактору все мыслимые ресурсы и полномочия, стоит ему на секунду отвернуться, как лебедь потянет в облака, а щука – естественно, в реку (где глубже). Поэтому и в насквозь обюрокраченной советской системе, несмотря ни на какие строившие всех повзводно Союзы советских писателей, журналистов или кинематографистов, параллельно с численно преобладавшими и захватившими большинство хлебных мест и руководящих позиций сервильными журналистами, писателями и кинорежиссерами существовали и прекрасные советские писатели, и талантливые кинематографисты, и замечательные художники, и журналисты, ухитряющиеся донести до читателя нечто из разумного, доброго и вечного. В конечном итоге, на каждом участке этого «идеологического фронта» конкретные успехи и неудачи *ума общества* зависели, главным образом, не от настроения или усердия начальников (хотя и от них тоже), а от соотношения сил, ратующих за истину, и сил, к ней равнодушных.

И еще немного об одном из мифов XX века

Приступая к очередному – и последнему – разделу этой части, я чувствую потребность еще раз на минуту отвлечься от своей темы и обратиться к читателю с просьбой о снисхождении. Конечно, мне хотелось бы воображать (и авторское тщеславие подталкивает меня к этому), что возникшая как бы сама собой и заранее мной незапланированная структура данной части хотя бы отдаленно напоминает финал знаменитой симфонии Брамса, в котором подъемы музыкальной энергии чередуются с отступлениями: следующая музыкальная волна, от которой мы невольно ожидаем разрешения всех коллизий, вдруг опадает, откатывается, и на фоне легкой успокоительной зыби зарождается новая еще более высокая волна, стремящаяся к кульминации и окончательному завершению[46]. Однако боюсь, что такой воображаемый мной

---

[45] Если верить рассказам современников, то даже Сталин в эпоху своего видимого всемогущества будто бы сказал в аналогичной ситуации Поликарпову, поставленному руководить писателями и жаловавшемуся на своих недисциплинированных подопечных: «Других писателей у меня для вас нет».

Вообще говоря, советские методы управления – в том числе и руководства печатью – не были так однозначны, как это может показаться на беглый взгляд, и вовсе не ограничивались только принуждением к беспрекословному послушанию: достаточно вспомнить не менее энергичные призывы к «развертыванию инициативы масс» и к «невзирающей на лица критике», которые не следует расценивать как *только* демагогию и запудривание мозгов этим самым массам. Однако вопрос этот сложный и требующий серьезного исследования. У нас еще будет повод вернуться к нему позднее.

[46] Я иногда сожалею, что не получил в свое время хотя бы минимального музыкального образования. Обладая хотя бы его начатками, я мог бы вставить в свой текст – и не наобум, а со знанием дела – такие замечательные слова как *контрапункт* или, например, *кода*. Увы, это мне не дано. И в оправдание своих дилетантских впечатлений привожу цитату из описания этого финала специалистом-музыковедом:

сверхблагожелательный читатель не более, чем моя иллюзия, а реальный читатель уже начал скучать, следя за описываемыми мною кругами в изложении этой темы. Я и сам уже притомился, но никак не могу завершить этот нескончаемый раздел: всё время возникают новые соображения, требуется обсудить и то, и сё, не забыть упомянуть и про это – тема непростая, имеющая множество ответвлений, и хочется, чтобы окончательные выводы из ее рассмотрения были, по возможности, в высшей степени убедительными. А потому прошу прощения за вынужденную занудность изложения и уверяю, что конец этой части уже близок.

Возникшая в результате нашего тщательного анализа картинка, изображающая структуру ^{2}интеллигенции и существующие в ней взаимосвязи, оказалась довольно запутанной в деталях, но, в целом, нехитрой по своей блок-схеме.

Рассматриваемая как один из социальных институтов она представляет собой сложную многоуровневую систему, состоящую из многочисленных организаций, групп и сообществ, члены которых, по определению, являются ^{2}интеллигентами. Состав этой системы и взаимоотношения между ее частями частично определяются традицией, унаследованной от предыдущих поколений ^{2}интеллигенции, частично осознанной деятельностью тех социальных (в основном, государственных) институтов, которые имеют задачу управлять ее формированием и функционированием в интересах государства в целом. Наряду с этими (вынесенными за пределы сегодняшней ^{2}интеллигенции) факторами на ее структуру существенно воздействуют и те внутренние, протекающие в ней самой процессы, которые, несмотря на свой неуправляемый и, можно сказать, стихийный характер, в большинстве случаев эволюционным путем ведут к повышению устойчивости системы и снижению ее зависимости от внешних управляющих сигналов. В связи с разбираемыми нами вопросами важно подчеркнуть, что сфера деятельности ^{2}интеллигенции обладает важной особенностью: она практически не подчиняется рациональному внешнему управлению. И дело не в том, что *служба ума* проявляет несгибаемое упорство, отказываясь подчиняться своим верховным начальникам и отстаивая свою жесткую линию поведения. Ничего подобного. Всякий знает, что, отдав решительный приказ, высшее руководство может буквально за день-два развернуть широкие массы ^{2}интеллигентов лицом к какой угодно «деревне». Но вся беда в том, что абсолютно невозможно предсказать, какую пользу получит пресловутая «деревня» от такой мобилизации интеллигентских масс. В большинстве случаев она, к счастью, может быть приравнена к нулю – постепенно вопли и визг по поводу эпохального решения стихают, чтобы смениться новой волной заклинаний, вызванных очередным «поворотом», – но не исключено, что результаты такого «всенародного подъема» и чиновного воодушевления могут привести и к трагическим последствиям. Спрогнозировать это заранее принципиально невозможно. Кто-то заметит, что указанная черта вовсе не специфична для деятельности ^{2}интеллигенции: такая «кампанейщина» наблюдается в любой области социальной жизни, которой пытается руководить бюрократическая верхушка. Как ни верно это замечание, оно всё же упускает из виду кардинальное отличие тех проблем, которые стоят перед *умом общества*, от всех прочих, в решении которых *ум общества* не играет существенной роли. Когда общество сталкивается с проблемами не *умственного* толка, те бросающиеся в глаза неразбериха, визг и причитания чиновного люда, очевидный идиотизм начальственных резолюций, которыми сопровождается решение любой социальной задачи, имеют своим основанием известную тупость начальства всех уровней и, главным образом, абсолютную незаинтересованность руководства в исходе дела. Если бы общество сорганизовалось более рациональным образом, большей части всех

«Открытым драматизмом отмечена связующая — вариант первой темы главной партии, с неистовыми возгласами, широкими скачками. Внезапно наступает успокоение: звучит побочная тема, мажорная, распевная, окрашенная благородным тембром валторны и виолончелей. Но покой краток, экспозиция завершается трагической кульминацией, в заключительной партии вновь утверждается минор. Следующая волна стихийной силы вздымается в разработке, основанной на темах главной партии». (Кенигсберг А.К., Михеева Л.В. 111 симфоний. СПб., 2000)

этих глупостей можно было бы избежать. В то же время при попытках направить ум общества на решение любой конкретной проблемы вся эта – почти на сто процентов бесполезная, а в некоторых ситуациях и смертельно опасная – чиновная свистопляска принципиально неизбежна: от нее нельзя избавиться никаким самым разумным подбором руководящих кадров[47].

Такое утверждение – отчасти даже, вероятно, обидное для тех, кто считает себя принадлежащими к интеллигенции, – неизбежно вытекает из простых, уже затронутых нами ранее соображений. Если общество знает, чего оно, собственно, хочет, и имеет более или менее ясный план достижения поставленной цели, оно и не нуждается в обращении к своему *уму*: максимум того, что может от него потребоваться в данном случае, это выдача некоторых справок по конкретным вопросам, но для длительной работы общественного ума здесь нет серьезной задачи, *умствовать* просто не о чем. Обращение к *уму* требуется тогда, когда конкретная цель толком неизвестна и неясны – даже приблизительно – пути, ведущие к достижению этой смутно представляемой цели. Собственно говоря, решение таких еще не поставленных обществом проблем и есть главная задача *общественного ума*[48]. Польза от решения проблем такого рода еще невыяснена, поскольку заранее неизвестно, возможно ли вообще приемлемое решение и каким оно будет, если будет найдено[49]. В таких случаях задача, которую ставит общество перед умом, не может иметь вид ясного, конкретного и точного задания к исполнению, а представляет собой некоторое расплывчатое пожелание, напоминающее воплощенные в фольклоре народные мечты: хорошо было бы летать, как птицы, да еще и понимать язык птиц, чтобы на лету беседовать с ласточками. Если такую еще не нашедшую своего разрешения проблему сформулировать как руководящее требование (по содержанию сводящееся к приказу: «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»[50]), то оно либо сведется к тавтологии (как пункт *Плана работы на 201… год*: «уделять повышенное внимание поиску и продвижению молодых талантливых сценаристов и кинорежиссеров»), либо – если будет подкреплено определенными кадровыми перестановками, выделением дополнительных средств и организацией новых структур – приведет к той суматохе, о которой говорилось выше, но никакого проку для дела в таких начальственных указаниях быть не может[51]. Эти – главные – свои задачи *ум общества* может решать только в режиме свободного функционирования.

Ну, и при чем же здесь интеллектуалы? – может спросить читатель, опять уже начинающий терять терпение. Не волнуйтесь. Я помню о своем обещании и сейчас решительно наступаю на

---

[47] А потому всякий, кто хочет понять процессы, происходящие (или происходившие в прошлом) в отечественной, взнузданной государством [2]интеллигенции, должен каждый вечер перед сном прочитывать несколько страниц Салтыкова-Щедрина, двадцать томов сочинений которого представляют собой неисчерпаемый сборник прецедентов для всех прошлых и будущих нелепостей и абсурдных ситуаций, почерпнутых знаменитым автором «Истории одного города» из жизненного опыта и изобретенных его неистощимой творческой фантазией.

Список дополнительной литературы к такого рода обязательному чтению слишком велик, и я не способен заняться его составлением. Рекомендую это читателям в качестве *Задания для самостоятельной работы*.

[48] Услышав эту формулировку, хомячок высунулся из-за веника и вставил свою одобрительную реплику: «Вот-вот! И я так же думаю».

[49] Здесь уместно вспомнить жуткую классическую сказочку про «обезьянью лапку» (В.В.Джекобс. Обезьянья лапка. // Шедевры английского готического рассказа. Т. 1. Голос в ночи. 1870 – 1913. М., 1994)

[50] Еще одна занятная сказочка, где в качестве представителя интеллигенции выступает *кабацкая теребень* (Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что // Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. В трех томах. Т. 2. М., 1985, с. 108-129)

[51] Возникает неизбежный вопрос: знают ли об этом так называемые «руководители»? Я думаю, что знать-то – в полном смысле этого слова – может быть и не знают, но как-то («животом») всё же, вероятно, ощущают, поскольку в своем повседневном поведении определенно придерживаются линии, определяемой таким знанием о бесплодности и даже опасности всех их попыток «руководить процессом». Зачем же они вообще этим занимаются? Для этого у них есть свои веские резоны. Но об этом несколько позже.

горло собственной песне про бюрократов-начальников, чтобы завершить последний куплет об интеллектуалах.

Разбирая гипотетические примеры, мы пришли к выводу, что оставленный без руководящего влияния и постоянного присмотра со стороны [1]интеллигента главный герой этой части моего трактата не способен длительно и устойчиво функционировать в качестве полноценной частицы *ума общества* – он неизбежно скатывается к такой имитационной деятельности, которую *умствованием* не назовешь. Неизбежность такой эволюции обусловлена тем, что мотивы, побуждающие интеллектуала к работе, лежат в плоскости, не совпадающей с той, в которой находится суть дела. Он, ни в коей мере, не заинтересован в решении проблем, содержащихся в порученном ему деле, его заботят только его личные проблемы, и побудить его к решению проблем, связанных с делом, может только наличие некоторого внешнего фактора, ставящего решение личных проблем интеллектуала в некоторую зависимость от решения им проблем дела. Таким фактором является широко понимаемый заказчик работы. Однако при подобном раскладе все издержки (времени, труда и т.п.), а также риски, возникающие в связи с выполнением порученной работы, приобретают для интеллектуала характер накладных расходов, величина которых должна быть минимизирована, чтобы увеличить доход от выполненной работы. Исходя из такого понимания и действуя сугубо рационально, интеллектуал заинтересован в том, чтобы «вынести за скобки» (если можно так выразиться) всё, что относится к сути дела, но не влияет на успешное представление результата работы заказчику. Его действительная задача состоит в том, чтобы удовлетворить заказчика, а вовсе не в том, чтобы найти оптимальное решение его проблем. Так как стандартный заказчик, не будучи специалистом, по большей части туманно представляет, в чем состоят его реальные проблемы и как их можно было бы решить, то интеллектуалу часто удается получать приличный доход, затрачивая на это минимальные усилия. Заставить интеллектуала работать в полную силу и тем самым участвовать в выполнении функций *службы ума* может только [1]интеллигент, играющий роль заказчика: только он одновременно и заинтересован в разрешении проблем, связанных с сутью выполняемой работы, и, будучи таким же, как интеллектуал, специалистом, способен профессионально и по существу оценить качество работы интеллектуала.

Рассуждая таким образом, мы приходим еще раз к выводу, что эффективность деятельности [2]интеллигенции, состоящей в нашей упрощенной схеме из трех типов [2]интеллигентов ([1]интеллигентов, интеллектуалов, то есть «бывших [1]интеллигентов», и «простых людей»), почти полностью определяется количеством в ней и степенью активности [1]интеллигентов. По сути своей, интеллектуал, – «ленивый раб» (грубо говоря) и, хотя способен выполнять работу, требующую высокой квалификации, однако моментально уклоняется от нее, если за ним не следит постоянно некий надсмотрщик (если и тот оказывается «ленивым рабом» и т.д., то мы сталкиваемся с уходящей в даль дурной бесконечностью и с ужасом узнаем в этой цепочке «ленивых рабов» актуальное состояние множества организаций, из числа составляющих нашу [2]интеллигенцию). «Простые» [2]интеллигенты не обладают высокой квалификацией и потому вовсе не пригодны для полноценного функционирования в качестве *ума общества*, они могут быть рационально использованы в этой системе только для производства неких подсобных действий по шаблонному, затверженному ими алгоритму. Чем меньше интеллигентных людей среди [2]интеллигентов, чем дальше они оттеснены от ключевых позиций в этой системе, чем интенсивнее давление на них окружающей среды, тем меньше оснований ожидать, что взятая в целом [2]интеллигенция будет реально выполнять свою функцию ума общества[52]. Интеллектуалы не могут заменить [1]интеллигентов в этой их роли.

---

[52] Чтобы чуточку приблизить нашу схему к реальности, надо сказать, что в жизни мы, конечно, не встретим в чистом виде тех трех типовых фигур, на которые мы поделили всех [2]интеллигентов. В каждом из живых людей есть и какая-то интеллигентность, и сколько-то «простоты», и насколько-то выраженная тенденция прижать хвост своей интеллигентности и перейти на позиции «простого» человека (то есть превратиться в интеллектуала). Поэтому правильнее было бы говорить не о доле интеллигентных людей

Мы уже говорили о том, что, не довольствуясь уделом «простого» малоквалифицированного специалиста и добиваясь заметного положения в своей среде, интеллектуал поневоле лишь имитирует «высокоинтеллектуальную деятельность» (это лишь спектакль для заказчиков, а в реальности он почти не пользуется своими профессиональными возможностями) и потому вынужден конкурировать с чистокровными мошенниками и аферистами, ни в каком профессионализме не нуждающимися. Благодаря этому наш герой обречен шаг за шагом скатываться на позицию своих конкурентов, так что, в конце концов, всякие отличия между ним и прочими мошенниками практически исчезают.

Так каким же представляется типичный интеллектуал в итоге наших длительных рассуждений? Мы должны констатировать, что никаких *интеллектуалов* как особого человеческого типа попросту не существует, а те, кого принято называть этим именем и кто сам себя так характеризует, это *бывшие интеллигенты*, находящиеся на различных этапах эволюции от *интеллигента* к банальному *прохвосту* (и чем выше ранг данного *интеллектуала* в ^{2}интеллигенции, тем больше оснований подозревать, что он очень близок к конечной точке своей эволюции).

Может возникнуть вопрос: разве не бывает таких случаев, когда квалифицированный человек, честно работающий на своем заслуженно занимаемом месте в ^{2}интеллигенции и приносящий несомненную и ощутимую пользу *службе ума*, откровенно признается в том, что основной мотив его деятельности заключается в достижении личного благополучия, а следовательно, в том, что он – интеллектуал? Конечно, такие случаи, безусловно, есть. Может быть, их не так уж и много в процентном отношении, но в их существовании нет ничего чудесного. Здесь мы имеем дело с простым совпадением профессионального служения истине и личной выгодности такого поведения. Отказывать таким случаям в существовании равносильно отрицанию того, что при благоприятном стечении обстоятельств истинный интеллигент может сделать блистательную карьеру и добиться с помощью своего таланта и трудолюбия завидного житейского успеха. Интеллигент вовсе не обязан взойти на костер, чтобы считаться настоящим интеллигентом. Кому-то из интеллигентов не повезло, и их сожгли за их безудержное стремление к истине, но другим выпала удача счастливо избегнуть такой судьбы и они успешно преодолевали карьерные ступеньки, не подвергаясь никаким серьезным гонениям. Можно ли поставить им это в упрек и усомниться в их интеллигентности? Но вернемся к тому ^{2}интеллигенту, который, признавая себя интеллектуалом, тем не менее, всю свою жизнь отдал служению истине, как он ее понимал. Какие у него могут быть причины отречься от своей интеллигентности и перейти в стан бывших интеллигентов? Ведь волею обстоятельств в его жизни отсутствовал резкий конфликт между его стремлением к истине и стремлением к житейским благам, ему не пришлось менять первородство на чечевичную похлебку – он получил эту похлебку без требования отказаться от своей интеллигентности. Поэтому в его заявлении о принадлежности к интеллектуалам чувствуется привкус какого-то психологического выверта. Но предположим даже, что он не сомневается в своей приверженности к бытовым и прочим житейским благам и уверен, сложись обстоятельства по-другому, он, долго не раздумывая, бросил бы свои «наскальные изображения Северного Причерноморья» и пошел бы работать в гестапо. Будучи уникально искренним человеком, он и от себя этого не скрывает, и нас решил поставить об этом в известность. Ну, и что из того? Буквально, то же самое можно сказать о любом интеллигенте: сложись обстоятельства в его жизни определенным образом (а в жизни много разнообразных ситуаций, по сравнению с которыми угроза взойти на костер может показаться слаще сахара), и он расплевался бы с собственной лелеемой всю жизнь интеллигентностью. Вывод, по-моему, должен быть таков: интеллигент, который еще не начал интенсивно и неуклонно эволюционировать в сторону прохвоста, не заслуживает наименования интеллектуала, и даже с теми, кто уже заметно

в ^{2}интеллигенции, а о степени интеллигентности всех вместе взятых ^{2}интеллигентов. Однако такое уточнение не может изменить выводов, к которым мы пришли, оставаясь в рамках своей предельно упрощенной схемы.

подвинулся в этом направлении, надо быть осторожнее и не торопиться с окончательными оценками.

Второй и главный наш вывод касательно несуществующих интеллектуалов, сиречь бывших интеллигентов, гласит: никакой существенной роли в функционировании *ума общества* они не играют и играть не могут. Опираясь на них, никакой мало-мальски оправдывающей свое название *службы ума* не построишь.

В итоге мы видим, что дилемма, вынуждающая нас делать выбор между *интеллигентом* и *интеллектуалом*, иллюзорна. Вопрос о выборе – и очень жестко стоящий сегодня вопрос – может ставиться только в отношении выбора между интеллигентом и тем, кто перестал им быть и, соответственно, отказался от выполнения социальной функции интеллигенции. А идеологическая конструкция, прокламирующая интеллектуалов как полноценную замену изжившим себя интеллигентам, – это не более, чем один из многочисленных мифов XX века. Миф, рожденный в душах бывших интеллигентов и призванный замаскировать и приукрасить[53] их измену делу истины и их социальный паразитизм.

[53] В том числе для них самих, но, в первую очередь, для их заказчиков.

Часть 4
Творцы «мичуринской биологии»

Чтобы у читателя не возникло представление, что все наши предыдущие рассуждения об интеллигенции и разных типах интеллигентов – может быть, и занятные сами по себе – это только вымышленные теоретические конструкции, которые вряд ли применимы к анализу запутанных и многомерных жизненных ситуаций, я хочу в этой части своего обширнейшего труда продемонстрировать использование выработанных понятий и полученных с их помощью выводов для того, чтобы разобраться в одном историческом эпизоде, ставшем, по мнению многих, самой черной страницей в развитии советской биологии. Если наши рассуждения о становлении и функционировании [2]интеллигенции не исчерпываются понятием *игры свободно функционирующего ума*, а в какой-то мере отражают реальные жизненные процессы, мы можем надеяться, что приложение нашего теоретического инструментария к анализу конкретной – описанной в истории – ситуации позволит нам разглядеть в этой ситуации нечто такое, что до сих пор ускользало от внимания историков науки, не имевших в своем распоряжении подобных мыслительных инструментов.

Поскольку из названия главы читатель уже понял, что речь пойдет об эпохе так называемой «лысенковщины» и ее влиянии на судьбы науки в нашей стране, я заранее скажу, что одним из главных тезисов, которые я постараюсь доказать в этой части, будет утверждение о ведущей роли Н.И.Вавилова в режиссируемом большевиками плане «покорения и преображения» отечественной науки, плане успешно выполненном и доведшем нашу многострадальную науку до сегодняшнего состояния. При этом, опять же скажу заранее, я вовсе не отказываю Вавилову в законном праве на те эпитеты, которые принято употреблять в его характеристиках: я, как и большинство пишущих о Вавилове, считаю, что он – действительно, «крупный ученый», «создатель оригинальной научной теории», «блистательный организатор науки», «бесстрашный поборник истины», и вообще «замечательный человек» и «трагическая фигура» нашей недавней истории. Но именно такой, всей душой болеющий за свое дело, великолепный экземпляр ученого-биолога и требовался организаторам иезуитского плана, уничтожившего при своем выполнении не только Н.И.Вавилова и ему подобных, но и науку в целом.

Сей предваряющий основное изложение «анонс» я помещаю в начало изложения этой темы с двоякой целью:

Во-первых, я хочу немного заинтриговать тех, кто, уяснив по названию, о чем пойдет речь, и уже зная в общих чертах эту историю, приготовился немного потерпеть и еще раз выслушать поучительное моралитэ о *рыцаре науки* Вавилове и его антагонисте *темном демоне* Лысенко. Я, не оспаривая распределение ролей в спектакле (а внешняя сторона этого процесса была задумана именно как спектакль), хочу привлечь внимание сегодняшней публики не столько к событиям, происходящим на сцене, сколько к режиссерам, появляющимся на публике лишь изредка, и к их коварным планам. Ну, и заодно вытащить на свет божий, поближе к юпитерам и софитам, многочисленных лиц, которые сидели в партере и на галерке вместе с прочими зрителями, но на самом деле, были одними из главных действующих лиц в этом срежиссированном действе.

Во-вторых, целью такого предуведомления является подготовка читателя к определенным поворотам в освещении этой известной многим истории, чтобы ему не пришло в голову (на оснований первых нескольких прочитанных фраз), что я – еще один из *мирониных*, то есть тех (не столь уж и малочисленных) странноватых субъектов, которые, руководствуясь трудноопределимыми мотивами и не особенно считаясь с историческими фактами, стараются ревизовать общепринятый взгляд на всю эту эпопею, При этом Лысенко изображается в их писаниях как гениальный провидец (чьи смелые идеи якобы подтверждаются современным естествознанием), который бескомпромиссно боролся с «менделистско-морганистской» научной мафией, возглавляемой в нашей стране Вавиловым, и получил при этом поддержку со стороны Партии и Правительства, распознавших в «мичуринской биологии» перспективное направление, ведущее к расцвету советской агронауки. Так вот, предупреждаю читателя: я – не из их компании, и ничего общего с этими доморощенными «ревизионистами» у меня нет[54]. Любые мои высказывания не следует интерпретировать в этом духе.

Теперь мы могли бы перейти непосредственно к изложению заявленной темы, но возникает еще один, требующий предварительного обсуждения вопрос. А потому следующим разделом сего трактата будет не первый параграф *Части 4*, а вынесенное за пределы этих частей *Историко-методологическое интермеццо*. Уверяю, оно окажется совсем не лишним при обсуждении тех проблем, с которыми мы столкнемся в следующей по порядку части.

(продолжение на стр. ...)

[54] Мимоходом замечу, что статьи и книги, относящиеся к этому «ревизионистскому» течению, хотя и содержат иногда ссылки на некоторые редко упоминаемые факты и источники, в целом, не представляют для нас интереса, ввиду пренебрежительного отношения авторов к объективной истине и ввиду их общебиологической малограмотности. Поэтому, лягнув их разок – для порядка – на этих страницах, я к их опусам больше возвращаться не буду.

Историко-методологическое интермеццо

По плодам их узнаете их
Евангелие от Матфея

Суть проблемы

Проблема, обсуждению которой посвящен этот, как бы вынесенный за пределы основного текста раздел, заключается в следующем:

Пока мы рассуждали об интеллигенции «вообще» и о начальниках «вообще», пользуясь для этого вымышленными примерами, я мог, особенно не раздумывая, приписать любой поступок или любую черту характера выдуманным мною персонажам. Точно так же я мог не сомневаться в мотивах их поступков, поскольку сам решал за них, чего они боятся и к чему стремятся. Такие картонные человечки (а точнее, внешне похожие на людей куклы) в некоторых отношениях очень удобны, но на деле они значат не больше, чем кружки и стрелки, которые нарисованы нами на схемах, предназначенных для иллюстрации нашего хода мыслей. Читатель мог сомневаться в правдоподобии таких человечков и близости их изображений тем живым людям и ситуациям, которые встречаются ему в реальной жизни, но он не мог упрекнуть меня в том, что, рисуя «мадам Х» или «председателя Ученого совета», я исказил их образы и полностью извратил движущие ими мотивы. Мотивы у них таковы, какие я им приписал.

Но в следующей части мы будем обсуждать поступки некогда существовавших реальных людей – исторических персонажей. При этом мы с вами не были знакомы лично с этими людьми и должны судить об их поступках, взглядах, побудительных мотивах их поведения на основании косвенных исторических свидетельств: оставшихся документов, текстов их речей и выступлений, воспоминаний их современников и собеседников и т.д. Каким бы обилием источников такого рода мы ни располагали, в них всегда недостает каких-то ключевых данных, позволяющих с достоверностью судить о тех, когда-то актуальных, а ныне не существующих причинах, подчиняясь действию которых рассматриваемые нами персонажи совершали ставшие нам известными поступки. Что они думали, поступая так, а не иначе? чего ожидали от своих действий? как они прогнозировали поведение других, связанных с ними людей, и как расценивали их слова и поступки? почему они стремились к достижению тех или иных результатов и, действительно, ли стремились? – всё это остается нам неизвестным, и мы можем только догадываться, как это было в реальности. Мы должны иметь рациональные основания для интерпретации имеющихся у нас свидетельств, если не желаем остаться с грудой отдельных разрозненных «фактов», не связанных ни в какие логические цепочки.

Обоснование разумного принципа интерпретации свидетельств и представляет собой заботящую нас и не имеющую простого однозначного решения проблему. Та, внутренняя логика поведения персонажей, которую мы бы хотели восстановить при реконструкции интересующего нас исторического процесса, абсолютно не поддается непосредственному наблюдению. И дело здесь вовсе не в том, что мы имеем дело с историческими, уже исчезнувшими с лица земли фигурами. Точно такие же трудности мы испытываем и при

наблюдении за ныне существующими, возможно даже лично знакомыми нам людьми. Более того, даже обладая возможностью самонаблюдения и являясь субъектом своих собственных поступков, человек не может быть полностью уверен в своих объяснениях своего же поведения. Не так уж редко осознаваемые им мотивы того или иного поступка оказываются лишь благопристойной ширмой, за которой скрывается совсем иное побуждение, входящее в конфликт с другими чувствами или настолько не соответствующее внутреннему образу «я», что человек не может допустить его в светлую область своей психики. Всё это общеизвестно, и не стоит далее тратить время, доказывая чрезвычайную сложность прояснения тех мотивов, которые направляют поведение людей.

На основании чего мы интерпретируем поведение других людей?

Тем не менее, несмотря на всю эту немыслимую сложность, мы в своих суждениях – даже если ограничиться только сферой обыденной жизни, – особенно не раздумывая, приписываем окружающим те или иные побуждения и почти не сомневаемся в адекватности своих интерпретаций чужого поведения. Точно так же мы судим о мотивах, обусловливающих поведение литературных персонажей или героев кинофильмов, – не имея такой способности, мы просто не смогли бы следить за сюжетом. Что же мешает нам пользоваться той же самой – пусть и не осмысленной нами – логикой для расшифровки мотивов исторических лиц? Да, ничто не мешает. Мы так и делаем, обсуждая действия княгини Ольги, Черчилля или Мао Цзэдуна. С какой стати собирается Олег идти походом на хазар? Ясно: он решил отомстить им за буйный набег. И в чем тогда состоит проблема? Пусть наш интуитивный способ интерпретации чужого поведения неточен, и мы нередко ошибаемся при его использовании. Действительно, с вещим Олегом мы, положившись на авторитет Пушкина, что-то похоже напутали – как говорят историки, с хазарами он, по всей видимости, и не воевал. Но это частный случай. А в целом, чем неудовлетворителен такой подход? Мы точно так же можем ошибиться и в быту, и даже помним некоторые свои ошибки такого рода. Но, тем не менее, мы же не отказываемся от использования этого простого, привычного нам метода. И дай нам Бог судить о мотивах действий Керенского или Троцкого с той же степенью точности, с которой мы судим о своих знакомых Саше и Лёве. Это бы нас вполне удовлетворило. Чего еще лучше желать?

Чтобы удостовериться, что в отношении исторических лиц здесь есть серьезная проблема, которую мы не замечаем в обыденной жизни, попробуем хотя бы на примитивном уровне выяснить, на чем основывается наше «понимание» других людей. Я не сомневаюсь, что на эту тему написано множество книг и статей и, вероятно, среди них можно найти и такие, которые глубоко исследуют этот вопрос, но я этой литературы не знаю и не вижу необходимости надолго отвлекаться в эту сторону от нашей основной темы. Нас в данном контексте устроит любое существенное различие, которое говорит о невозможности в суждениях об исторических личностях полагаться на усвоенные нами с детства способы понимания других.

Начнем, неожиданно для читателя, с понимания внутренней логики поступков литературных персонажей (читатель-то, видимо, ожидал, что первыми окажутся наши знакомые Саша или Лёва? – не тут-то было! – я стараюсь идти не в ногу с читателем и в чем-нибудь его – хотя бы на шаг – обойти). И начнем как раз с *неожиданности*. Почему при чтении художественной литературы у нас нередко возникает ощущение неожиданного сюжетного поворота, вызванного поступком героя? Только потому, что, до того, как мы узнали об этом поступке, у нас было некое «ожидание» – опровергнутое при дальнейшем чтении. Читательское ожидание, то есть невольное прогнозирование дальнейшего хода литературных событий, играет исключительно важную роль в эстетическом восприятии художественных текстов (да и

любых эстетических объектов[55]). Есть жанры, где почти весь интерес строится на неожиданных сюжетных поворотах, отсюда и их определение как *остросюжетной литературы* – литературных произведений, которые специально акцентируют такие неожиданности и привлекают к ним читательское внимание[56]. Но и в любом произведении, даже в тех, где ожидания читателя обманываются мягко и незаметно для него самого, связка *ожидание/неожиданность* играет фундаментальную роль. Она может возникать на всех уровнях текста: неожиданной может быть как рифма или эпитет, так и композиция больших кусков текста или внезапное введение в повествование *Историко-методологического интермеццо*.

Здесь нас интересуют только неожиданные поступки героев. «Татьяна русская душою» ухитрилась, как известно, не только привлечь к себе внимание читателей своими экстравагантными поступками, но и озадачить самого Пушкина, никак не ожидавшего от нее решения выйти замуж. Но, если в процессе чтения мы подсознательно ожидаем, что герой в данной ситуации поведет себя определенным образом (исключающим тот вариант, который на следующей странице будет воспринят нами как неожиданный), то на чем может основываться наш прогноз? Я не нахожу для этого никакого другого объяснения кроме предположения (ввиду своей единственности обязанного быть верным) о том, что в душе читающего[57] (чаще всего на подсознательном уровне) имеются некоторые предсуществующие шаблоны (образцы, паттерны) поведения героя в определенных обстоятельствах. Отклонение от этих шаблонов и вызывает эффект неожиданности. Понятно, что в душе читателя должен присутствовать целый набор таких шаблонов – от Татьяны мы неосознанно ожидаем одного, в то время как от Онегина чего-то совсем иного. Чем квалифицированнее читатель (и писатель), тем бóльшим и тем тоньше дифференцированным репертуаром литературных шаблонов он пользуется при восприятии очередного произведения. И это наталкивает на мысль, что повышающая читательскую квалификацию начитанность способствует расширению этого набора, а следовательно, большую часть используемых шаблонов читатель извлек из прочитанных до этого книг. Мысль эта не нова и лежит в основе почти всех теоретических построений русской формальной школы – от «остранения» Шкловского до тыняновской «теории литературной эволюции». Насобачившийся при чтении стихов читатель, встретив в конце строки *морозы*, уже не сомневается в будущей рифме и теряет интерес – ничего нового ему чтение не сулит, он всё уже знает наперед, а потому следующее поколение поэтов вынуждено обновлять свой словарь и способы рифмовки. Однако без наличия у читателя шаблонов, адекватных тем, которые использует автор, получение удовольствия от чтения просто невозможно. Так любительница «розовых» романов, которой в руки попал один из лучших романов Агаты Кристи и которая читает его с использованием привычных ей шаблонов, не только не получит удовольствия, но и вовсе не поймет, в чем состоял сюжет – повествование распадется для нее на набор не связанных друг с другом эпизодов, в которых действующие лица будут совершать, правда, непредсказуемые, но абсолютно бессмысленные, ни с чем не сообразные поступки.

Сама возможность такой квалификации поступков героев, разделяющая их на вытекающие из ситуации и бессмысленные, говорит о том, что имеющиеся у нас шаблоны включают как свой неизбежный компонент и присущую героям мотивацию. Герой, действуя согласно шаблону, должен демонстрировать некоторую внутреннюю логику своего поведения: его поступки обязаны вытекать из предложенных автором обстоятельств и соответствовать его

---

[55] Об эстетической значимости этого феномена см. Мазель Л.А. О следовании инерции восприятия и ее нарушении // Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. М.: Советский композитор, 1978, с. 217-247

[56] Забавно, что любитель подобной литературы, берущий с прилавка книжку «Мертвые не кусаются» или «Смерть подстерегает на выходе», заранее *ожидает*, что его будут развлекать такого рода *неожиданностями*.

[57] Пример пушкинской Татьяны свидетельствует, что то же самое можно сказать и о душе автора. Автор, с этой точки зрения, не только творец, но и *первочитатель* произведения (идеальный прототип будущего – *провиденциального*, как выразился Мандельштам, – читателя).

характеру, полу, возрасту и т.д. Если по сюжету героиня высовывается из окна и, не удержавшись, падает с четвертого этажа или бросается под поезд, как Анна Каренина, то читатель, использующий адекватные шаблоны, должен понимать, почему они так поступили, каковы были их цели и побудительные мотивы, приведшие к такому исходу. Только в рассказиках Д.Хармса или в «иронических детективах» последовательниц Д.Донцовой читатель не может найти подобной внутренней логики поведения персонажей, поскольку их поступки зависят только от ничем не стесняемого произвола автора (да читатель и не ищет здесь никакой логики). Но в этом случае повествование приобретает характер абсурда, в слежении за поступками героев уже не может быть ни осмысленного ожидания, ни, соответственно, осмысленной неожиданности, и, если читатель все же получает какое-то удовольствие, то его происхождение лежит в иной плоскости, не связанной с поступками персонажей.

Таким образом, «понимание» литературных героев и их мотивов поведения возникает в результате приложения к ним исходно имеющихся у читателя шаблонов. Если у нас нет подходящего шаблона, поступки, за которыми мы наблюдаем со стороны, остаются для нас непонятными – мы не можем проникнуть в «душу героя», увидеть и почувствовать его изнутри, он остается для нас темной, непроницаемой фигурой, от которой неизвестно чего можно ожидать.

Теперь, пользуясь этой же схемой (этим же шаблоном), взглянем на «понимание» чужих сознаний в сфере обыденного опыта. Это тем более оправданно, что в начале приобретения читательского опыта человек вынужден пользоваться теми шаблонами, которые он приобрел за пределами литературы, постепенно приводя их в соответствие с нуждами читательского восприятия и обогащая их репертуар вычитанными литературными образцами. Более того, если мы возьмем за начальный этап ранние годы жизни, мы столкнемся с тем, что усвоение жизненных поведенческих и прочих шаблонов происходит параллельно и переплетаясь с накоплением литературного опыта. «Почему, – спрашивает ребенок, – колобок ушел от дедушки и от бабушки? Зачем?» – «Ну, такой уж он своевольный... непослушный…», – отвечает ему бабушка (не та бабушка, что в сказке, а та живая бабушка, которая читает ему сказку). Налицо не только зарождение литературного шаблона, но и приобретение частички жизненного опыта, применимой отнюдь не только в сказках: ребенок усваивает ту нетривиальную мысль, что своеволие (то есть нежелание подчиняться кому бы то ни было) само по себе может быть мотивом поведения[58]. Этого еще маловато для понимания героев Достоевского или мамы соседского Саши, но накапливаясь, усложняясь и обогащаясь, такие образцы дают, в конечном итоге, возможность и того, и другого.

Важным элементом попыток понимания других (и в жизни, и в литературе) оказывается проведение аналогий со своей собственной душевной динамикой, известной нам из самонаблюдения. И этот способ проникновения в чужую душу также начинается с самых ранних детских лет. Ребенок не задается вопросом: «Почему Колобок стремится убежать от медведя, который пообещал его съесть?» Это ведь и так ясно. Неосознанно представив себя на месте Колобка, которого хочет съесть медведь, ребенок невольно испытывает страх – смысл словосочетания «съест тебя…» он усвоил еще до того, как сам научился говорить. Пусть этот внутренний страх – лишь мимолетный намек на чувство и не переживается актуально во время слушания сказки, такого намека достаточно, чтобы понять мотив, побуждающий Колобка к бегству от медведя. Совершенствуя эту способность умозаключать по аналогии с собственной душевной жизнью, человек привыкает «вживаться в чужую шкуру» и «становиться на место другого», чтобы понять этого другого и с большей или меньшей вероятностью предсказывать его будущие поступки. Конечно, еще в детстве человек понимает несовершенство этого

[58] Через годы, читая сказку уже своему ребенку, человек может заметить, что у Колобка мог быть и другой мотив – попроще. (Что бы с ним было, останься он у бабы с дедом? Тоже бы съели?) Но своеволие, понимаемое как самостоятельно существующая потребность, уже включено во множество имеющихся в его душе шаблонов, которые используются им для объяснения поступков других людей и для «понимания» их внутренней механики. Оно уже теперь никуда не денется.

метода: с его помощью можно легко предсказать поведение соседского мальчика, которому ты дал пинка, но спрогнозировать, как отреагирует на этот конфликт бабушка, уже значительно сложнее. Взрослея и накапливая жизненный опыт, человек расширяет и способность использовать свою хорошо изученную им психику для суждения о других людях. При этом он не просто подставляет себя в ситуацию, в которой оказался Другой («что бы я сделал, если бы оказался на месте бабушки, которой дала пинка соседская тетя?»), но вводит необходимые поправки на особенности характера, возраст или привычки этого рассматриваемого Другого[59]. Мы используем один и тот же репертуар усвоенных поведенческих шаблонов и для того, чтобы понимать других, и для регуляции собственного поведения. Так что наша способность испытывать определенные чувства и способность к эмпатии (к «сочувствию» и «сопереживанию» с Другим и к «вчуствованию» в Другого) – это одна и та же способность, но увиденная с разных точек зрения. Эта способность очень широка и может быть рассмотрена в различных аспектах. Мы можем использовать для суждений по аналогии не только свою психику, но и те сведения о поступках (и их мотивах) других людей, которых мы могли наблюдать лично или о которых мы могли узнать из каких-то других источников (в том числе и из литературных произведений)[60]. Можно указать и на другие моменты этого «вчуствования». Так, например, можно вспомнить, что неосознаваемые шаблоны могут возникать и на принципиально «внесловесной» основе: очень многое о настроении, чувствах, побуждениях других людей мы узнаем при общении с ними, ориентируясь на выражение лица, жесты, походку, интонацию, тембр голоса и тому подобные, не поддающиеся достаточно точному описанию признаки. Мы умеем это делать, но как мы этого достигаем, мы и сами не знаем. Даже просто глядя на чью-то фотографию, мы можем как-то предсказывать поведение человека, хотя точность таких предсказаний и очень низка. На этом мы можем и закончить эти общие рассуждения, поскольку для наших целей достаточно будет сосредоточить внимание лишь на одном моменте: на привычности используемых нами шаблонов.

Как не велики ресурсы нашего репертуара шаблонов, позволяющих до какой-то степени понимать других людей, всё же их круг ограничен нашим жизненным опытом. Почему мы почти не сомневаемся в верности наших предположений относительно наших толкований поступков своих знакомых и близких нам людей? Потому что мы хорошо их знаем и за долгие годы имели возможность наблюдать их в различных ситуациях, а затем и случай проверить верность наших предположений об их поведении. И чем ближе знакомы нам эти люди, тем больше наша уверенность в своих толкованиях. Нам гораздо проще судить о мотивах поведения наших соотечественников, близких нам по возрасту, социальному статусу, по происхождению и профессии людей, чем об иностранцах или людях с другим жизненным опытом, живущим в значительно отличающихся от наших условиях, имеющих какие-то специфические черты. Вынужденные общаться с такими непонятными нам людьми, особенно попадая в среду, состоящую из таких людей, мы невольно настораживаемся, чувствуем себя некомфортно и побаиваемся, что за непроницаемой для нас внешностью могут скрываться мотивы, угрожающие нашему благополучию[61].

---

[59] Именно так я пытался реконструировать ход мыслей «председателя Ученого совета» и обуревающие его чувства, внося кажущиеся мне необходимыми поправки на очевидное различие между нами.

[60] Так, начиная свой рассказ-объяснение о зверском «убийстве на клумбе с петуньей», Мисс Марпл нередко ссылается как на прецедент, позволивший ей понять хитроумную механику преступления и мотивы убийцы, на какую-нибудь давным-давно случившуюся в ее тихой Сент-Мери Мид супружескую ссору. А мы можем использовать как прототип для объяснения поведения знакомой нам девушки чувства, возникшие у Татьяны Лариной в похожей ситуации.

[61] Не случайно с этим феноменом чужой непонятности, непроницаемости часто связывают происхождение национальной, религиозной и прочих видов ксенофобий. Чужаки нам непонятны, не знаешь, чего от них ожидать, и как бы ни были они безобидны на первый взгляд, лучше держаться от них подальше. А еще лучше, если бы их вообще не было. По крайней мере, рядом с нами, обычными, более или менее ясными друг другу и предсказуемыми людьми. А потому желательно было бы всех этих четырехглазых, читающих газеты и прогуливающихся по бережку под зонтиками (это они сейчас такие

Сложность интерпретации поступков исторических персонажей и существующие методы решения данной проблемы

Но, если на минуту задуматься, приходишь к выводу, что именно с такой ситуацией мы сталкиваемся, когда пытаемся понять поведение неких исторических персонажей. Правда, мы можем их не опасаться, поскольку мы надежно защищены от непосредственного общения с ними удаленностью в пространстве и времени – мы общаемся с ними в виртуальном пространстве наших мыслей. Но в остальном мы должны признать, что попытка приложить к ним привычные для нас (и, действительно, работающие в наших обычных условиях) шаблоны будет столь же непродуктивна, как и суждения по аналогии (взяв за основу самого себя) о мотивах того или иного поступка чеченского полевого командира. Даже если не брать в качестве примера княгиню Ольгу (очевидно, что бессмысленно судить о ней по аналогии с Татьяной Лариной) или Спартака, а ограничиться более близкими к нам историческими личностями, то мы не можем не обращать внимания на то, что во многих отношениях эти люди разительно отличаются от тех, с кем мы более или менее знакомы и в общении с кем мы вырабатывали и шлифовали свои способности к пониманию других. Что общего у Керенского или Сталина с теми, кого мы знаем, с нашими отцами, братьями, сослуживцами, с – хоть и шапочно, но все же знакомым нам – председателем Ученого совета или с нашими приятелями Сашей и Лёвой? Только то, что все они двуногие мужского пола? Ну да, у всех у нас как представителей рода человеческого есть много общих черт, но разве обладание ими определяет наши поступки в мере, достаточной для предсказаний и верных суждений о них? Мы должны сознаться, что большинство персонажей даже нашей относительно недавней отечественной истории для нас почти полностью непрозрачны. И непонятно, как могли бы мы пробиться через эту непроницаемую для нас завесу, чтобы понять внутреннюю логику исторических процессов, в которых эти персонажи участвовали и на направление которых они, по нашему мнению, могли оказывать существенное влияние.

Придя к выводу, что наука стоит в этом случае перед сложной проблемой, попробуем понять, какие способы ее разрешения имеются на сегодняшний день.

Первый, всем известный и, по-видимому, самый распространенный метод решения – суждение по аналогии с самим собой: рассуждающий прикидывает, как бы он повел себя на месте Сталина (или Гитлера, или малолетнего царевича Дмитрия) в рассматриваемой ситуации, и подставляет свои воображаемые планы и действия в исторический контекст, сравнивая прогнозируемые результаты такого поведения с тем, что известно ему из исторических источников. Такой подход к обсуждаемой нами проблеме можно назвать «*если бы директором был я*», воспользовавшись заголовком популярной рубрики, регулярно появлявшейся на страницах «Литературной газеты» (вероятно, самой популярной в интеллигентской среде газеты в те, баснословные советские времена). Почти во всех случаях применения данного метода рассуждения (независимо от того, к чему он применяется) результатом оказывается вывод, заставляющий усомниться в умственных способностях или даже в психической полноценности рассматриваемых исторических персонажей: практически всегда выясняется, что они действовали (и, следовательно, рассуждали) не так, как должен был бы действовать на их месте вполне разумный человек. Даже, если мы (рассуждающие) не переоцениваем своих талантов, мы видим, что на месте Сталина мы бы решали стоявшие перед ним вопросы гораздо умнее и на порядок эффективнее. Нет сомнений, что нашей стране исключительно не повезло: родись я на два поколения раньше, у страны появился бы шанс,

---

тихие да смирные, а черт их знает, что у них на уме), если не сразу перебить и закопать, то хотя бы выгнать их из нашего села. Пусть идут в свой город или куда хотят, на все четыре стороны.

если не полностью избежать своей трагической судьбы, то хотя бы значительно смягчить те ужасы, которые ей пришлось пережить под руководством такого исключительного тупицы, как этот прорвавшийся к верховной власти тип, сделавший на своем посту почти все ошибки, которые можно было совершить в тех условиях. Но то же самое можно сказать и про всю руководящую партийно-советскую верхушку: они-то куда смотрели? Почему они позволили командовать собой такому бездарному пахану, который не видел дальше собственного носа и пер в своих сапогах в каждую встречавшуюся на пути топь, завлекая в нее все население страны? Видно и они – все эти Троцкие, Каменевы, Зиновьевы и примкнувшие к ним Котовский с Тухачевским - не блистали умом, если не сумели предупредить такого развития событий. А Ленин? Что думал этот, прослывший гениальным (и даже получивший золотую медаль при окончании гимназии) прародитель всей генерации советских вождей? Правда, в конце своей карьеры он спохватился, что дело идет куда-то не туда, и пытался предупредить усиление позиции Сталина в Политбюро, но забеспокоился он об этом лишь тогда, когда всё им же подобранное Политбюро состояло из туповатых двоечников, не сумевших вовремя по достоинству оценить реальные способности Сталина к руководству большой страной и – переместив его на пост завканцелярией Наркомпроса – предотвратить его возвышение, никак не соответствующее его очень скромным интеллектуальным возможностям. А где были Милюков с Керенским и Гучков с Корниловым, когда Ленин со своей шайкой рвались к власти? Неужели они не понимали к чему это приведет? Достаточно было арестовать всю эту компашку, приехавшую в Россию по соглашению с вражеской Германией, прямо на станции Белоостров, не допустив ее до Финляндского вокзала (чего, собственно, и ожидали сами ехавшие через Финляндию большевики), и всё: мы бы жили сейчас припеваючи в цивилизованной и благоустроенной стране. А эти «министры-капиталисты»? Они что сделали? Болваны, да и только! А Николай II со всеми своими государственными деятелями? И так далее, и так далее.

Читатель давно уже понял, что на этом пути мы будем вынуждены признать всю русскую историю (а почему, кстати сказать, только русскую?), начиная хотя бы с Бориса Годунова, за непрерывную цепь грубейших ошибок, совершенных ее бестолковыми правителями. Но и это еще не конечный вывод. Мы должны будем сделать и следующий шаг, признав, что общество («русская земля», «народ», наши деды и прапрапрапрадеды), которое не сумело за века выдвинуть в свое руководство вменяемых и толковых людей, само, вероятно, состояло сплошь из недоумков, ни на что не способных, кроме как ковырять примитивной сохой, недалеко ушедшей от первобытной «палки-копалки», свои нищие суглинки и совершенствовать форму деревянной ложки. И только в наше время откуда-то появились здравые люди, вроде нас с вами, которые видят все глупости, совершенные нашими историческими предшественниками.

Очевидно, что результаты подобных рассуждений абсолютно нереалистичны и ведут к торжеству абсурда.

Убедившись в этом, нетрудно понять, почему наши вполне, на первый взгляд, логичные умозаключения ведут, в конечном итоге, к абсурдным выводам. Ведь рассуждая таким простейшим образом, мы вовсе не претендуем на какую-то особенную государственную или житейскую мудрость – ничего подобного мы в себе не ощущаем. Мы даже готовы предположить, что в той исторической реальности, о которой мы рассуждаем, были некие дополнительные факторы, оставшиеся незамеченными нами, но повлиявшие на решения действовавших тогда лиц. Но ведь наши рассуждения и не требуют учета всех нюансов обстановки, мы мыслим грубо и примитивно, прекрасно это осознавая. И в данном случае выведение за скобки разных тонкостей – это и есть наш козырь. Если учитывать неизвестные нам тонкости, задача может стать запутанной и имеющей множество кажущихся решений, но если их отбросить, как мы это делаем, решение во многих случаях упростится до элементарного выбора между «да» и «нет». Мы как раз и рассуждаем на этом уровне.

Какой смысл имела борьба советского правительства с так называемыми «мешочниками» в годы Гражданской войны? Чего добились большевики введением специальных заградотрядов,

целью которых было недопущение в крупные города (в частности, в голодающий Петроград) людей, везущих туда продукты питания, выменянные в деревне на привезенные из города часы-ходики, мешочек гвоздей и лисью шубу? На одной из ближайших к Петрограду железнодорожных станций поезда досматриваются, выявленные продукты изымаются, а пойманным с поличным «спекулянтам» грозят еще и дополнительные кары. Какой в этом прок? Можно при этом втянуть в рассмотрение немыслимое количество дополнительных источников и данных, так или иначе связанных с борьбой власти против спекулянтов и мешочников (даже название грозной ЧК включало указание на борьбу со спекуляцией, напоминая о ней как об одной из приоритетных большевистских забот), но разве могут все эти нюансы изменить исходную, упрощенную до предела диспозицию? Власть обеспокоена недостаточным продовольственным снабжением крупных промышленных центров и для улучшения положения вводит драконовские меры, не допускающие для населения ни малейшей возможности самим раздобыть дополнительную еду. Где здесь логика? Вроде бы искоренение спекуляции лучше соответствует задаче борьбы с голодом: пользующиеся нехваткой продовольствия, спекулянты вздувают цены на продукты питания и тем самым мешают более справедливому их распределению, значит, с ними надо бороться. Но разве, отбирая у всех «мешочников» без разбора сверхпайковые продукты и тем самым отбивая у городских жителей охоту к самоснабжению, можно добиться снижения цен в городе? Неужели непонятно, что такие меры только взвинчивают цены, а весь черный рынок отдают в безраздельное господство крупным спекулянтам, которые, естественно, не рискуют собственной шкурой при провозе продуктов, а нанимают для этого лихих людей, в том числе среди служащих продовольственных складов и тех же самых бойцов и командиров заградотрядов. Бешеные прибыли вполне окупают этот риск. Неужели борцы за народное счастье этого не понимали? Даже если мы предположим, вслед за многими другими, что, так как сами руководители-большевики и при таких порядках неплохо питались, то им было наплевать на страдания жителей (они готовы были не только петроградцев, но и всю Россию уморить, лишь бы еще при жизни увидеть торжество социализма в мировом масштабе – такие уж они были фанатики, что с ними сделаешь?), то всё же остается неясным, как голод в городах мог им в этом помочь. Как ни крути, промышленный пролетариат, больше всего страдавший от такого голода, был чуть ли не единственной социальной группой, в которой призывающие к социализму большевистские лозунги находили сочувственный отклик и в которой можно было найти людей, готовых считать большевиков своими законными представителями во власти (ведь это не я придумал, ведь об этом большевики много лет трубили на всех углах). Ну и как, с этой точки зрения, могло способствовать делу социализма сведение этого самого пролетариата под корень и озлобление выживших против «родной» советской власти? Опять же мы вынуждены констатировать, что большевики, и в свете подобной гипотезы, выглядят не как ловкие, толковые дельцы, умеющие добиваться своих целей (нам эти цели не импонируют, но речь же не об этом), а как тупые доктринеры и ослепленные фанатизмом недоумки, которые прут напролом, не разбирая дороги, и хватаются за первые попавшиеся под руку средства, от которых нет никакой пользы для достижения поставленных целей.

Но сознаемся сами себе, большевики вовсе не производят впечатления таких уж дуболомов и фанатиков: когда им было выгодно, они, долго не раздумывая, шли на резкие перемены своего курса и умели проводить очень гибкую политику. Как все эти впечатления и умозаключения объединить в какую-то непротиворечивую концепцию? В чем здесь подвох?

Не буду дальше томить читателей своими парадоксами, тем более, что многие уже и без меня догадались, в чем тут дело, а некоторые знали это и заранее. Коренной порок метода интерпретации исторических событий, который мы условно обозначили как метод «*если бы директором был я*», заключается в том, что, рассуждая таким образом, мы вместо мотивов рассматриваемого лица (реально существующего «директора») подставляем свои собственные мотивы (кажущиеся нам единственно возможными в данной ситуации) и затем делаем умозаключения, исходя уже из этих – нами же выставленных – мотивов. Сталкиваясь с тем, что

поступки директора не соответствуют тем мерам, которые могли бы эффективно способствовать достижению *наших целей*, мы и делаем вывод о том, что этот самый директор – либо олух царя небесного, не видящий у себя под носом простейших средств для улучшения деятельности вверенного ему предприятия, либо он – до такой степени ленив и инертен, что даже не смотрит по сторонам, чтобы такие средства обнаружить. А посему вывод: директора надо научить делать дело, а если и это не поможет, выгнать, заменив его другим, более шустрым и умственно полноценным. Каково же должно быть наше удивление, когда и следующий, заступивший на место директора, станет делать ровно то же, что и его предшественник. А ведь достаточно сообразить, что любой директор на своем посту стремится к достижению не тех целей, которые мы соизволили ему поставить, а тех, которые вытекают из его собственных «директорских» интересов, и вся «мистическая» таинственность и загадочность поведения реальных директоров рассеивается как утренний туман при восходе солнца. Чтобы понять логику поведения очередного директора, надо не просто поставить на его место себя, а, вставши на его место, озаботиться теми же заботами, что и он, принять (мысленно) его систему ценностей и его жизненных приоритетов, грубо говоря, понять, в чем состоит его личный интерес в исследуемой ситуации. Конечно, если мы это поймем, у нас отпадет и надобность «становиться на его место». Однако мы этого еще не поняли и, пока мы не понимаем, в чем состоят интересы рассматриваемых нами персонажей, все наши умозаключения по аналогии будут бить мимо цели, не подвигая нас ни на шаг в выяснении внутреннего смысла исторических событий, которые привлекли наше внимание. Если мы не понимаем, к какой цели были устремлены возглавляемые Ленином большевики, когда принимали обязательные для всех решения по борьбе с «мешочниками», то все наши логические упражнения, недоумения и обвинения в жестокости и глупости ни к чему привести не могут, смысл их действий будет по-прежнему от нас ускользать. И помочь нам в этом деле метод «*если бы я был директором*» не способен.

Другим методом, очень близким к уже рассмотренному, можно считать метод «*пикейных жилетов*» (назовем его так в память о забавных одесских старичках, описанных в романе Ильфа и Петрова). Несмотря на издевательства знаменитых сатириков над банальностью и бессодержательностью рассуждений этих самых «пикейных жилетов», можно не сомневаться, что в реальности их прототипы вовсе не были глупыми. Это были бывшие дельцы, прожившие долгую жизнь и накопившие громадный житейский опыт, так что нет никаких видимых оснований считать их глупее нас с вами или глупее тех молодых зубоскалов, которые выставили их на всеобщее посмешище. Но, как это не обидно для старичков, суть дела зубоскалы уловили точно. Выражение «Бриан – это голова, ему пальца в рот не клади» прилепилось к такого рода рассуждениям намертво и не без оснований. Их суждения о политике и современных им известных политических деятелях, вероятно, умны, не исключено, что некоторые из их прозрений изобретательны, но, увы, вряд ли они годны для понимания закулисной политики мировых держав или прогнозирования назревающих политических событий. В этом насмешники правы – все разговоры «пикейных жилетов» могут только услаждать стариковское времяпровождение и никакого понимания сущности происходящего дать не могут.

Главная суть используемого ими метода рассуждений заключается в опоре на здравый смысл, присущий, как негласно предполагается, всем нормальным, не потерявшим разума людям. В этом случае рассуждающий не ставит на место «Бриана» самого себя, а пытается представить, как будет действовать на месте пресловутого «Бриана» *человек вообще* – такое разумное существо, чье поведение не подчиняется никаким экзотическим страстям, свободно от ходячих предрассудков и определяется больше холодным разумом, нежели переменчивым настроением, зависящим от многочисленных жизненных обстоятельств. Поскольку такой рассуждающий «пикейный жилет» имеет богатый жизненный опыт, вынесенный из общения с разнообразными людьми, его суждения вполне могут быть правдоподобными гипотезами и время от времени подтверждаться дальнейшим ходом событий – ведь попавшие в текст

романа Бриан или Сноуден, в сущности, такие же люди, как и все остальные, и их поступки должны в большей или меньшей степени следовать общепринятым линиям человеческого поведения. Между первым и вторым обсуждаемыми методами нельзя провести достаточно четкой грани, и во многих случаях трудно сказать, старается ли рассуждающий вынести, так сказать, свою личность за скобки, нейтрализовав свои привычные пристрастия и оценки, и судить с позиции здравомыслящего человека вообще, или же он, считая себя достаточно типичным представителем этого самого здравомыслящего человечества, пытается влезть в шкуру Бриана. Однако в качестве подхода к историческому исследованию не годятся ни тот, ни другой метод. Большинство из интересующих нас поступков Бриана выражают его личную, сугубо индивидуальную линию поведения, и мы, наблюдающие ее прихотливые извивы, не имеем в своем распоряжении способа вывести из этой внешней динамики поступков мотивы, побуждающие человека выбрать из всего возможного репертуара вариантов, свойственных человеку вообще, тот или иной жизненный ход.

До сих пор мы говорили о методах, присущих, главным образом, суждениям дилетантов. Профессиональные историки, несомненно, избегают прямого и откровенного их использования. По крайней мере, с тех пор как лет двести назад стало общепризнанным, что нельзя рассматривать людей различных эпох и культурных ареалов как вариации на тему неизменного в течение веков ветхого Адама и что недопустимо представлять греков и римлян как наших современников, переодетых в туники и тоги, историки потеряли право при обсуждении исторических личностей апеллировать к естественной склонности человека совершать аналогичные поступки при аналогичных обстоятельствах. Карамзин, вероятно, еще мог себе это позволить, но сегодняшний специалист, попытавшийся понять чувства Петра I, вообразив себя человеком, которому пришлось пережить в детстве стрелецкий мятеж, выглядел бы крайне нелепо и смешно. Никто так и не делает. Но это, конечно, только с виду, а в сущности, совсем обойтись без помощи уже рассмотренных методов при рассуждениях о внутренней логике исторических событий, в которых участвуют конкретные лица (а не такие исторические субъекты, как «зарождающаяся буржуазия» или «малоземельное крестьянство») вряд ли возможно. И поэтому выводы, базирующиеся на подобных умозаключениях (и в глубине апеллирующие к «здравому смыслу» и к «свойственным любому человеку реакциям»), протаскиваются в исторические труды «контрабандой». При этом их сомнительный «методологический статус» большей частью, вероятно, не осознается исследователем и, как правило, не привлекают недоуменного внимания читателя – общий для того и другого «здравый смысл» представляет выводы такого рода «естественными» и затушевывает их происхождение.

Третий метод, который стоит упомянуть в нашем разборе, характерен как раз для профессионалов. Это ссылка на чье-то авторитетное мнение. *Как пишет в своих воспоминаниях С.Ю,Витте* (т. 2, стр. 23)*, Александр III не был склонен…* или *Чернышевский утверждал* (ссылка на соответствующий том Полного собрания сочинений), *что бакунисты, да и сам Бакунин, не собирались прекращать своих до сих пор безуспешных попыток, надеясь на…* Эффективен ли данный метод для решения обсуждаемой нами проблемы? Несомненно, его использование вполне оправдано во многих случаях и может внести серьезный вклад в понимание изучаемого процесса. При прочих равных условиях, мнение Витте, лично и довольно близко общавшегося с Александром III, о том, к чему был склонен или не склонен российский монарх, и какие побудительные мотивы его действий можно у него предполагать, будет гораздо лучше отражать реальность, чем мнение об этих мотивах юного аспиранта-историка, в наши дни пишущего работу о том далеком времени. По крайней мере, этого можно ожидать. Однако, с теоретической точки зрения, ничего нового такой метод «цитирования» дать исторической науке не может. Этот метод лишь отодвигает возникший вопрос на другую, но, в принципе, точно такую же ступеньку, хотя может быть, и более предпочтительную в некоторых отношениях. Если же мы, поверив Витте, захотим *доказать* верность его суждения, мы опять окажемся в исходной точке своих рассуждений. Мнение нашего современника и

мнение Витте – это всего лишь два мнения, которые могут совпадать, могут противоречить друг другу, могут при этом оба оказаться ошибочными, но у нас по-прежнему нет надежного способа выбрать одно из них. Мы понимаем, что у Витте не было никакого специфического способа удостоверить высказанное им мнение, кроме тех, которыми мы располагаем сегодня. Следовательно, мы должны найти какие-то дополнительные аргументы, подтверждающие правоту Витте. Ну, и последнее: если мы признаем достаточным доказательством ранее высказанные суждения авторитетных для нас людей, то любые исследования вопроса, по которому существует такое авторитетное мнение, становятся просто ненужными. С ним и так всё ясно. Вряд ли историческая наука может согласиться с таким тезисом.

Четвертый метод, по-видимому, самый убедительный и самый часто употребляемый профессиональными историками из всех ранее нами рассмотренных. В отличие от предыдущего – это ссылка не на мнение, а на некий установленный (и, вероятно, неизвестный ранее или до сих пор не замечаемый историками) факт. *Ставшие известными Николаю II сведения о форсировании Центральными державами программ перевооружения армии и флота* (см. Всеподданнейший доклад Военного министерства за 1911 год. Стр. 9-17) *сделали его более уступчивым к давлению со стороны…*[62]. Такие факты позволяют исследователю более полно выявить ситуацию, в которой приходилось принимать решение обсуждаемому историческому персонажу, и, соответственно, могут пролить некоторый свет на смысл предпринятых им действий. Против использования такого метода трудно что-либо возразить. Вряд ли существуют работы, в которых он не фигурировал бы в той или иной форме. Однако стоит заметить, что его использование неявно опирается на уже обсужденные нами методы «*если бы директором был я*» и «*пикейных жилетов*» – при обнажении всего хода подсознательно протекающих рассуждений и полной фиксации всего логического вывода на бумаге историк должен был бы написать: «Будучи в ситуации Николая II и получив такую информацию, я действовал бы так-то и так-то. Надо полагать, что и царь поступил так же». А при редактировании своей работы он, слегка поразмыслив, заменил бы не вполне прилично звучащее «я» на «всякий здравомыслящий человек».

Пятый метод – назовем его методом «чистосердечного признания» – в широких массах историков и примкнувших к ним интеллектуалов имеет репутацию «царицы доказательств». Сущность метода заключается в том, что окончательным и всё побивающим аргументом в любом споре считается прямое высказывание обсуждаемого исторического персонажа, поясняющее мотивы его поступков. Таким «признанием» может быть зафиксированное публичное выступление, выдержка из печатной работы, свидетельства современников, лично присутствовавших при таком высказывании и запечатлевших его в своих мемуарах, но наилучшим вариантом считается некий «документ», в котором обосновывается определенный план действий и который удостоверяется собственноручной подписью интересующего нас исторического лица.

Предположим в одном из томов сталинских сочинений опубликовано его выступление на одной из партконференций, где он, в частности, сказал: *…чтобы разорвать кольцо враждебных нам империалистических государств и обеспечить безопасность Советской страны, мы должны провести индустриализацию в кратчайшие сроки, не щадя для этого никаких сил и средств*. Предположим также, что вождь большевиков действительно это сказал, и эта фраза не вставлена в его речь задним числом в 1947 году, когда редактировался соответствующий том сочинений – мы проверили это по газетным отчетам (Московская правда, 17 февраля 1930 г.) и даже раскопали упоминание об этой фразе в дневнике одного из тогдашних партфункционеров, присутствовавшего на конференции (РЦХИДНИ, ф. 534-2, оп. 2, ед. хр. 17, л. 49). Всё. Факт установлен. Мы имеем в руках неопровержимое доказательство того, что Сталин и сторонники сталинского курса на ускоренную индустриализацию выбрали этот курс, опасаясь вражеского нападения извне и стремясь обеспечить безопасность себя и

[62] Надеюсь, читателю понятно, что все эти квази-библиографические ссылки – такая же моя фантазия, как и интервью, взятое выдуманным интеллектуалом у киномагната.

своей власти благодаря созданию мощной оборонной промышленности. Мы можем затем как угодно оценивать эти сталинские планы и даже поиздеваться над параноиком Сталиным, которому всюду мерещились злобные враги, доказав, что в 1930 году вовсе не было ни малейших оснований опасаться военного нападения на «молодое социалистическое государство». Все эти наши последующие рассуждения не отменяют нашего знания о сталинских мотивах, стоящих за его решениями важнейших государственных вопросов, – мы можем об этом не беспокоиться, ведь Сталин сам во всеуслышание объяснил мотивы своего поведения.

Как не анекдотичен сей «метод исторической аргументации», его влиятельность трудно переоценить.

Казалось бы, какая разница, какими именно побуждениями объясняли кот Базилио и лиса Алиса свое поведение, приглашая Буратино на поле чудес? Ну, какими-то, вероятно, объясняли. Наверное, даже постарались, чтобы их объяснения выглядели более или менее правдоподобно. И что из этого? Как можно быть настолько наивным, чтобы верить на слово хоть лисе Алисе, хоть «товарищу» Сталину? А хоть даже и С.Ю.Витте с Николаем II? Пусть эти последние не были прожженными жуликами, но, будучи историческими персонами, высоко вознесенными в государственной иерархии, они вряд ли могли себе позволить простодушные откровенные признания по поводу важных вопросов и быть совершенно прозрачными для окружающих – политическая деятельность мало способствует развитию такого простодушия. Следовательно, ссылки на «искренние признания» персонажей не могут претендовать на статус методического приема в исторических исследованиях. Сами по себе они никакими доказательствами не являются, и, если мы, поверив на слово персонажу, желаем опереться на его высказывание, мы должны привести независимые свидетельства в пользу того, что это «признание», действительно, выражает его истинные мотивы[63].

Вроде бы всё очевидно, и тем не менее, как историки, получающие где-то зарплату за проводимые ими исследования, так и историки-дилетанты, не надеющиеся на оплату своих исторических штудий, подзапутавшись в какой-то, который год буксующей на одном месте проблеме, возлагают свои надежды на появление (из «секретных архивов», хранимых *гадами-чиновниками* за семью печатями) какого-то основополагающего «документа», в котором действующие лица изучаемой эпохи чистосердечно покаются в своих коварных планах и цинично объяснят свое неблаговидное и непонятное для нас поведение. Что это будут за «документы Страшного суда», в которых все интересующие нас персонажи, собственноручно сорвав с себя приросшие к коже маски, как на духу исповедаются нам в своих нечистых помыслах и замыслах, обсуждать никто не решается – иначе нелепость подобного разрешения существующих проблем стала бы слишком явной. Однако такой уход от стоящих сегодня вопросов и сдвигание его в неопределенное будущее, когда, наконец, будет достигнута *полнота источниковой базы*, чрезвычайно распространен, и, судя по горделивой интонации, с которой высказываются особо преданные адепты этого «метода», расценивается как свидетельство профессионализма, объективности в оценке имеющихся свидетельств и неподверженности *надуманным концепциям, базирующимся на недостаточном фактическом материале.*

Можно было бы еще долго говорить об этом «методе», уходящем своими ментальными корнями в те далёкие от нас и тёмные для нас эпохи, когда господствовало всеобщее убеждение, что *подлинная* правда может быть услышана только из уст самого подозреваемого, и чтобы узнать ее, надо – кнутом и дыбой – вынудить замешанных в деле к искреннему признанию. Как своеобразная тенденция сегодняшней исторической публицистики он вполне заслуживает специального обсуждения и дает много одиозных примеров, иллюстрирующих

---

[63] Серьезные историки так, большей частью, и поступают, приводя подобные высказывания в качестве материала, дополняющего и иллюстрирующего те утверждения и выводы, к которым историк пришел каким-то другим путем. Например, историк пишет: *Милюков, в своем письме к Б.Николаевскому, и сам не скрывает, что его решение присоединиться к подписавшим воззвание было обусловлено…*

его применение. Однако побуждаемый желанием, по возможности, щадить наши ограниченные силы и средства я на этом закончу и попробую подвести промежуточные итоги нашего беглого взгляда на обсуждаемую проблему.

Выводы предшествующего анализа

Во-первых, мне не приходят в голову какие-то иные подходы и способы выяснения мотивов интересующих нас исторических персонажей. Вполне возможно, они существуют и применяются историками, но я их не вижу. Поэтому я вынужден ограничиться уже рассмотренными методами, в надежде, что кто-то укажет на неполноту моего перечисления этого аналитического инструментария.

Во-вторых, почти все из вышеуказанных методов (за исключением пятого, который не может рассматриваться как правомочный метод), прямо или косвенно опираются на заключение по аналогии и широко понимаемый «здравый смысл». Создается впечатление, что иным способом решить данную проблему нельзя в принципе. Мы должны смириться с существующим положением дел и с тем, что результаты наших попыток выяснить мотивацию других лиц (особенно тех, от которых нас отделяет заметная временная, социальная или культурная дистанция), исходя из их поступков, всегда будут оставаться зыбкими и гипотетическими, вызывая споры и противоречия в интерпретациях.

Еще один метод выяснения гипотетических мотивов исторических лиц

Не ставя под сомнение эти выводы (хотя и не исключая возможности того, что после более глубокого анализа они впоследствии могут быть изменены), я хочу предложить еще один – дополнительный – метод интерпретации скрытых мотивов, стоящих за непонятными нам действиями исторических лиц. Предлагаемый метод чрезвычайно прост, и можно только удивляться, почему его сознательное употребление историками так редко встречается. Сущность его заключается в принимаемом безо всяких доказательств предположении, что целью совершенного персонажем поступка являлись те непосредственные последствия данного поступка, которые мы имеем возможность наблюдать.

«Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем ‘может быть!’ смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом».

Если мы возьмем в качестве обучающего литературного примера эту знакомую с детства ситуацию и применим к ней предлагаемый мною метод интерпретации, то вывод будет следующий: Ипполит Матвеевич плюнул в своего врага и конкурента, чтобы в свою очередь получить плевок в лицо. Нельзя сказать, чтобы такой результат использования этого метода сильно обнадеживал. До его применения у нас было более или менее удовлетворительное понимание мотивов действующих лиц, на поведение которых мы машинально наложили привычные шаблоны действий в аналогичных ситуациях, и никакого когнитивного диссонанса мы при чтении не испытывали: прогнозируемое нами развитие событий, вытекающее из логики процесса, хорошо совпадало с описанием драки. Теперь же, повинуясь требованию метода (пользуясь правами первооткрывателей, дадим ему звучное и в меру расплывчатое название: «*метод апелляции к реальности*»), наша гипотеза утверждает, что побудительным мотивом конкретного действия персонажа было его желание быть оплеванным. От принятия

этой гипотезы отталкивает не столько экзотичность предполагаемого мотива[64], сколько, главным образом, тот факт, что предположение не только не проясняет ситуацию, а напротив, безнадежно ее запутывает: внутренняя структура мотивов персонажа, бывшая для нас достаточно прозрачной (поскольку мы и сами не раз бывали субъектами схожих чувств и даже неоднократно попадали в аналогичные ситуации), становится бессмысленной и не поддающейся рациональному толкованию. Метод явно оказался неэффективным – он не привел ни какому прибавлению нашего знания о мотивах персонажа и нашего понимания логики процесса, в котором тот участвовал. Однако не будем торопиться с одномоментным и окончательным отвержением этого метода. Я много размышлял над ним и имею несколько конкретных примеров его успешного использования. Поэтому продолжим рассуждения.

Первое, что я хотел бы сделать с целью защиты предлагаемого метода «*апелляции к реальности*», это указать на широкое его применение в юридической теории и практике. Хотя мне не встречалось обсуждения юристами-теоретиками похожих мыслительных инструментов (это вполне может объясняться моей крайне незначительной эрудицией в данной области знаний), но любое толкование Уголовного кодекса в отношении мотивов лиц, обвиняемых в совершении преступления, несомненно, исходит из духа подобного методологического принципа. Предположим *X* ударил топором по голове *Y*, отчего он незамедлительно скончался. Нет сомнений, что первый вывод следствия (еще до всяких допросов *X*) будет сформулирован по схеме: *X* желал убить *Y* и убил его, ударив топором по голове. При этом следователь опирается лишь на два известных ему факта: удар топором (действие *X*) и смерть *Y* (ближайший результат этого действия), а его умозаключение о том, что *X* желал смерти *Y*, и это было целью его действия (непосредственным движущим мотивом), выведено как раз по предлагаемому мною методу: не хотел бы убить – не бил бы. Даже если *X* не сознается в своем желании убить *Y* и будет утверждать, что удар топором задумывался им как невинная дружеская шутка, а к печальному результату привело вмешательство каких-то непредвиденных им обстоятельств, ему будет крайне трудно убедить суд в том, что убийство было неумышленным. Если же следователь, исходя из своей простейшей версии, обнаружит, что *X,* задолжавший *Y* крупную сумму, не имел возможности расплатиться с долгами, то можно считать обвинение в умышленном убийстве уже готовым – осталось его только оформить и передать в суд, который определит преступнику меру наказания. И приблизительно также строятся умозаключения о намерениях обвиняемого в большинстве уголовных дел: если факт действия, которое привело к последствиям, предусмотренным данной статьей закона, установлен и если установлен субъект действия, то не возникает сомнений, что этот субъект намеренно и осознанно преступил закон. Логика здесь простая и достаточно убедительная: совершая свое деяние, преступник мог и должен был предвидеть, к каким последствиям оно приведет, таким образом, сам поступок субъекта свидетельствует, что он стремился к наступлению этих последствий.

Конечно, это лишь базовая схема умозаключений, приводящая к успешному результату далеко не во всех случаях ее применения, и в юридической практике многие дела оказываются гораздо более запутанными, чем мы предположили в своем примере, так что убедительно доказать связь между действием преступника и наличием у него определенного мотива совершить это действие отнюдь не всегда удается. И всё же широкое распространение такого

---

[64] Какими только мотивами не руководствуются люди, даже если мы ограничимся только умственно полноценными и психически нормальными субъектами. Вспомним классическую литературную ситуацию, в определенном отношении похожую на ту, которую мы разбираем: Поручик *N* выплескивает содержимое своего стакана в лицо штабс-капитану *M*, получая в ответ пощечину или удар кулаком. Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что желание получить пощечину и было реальным мотивом поступка *N*. Мотив этот вполне рационален: обиженный человек, решивший добиться от кого-то согласия на смертельный поединок, вынуждает своего противника к такому поступку, который исключал бы возможности отступления и уклонения от поединка. Полученная *N* пощечина гарантирует ему неизбежность желаемой дуэли. Если бы штабс-капитан утерся и не ударил *N*, вероятность того, что дуэль состоится, была бы значительно меньше.

вида умозаключений – от последствий действия к мотиву действия – свидетельствует о полезности метода «*апелляции к реальности*». Применение его имеет смысл, хотя и не гарантирует успеха.

В обыденной жизни, в отличие от уголовной юстиции, которая рассматривает, главным образом, лишь небольшой набор четко очерченных, определенных уголовным кодексом ситуаций (оставляя все прочие вне поля своего внимания), мы можем полагаться на эффективность таких умозаключений лишь в некоторых простейших и не составляющих для нас загадки случаях. В других же ситуациях – и таких ситуаций, видимо, большинство из тех, что попадают в наше поле зрения и требуют некоторой мыслительной активности, – мы прибегаем к помощи других доступных нам методов, позволяющих формулировать правдоподобные гипотезы о мотивах поведения окружающих. Из своего и чужого опыта мы знаем, что намерения и вытекающие из них целенаправленные действия далеко не всегда воплощаются в желаемые запланированные результаты. Нередко мы своими поступками хотим добиться одного, а в результате получается совсем другое. Достаточно вспомнить, как часто мы корим себя за глупость и непредусмотрительность: как же я сразу не подумал, чем это кончится. Но точно так же ведут себя и другие люди, а потому тот, кто будет судить о намерениях других по последствиям их поступков, рискует получить сильно искаженную картину интересующих его событий и взаимоотношений между наблюдаемыми людьми. Вероятно, по этой причине метод «*апелляции к реальности*» как особый тип умозаключений не привлекает нашего внимания и оказывается в тени. В тех простых ситуациях, где он неплохо работает, мы пользуемся им машинально, воспринимая результат протекающего в подсознании умозаключения как непосредственно виденное и слышанное (ага! купил пирожок, понятно – проголодался), когда же более сложная ситуация вынуждает нас к осознанному размышлению, мы не обращаемся к этому методу, поскольку оправданно сомневаемся в его применимости в данном случае.

Если мы обратимся к исследованию исторических событий, то здесь, я думаю, наблюдается та же картина: в некоторых случаях метод «*апелляции к реальности*» мог бы дать правдоподобные сведения о мотивах действующих лиц, но тогда мы в нем не нуждаемся, поскольку искомые мотивы для нас и так достаточно прозрачны, а в более сложных вопросах мы ему не доверяем и пользуемся более привычными нам суждениями по аналогии. В чем же тогда особые достоинства пропагандируемого мною метода? Чем он эффективнее прочих, если в некоторых случаях его применение дает неплохие результаты, но в других он оказывается беспомощен или даже приводит к абсурдным результатам (как это было в примере из «Двенадцати стульев») – ведь ровно то же самое можно сказать и других способах рассуждений?

Я вовсе не пытаюсь убедить читателя в том, что метод «*апелляции к реальности*» эффективнее иных методов, позволяющих до какой-то степени разобраться с мотивами, которые привели к определенным поступкам исторических персонажей. По-моему, для такого утверждения нет видимых оснований. Но специфическое достоинство данного способа рассуждений лежит, на мой взгляд, в другой плоскости и связано, как это ни странно звучит, с большой редкостью его использования в запутанных ситуациях. Однако именно здесь, где наши привычные рассуждения зашли в тупик, он и может сыграть свою положительную роль. Пока наши рассуждения по аналогии дают непротиворечивые результаты, которые складываются в связную осмысленную картину событий, создавая у нас ощущение понимания происходящего изнутри, у нас нет необходимости прибегать к помощи дополнительных мыслительных инструментов. Однако существуют случаи, когда рассуждая с позиции «*если бы директором был я*» и привлекая всю доступную нам информацию, мы всё же не можем добиться возникновения связной картины поступков рассматриваемых нами исторических лиц: персонажи действуют, с нашей точки зрения, нелогично, неосмотрительно, постоянно наступают на одни и те же видимые издалека грабли, а иногда и вовсе упорно делают то, что

явно идет им же во вред. Мы не можем найти ни одного рационального мотива, объясняющего их поведение. В этом случае мы стоим перед дилеммой:

1) либо признать рассматриваемое лицо бестолковым глупцом (не считающимся с реальностью фанатиком, человеком с больной психикой, капризным самодуром и т.п.), который не руководствуется в своих поступках голосом разума, – и это, как мы уже говорили, наиболее часто выбираемый вариант: разговор сворачивает на тему разнообразных ошибок совершенных высокопоставленным недоумком;

2) либо предположить, что тот, чьи действия мы пытаемся понять, был особенно хитроумен и добивался своих, неизвестных нам целей, действуя не по шаблону, а потому попытки расшифровать логику его поступков с помощью применяемого нами обычного репертуара шаблонов поведения не увенчались успехом – вывод, встречающийся на практике редко, но, без сомнения, более перспективный, поскольку предполагает продолжение исследований.

Выбрав второй вариант оценки исторического деятеля и предположив, что ему удалось-таки обвести вокруг пальца не только современников, но и нас, и надежно скрыть свои мотивы и цели, мы, тем не менее, остаемся в полном неведении, в каком направлении продолжать исторические раскопки этой темной, загадочной истории. Что нам искать? Какие факты, свидетельства или гипотезы могли бы вывести нас из тупика?

Вот на этом этапе застопорившегося и буксующего на одном месте исследования стоит прибегнуть, на мой взгляд, к посильной помощи метода «*апелляции к реальности*», который хоть и не гарантирует желаемого прозрения, но *может* существенно изменить наши взгляды на всю эту историю. Минимальная логика, которая оправдывает наш ход мысли, ставящий в центр внимания ближайший и непосредственный эффект предпринятого нашим Одиссеем действия, здесь есть: будучи, по нашему предположению, «хитроумным», этот деятель должен был, предусмотреть последствия своего поступка, и поэтому наблюдаемое нами следствие было, можно сказать, им запланировано – волей-неволей, оно в любом случае входило в его планы, – а отсюда вытекает, что, обратив внимание на это следствие, мы уже познакомились с частью его плана. Бесспорно, эта часть может быть существенной для его конечной цели, но может оказаться и побочным эффектом его поступка, то есть эффектом, который он должен был включать в свои расчеты, но к которому он специально не стремился.

Заинтересовавшись этим эффектом, мы, следовательно, можем, как приблизиться к разгадке своеобразного поведения персонажа, так и, напротив, соскользнуть на одно из ложных направлений исследования, уводящих в сторону от сущности исследуемого процесса. Всё это так, и можно было бы считать использование предлагаемого метода рассуждений еще одним выстрелом в белый свет наудачу – авось, повезёт – если бы не та выгода, которую мы, рассуждая подобным образом, получаем при любом исходе такой игры в рулетку. Где бы ни остановился шарик, на черном или на красном, мы кое-что всё же выиграем. И выигрыш этот заключается в изменении ракурса, в котором предстает перед нами рассматриваемая ситуация. Зайдя в мыслительный тупик и применив с отчаяния метод «*апелляции к реальности*», мы невольно увидим события в другом свете, с изнанки, с другой точки зрения, в другой плоскости реальности, перейдя в которую мы обнаружим связи поступка нашего героя с множеством событий, лиц и обстоятельств, которые были вне пределов нашего внимания, пока мы рассматривали ситуацию с исходной точки зрения. Поскольку наша оценка поведения персонажа как абсурдного была вызвана тем, что последствия его поступка, с точки зрения всех известных нам шаблонов, никак не могли быть тем, к чему он стремился, у нас не было ни малейших оснований перейти в ту плоскость рассмотрения, сунуться в которую нас вынудило применение метода «*апелляции к реальности*». Только благодаря ему наше исследование переместилось в новое событийное поле, разбираясь с которым, мы имеем дополнительные шансы наткнуться на некие факты и мысли, ведущие к решению проблемы. Таким образом, наш выстрел наудачу и последующие поиски дичи – а вдруг наш заряд попал все-таки в утку или зайца – хороши уже тем, что благодаря им мы выходим из пределов того узкого пятачка, на котором долго и бесплодно топталась наша мысль, все время возвращаясь на свои

собственные следы и следы наших предшественников. И уже ради этого стоит применять данный метод.

Но есть и еще одно соображение в пользу попыток его использования в трудных случаях. Когда мы говорим, что, применяя метод «апелляции к реальности», мы стреляем наобум, и направление выстрела лишь случайно может совпасть с направлением на желаемую цель, мы не учитываем один нюанс в условии задачи. Задача возникла в тот момент, когда мы пришли к выводу, что рассматриваемое действие персонажа нелогично в его ситуации, и даже бессмысленно и абсурдно, поскольку последствия этого поступка вступают в конфликт с мотивами, которые мы у него предполагаем по аналогии с другими людьми, оказавшимися в подобных обстоятельствах. Второй вывод возник, когда мы решили, что, если деятель был здравомыслящим человеком, он, планируя свои действия, должен был считаться с теми явно неблагоприятными следствиями своего поступка, наличие которых привело нас на предыдущем этапе рассуждений к сомнению в осмысленности его поведения. И третий вывод появляется при сопоставлении двух предыдущих. Разрабатывая свой план и предвидя все неблагоприятные следствия выбранного им действия, персонаж не только не отказался от такой линии поведения, но и сделал все возможное для осуществления запланированного действия, следовательно, он не нашел возможности избежать неблагоприятных последствий, обойти их, предприняв другие действия, которые также привели бы к достижению намеченной им цели, но не были бы отягощены указанными ненужными и вредными для персонажа следствиями. Следовательно, эти следствия тесно связаны с сутью намеченного плана, они лежат на пути к желаемой цели, и обойти их, не сворачивая с этого пути, не удается. Но это значит, что при выстреле в направлении, которое указывает видимое нам следствие, у нас много шансов попасть, если не в яблочко (это произойдет, если мотивом персонажа, действительно, было желание вызвать к жизни именно то следствие, о котором мы говорим), то, по крайней мере, недалеко от него – куда-то в эпицентр процесса, на который было направлено внимание исторического персонажа в тот момент, когда он планировал свое действие – поступок, который мы через много лет после этих событий силимся понять и объяснить. Таким образом, применение метода «*апелляции к реальности*» в расследовании сложных противоречивых исторических ситуаций, в которых поведение персонажей ускользает от нашего понимания и кажется нам бессмысленным, дает исследователю реальные шансы найти искомое объяснение и расширяет круг тех, вовлекаемых в зону поиска фактов и гипотез, которые могут привести к более глубокому пониманию сущности изучаемых процессов.

Покончив с изложением тех абстрактных теоретических соображений, на которые я оказался способен – больше мне к вышесказанному добавить нечего – рассмотрим несколько примеров, где, как мне кажется, можно говорить о полезном применении метода «апелляции к реальности».

Пример с любознательным китайцем

Для начала вернемся к уже профигурировавшему в этом тексте выдуманному инциденту с поручиком *N* и штабс-капитаном *M*. Но взглянем на него немного в иной проекции. Представим себе, что рассказ европейского писателя, содержащий сходный эпизод, читает получивший хорошее традиционное образование китаец, имеющий крайне смутное понятие об обычаях и нравах Европы, но заинтересовавшийся этими странными северными варварами. Не знакомый с такими понятиями как «честь дворянина», «дуэль» или «смыть оскорбление кровью» он, вероятно, будет озадачен поведением поручика *N*. Если он поймет, что весь инцидент вызван обидным для поручика высказыванием штабс-капитана, то, мне кажется, у него при дальнейшем чтении может возникнуть ощущение бессмысленности происходящего, когда он узнает о поступке *N* и реакции на него *M*. Ход мыслей этого гипотетического

мандарина можно предположить следующим: Поручик обижен и хочет отомстить обидчику, это понятно. Он выплескивает ему в лицо стакан, чтобы сделать штабс-капитану неприятность, это тоже можно понять. Но ведь, будучи разумным человеком, поручик не может не предвидеть, что штабс-капитан не спустит ему этого и кинется в драку, зачем поручику такое продолжение всей этой истории? Ранее говорилось, что штабс-капитан – «мужчина высокого роста с пышными усами», а поручик – «стройный юнец, только что окончивший военное училище», ясно, что *М* легко отдубасит юнца, а сам выйдет из этой потасовки невредимым. Так оно и вышло: поручик получил по физиономии и даже не смог ответить штабс-капитану тем же, поскольку их сразу же окружили другие офицеры. Зачем же поручик затеял весь этот скандал, зная, к чему он приведет? Мало того, что он был обижен штабс-капитаном, так еще в результате своего поступка он был публично побит. Какой же смысл в его поведении? На что он надеялся, выплескивая стакан, и к чему стремился? И кстати, почему, уходя, он сказал: «Прекрасно»? Чем он мог быть доволен? Если, прервав чтение, китаец надолго задумается над поразившим его эпизодом, он может прийти к одному из уже знакомых нам выводов:

1) поручик действовал импульсивно, а не руководствуясь холодным рассудком, как положено взрослому разумному человеку; он совершил ошибку, не рассчитав своих действий (как Воробьянинов – добавим от себя, – который, желая сделать гадость отцу Федору, не рассчитал последствий своего поступка и был за это незамедлительно наказан);

2) мотивом столь странного поступка была некая страсть, обычная для варваров, но непонятная нам – людям цивилизованным; говорят, что русские действуют иногда из желания «пострадать», может быть, это свойственно и другим европейцам; о, эта «загадочная европейская душа»!

3) какая-то чепуха! наверное, я не так понял автора.

Однако, если бы у нашего китайца была возможность своевременно прочитать это «историко-методологическое интермеццо», и он, немного поразмыслив, попробовал бы применить метод «*апелляции к реальности*» для прояснения неизвестных ему мотивов поручика, возможно, он рассуждал бы по-другому:

Предположим, что поручик знал, к чему приведет его демарш, и следовательно, сам напросился на пощечину. Зачем он это сделал? Какую выгоду могло принести ему публичное получение пощечины от штабс-капитана? Как он мог использовать этот факт в своих – пока непонятных мне – целях? А ведь он как-то мог его обратить в свою пользу: недаром он резюмировал итог этого инцидента словом «прекрасно». Значит, он был доволен тем, как развернулись события. Что же его порадовало и, кстати, как это может быть связано с той обидой, которую нанес ему штабс-капитан? Ведь с нее всё началось. Так, начнем сначала: Поручик обижен и хочет отомстить обидчику, это не вызывает сомнений. Но почему же он не требует возмещения за нанесенную ему обиду? Он мог бы обратиться к полковнику или генералу (так, кажется, называются их начальники) и пожаловаться на штабс-капитана, которому, вероятно, влепили бы пару десятков горячих по пяткам или же назначили бы какое-то еще наказание, чтобы неповадно было обижать сослуживцев. Почему же поручик не сделал этот естественный шаг, а выбрал столь странный путь мщения? Где же логика? А ведь *N*, как сказано, образованный человек, он должен был действовать разумно. Кажется, я догадался! Поручик опасался, что, отвечая на его жалобу, штабс-капитан отопрется от своих слов и унизительных намеков, а будет утверждать, что вовсе не имел поручика в виду и не имел намерений его обидеть – доказать обиду будет трудно. Получив пощечину, поручик сделал обиду явной и неопровержимой – он зафиксировал свою обиду и теперь уверенно будет требовать наказания обидчика.

И затем при дальнейшем чтении рассказа наш китаец будет рад узнать, что достаточно точно вычислил мотив, возникший в «загадочной европейской душе». Правда, он не совсем верно предсказал дальнейшее поведение поручика, но он и не мог этого сделать, не зная о европейском обычае «дуэли», но общий смысл желания поручика получить по физиономии он

понял вполне адекватно описанной ситуации. Спасибо автору «интермеццо» – знание его метода оказалось очень полезным.

Пример с Гаврило Принципом и его выстрелами, перевернувшими мир

Поблагодарив, в свою очередь, вежливого китайца за доставленное развлечение, прейдем к следующему примеру. В качестве оного я предлагаю разобрать ситуацию, расположенную на границе между выдуманной историей и действительно происходившими событиями. Речь пойдет об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года. Само это историческое событие, ставшее поводом для начала Первой мировой войны, детально исследовано и описано во множестве книг и исторических статей. Но мои познания об этом ограничиваются плохо запомнившимися обрывками из когда-то прочитанных книжек и теми сведениями, которые я только что почерпнул из нескольких страничек в интернете. Для наших целей этого достаточно, и у меня нет желания заниматься этим вопросом. Поэтому в своем примере я лишь оттолкнусь от реального события, а всё последующее будет чистой игрой ума, призванной только иллюстрировать возможное применение обсуждаемого метода, и никак не будет подкрепляться историческими свидетельствами, которые так и останутся для меня неизвестными. Однако у читателя появится возможность сравнить нижеизложенное с тем, что он может найти в трудах серьезных историков.

Выстрелы Гаврилы Принципа, возвестившие, как мы теперь можем судить, наступление новой эпохи и поворот европейской и мировой истории в новое русло, с внешней стороны не выглядят особенно загадочными. Читателя трудно удивить покушением на высокопоставленное лицо, предпринятое в политических целях. Мы свыклись с мыслью, что националисты, анархисты, социалисты и прочие активные выразители недовольства существующими порядками постоянно кого-то взрывают, берут в заложники, режут и стреляют, часто выбирая в качестве жертв покушений видных политических деятелей и всем известных персон. Практика индивидуального террора существовала с библейских времен, но наиболее яркое проявление получила в резком всплеске террористических актов в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков. Убийство наследника австро-венгерского престола и его жены получило такую экстраординарную известность лишь потому, что стало толчком к развитию мирового катаклизма, а не в связи с обстоятельствами самого террористического акта. Никаких тайн с этим убийством не связывают, и никто не ждет «открытия секретных архивов», чтобы наконец-то узнать, что же там произошло в Сараево в 1914 году. Я думаю, что уже в ближайшие дни после покушения европейские газеты подробнейшим образом описали все детали и нюансы этого преступления и вытащили на свет всю подноготную его участников. Мотивы покушения также лежат на поверхности: группа молодых сербских националистов, членом которой был Гаврило Принцип, стремилась к освобождению Боснии от австрийского гнета и присоединении ее к уже получившей независимость Сербии. Одним из средств борьбы с австрийскими угнетателями был избран индивидуальный террор, в частности нашедший свое проявление в убийстве столь высокопоставленной особы как племянник императора и престолонаследник – громогласный и метящий в самое сердце ненавистного режима акт. Вот простейшая психологическая картинка описываемого события, а все остальные акты трагедии, к которой прогремевшие в Сараево выстрелы послужили лишь звонком, возвещающим начало спектакля, не имеют прямого отношения к делу и остаются за рамками рассматриваемого инцидента.

Казалось бы, эта история не относится к тем случаям, для прояснения которых был рекомендован метод «*апелляции к реальности*». Мотивы совершающего роковые выстрелы и всей группы террористов достаточно прозрачны и даже задекларированы ими – они вовсе не собирались скрывать, за что был приговорен к смерти и казнен наследник австрийского

престола. Ничто здесь не вызывает чувства нелепости и бессмысленности предпринимаемых действий. Но в число примеров, показывающих, как может быть применен наш метод, этот эпизод попал не совсем случайно.

Посмотрим на мотивы и планы действующих лиц более внимательно. При этом чуть-чуть сместим свой взгляд, чтобы в центре оказался не террорист, доведший покушение до логического конца и этим фактом выдвинутый на авансцену, в зону освещенную светом юпитеров, а его соратники, планировавшие, готовившие и осуществившие убийство эрцгерцога. Если ограничиться самим Принципом, то в отношении его мотивов не возникает особого недоумения: воодушевленный порывом ненависти к угнетателям сербской свободы девятнадцатилетний террорист, чьи дни, несмотря на его молодость, сочтены, и он об этом знает[65], стремится отдать свою жизнь на святое дело спасения прекрасного отечества от иноземных поработителей; самый главный обидчик сербов – император Франц-Иосиф, к сожалению недосягаем, но и ему можно нанести сокрушительный удар, покарав за все австрийские грехи его племянника и отомстив тем самым за страдания родины.

Даже не ощущая в себе такого комплекса патриотических чувств, мы их хорошо понимаем (или нам кажется, что мы их хорошо понимаем), поскольку многократно встречали их высокохудожественное выражение на страницах разнообразных книг, в кинофильмах, в стихах и песнях и еще Бог знает где, так что, столкнувшись с ними в очередной раз, не испытываем никакого позыва к скептицизму. Однако Принцип не был террористом-одиночкой, он входил в боевую организацию, состоящую из подобных ему радикально настроенных борцов за сербскую свободу, и то, что ему выпала судьба убить эрцгерцога, не было предопределено заранее – не исключено, что окончательное завершение террористического плана именно Принципом осуществилось в реальности только благодаря чистой случайности[66]. Поэтому нас, в первую очередь, должны интересовать не личные мотивы убийцы, а те мотивы, которые были общи всем членам группы, планировавшей покушение, и которые легли в основу этого плана. Более того, из разъяснений историков, изучавших эту эпоху, мы знаем, что сараевская организация «Млада Босна», членом которой был Принцип, была не вполне самостоятельной, а являлась подразделением тайного сербского общества «Черная рука», основные структуры которого, состоявшие, главным образом, из офицеров сербской армии, находились в соседней Сербии и которым якобы руководил – весьма примечательный факт! – глава разведывательного отдела сербского Генерального штаба полковник Драгутин Дмитриевич. И вот на этом этапе нашего вглядывания во всю эту историю возникает разумный повод для сомнений в истинных мотивах организаторов сараевского убийства.

Когда мы выясняем, что решение убить эрцгерцога было принято не несколькими пылкими юношами, охваченными жаждой отомстить за поруганную родину, а эти юноши были только самоотверженными исполнителями сложного плана, выработанного организацией, состоящей из кадровых офицеров и руководимой начальником разведки соседнего государства (эта организация снабдила террористов оружием, дала указания пограничной службе пропустить их на территорию Боснии, где намечался террористический акт, и, следовательно, санкционировала покушение), вопрос о мотивах данного действия переходит в другую плоскость. Если речь идет об организации, то патриотические мотивы, мотивы мести, желание

---

[65] Гаврило Принцип был болен туберкулезом, что в то время было почти равносильно смертному приговору, и, действительно, не прожил после покушения и четырех лет – он умер в австрийской тюрьме в апреле 1918 года.

[66] Покушение состояло из двух попыток убийства эрцгерцога и началось со взрыва бомбы, брошенной в кортеж автомобилей, сопровождавших сиятельную особу. При первой попытке намеченная жертва не пострадала и благополучно покинула запланированное место покушения, но на обратном пути из городской ратуши , где эрцгерцог выступил с речью, он с супругой решили посетить больницу, в которой находились раненые во время первого покушения, по пути их автомобиль свернул на какую-то улицу (случайно это произошло или в покушении был задействован шофер, специально избравший такой путь, историки еще окончательно не столковались между собой), где приговоренные к смерти буквально наткнулись на Принципа – он заметил свою жертву, и это решило дело.

доказать врагам, что «еще Сербска не згинела» и тому подобные, вряд ли можно рассматривать как основу для принятия конкретного решения. Я вовсе не отрицаю присутствие таких мотивов у участников покушения, но не они должны определять цели, которые ставит организация, и способы их достижения в данном случае. Здесь неизбежно должен участвовать холодный расчет и тщательное прогнозирование последствий предпринимаемых действий. Но тогда-то и возникает сложный вопрос: к чему стремилась организация «Черная рука» (а, может быть, речь здесь должна идти о сербской разведке?), планируя это покушение? Чего сербские офицеры хотели добиться этим актом? На что они надеялись? Каким образом убийство эрцгерцога могло помочь достижению декларируемых ими целей – освобождению от австрийского господства Боснии и Герцеговины и объединению вокруг Сербии славянских земель? Никаких разумных ответов на эти вопросы я не вижу. Сербские националисты должны были считаться с тем, что в ответ на предпринятое ими громкое политическое убийство империя Габсбургов ужесточит свой режим в Боснии и предъявит претензии Сербии, замешавшейся в эту скандальную историю. Зачем им нужно было раздувать конфликт между Сербией и Австро-Венгрией? Что они при этом собирались выиграть? Может быть, их не устраивал лично Франц Фердинанд? Он чем-то существенно мешал их планам, и они решили устранить это препятствие? Тоже как-то концы с концами не сходятся: эрцгерцог ратовал за выравнивание прав славян в империи и создание новой политической конструкции из трех наций – австрийцев, венгров и славян. Чем он в качестве государственного деятеля мог не устраивать борцов за славянскую свободу?

Я не исключаю, что разумные ответы на эти вопросы уже известны историкам и, соответственно, нет оснований считать их неразрешимыми, но мы в рамках этого иллюстративного примера намеренно отказываемся от возможности узнать эти снимающие все сомнения ответы, чтобы оказаться в положении исследователя, впервые приступающего к данной проблеме. Находясь на этом этапе своего доморощенного «исследования», мы должны констатировать, что, исходя из нашего простейшего анализа, истинные действующие лица в этом инциденте – то есть не Гаврило Принцип, нажимавший на курок браунинга, а те, кто планировал покушение и давал санкцию на его осуществление, – действовали непонятно для нас и даже вступили при этом в видимое противоречие со своими основными целями. Выступая как борцы за сербское освобождение и объединение, они своим решением подставили свою любимую Сербию под удар могущественной Австро-Венгерской империи. Так как мы запутались в мотивации персонажей, то настало время прибегнуть к методу «*апелляции к реальности*».

Какой же факт мы будем считать непосредственным следствием сараевского убийства? Каждое действие имеет множество последствий, и эти следствия многообразны, так что мы не можем безошибочно решить, какое из них персонажи считали для себя самым важным. Но в более широком плане одно из следствий по своему значению и масштабам явно выделялось из прочих, и не считаться с его наступлением те, кто принимал решение, не могли, а потому я думаю, что следует проголосовать за то, что таким фактом надо считать развязывание мировой войны. Конечно, ближайшим к рассматриваемому событию (убийству) эффектом был конфликт между Сербией и Австро-Венгрией, который мог быть безошибочно спрогнозирован заранее и который, действительно, выразился в так называемом «июльском ультиматуме», предъявленном Сербии за несколько дней до того, как начались мобилизации и настоящие военные действия. Никто, вероятно, не мог заранее точно знать, что конфликт с Сербией выльется в мировую войну – слишком много самостоятельных игроков участвовало в этой игре и влияло на исход дела, – но никто не мог гарантировать и обратного. Следовательно, тот гипотетический (и неизвестный нам персонаж), который принял решение послать террористов на «акцию», не опасался, что возникнет война, она его не пугала, следовательно, хорошо согласовалась с его планами и не могла воспрепятствовать их выполнению, и, принимая свое решение, он хладнокровно поставил свои фишки на «войну». При этом он, несомненно, понимал, какой выбор он делает.

Теперь у нас сложилась в данном примере ситуация, с которой мы еще не имели дела: у нас есть мотив, который можно описать как стремление к развязыванию европейской войны (или, по крайней мере, стремление поставить мир на грань такой войны), очевидно рассчитывая на какие-то «каштаны», выхваченные из огня мирового пожара, но у нас нет определенного деятеля, которому мы могли бы приписать этот мотив. Это, бесспорно, усложняет нашу задачу, но всё же попробуем порассуждать дальше. Пока что мы видели, что решение об убийстве передавалось по цепочке от начальника сербской разведки через его подчиненных и соратников к «Млада Босне», и при этом окончательное решение принимал стоящий в самом верху – без его согласия вся цепочка развалилась бы. Но, действительно ли, мы можем принять на роль истинного действующего агента этого полковника-разведчика? Исключить этого нельзя, но вряд ли это так.

Аргументировать такую позицию можно следующим образом: Полковник ставит на «войну», поскольку надеется в случае ее возникновения что-то выиграть (ну, например, получить повышение и стать генералом или даже военным министром, или с помощью отряда подвластных ему заговорщиков захватить Триест и стать там единоличным правителем, или еще что-то, откуда мы это можем знать), но как он может на это рассчитывать, если он не связан с более влиятельными силами? Ведь, если при стычке с разгневанной Австро-Венгрией Сербия спасует и будет всеми силами заглаживать конфликт, какая может быть польза полковнику от такого конфликта? Никаким министром ему при таком раскладе не бывать, а скорее всего его отдадут под суд или – того хуже – выдадут Австрии как виновника всех бед – ведь это его «Черная рука» заварила всю кашу, которую теперь должны расхлебывать все сербы, включая и начальников нашего полковника[67]. Таким образом, если полковник был здравомыслящим человеком, он, приступая к выполнению своего плана, должен был быть уверен, что Сербия пойдет на конфликт и будет стойко держаться своей позиции. Для того, чтобы уверенно на это рассчитывать, полковник должен иметь влиятельных покровителей в таких кругах, которые собственно и будут определять позицию Сербии в данном – жизненно важном для страны (и, добавим, для полковника) – вопросе. Но рассуждая таким образом, мы пришли к тому, что реальный уровень принятия решения о покушении на эрцгерцога переместился вверх еще на одну ступеньку: решение о желательности покушения было принято в неких кабинетах, где сидели люди, определявшие политику Сербии[68].

Однако этот уровень еще не может быть концом прослеживаемой нами цепочки. Дело в том, что Сербия – маленькое государство и не может опираться на собственные силы и ресурсы (военные и прочие), вступая в конфликт с огромной Австро-Венгерской империей. Решаясь на такой конфликт, Сербия неминуемо должна чувствовать за своей спиной кого-то, кто не даст Австрии расправиться с ней одним щелчком. Задирая Австрию, Сербия сыграла ту роль (и только эту роль она и была способна сыграть), которая поручается тщедушному шкету, нагло привязывающемуся к взрослым прохожим, каждый из которых может его крепко вздуть, в то время как его здоровенные дружки и покровители стоят кучкой в подворотне и наблюдают, как обернется дело. Нравится шкету его занятие или не нравится – не имеет никакого значения. Ясно, что его наглость опирается на чужую силу, и если его покровители, решив, что этот прохожий и их самих сможет отделать, скажут шкету «Цыц!», то он моментально займет положение «у ноги», и будет готов снова залаять, когда ему это разрешат. Но это значит, что мы можем не обращать внимания на те звенья цепочки, по которым передавалось решение об убийстве – у каждого из встроенных в эту цепь персонажей могли быть (и они, безусловно, были) свои личные мотивы принять такое решение, но если они действовали, руководствуясь

---

[67] Этот откровенный уголовник и авантюрист, рассчитал всё верно, но несмотря на его успешно продолжавшуюся во время войны карьеру, он, в конечном итоге, был, и в самом деле, расстрелян по приговору сербского военного трибунала в 1917 году.

[68] Сам полковник Дмитриевич был, вероятно, одним из таких влиятельных лиц, но решение зависело не только от него, если не принять малоправдоподобное предположение, что политику Сербии он определял единолично.

рациональными расчетами, они должны были быть уверены, что их расчеты оправдаются и что Сербия решится на конфликт с австрийцами и выстоит в этом конфликте. Принимая во внимание вышеуказанную оценку сербских сил, можно быть уверенным, что все эти расчеты строились на знании того, что Сербия в данном конфликте не останется беззащитной в противостоянии с Австро-Венгрией. Таким образом, истинный субъект решения о покушении на эрцгерцога Франца Фердинанда перемещается из Сербии на уровень тех держав, которые, находясь с Австрией в одной весовой категории, могли разговаривать с ней на равных с позиции силы и гарантировать Сербии защиту в прогнозируемом конфликте. Такие державы можно пересчитать на пальцах одной руки: Англия, Франция, Германия, Россия – лишь они могли, вступив в войну или угрожая ею, защитить Сербию от неминуемого разгрома Австро-Венгрией.

Следовательно, чтобы кто-то на нижних звеньях цепочки предпринял планирование убийства эрцгерцога, необходима была предварительная санкция хотя бы одной из этих держав, способных повлиять на позицию Австро-Венгрии.

Поскольку идея о том, что маленькая Сербия никогда бы не решилась на подобную авантюру, если бы за ней не маячил в подворотне здоровенный бугай, лежит, вообще-то говоря, на поверхности, то вскоре после покушения появилось много версий об участии в подготовке и планировании этого террористического акта той или иной великой державы. Вероятно, в дальнейшем некоторые из этих версий разрабатывались и профессиональными историками, хотя я и не знаю, каков научный статус подобных исторических исследований в настоящее время – считаются ли какие-то из таких версий убедительно подтвержденными, или же они отвергнуты на основании обнаруженных исторических свидетельств, или же продолжают усиленно разрабатываться и сегодня.

Что же мы получили в результате осознанного применения метода «*апелляции к реальности*»? Казалось бы, не так много: в ходе долгих и нудных рассуждений мы пришли к той же гипотезе об участии одной из великих держав в подготовке сараевского убийства, которая появилась (в виде нескольких версий) много лет назад без помощи изысканных методических ухищрений. Стоило ли огород городить?

Ну, во-первых, цель нашего «исследования» вовсе не в том, чтобы разобраться в обстоятельствах того давнего события, наша цель – демонстрация метода. И если кому-то из читателей пришло в голову, что я пытаюсь здесь изложить свой собственный взгляд на внутреннюю механику процесса, приведшего к мировой войне, то эти читатели ошибаются: они были в самом начале предупреждены, что таких претензий у меня нет.

Во-вторых, несмотря на почти полное совпадение нашего вывода с ранее появившимися гипотезами, между ними есть существенное различие. Все предположения об участии той или иной державы в планировании покушения на эрцгерцога апеллировали к неким, раздобытым разными способами фактическим свидетельствам. Если оспорить фактичность этих данных (а это не так сложно сделать, представив груду фактов, свидетельствующих в пользу противоположных по смыслу суждений; и, конечно, это было сделано), то предположение теряет свою убедительность и превращается в голословное обвинение: можно сказать, в злобную клевету на прекрасную страну, которая, на самом деле, использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы сохранить мир в Европе. Наш вывод целиком базируется на простейшем логическом анализе мотивов действующих лиц и от фактов почти не зависит, мы их и не пытались трактовать, поскольку и не подозревали, ввиду своей неграмотности, об их существовании. И потому, как бы ни были гипотетичны и шатки наши логические построения, мы можем не опасаться, что какой-то оставшийся нам неизвестным факт сведет к нулю использованную нами схему доказательств. Напротив, будучи уверены в логичности своих рассуждений, при столкновении с набором разнообразных, внешне несвязанных и даже противоречивых фактов мы можем попытаться таким образом истолковать и упорядочить их, чтобы они вписались в уже известную нам схему – ту, которую мы набросали пунктиром до обращения к каким-либо фактам. Если нам удастся такая попытка, и мы заполним пропуски и

лакуны в своей «таблице событий, предшествовавших началу Первой мировой войны» (взяв за образец менделеевскую «таблицу химических элементов»), для чего нам понадобится найти каждому вновь обнаруженному событию свое место в этой таблице, то мы сможем говорить не о простой одновременности или последовательности разрозненных событий, произошедших весной и летом 1914 года, а о «системе событий, приведших к началу войны». Подстановка конкретных фактов в заранее сформированную схему сама собой свяжет их в систему.

В-третьих, кого бы не обвиняли авторы версий, объясняющих сараевское убийство, они уделяют минимальное внимание вопросу о целях, которые преследовали заказчики и исполнители убийства. Даже если некая цель постулируется[69], то она никак не увязывается с высокой вероятностью возникновения военного конфликта. А ведь весь мир на следующий день после сообщения о покушении воспринял это как реальную угрозу войны на Балканах и в Европе в целом. Возможность такого развития событий была очевидна для всякого человека, регулярно читавшего газеты. Как же люди, решающиеся на такой шаг, могли, не будучи слабоумными, не понимать, на что они идут? Это абсолютно невозможно. Преимущество наших рассуждений в том, что использование предлагаемого метода невольно обращает внимание исследователя на этот неоспоримый факт и ставит его во главу угла.

В завершение этого примера еще несколько заключительных замечаний, которые любопытны, на мой взгляд, а кроме того, демонстрируют возможности *надуманных концепций*[70]*, базирующихся на недостаточном фактическом материале.*

Придя к выводу, что сараевское убийство было спланировано и осуществлено с санкции одной из крупных европейских держав (а иначе и быть не может, если считать его исполнителей вменяемыми, здравомыслящими людьми), мы на следующем шаге рассуждений приходим к утверждению, что эта держава (а может быть, и все они вместе взятые) была готова начать войну. Это вносит важную поправку в устоявшееся представление о том, что убийство было лишь *поводом* к войне – поводом, которым воспользовались государства, стремившиеся к войне и имевшие для этого важные *причины*. Поскольку мы решили, что покушение на эрцгерцога не случайно по отношению к той причине, которая вызвала войну, а является одним из следствий наличия этой причины, то говорить об этом убийстве как *поводе* к войне некорректно. Есть *причина*, побуждающая к войне. Воздействуя на сознание конкретных людей, она приводит к формулированию войны как осознанной *цели* действий, а затем к выбору определенных *средств*, позволяющих достичь поставленной цели. Сама механика сараевского инцидента убеждает в том, что одна из держав, не полагаясь на какой-то случайно возникший удобный повод развязать войну, сознательно осуществила (чужими, естественно, руками) убийство эрцгерцога как *средство* вызвать военный конфликт. Так как ответная реакция на убийство наследника престола была предоставлена Австрии, мы можем говорить о запланированной *провокации* – убийство должно было побудить Австрию к агрессии против Сербии.

---

[69] Вот два объяснения, попавшиеся мне в интернете:

1) Франца Фердинанда ликвидировала германская секретная служба, так как он мешал осуществлению планов кайзера Вильгельма II.

Пусть это верно, несмотря на беспомощность формулировки. Но в таком случае, Германия осуществила свой план руками сербских офицеров. Они-то почему поддержали устремления кайзера? Какую свою выгоду они в этом усматривали?

2) Сербские националисты опасались, что планы эрцгерцога уравнять славян в правах и тем укрепить государственную конструкцию Австро-Венгрии могут привести к уменьшению влияния патриотических организаций (в том числе «Черной руки») в славянской среде, а потому хотели от него избавиться.

Всё это, может быть, и так. Но почему они не опасались, что возможная оккупация Сербии Австрией может в еще большей степени ослабить их влияние на что бы то ни было?

[70] Еще раз – в пику *профессиональным ученым*, кичащимся своей *объективностью*, – подчеркну, что, по моему мнению, прежде чем появится имеющая хотя бы минимальную ценность концепция, ученый должен долго и упорно *думать*, и только *надумав* что-то, имеет смысл переходить к поиску фактических материалов.

Какую же из держав можно заподозрить в планировании этой провокации, увенчавшейся успехом и приведшей страну-провокатора к достижению ею своей цели – военному конфликту на Балканах? Невзирая ни на какие факты и мнения, приводимые в пользу того, что такой страной надо считать Германию, сразу же отбросим такую возможность. Мы видели, что необходимым условием возникновения плана сараевского убийства должны были быть гарантии защиты, данные Сербии одной из могущественных держав. Вероятно, Германия могла бы удержать своего партнера по Тройственному союзу, но тогда зачем было убивать эрцгерцога? На аналогичном основании мы можем исключить и Австрию. Не потому, что австрийцы не могли планировать убийство своего эрцгерцога, чтобы создать основания для претензий к Сербии и напасть на нее – это-то как раз вполне представимо. А потому, что сербские офицеры не могли стать исполнителями этого австрийского плана.

Остаются страны Антанты. Начнем с Англии (и присовокупим сюда же и Францию, поскольку, по отношению к сараевскому убийству, мы, дилетанты, вряд ли сможем указать на отличия этих двух стран). Хотя по старинному русскому мнению, *англичанка гадит* всем, до кого только сможет дотянуться, в данном случае нам, видимо, не удастся выдвинуть Англию на роль основного подозреваемого в планировании сараевского преступления. Опять же дело не в отсутствии у них желания развязать войну – они вполне могли так же стремиться к войне, как и все прочие. Дело в Сербии. Как бы ни были надежны гарантии Англии защитить Сербию в будущем конфликте с Австрией, сербы не могли не понимать, что защита со стороны Англии могла быть только косвенной – вряд ли можно было рассчитывать на появление значительного числа английских дивизий на Балканском полуострове. Следовательно, единственная реальная помощь, которую сербы могли ожидать от англичан, должна была бы заключаться в понуждении России (союзника Англии по Антанте) к военному выступлению против австрийцев на защиту Сербии. Но могли ли сербы принять такие гарантии, не выяснив ответа на главный в этой ситуации вопрос: как смотрит Россия на этот английский план и согласна ли она будет действовать по заготовленному для нее сценарию?

Таким образом, мы видим, что Россия была в тот момент единственной крупной державой, способной дать санкцию на планирование и осуществление убийства эрцгерцога Франца Фердинанда – только ее гарантии защиты сербов при конфликте с Австрией могли убедить организацию сербских офицеров в разумности предпринимаемых ими действий. Участвуя в развязывании большой войны они должны были быть уверены, что их не оставят без помощи и что, вступив в такой тайный союз с вероятными будущими победителями, они в результате получат свою часть добычи (например, желаемые славянские земли)[71]. Следовательно, наиболее вероятным непосредственным «заказчиком» сараевского убийства, спровоцировавшего выступление Австрии против Сербии и, тем самым, развязавшего мировую войну, с изложенной точки зрения, приходится считать Россию (точнее, те правящие в России государственные структуры, гарантиям которых сербы могли доверять и с чьей санкции они могли взяться за это сомнительное дело)[72].

---

[71] Если это и было их желанием, то, по всей видимости, они не ошиблись в своих расчетах – Босния и Герцоговина, за свободу которых отдал жизнь Гаврило Принцип и его товарищи, вошли в состав славянского государства *Королевство сербов, хорватов и словенцев*, возникшего в конце 1918 года.

[72] Ну вот! – скажет иной читатель. – Теперь всё ясно! А то – *абстрактные рассуждения, вежливые китайцы…* А тут-то русофобское нутро и вылезло наружу. Теперь ясно, куда ведут все эти *методы* и *логические построения*. Англичан с немцами отмазали, а русские – как всегда – крайние оказались.

Любезный читатель! Еще раз повторю: я не пытаюсь высосать из пальца историю Первой мировой войны. Нет у меня таких амбиций. Это мне, очевидно, не по плечу. Я всего лишь представляю на твой, надеюсь, беспристрастный, суд логическую конструкцию, основанную на анализе гипотетических мотивов тех исторических персонажей, которые были участниками данного исторического события. Если ты, проницательный читатель, найдешь в этой схеме логические ошибки, непоследовательность аргументации или докажешь, что те простейшие предпосылки, на которых я основывался, фактически неверны, я, почесавши в смущении плешь, буду вынужден признать твою правоту и поблагодарю тебя за справедливые критические замечания. А сам буду размышлять дальше, нельзя ли как-то

Никакой международный трибунал, рассматривающий дело по обвинению в преступлениях против мира и благоденствия человечества, не принял бы, конечно, наши рассуждения в качестве доказательства вины России в подготовке убийства ни в чем не повинного эрцгерцога. Но наши конструкции и не рассчитаны на такое прямое их применение. Надо ясно видеть статус подобных логических схем – это всего лишь гипотетическая реконструкция прошедших событий. Только подобрав соответствующие исторические свидетельства и сложив из них намеченную нами картинку, мы сможем убедиться, что наша гипотеза хорошо согласуется с реальностью. Доказательством ее верности будет, главным образом, сочетание отдельных элементов *пазла*, которые до того представлялись множеством ничего не значащих разноцветных кусочков картона, в цельную и осмысленную картину, основные черты которой были уже заложены в исходной логической схеме. И только тогда мы, вероятно, сможем просить высокий суд приобщить ее к материалам слушаемого дела.

А до тех пор мы вправе рассматривать ее как один из возможных вариантов объяснения тех событий, о которых шла речь. Хотя и этого уже не мало. Особенно, если учесть, что мы опирались всего лишь на два факта: 1) сараевское убийство спровоцировало начало мировой войны и 2) в подготовке покушения деятельное участие принимала организация сербских офицеров, связанная с разведывательным отделом сербского генерального штаба.

Пример, взятый из замечательной книги

Спешу заверить читателя, раздосадованного и утомленного многословием предыдущего раздела, что данный пример будет кратким, а, если мне удастся, то и вовсе лаконичным. Порукой тому одно специфическое обстоятельство: я не буду здесь изобретать нечто новое, а возьму уже готовое суждение из чужого текста – из замечательной книги Марка Солонина «Бочка и обручи, или Когда началась Великая Отечественная война»[73]. Эта блестяще написанная книга[74], открыла новую эпоху в исторических исследованиях, посвященных участию СССР во Второй мировой войне – и это без всякого преувеличения. Эта пионерская работа и

модернизировать свою конструкцию, чтобы учесть и исправить допущенные ранее ошибки в своих рассуждениях.

Если же ты не усмотришь кардинального дефекта в моей конструкции, то можешь пользоваться предложенной схемой в каких угодно целях – я буду только рад. Будучи уверенным в фактической несостоятельности вывода о виновности России, ты можешь, взяв какое-то следствие, логически выводимое из этой схемы, постараться показать, что оно противоречит таким-то и таким-то несомненным и бесспорно установленным фактам и, следовательно, вся конструкция не соответствует реальности. Возразить против этого будет трудно.

Только такими путями развивается любая наука – не такая, как наше игрушечное «исследование», а реальная наука – и история, претендующая на статус науки, не может быть здесь исключением. А обзывать оппонента *русофобом* и на этом основании не признавать его утверждения за истинные – как метод ведения дискуссии ни к чему хорошему привести не может. Лучше бы на этот путь и не сворачивать.

[73] Эта книга впервые вышла в свет в дрогобычском издательстве «Відродження» (отечественные издатели дружно продемонстрировали свою благоразумную осторожность и нежелание *лезть поперед батьки в пекло*) десять лет назад – Солонин М.С. Бочка и обручи, или Когда началась Великая Отечественная война. Дрогобыч: ВФ «Відродження», 2004

Но затем она неоднократно издавалась в нашей стране под разными названиями. В частности: Солонин М.С. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война. М.: Яуза, Эксмо, 2005; Солонин М.С. 22 июня: Анатомия катастрофы. М.: Яуза, Эксмо, 2009

[74] Книга читается с захватывающим интересом и восхищает читателя не только оригинальностью исторической концепции и убедительностью ее доказательств, но и блеском изложения. Драйв повествования, оригинальность композиции, изощренность сюжетной структуры и прочие чисто художественные достоинства этой книги сравнимы с лучшими романами Майн Рида или Жюля Верна.

последовавшая за ней серия солонинских книг на ту же тему настолько изменили представление широкой публики о ходе войны, начавшейся 22 июня 1941 года, что в определенной степени смогли даже затмить славу Виктора Суворова, первым в нашей исторической публицистике начавшего разгребать завалы лжи, скапливавшиеся многие десятилетия и, казалось бы, окончательно исключившие возможность трезвого и объективного взгляда на события того времени.

Книга, о которой идет речь, написана М.Солониным исключительно о войне. Автор уклоняется от этой темы редко и лишь в той мере, которую требует его основная цель. Однако пример, который я хочу здесь привести, связан с другой – внутренней – войной, которую *молодое советское государство* вело десятилетием раньше с большей частью своих граждан. Речь пойдет о коллективизации, которая полыхала несколько лет на просторах всей страны и которая по масштабам человеческих жертв и суммам экономического ущерба заслуживает названия полноценной гражданской войны.

В своем ошеломляющем выводе М.Солонин лишь очень кратко задевает мотивы правящей партийно-государственной верхушки, принимавшей решение о начале этой жуткой резни, перемоловшей советскую деревню. Поэтому нам придется затратить несколько фраз, чтобы представить тот глухой тупик, в котором до открытия Солонина находился любой исследователь этого изменившего судьбу страны процесса и из которого не предвиделось никакого разумного выхода.

Читатель уже знает, что все примеры в этом разделе касаются выяснения мотивов, которыми руководствовались исторические деятели, принимая то или иное решение. Поэтому попробуем хотя бы в общих чертах описать те возможные мотивы, которые привели к выбору политического курс на всеобщую и ускоренную коллективизацию. Поскольку у нас нет серьезных оснований для того, чтобы дифференцировать партийную верхушку, выбравшую этот курс, будем говорить о субъекте принятых решений как о «коллективном Сталине», приписывая Сталину, олицетворяющему партийное руководство, интересующие нас мотивы.

Отбросим сразу «идеологические» мотивы, которые изредка упоминаются как предпосылка данного сталинского решения: дескать, Сталин и его соратники, будучи твердолобыми фанатиками, непременно желали воплотить в жизнь все догмы марксизма и, невзирая ни на какое сопротивление, при первой возможности постарались *железной рукой загнать крестьян в светлое царство социализма.* Жаль тратить время на опровержение младенческого предрассудка о *фанатиках-большевиках*[75] – такие фанатики не продержались бы у власти и двух месяцев.

Гораздо весомей выглядят суждения о том, что основные мотивы решения коллективизовать деревню были «хозяйственными» – теми, о которых упоминает Солонин в интересующем нас отрывке из его книги. Начало такому обоснованию причины партийных решений о коллективизации положил сам Сталин, который в своих бесчисленных высказываниях на эту тему именно так разъяснял всем интересующимся необходимость коллективизации. Если отбросить служащую наукообразным украшением *марксистскую* терминологию этих высказываний, ясно, что сталинский план сводился, согласно его объяснениям, к ограблению крестьянства и использованию награбленных средств на индустриализацию страны. По-видимому, нельзя полностью исключать влияние этого мотива

---

[75] Как ни глупо выглядит тезис о присущем большевикам фанатизме и твердокаменной неуступчивости их вождей для всякого имеющего хотя бы самое поверхностное представление об «истории КПСС», которую много лет вбивали в голову учащимся во всех учебных заведениях, тем не менее за многие годы пропагандистского всевластия *ленинской гвардии* и их преемников миф об их *несгибаемости и несокрушимой принципиальности* настолько въелся советским людям куда-то в подкорку, что до сегодняшних дней он услужливо выскакивает в их сознании при любом затруднении и автоматически избирается на роль всесильной «палочки-выручалочки», с помощью которой можно объяснить и доказать всё, что угодно. Поэтому я собираюсь еще вернуться к этому вопросу – у нас будут для этого конкретные поводы.

на поступки партийных функционеров всех рангов – если признание этой цели коллективизации и не было их путеводной звездой[76], то, по крайней мере, оно могло служить им самооправданием: *да, это жестоко, но это необходимо для ускоренной индустриализации*. Но как реальный мотив Сталина такая цель развязанной в стране новой гражданской войны весьма сомнительна.

Коллективизация слишком сложный и длительный процесс, чтобы ее можно было охарактеризовать в трех фразах, но я надеюсь, что читатели, сами знают об этом периоде достаточно, чтобы согласиться с утверждением: это период колоссальной разрухи, охватившей советскую деревню. Вероятно, есть специалисты, которые могут аргументировано, в цифрах показать, сколько Сталину с шайкой удалось при этом награбить и какая часть награбленного была вложена в дело индустриализации. Я таких цифр не встречал, и сам факт непопулярности таких сведений красноречив – люди, повторяющие вслед за сталинской пропагандой рассказы об изъятии крестьянского добра для нужд промышленности, вовсе не задумываются над тем, имеется ли в этих россказнях хоть крупица правды[77]. Те немногие цифры, которые удалось «раскопать» в течение получаса, утверждают, что среднегодовой экспорт зерна СССР в ближайшие пять лет после начала коллективизации вырос приблизительно на 25% по сравнению с 1924-1927 годами, предшествовавшими этому «ограблению века» (с 2 до 2,5 млн. т в год). Если же посчитать доходы от такого экспорта, то окажется, что они существенно упали в связи с резким падением мировых цен на зерно в годы Великого экономического кризиса. При этом страна находилась на голодном пайке, и уже с 1931 года были введены хлебные карточки. Экономический эффект проведенного мероприятия был настолько явственным, что не стоит его и обсуждать. Но дело даже не в этом – поражает очевидный идиотизм большевиков, прослывших опытными специалистами в деле ограблений и конфискаций. Свою широкомасштабную, запланированную на несколько лет вперед операцию по изъятию чужого имущества они начали с поджога крестьянского дома. Еще раз повторю: подожгли не разграбленный дом, а дом, который планировали разграбить – поджог, видимо, был объявлением того, что ограбление началось. И при этом нас уверяют, что механизм ограбления был задуман не по образцу походов Стеньки Разина с казаками, которые, захватив желанные «зипуны», немедленно ретировались в свои дебри и плавни, подальше от ограбленных, а по схеме классического рэкета, с планомерным и рачительным изъятием части доходов у «защищаемых» и «опекаемых» советской властью сельских тружеников. Зачем же тогда доводить это «быдло», которое собираются регулярно «доить», до полного истощания и массовой гибели от бескормицы? Зачем отправлять на бессмысленный убой наиболее ценную, высокопродуктивную и самую жирную часть стада? Где же здесь хозяйское отношение к делу? Эх, если бы директором был я!

Вообще, какой был смысл в этой *ликвидации кулачества как класса*, проведенной по широко известному рецепту «армянской резни»? Разве нельзя было ликвидировать их так, как ликвидировали нэпманов? Там, конечно, тоже не обошлось без эксцессов, но всё же, в целом, процесс прошел тихо, мирно, цивилизованно: указы, постановления, визиты фининспекторов, судебные повестки, опись имущества – со всеми гарантиями демократической советской юстиции. Ну, и с кулаками бы так. Мало-помалу придавить налогами и «добровольными пожертвованиями» в фонд развития тяжелой индустрии, выжать из них всё, что можно, и по обоюдному согласию перевести в разряд рядовых хлеборобов. Пусть даже некоторым, самым неудачливым из тех, кто не желал сдать в пресловутый фонд припрятанное золотишко царской чеканки, и пришлось бы посидеть недельки три на селедке без воды – делов-то. Но к чему все эти ужасти, доводившие до озверения миллионы «назначенных кулаками и подкулачниками»,

---

[76] Куда им плыть, они определяли не по звездам – первая звезда на башне Кремля появилась лишь в 1935 году.

[77] Общеизвестно, что во всех рассказах о сенсационных *ограблениях века* акцент делается на перечислении несметных богатств, которые достались грабителям. Казалось бы, здесь речь идет об аналогичной истории. Ан, нет – о сумме награбленного молчок.

с одной стороны, и миллионы возглавляемых Давыдовыми и Нагульновыми «борцов за счастливую долю», с другой? Какой был в этом прок? Не рационально. И уже известный нам рефрен: дурак он был этот Сталин со своими бестолковыми членами Политбюро, ни одного дела не могли они сделать осмысленно и разумно.

И последний возможный мотив, который мы здесь обсудим: истинная цель коллективизации – стремление «прикрепить» крестьян к принадлежащей государству земле, запретив свободный выход из крестьянского сословия и поставив их в полную зависимость от партийных решений, а тем самым обеспечить удобную для бюрократической системы управляемость крестьянства, не имеющего иных источников существования кроме работы в колхозах и совхозах. Отрицать возможное наличие такого стремления у принимавших решение о коллективизации никак нельзя. Достижение этой цели было, без сомнения, в интересах правящей верхушки, и, если эти люди умели что-то видеть дальше собственного носа, они не могли не учитывать столь полезный для них результат, который обещала предпринятая ими коллективизация. Если, как мы предполагаем, они его предвидели, то их прогноз оправдался на сто пятьдесят процентов: давно исчезла *как класс* та специфическая генерация большевиков, которые планировали коллективизацию, а советское крестьянство и до сих пор не может окончательно выпутаться из той сбруи, в которую его захомутал *бестолковый товарищ Сталин*. Однако, признав рациональность и реалистичность существования такого «управленческого» мотива, мы всё же не можем полностью снять все недоумения, связанные, если уже не с сутью, то с механизмом рассматриваемого процесса. Зачем большевики раскрутили маховик коллективизации с неслыханной в современной истории и даже, можно сказать, с демонстративной жестокостью? К чему вся эта истерия, нагнетаемая с самого верха, все эти ежедневные сводки и сообщения с *фронта коллективизации*, требования непременно добиться определенного процента вступивших в колхоз к такому-то сроку – иначе сам поедешь на восток вместе с «подкулачниками»? Разве нельзя было сделать же самое на год или два позже, ведь это никак, в сущности, не повлияло бы на достижение поставленной цели? На все эти вопросы у нас нет никакого приемлемого ответа (ну, если не считать за ответ указание на непроходимую глупость партийных бонз).

Ясно, что настала пора попытаться применить метод «*апелляции к реальности*». Однако здесь имеется определенная трудность, которая неустранима при анализе любого процесса, но в отличие от прочих случаев в данном она выступает на первый план и грозит аннулировать все наши методические ухищрения. Сущность этой трудности в том, что всякое событие имеет много следствий, и для применения своего метода нам надо выбрать одно из них. Коллективизация была гигантским по масштабам процессом, имевшим множество самых серьезных последствий, и непонятно, какое из них могло быть непосредственно связано с принятым Сталиным решением – к осуществлению какого из них он реально стремился, а какие были побочными результатами этого стремления. Для того, чтобы с какой-то долей вероятности угадать искомое следствие, надо пристально взглянуть на выводы нашего – поневоле примитивнейшего – анализа ситуации. В итоге его мы решили, что хотя коллективизации можно приписать разумную цель – создание удобной системы управления крестьянством, остается непонятной та безмерная, никакими привычными для нас рациональными мотивами необъяснимая жестокость, с которой была проведена эта не имеющая прецедентов кампания. При этом руководители процесса не посчитались с тем, что легко предсказуемое озверение ограбленных и сживаемых со свету людей ставило большевистскую партию и лично товарища Сталина в очень рискованную позицию – любой просчет, какое-нибудь непредвиденное обстоятельство, и они могли без снисхождения расплатиться за этот социальный эксперимент. Большевики могли снизить уровень жестокости, но они этого не сделали, несмотря ни на какие угрозы собственному существованию, а потому можно предположить, что резня в деревне была им зачем-то нужна, именно она и была их целью (или, по крайней мере, одной из их главных целей). Поставив так вопрос, мы опять ощущаем недоумение: кому может быть нужна резня как таковая? Зачем она им?

Я не знаю, как М.С.Солонин пришел к своему утверждению. Возможно, его привели к нему соображения, в чем-то сходные с нашими, возможно, он пришел к своему открытию каким-то совершенно другим путем; может быть, оно появилось по наитию, внезапно вспыхнув в его сознании. Кто его знает? А спросить его об этом я не решаюсь, какое-то смутное чувство мне подсказывает, что он недолюбливает такие нескромные вопросы. Но это, в конце концов, и неважно – главное в том, что у него есть убедительнейший ответ на последний наш вопрос.

Вот те два абзаца из его книги, о которых я говорил ранее. Опубликовав содержащееся в них фундаментальное открытие, Солонин заслужил законное право вписать свое имя золотыми буквами в российскую историографию. И, если Высшая правда и Божий суд – не пустая человеческая выдумка, его имя будет туда вписано.

> «Массовые репрессии 1929 – 1933 годов наряду с простыми, прозаическими, «хозяйственными» задачами (обеспечить растущую промышленность сверхдешевой рабочей силой и дармовыми сельхозпродуктами, набрать золото и валюту для закупок западной технологии) имели своей целью и решение одной весьма сложной социальной проблемы. Новый правящий класс сверху донизу был наполнен людьми, имевшими личный опыт. Опыт организации восстаний, переворотов, партизанских отрядов, красно-зеленых «гвардий» и пр. Этот опыт и наличие этих людей не могли не беспокоить партийную верхушку. И только после раскулачивания, коллективизации, голодомора Сталин и компания смогли вздохнуть спокойно. Теперь они знали: для «активистов», выгребавших кашу-затируху из котелка у голодающих, дороги назад, к ограбленному народу, уже нет и не будет никогда. Связанные круговой порукой безмерного злодейства, они теперь могли только покорно брести вдоль по извилистой «линии партии».
>
> В январе 1934 г. горячо любимый нашими «либералами 60-х годов» Серго Орджоникидзе писал еще более любимому ими С.М.Кирову: *«Кадры, прошедшие через ситуацию 32 – 33 годов и выдержавшие ее, закалились как сталь. Я думаю, что с ними можно будет построить Государство, которого история еще не знала»*. Пророческие слова. Глубоко верные. История России раньше такого не знала. И таких «кадров», которые могли бы ежедневно выгружать опухших от голода детей в голую степь, в старые времена, в старой России еще надо было поискать»[78].

Как ни замечательны книги М.С.Солонина по истории Второй мировой войны, как ни впечатляюща его концепция, объясняющая оглушительный разгром Красной армии в 1941 году и переворачивающая с головы на ноги историю этого периода в мозгах читателей, но выраженный в этих немногих строчках взгляд Солонина на истинный смысл и значение сталинской коллективизации не уступает по своим достоинствам всему комплексу написанных им книг о войне. От перспектив, которые открывает такой угол зрения на политику большевистской партии, буквально, захватывает дух. Это – краеугольный камень, заложенный М.Солониным в фундамент истинной истории советского общества, которой еще предстоит быть написанной.

Пример с ответом на уже загаданную загадку

Некоторые читатели уже, вероятно, забыли про ту загадку о мешочниках, которую я постарался сформулировать ранее, ближе к началу этого «интермеццо». Другие же читатели, возможно, сразу же нашли ответ на эту загадку, и потому она их больше не интересует. Однако, если в тексте появилась загадка, то и разрешение ее также должно найти себе место в этом тексте – хотя бы из соображений завершенности композиции.

---

[78] Солонин М.С. Бочка и обручи, или Когда началась Великая Отечественная война. Дрогобыч: ВФ «Відродження», 2004, с. 389-390

Поскольку задача уже дана, мы можем сразу же приступать к применению нашего метода. И опять, как и в предыдущем примере, мы сталкиваемся с проблемой выбора следствия. Никакого общего правила здесь сформулировать, по-видимому, невозможно. И во многих случаях остается только перебирать события, рассчитывая на удачу и анализируя, к каким вероятным выводам приводит тот или иной выбор. К счастью, в данном случае мы имеем некую подсказку, и было бы неразумно не попытаться ей воспользоваться.

Я имею в виду тот факт, что и в этом, и в предыдущем примере фигурируют очень похожие следствия, вызывающие наше недоумение своей кажущейся бессмысленностью и вероятной опасностью для власти, чьи действия вызывают эти следствия: в обоих случаях один из результатов действий сводится к озлоблению больших масс людей. Поскольку М.Солонин нашел удачное объяснение роли озлобления при коллективизации, попробуем выяснить, могло ли это – в значительной степени искусственно созданное – озлобление способствовать «привязыванию» какой-то группы людей к власти, спланировавшей и создающей это озлобление. Прошу прощения за довольно большую цитату, но этот отрывок из книги Давыдова убедительно и прозрачно демонстрирует механизм, с помощью которого большевики «брали на поводок» и «взнуздывали» относительно независимых от них людей:

> «Само государство оценивало взаимоотношения с мешочниками прежде всего как войну. И дело не столько в высказываниях вождей (они не раз приводились), сколько в практических мероприятиях власти – только они определяли место борьбы с мешочничеством в политике большевиков в 1918 г. Сопоставим следующие данные. С одной стороны, на востоке страны к осени 1918 г. едва удалось набрать войско в 20 тыс. человек для противостояния народной армии Самарского правительства… осенью 1918 г. 3-я советская армия численность в 6-7 тыс. бойцов держала на востоке страны фронт в 920 верст. С другой стороны, в центральных губерниях создавались исключительно для противодействия мешочникам «сводные» заградительные отряды в 400, в 500, в 600 бойцов; на одной станции Челябинск располагался заград в 1000 человек, и еще ему придавались пулеметные расчеты. «Заградиловцы» были хорошо вооружены и оснащены, у них имелись пулеметы и тачанки. Ясно, что большевистское руководство отводило «мешочническому фронту» важнейшую роль.
>
> Заградительные отряды представляли главную опасность для нелегального снабжения, и на них в первую очередь делали ставку продовольственные диктаторы. Функции «заградилок» (термин из гражданской войны), случалось, осуществляли отряды чекистов. Известно, когда целым полкам РККА поручалось решать только задачи борьбы с «контрабандой» мешочников. По относившемуся к 1918 г. рассказу продовольственника Е.П.Еременко, в заградительные отряды набирались «лучшие красноармейцы». О большой значимости фронта войны с ходоками говорит и такой факт: на нем использовали части, составленные из китайцев, венгров, представителей народов Прибалтики, которые считались элитными, опорой советских вооруженных сил»[79].

Почему большевикам *едва удалось набрать войско*, как пишет Давыдов, против армии Самарского правительства? Ясно, почему. Солдаты, которых с большевиками ничто не связывало, не рвались в бой, а могли и всем полком сдаться в плен или перейти на сторону тех, кто воевал с большевиками. Да и с какой стати они полезли бы под пули, защищая самозваных правителей советского государства. С другой стороны, многие с удовольствием пошли бы в заградотряд или в отряд, занимающийся реквизицией хлеба у крестьян, чтобы не идти на фронт. Одно дело сидеть в холодном окопе, и ждать, когда подвезут хоть чего-нибудь поесть, и совсем другое – служить в Челябинске, есть от пуза, иметь массу возможностей для сытой, обеспеченной жизни, и все это при минимальной опасности получить пулю от озверевшего мешочника. Не жизнь – лафа! И власть сама приглашает на такое хлебное место. Но потом оказывается, что это только присказка. Когда потребуется, власть направит тебя на фронт – на защиту социалистического отечества. И тебе уже не будет возможности отказаться, потому что социалистическое отечество для тебя уже не выдумка далеких от тебя правителей, такое «отечество» – единственное место, где ты сможешь существовать, потому что, если

[79] Давыдов А.Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917 – 1921 гг. СПб.: Алетейя, 2007, с. 234-235

большевики не победят, тебя просто разорвут на части те, у кого ты отбирал хлеб, предназначавшийся для голодной семьи мешочника. Никто тебя не защитит. В глазах всех ты – мародер, бандит, вырывавший изо рта голодных последний кусок хлеба и расстреливавший сопротивляющихся из пулеметов[80]. По всем законам, божеским и человеческим, тебе нет пощады – да ты и сам это знаешь. Теперь ты связан с кремлевскими паханами одной веревочкой, и защищать их – твое личное кровное дело. Теперь ты обречен, как выразился Солонин, *покорно брести вдоль по извилистой «линии партии».* И разгромить армию самарского правительства – для тебя единственный выход в данный момент, только так ты можешь продлить существование большевистской власти, повязавшей тебя грабежом и кровью. Всё. Твоя эволюция закончена, ты стал *сознательным и активным сторонником советской власти*. Она вполне может на тебя положиться – когда понадобится, ты пойдешь, куда тебя пошлют, и будешь делать всё, что прикажут: например, обеспечивать ликвидацию кулачества как класса.

Но точно та же эволюция предусмотрена и для другой стороны – для мешочников, то есть тех городских жителей, которые еще не согласились безропотно смотреть на своих голодающих детей и пытаются как-то бороться за выживание. Власть плотно обложила город и не дает провезти ни пуда хлеба (гады всё же эти большевики, только свистят, что они за рабочих). Тебе – питерскому металлисту или служащему Топливного треста – невозможно прожить на тот мизерный паек, который ты получаешь, цены на рынке – спасибо заградотрядам – запредельные, идти на винтовки и пулеметы, пытаясь провезти что-то в город, дело практически безнадежное. Где же выход? *Есть выход*, – говорят тебе в завкоме, - *в городе хлеба нет, а потому единственный выход взять его в деревне. Там он есть. Кулаки, недовольные советской властью, зажимают хлеб и готовы весь его перегнать на самогон, только бы задушить голодом пролетариат и пролетарское государство. Им наплевать на умирающих с голода наших детей. Звери. Но мы не сдадимся. Мы формируем продотряд и предлагаем тебе вступить в него. Вам выдадут оружие, будет даже одна трехдюймовка. Вы поедете в указанный вам район, без всякого снисхождения выгребете весь хлеб, который найдете, и, набрав на эшелон, привезете его в Питер. Всем продотрядовцам обещан хороший паек, а кроме того, каждому разрешается провезти мешок муки, которую в деревне ты сможешь купить или как-то раздобыть. Тебе оказывают доверие – соглашайся.* Ты чувствуешь, что здесь какое-то надувательство. Если вы хотите снабдить питерцев хлебом, то какого черта вы не даете мне самому привезти этот хлеб из деревни, я бы сам его выменял или купил, и не надо было бы никаких реквизиций. Легко сказать, *возьмите хлеб*. Ясно, как это делается. Но у тебя нет другого выхода. Кроме того, ты не сомневаешься, что кулаки – такие же звери, как и городские власти. Если приходится выбирать, кого жалеть: неизвестных тебе озверевших кулаков или собственных детей, то можно ли сказать, что у тебя есть выбор. Согласен.

Вот и всё. Когда ты вернешься из этой военной экспедиции, с хлебом и воспоминаниями о твоих товарищах, оставшихся там лежать с распоротыми и засыпанными зерном животами, ты будешь уже не тот. С этого момента тебя уже можно будет назвать сознательным пролетарием, готовым на любые жертвы ради защиты пролетарского государства. Возможно, ты даже будешь благодарен большевикам, давшим тебе и твоей семье спастись от голодной смерти – не всем это удалось. Но это совсем не обязательно. Главное, ты вместе со своими товарищами осознаешь свой классовый интерес, и вы перейдете из состояния *класса в себе* к состоянию *класса для себя*. Вы будете точно знать, что вам пролетариям по дороге только с большевиками – если их власть рухнет, то эти *озверевшие кулаки* просто вырежут вас – городских – до единого человека. А чего от них еще ожидать после того, что вы там с ними

---

[80] «Можно сказать пулемет стал атрибутом и символом заградительно-реквизиционных мероприятий. Редкий день он не был в деле» (Давыдов А.Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917 – 1921 гг. СПб.: Алетейя, 2007, с. 251)

вытворяли. Наверное, теперь тебе как сознательному пролетарию предложат вступить в партию – нашу социал-демократическую рабочую, ну и, конечно, с буквой «б». Ну, что ж сказал «а», придется сказать и «б». Так и будешь теперь расти и крепнуть вместе с родной уже тебе партией. На Юденича, так на Юденича. Ведь страшно даже подумать, что будет, если он захватит город. А потом поедешь *двадцатипятитысячником* в ту же деревню. Там тебя, наверное, подзабыли, но теперь вспомнят.

Да, мы еще упустили китайцев, латышей и прочих, входивших в интернациональные отряды Красной армии и тоже боровшихся с мешочниками. Этим даже и эволюционировать не надо было. Как только новорожденная советская власть, не теряя даром времени, взялась за претворение в жизнь давно лелеемых большевиками планов, заработала ЧК и направление магистрального пути к грядущему социализму стало уже всем ясно, каждый китаец или латыш понял, что, если вдруг с социализмом произойдет какая-то заминка, и большевики решат временно опять уйти в подполье, приклеив фальшивые бороды и прихватив конфискованные алмазы, то им косоглазым и говорящим с прибалтийским акцентом никакие бороды и документы в Питере или Москве не помогут – не спрячешься – никто и разбираться не станет, служил ли ты в интернациональных частях и что ты там делал. Поскольку это было ясно не только самим бойцам-интернационалистам, но и их высоким начальникам, то такие части справедливо считались самыми стойкими и надежными – элитными частями Красной армии.

Если наши рассуждения верны, то получается, что дебильная, на первый взгляд, война с мешочниками, выбранная властью как основное средство борьбы с голодом, не так уж и дебильна: голод она, правда, усугубляет, но зато – и это намного важнее – эта война ежедневно рекрутирует в ряды защитников советского строя сотни и тысячи новых сознательных борцов за коммунистическое будущее. И чем больше зверствуют кулаки и прочие ненавистники советской власти, чем жарче разгорается пламя гражданской войны, чем сильнее *сжимается костлявая рука голода на горле пролетариата*, тем крепче становится новая власть, тем больше становится у нее верных сторонников.

На этом я заканчиваю примеры и всё интермеццо в целом. В заключение, добавлю лишь одно соображение о методе «*апелляции к реальности*», который в приведенных примерах продемонстрировал, я надеюсь, свои возможности по генерации интересных, часто неожиданных и, по крайней мере, внешне правдоподобных гипотез о мотивах исторических деятелей, а следовательно, о внутренней механике происходивших когда-то событий. Не надо переоценивать возможности этого метода или слишком полагаться на его результаты, но неразумно, на мой взгляд, и отказываться от его применения в некоторых случаях.

Чтобы предупредить вероятные критические замечания, скажу также, что этот метод имеет и небольшой врожденный дефект. При описании метода «*если бы директором был я*» и ему подобных мы столкнулись с тем, что эти методы часто склоняют исследователей к необоснованным выводам о безмерной глупости и недальновидности рассматриваемых исторических персонажей. Метод «*апелляции к реальности*» побуждает к перекосу суждений в противоположную сторону – это заложено в самой его конструкции. Поскольку, прибегая к этому методу, мы исходно постулируем, что наблюдаемое нами следствие какого-то поступка персонажа было именно тем, к чему он стремился, то всякое действующее лицо невольно приобретает черты прозорливого (почти что ясновидящего) героя, который к тому же оказывается неимоверно удачливым, – что бы он не задумал, всё непременно исполняется. Удалить этот перекос невозможно, и поэтому надо просто иметь его в виду и со здоровым скептицизмом взирать на полученные с помощью этого метода выводы. Каждый из таких выводов – лишь гипотеза, которую надо еще подтверждать фактами, полученными другими независимыми способами.

Часть 4

Творцы «мичуринской биологии»

(продолжение)

После такого большого отступления от основной линии текста мне приходится повторить заголовок четвертой части моего труда, чтобы напомнить читателю о своих планах описать некоторые характерные черты [2]интеллигенции на реальном примере из недавней истории советской науки и приступить, наконец, к изложению долгожданного сюжета.

Главные действующие лица

Лысенко Трофим Денисович – «академик из народа». Яркий запоминающийся типаж, обладающий всеми необходимыми характеристиками для роли злодея-развратителя ученого сообщества. Крестьянское происхождение, отсутствие культурного багажа и свойственных образованной среде манер, крайне низкий уровень научной эрудиции, природная хмурость и скрытность, отсутствие яркой одаренности и заинтересованности научными проблемами, и в то же время, стремление во что бы то ни стало, любой ценой *выбиться в люди*, недюжинный ум и крестьянская хитрость, способность тонко чувствовать ситуацию и на лету улавливать пожелания начальства – всё это вместе взятое сделало Лысенко идеальным исполнителем уготованной ему роли. Никакие предварительные актерские пробы не дали бы лучшего результата. Конечно, в тех обстоятельствах ту же самую роль могли бы сыграть и другие персонажи – кое-какие претенденты были – но Лысенко был просто создан для порученного ему дела. Ему, вероятно, и грим-то почти не требовался, достаточно было кое-что подчеркнуть, выпятить, а что-то затушевать, добавить несколько колоритных штрихов – основа была готова заранее. Во всяком случае, простой, корявый, прямолинейный и нагловатый, «мужицкий академик» выступил с такой жизненной убедительностью и так захватил внимание публики, что вся эта история получила наименование «лысенковщины». Многие до сих пор не могут отделаться от впечатления, что именно он – тупой, малограмотный и тщеславный дуболом – своими идиотическими измышлениями ухитрился «запарить мозги» начальству и с помощью всесильной государственной машины сломал через колено отечественную биологию, сумев – пусть на относительно короткий срок – повернуть нашу науку в сторону мракобесия и дикого невежества[81]. Как ни далеко это мнение от исторической истины, но его появление и широкое распространение свидетельствует о правдивости воплощенного Лысенко художественного образа. Взглянув на исполнение роли «народного ученого» этим непрофессиональным актером, даже проницательный и строгий Станиславский вряд ли бы прибег к своему сакраментальному «не верю».

Родился сей герой в 1898 году в украинском селе (в Полтавской губернии)[82]. Он был старший сын в крестьянской семье и, как это было повсеместно принято, трудился с малых лет, помогая родителям, так что учиться начал только с тринадцатилетнего возраста – даже для крестьянского сына это было необычно поздно[83]. Ясно, что такой дебют не обещал академической карьеры в будущем, но, видимо, и сам Трофим, и, главное, его родители надеялись на лучшую долю и сделали, что могли, чтобы ребенок вырвался из крестьянского

---

[81] «Поразительно то, что Лысенко – тщедушный (в научном смысле) человек – сумел не только практически остановить развитие биологической науки, генетики прежде всего, но и отбросить ее на долгие десятилетия на задворки мировой научной мысли» (Романовский С.И. Притащенная наука. СПб. 2004, с.177)

«Политически ловкий шарлатан смог убедить правителя великой страны, что генетика подрывает принятую религию диалектического материализма. Он также смог на протяжении четверти века разрушать сельское хозяйство своей страны под предлогом создания невероятно эффективных способов его улучшения». (Dobzhansky T. The myths of genetic predestination and of tabula rasa // Perspectives in biology and medicine, 1976, v. 19, № 2. – *перевод В.Иванова*)

[82] Значительная часть приводимых здесь сведений о карьере Т.Д.Лысенко и о перипетиях «лысенковщины» почерпнуты мною из книги В.Сойфера «Власть и наука. История разгрома генетики в СССР», исключительно богатой фактическим материалом по данной теме.

[83] В 1911 году 73 % учеников начальных школ были в возрасте 8—11 лет (Начальное народное образование // Новый энциклопедический словарь. Пг.: Издательское дело, 1916. Т. 28 с. 123-149)

состояния – получил какое-никакое образование. Отец Лысенко – Денис Никанорович – был, судя по всему, не таким уж простым заскорузлым сельским хлеборобом и, когда звезда Лысенко-сына начала восходить на всесоюзном небосклоне, его отец довольно активно и политически грамотно успел поучаствовать в пропагандистской кампании, сопровождавшей стремительное возвышение «народного академика»[84]. Нет сомнений, что именно отцовские

---

[84] «После публикации письма Станкова в 'Правде' он получил по почте письмо от незнакомого человека – врача из Карловки, где родился Т.Д.Лысенко. Этот врач, немолодой уже человек, благодарил Станкова за долгожданное разоблачение Лысенко-младшего и писал о том, как не любили односельчане старшего Лысенко – Дениса Никаноровича, прославившегося еще в царские времена своим невероятным холуйством перед власть предержащими» (Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002).

Прошу прощения у читателя за непомерно длинную цитату из статьи А.Ф.Лысенко (*кандидата педагогических наук, жены внука Олега*, как гласит подпись под статьей), но жалко было опускать такой колоритный материал:

«После революции он, как и все крестьяне, получил землю. Но вскоре пришла коллективизация, понять и принять которую дедушка не мог, ведь он получил так долго ожидаемую собственность. Он рассказывал мне: к нему приехал сын-агроном Трофим, и они с ним проговорили всю ночь. А на другой день он вступил в колхоз вместе с тремя дочерьми, их мужьями, внуками, скотом, инвентарём. И жизнь его круто изменилась.

Человек острого и пытливого ума, Денис Никанорович стал бригадиром-опытником, заведовал хатой-лабораторией в колхозе 'Большевистский труд' в селе Карловка Харьковской области. Такие лаборатории были созданы почти по всей стране. Он занимался в ней яровизацией картофеля, пшеницы, но особенно сахарной свёклы. Благодаря яровизации, осуществлённой хатой-лабораторией, колхоз получил за несколько лет дополнительно 20 тыс. центнеров зерна, 13 тыс. центнеров сахарной свёклы, 2 тыс. центнеров картофеля. Дипломы и грамоты, которыми награждён дедушка, свидетельствуют о признании его труда.

На родине, в селе Карловка, он пользовался большим уважением и любовью. К нему постоянно приезжали учиться и набираться опыта земледельцы Украины и всей страны.

Труды и опыты колхозника Лысенко широко были представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Стенд, иллюстрирующий работу хаты-лаборатории, находился в павильоне его сына Трофима Денисовича.

Третьего января 1936 г. на первой странице газеты 'Правда' было напечатано письмо Сталину родителей академика Т.Д.Лысенко в связи с награждением их сына орденом Ленина.

Приведу выдержки из письма: 'Могли ли мы мечтать когда-нибудь о такой великой чести, мы – бедные крестьяне села Карловка, на Харьковщине… Не только старший Трофим, но и младшие пошли учиться в институты. Мужицкому сыну была открыта широкая дорога к знанию. Закончив институты, младшие работают: один – на Уральской шахте, другой – в Харьковском научном институте, а старший сын – академик… Не знаю, чем отблагодарить вас, дорогой товарищ Сталин, за великую радость – награждение сына высшей наградой...'»

…Про жизнь Дениса Никаноровича, его жены и сыновей писал журнал 'СССР на стройке', N 3 за 1941 год. В нём помещено 114 фотографий о семье Лысенко и письмо под названием 'Могли ли мы когда-нибудь мечтать о такой великой чести?'».

И еще одна легендарная подробность из жизни семьи Лысенко:

«Денис Никанорович был глубоко верующим человеком. …По-видимому, искренне уверовать в Бога помогло ему такое событие в жизни. Как он мне рассказывал, его четырёхлетний сын Трофим (будущий учёный – президент Академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина) тяжело заболел скарлатиной. Денис Никанорович, отчаявшись, 'отбил' телеграмму Иоанну Кронштадскому: 'Будет ли жить мой сын Трофим?'. Тот ответил: 'Будет жить и будет знаменит'».

В статье сообщается также, что в 1943 году Д.Н.Лысенко в возрасте 70 лет «возглавил опытно-полеводческую бригаду в Экспериментальной базе 'Горки Ленинские'» и проработал в этой должности еще четверть века, за что был награжден орденом Трудового красного знамени в день своего 90-летия .

«Денис Никанорович оставил работу в 'Горках Ленинских' за три месяца до девяностопятилетия. Инфаркт. Он уехал на родину, в Карловку, к дочерям, и там умер на Медовый Спас – 14 августа 1967 г. По-моему, он был рождён для работы, которую начал в шесть лет. Эту любовь и преданность земле он сумел передать своим детям и внукам». (Лысенко А.Ф. След на земле. // «Своими именами», № 5 от 29.01.2013)

решения определили направление, в котором развивалась судьба ничем не примечательного деревенского хлопчика. Как это не удивительно, она шаг за шагом вела его к научной карьере. Почему человек, оставшийся, несмотря на свои академические звания, малограмотным до последних своих дней, так упорно стремился стать ученым-исследователем, не совсем понятно. От крестьянского сына, желающего оставить тяжелый и не дающий богатства труд и занять более высокое социальное положение, естественнее было бы ожидать нацеленности на карьеру практического агронома, дающую достаток, руководящую должность и желанный социальный статус. Однако он прямым ходом двинул «в ученые».

Проучившись два года в сельской школе, подросток был послан в Полтаву – в училище садоводства, где проучился два с лишним года, а затем в 1916 Трофим Лысенко пытался сдать экзамены в Уманское училище земледелия и садоводства – это было уже серьезное учебное заведение, шестилетний курс обучения в нем приравнивался к курсу реального училища и содержал как практические, так и теоретические дисциплины. Выпускникам училища присваивалось звание агронома. Лысенко удалось поступить туда только со второго захода, осенью 1917 года, когда условия жизни стали крайне неподходящими для нормального обучения – власть в Умани несколько раз менялась, ее занимали то австрийцы, то красные, то белые, кругом полыхала гражданская война. Тем не менее Лысенко пробыл в училище три года и окончил его в 1921 году. Никакие трудности не отбили ему охоту получить образование. Можно, правда, предположить, что именно условия войны поддерживали его стремление учиться – ведь к моменту окончания училища ему было уже 22 года, и его вполне могли мобилизовать в одну из армий, которые, сменяя друг друга, занимали Умань[85].

В 1921 году Лысенко отправляют на несколько месяцев на курсы Главсахартреста – доучиваться, как говорит Сойфер, ввиду неполноценности полученного им в военные годы образования. И затем он оказывается на Белоцерковской селекционной станции, в должности «специалиста по селекции свеклы». То есть, получив «среднетехническое», по нашим меркам, образование, нацеленное на практическую работу агронома, он тем не менее устраивается в одно из подразделений тогдашней «агронауки», сразу же приступает к экспериментальной селекционной работе и даже публикует в 1923 году две куцые (по мнению читавшего их В.Сойфера), но все же «научные» по темам статейки. Можно считать, что к этому времени вектор его будущей деятельности уже определился: он явно собирается быть ученым-исследователем. Правда, та наука, которой он начинает заниматься, - наука максимально приземленная, далекая от глубоких теоретических проблем и нацеленная на получение конкретных практических результатов, на осязаемую сегодняшнюю «пользу». Однако эта – единственно доступная для молодого Лысенко – отрасль исследований имеет все же достаточно веские основания именовать себя «научной» агрономией: у нее общие с «большой наукой» методы доказательств и оценки получаемых данных, и она множеством нитей тесно связана с фундаментальной биологией своего времени, заимствуя у «чистой» науки ее результаты, теоретические концепции, технологию и методику исследований. Между фундаментальными биологическими науками и опытной агрономией нет резкой, непроницаемой границы, и, начавши как селекционер, Лысенко, как и многие другие, в дальнейшем пытается, как мы увидим, сформулировать некие общебиологические закономерности, касающиеся роста и развития растений, то есть его эксперименты смещаются в область чистой биологии. При этом внешняя канва его трудовой деятельности не претерпевает никаких видимых резких поворотов.

Работая на Белоцерковской станции, Лысенко параллельно (с 1922 года) учится на заочном отделении Киевского сельскохозяйственного института и заканчивает его в 1925 году, получив

---

[85] К сожалению, ранние годы жизни этого оказавшегося неординарным агронома не заинтересовали историков, а сам он не был склонен распространяться о деталях своей биографии, и в доступной литературе ответов на вопросы: чему он учился, какова была его успеваемость, каковы были отзывы близко знавших его людей, делился ли он с ними своими планами на будущее и тому подобное – мне найти не удалось. Обо всем этом можно только гадать.

диплом агронома. Можно сказать, что с этого момента молодой селекционер-исследователь становится полноправным членом [2]интеллигенции. Как бы ни было убого, по сегодняшним (да и по тогдашним) меркам, его общее и специальное образование[86], оно не только формально обосновывало его право считаться образованным специалистом и занимать соответствующие должности, но и могло служить базой для дальнейшего самообразования и совершенствования своих познаний в избранной области деятельности. Множество людей, получивших ничем не лучшее образование и пришедших, как и наш герой, в интеллигенцию «от сохи», стало прекрасными специалистами – инженерами, врачами, агрономами и т.д. И среди истинных ученых, делом доказавших свою принадлежность к настоящей науке, таких людей тоже немало, отнюдь не только известный всем Ломоносов. Конечные результаты определяет не столько исходная ступенька, с которой начинается восхождение к высотам познания, сколько внутренний импульс, заставляющий человека карабкаться вверх, несмотря ни на какие трудности, созданные его воспитанием и средой.

И такой импульс, судя по косвенным признакам, у молодого Лысенко был: он, твердо и не отклоняясь, двигался по выбранной им линии и осваивал азы, требующиеся для работы в науке. И здесь намечается первая загадка, связанная с его блистательной научной карьерой. Весь его последующий жизненный путь не дает ни малейших оснований сомневаться в том, что он, по своей внутренней сущности, был «простым человеком» и не имел никаких притязаний на звание [1]интеллигента – истина сама по себе (в том числе и научная истина) не имела для него притягательной ценности, и он, вероятно, с трудом мог бы понять, зачем и кому она может быть нужна, если заранее известна ее полная практическая неприменимость. В этом нет ничего удивительного. Еще в самом начале этого трактата отмечалась очевидная связь развитой интеллигентной жизненной установки с европейским образованием, и потому мы вправе ожидать, что в необразованной крестьянской среде люди с повышенным уровнем интеллигентности, разумеется, существуют, но проявления этого человеческого свойства ограничиваются, главным образом, сферой моральных оценок (создавая тип «деревенского правдолюбца», направо и налево режущего правду-матку) или сферой досужих развлечений (в которой стремление к чистому познанию удовлетворяется рассказами бывалых людей и паломников в Святую землю или слухами о неправедных нравах «салтана Махнута турецкого»), но крайне редко эта природная интеллигентность выливается в страсть, определяющую выбор жизненного пути. Исходя из этих, на мой взгляд, высоковероятных предпосылок, мы должны придти к заключению, что, выбирая для себя карьеру ученого, Лысенко руководствовался, в основном, соображениями практической пользы. И тогда неизбежно возникает вопрос: почему он решил, что карьера ученого более выгодна и надежна, нежели карьера практического агронома, чиновника какого-то из управляющих сельским хозяйством государственных учреждений (того же Главсахартреста или Всеукрзаготпеньки) или любое другое хлебное место в одной из многочисленных неустанно плодящихся госконтор? На взгляд со стороны, его решение нелогично и недальновидно. Ясно, что выбирая ученую стезю, Лысенко никак не мог надеяться стать академиком, директором научного института или хотя бы профессором Тимирязевской академии – все это было далеко за пределами его самых смелых мечтаний. Максимум, что ему светило после многих лет неустанного труда и лишений, это должность замдиректора Опытной селекционной станции или доцента провинциального сельскохозяйственного вуза[87]. Почему он не выбрал более простой, краткий и прямой путь к

---

[86] «…в силу во многом независящих от него причин, полноценного образования он не получил. Эта недостаточность образования осталась у него непреодоленной и в дальнейшей жизни. Будучи знакомым с несколькими страничками, написанными им собственноручно, я смею утверждать, что и гораздо позже Лысенко был удручающе безграмотен. Книжная и письменная культура были ему чужды» (Сойфер В. Власть и наука. М.2002)

[87] «В середине 1920-х гг. преподаватель вуза получал в среднем гораздо меньше, чем квалифицированный рабочий – горняк или текстильщик, а средний заработок советского служащего в несколько раз превышал заработок профессора» (Абубикерова Э.Ф. Профессиональная повседневность

желанным житейским благам и престижному социальному статусу, тот путь, которым пошла основная масса его соучеников, так же, как и он, стремившихся вырваться из деревенской нищеты и перейти в «образованное сословие»? Понятно, что получить более или менее исчерпывающий и точный ответ на этот вопрос вряд ли возможно. У нас нет и, видимо, уже никогда не будет свидетельств, достаточных для обоснованных суждений об этой тонкой, глубоко сокрытой в чужой человеческой душе материи. Тут и про себя-то толком ничего не скажешь, где уж нам пытаться понять мысли и чувства такого далекого от нас Лысенко.

И все же я рискну высказать одно простейшее предположение: в ученые Лысенко двинул, потому что у него на тот момент не было никакой альтернативы. Ранние годы НЭПа, в которые начиналась профессиональная жизнь Лысенко, дали, конечно, возможность некоторого восстановления умирающего советского хозяйства, но предшествующая разруха и страшный голод 1921-1922 годов все еще определяли нищенский уровень жизни людей и колоссальную нехватку рабочих мест, а меры по оздоровлению экономики и перевода ее на принципы хозрасчета привели в первую очередь к бурному росту безработицы среди городского населения. Любое место работы для окончивших растущие после революции, как грибы после дождя, советские вузы, и прочие учебные заведения было желанным, так что выбирать особенно не приходилось. За более хлебные и престижные места шла жесткая конкуренция, а мизерные ставки в исследовательских учреждениях (еще в 1927 году журналист назвал Лысенко «босоногим профессором»[88]), сопряженные с необходимостью вечно *учиться, учиться и еще раз учиться*, привлекали гораздо меньше желающих. В то же время государство довольно активно расширяло сеть разнообразных научно-технических структур, делая ставку на технический прогресс и руководствуясь лозунгом *догнать и перегнать* передовые буржуазные страны. Поэтому вполне вероятно, что Лысенко стал ученым не вследствие внутренней склонности к такого рода деятельности, а принимая выпавшее ему место работы как некий, не слишком щедрый дар судьбы. Лучше было бы устроиться инспектором Главсахартреста, но и место «специалиста по селекции свеклы» на дороге не валяется, спасибо и за это.

Не могу удержаться от соблазна вставить в этот текст целиком один небольшой рассказ любимого мною Михаила Зощенко. Предосудительность таких больших цитат я понимаю, но случай, описанный Зощенко в 1924 году, очень здесь к месту, да и рассказик сам по себе забавный.

Крестьянский самородок

Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется — Овчинников[89]. А имя у него было простое — Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или в газетку.

— Хотя бы одну штуковину напечатали, — говорил Иван Филиппович. — Охота посмотреть, как это глядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

научно-педагогических работников Саратова в 1920-е годы. // Известия Саратовского университета, 2012, Т. 12, Сер. История, вып. 2, 119-122)

«Заведующий областной опытной станцией получал в 1923 г. 56,8, специалисты – 10-15, а рабочие – 3,0-3,5 рублей в месяц, тогда как в 1913 г. – 250-300, 125-150 и 12-15 рублей соответственно». (Глазко В.И., Чешко В.Ф. Август – 48. Уроки прошлого. (Научное киллерство, к истории советской генетики, к феномену распада СССР). М.: РГАУ–МСХА, 2009).

[88] Федорович В. Поля зимой // Правда, 1927, № 178 (7 августа 1927 года)

[89] Если Зощенко не ошибся насчет фамилии «самородка», то не исключено, что один из его потомков пишет теперь о «гении Т.Д,Лысенко».

— К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, с издетства. С издетства чувствую красоту и природу… Бывало, другие ребята хохочуть, или рыбку удють, или в пятачок играють, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю… Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка… Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

— С рифмами я стихотворения не пишу, — признавался Иван Филиппович. — Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно — один черт, что с рифмой, что без рифмы. Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил — не брали…

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

— Ну как? Не берут?

— Не берут, Иван Филиппович.

— Чего ж они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пущай не сомневаются — чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были — все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало даже смех вокруг стоит — «да чего вы, говорят, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других…» «Нету, говорим, знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пущай не сомневаются…

— Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

— Ну, это уж они тово, — возмущался Иван Филиппович. — Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись… Как это не созвучные, раз я с издетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка… За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пущай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пущай хотя одну штуковину возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.

Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И, наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.

— Ага, — сказал я, — поэмку принесли?

— Поэмку принес, — добродушно подтверждал Иван Филиппович, — очень сильная поэмка вышла… Два дня писал… Как прорвало. Удержу нет…

— С чего бы это?

— Да уж и не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье…

— Вдохновенье! — сказал я. — Стишки пишешь… Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы…

Иван Филиппович оживился и просиял:

— Дайте, — сказал он. — Если есть, то дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти…

— То есть как? — удивился я. — А поэзия?

— Какая поэзия, — сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. — Жрать надо… Поэзия!.. Не токо поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти… Поэзия…

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики — поэт от станка.

Да что я — биржа труда, что ли?

Если в действительности было нечто подобное, то надо отдать должное новоиспеченному специалисту – он упорно старается стать успешным ученым: не только продолжает учиться на агронома, но и ставит какие-то (пусть самые примитивные) опыты, оформляет их результаты в виде печатных работ. Его селекционное начальство было, вероятно, им довольно: парень не блещет способностями и эрудицией, но трудолюбив, старателен, со временем, пожалуй, чему-нибудь и научится, а главное, ставки заполнены (уж кем есть, выбирать-то ведь тоже не из кого), *научный поиск* идет – есть что написать в отчете. А то, что науки в этих «исследованиях»

нуль, равно как и практической пользы от них, этого в отчете не видно; да никого это и не интересует, по большому счету.

В 1925 году, после окончания сельхозинститута, Лысенко покидает Украину (по личным мотивам, как пишет Сойфер со слов И.Е.Глущенко) и уезжает в Азербайджан в город Ганджа, где устраивается на работу младшим специалистом по селекции Азербайджанской Центральной опытной селекционной станции имени товарища Орджоникидзе. Это важнейший момент во всей рассматриваемой нами постановке, недаром в книге В.Сойфера здесь появляется Судьба (с большой буквы). Действительно, именно здесь в момент приезда Лысенко должны зазвучать ее фанфары – спектакль начинается. Правда, основное действие пока что медлит и не развертывается сразу же с поднятием занавеса: ему предшествует небольшой пролог, в котором протагонисты еще продолжают делать каждый свое дело, не подозревая о том, что их судьбы уже переплелись. Однако два других единства – времени и места: Ганджа, 1925 год – уже налицо.

В 1925 году специальным решением правительства был организован Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур (позднее переименованный во Всесоюзный институт растениеводства, ВИР), директором которого был назначен Н.И.Вавилов. Располагавшемуся в Ленинграде ВИРу были подчинены многие опытные станции, ставшие его экспериментальными площадками на местах – в их число попала и Ганджийская станция. Таким образом, устраиваясь на работу, Лысенко попал в сферу влияния Вавилова и стал одним из многочисленных сотрудников, в конечном итоге, ему подчиненных. Вероятно, само по себе это совпадение не оказало никакого влияния на последующее развитие событий. Вавилов был слишком большим начальником, чтобы непосредственно контактировать с младшим специалистом по селекции, хотя, возможно, и встречал его во время своих поездок в Ганджу. Однако такое пересечение судеб Вавилова, прилагающего энергичные усилия, чтобы создать сеть агрономических и исследовательских учреждений по всей стране, и Лысенко, старательно осваивающего сложную профессию агронома-исследователя, выглядит очень символично – два главных героя, еще не ведающие, какую роль им предстоит сыграть в создании – еще даже в проекте не существующей – «мичуринской биологии» и в формировании советской интеллигенции в целом, встречаются на небольшом участке земли, на котором пока что разыгрывается вступление к будущей драме. Ничто еще не предрешено. Третий главный герой еще не обратил свой капризный взор на это мельтешение ничтожных людишек, копающихся в своих пустяковых проблемах. Ему пока что не до того – он еще не тот Сталин, который появится на сцене в этом спектакле. И только мы, зрители, знающие, каким будет финал, и терпеливо ожидающие событий, из которых с неумолимой логичностью проистекают все последующие перипетии сюжета, можем восхититься изобретательностью Судьбы, с какой она выводит на сцену главных героев пьесы.

Обратим внимание на эту идиллическую картинку: будущие антагонисты появляются перед зрителями (их, правда, еще, можно сказать, и нет) не как непримиримые противники, а скорее как соратники в общем деле, их цели не вступают ни в какое противоречие друг с другом, напротив, они скоординированы и хорошо увязаны между собой: Вавилов, сумевший добиться весомой поддержки от этих захвативших власть людоедов, строит грандиозные планы развития отечественной биологии, а Лысенко твердо настроен участвовать в выполнении этих планов и тем самым честно заработать свой кусочек хлеба с маслом. Власть, олицетворением которой потом выступит Сталин, благодушно взирает на эти интеллигентские игры: ну-ну, резвитесь, детишки; чем бы дитя не тешилось! – и даже обещает отстегнуть некую толику своих ресурсов, еще немного прижав каких-нибудь неинтересных ей подвластных. Никакой коллизии из этого не высосешь. Тишь да благодать. При этом уровни, на которых обретаются в этот момент три означенные фигуры, настолько различны, что трудно представить себе сюжетную интригу, вовлекающую их в трагический конфликт. Вавилов, по-видимому, до 1927 года и не знает о существовании Лысенко, во всяком случае, у него нет причин каким-то образом выделять нескладного и корявого «младшего специалиста» из

общей массы подчиненных. Тот ничем не может его поразить или заинтересовать. Разве что своей дремучей малограмотностью. Но и это вряд ли – не один же он был такой среди вавиловских подчиненных. Со своей стороны, Сталин был столь же далек от Вавилова, как Вавилов от Лысенко. Для директора ВИРа партийный генсек, конечно, тоже был своего рода начальником, но предположить, что этот высокопоставленный большевистский вождь может обратить свое внимание на Вавилова лично и на его агробиологические штудии, не было ни малейших оснований.

Однако мы-то знаем, что всё это тем не менее произошло, и конфликт запылал, захватывая в свой круг все больше и больше людей, и, в конце концов, в него оказались втянутыми даже некоторые из тех, кто никогда в жизни не слышал имени Мичурина и с трудом представлял себе, что это за страна – эта самая *Russia*.

Вавилов Николай Иванович – «загубленный гений». Облик второго персонажа этой истории почти во всех отношениях прямо противоположен злодею Лысенко. Яркий, живой, обаятельный и легко привлекавший к себе людей, с юных лет выделявшийся научными способностями и полностью захваченный страстью к науке, старший из прославленных братьев Вавиловых получил прекрасное и разностороннее образование, знал несколько языков и свободно общался со своими многочисленными корреспондентами из разных стран, обладал громадной эрудицией и пользовался широкой и заслуженной известностью не только среди отечественных ботаников и селекционеров, но и во всем мире. По-своему, его фигура так же эмблематична как и мрачный силуэт противостоящего ему Лысенко. Как это не удивительно, но совпадение нескольких наложившихся друг на друга капризов истории создало такое сочетание противоборствующих характеров, какое, вероятно, даже творцы французского классицизма себе не позволяли. Достаточно представить, что речь идет не о реальной жизненной коллизии, а о написанной драматургом пьесе, в которой действуют такие герои: с одной стороны, благородный рыцарь науки без страха и упрека, а с другой – бездарный, беспринципный, не стесняющийся в средствах интриган и прохвост, и мы сразу же должны будем квалифицировать сей опус как дешевую мелодраму, рассчитанную на неискушенного, склонного к слезливой сентиментальности зрителя. Ни о каких *реалистических тенденциях* говорить здесь, казалось бы, не приходится: свет и тьма здесь настолько стянуты к своим полюсам, что противостояние таких героев на сцене должно убить жизненную достоверность пьесы для зрителей, приученных к более тонким психологическим градациям добра и зла. И тем не менее реальная жизнь, нечувствительная, в отличие от профессиональных драматургов, к диктату эстетических категорий, разыграла на своей сцене именно такую драму, не потерявшую при этом, как ни странно, своей художественной убедительности и реалистичности.

Пожалуй, единственное, в чем сходны два описываемых героя, это их происхождение из крепостных крестьян. Дед Вавилова, как и дед Лысенко были неграмотными крестьянами, и оба наших героя – интеллигенты в первом поколении. Однако расхождение и поляризация их социальных положений произошла уже в предыдущем, по отношению к нашим героям поколении. Если отец Лысенко оставался на положении крестьянина в своей родной Карловке до той поры, пока его не перетащил оттуда в Горки Ленинские возвысившийся Лысенко, то отец Вавилова десятилетним был послан из своей деревни в Москву учиться на певчего, но при этом служил мальчиком в купеческой лавке. Здесь Иван Ильич Вавилов благодаря своей природной сметливости и кипучей энергии быстро сделал коммерческую карьеру, так что к 1890 году (сыну Николаю было тогда три года) он был уже купцом 2-ой гильдии и вскоре ворочал миллионами рублей. Это был русский вариант *self-made man*'а – талантливый человек, который несмотря на формальное отсутствие даже начального образования, много читал,

писал, активно участвовал в работе Московской городской думы (куда дважды избирался в 1908 и 1912 годах) и, по словам его сына Сергея, «несомненно, был интеллигентным человеком»[90]. Все его четверо детей, доживших до взрослых лет (две сестры и два брата), получили высшее образование, а двое из них, Николай и Сергей, стали всемирно известными учеными. Чтобы не возвращаться больше к судьбе этого неординарного человека, выведшего своих сыновей на орбиту высокой науки, скажем сразу, что, после того как его торговое предприятие было большевиками национализировано, он в 1918 году эмигрировал в Болгарию (вся семья при этом осталась в России) и, не добившись там значительных коммерческих успехов[91], возвратился на родину лишь после долгих уговоров в 1928 году. Возвратился, чтобы быть похороненным на родной земле – он был тяжело болен и умер вскоре после приезда.

Таким образом, несмотря на общность крестьянского происхождения, исходные стартовые жизненные позиции двух главных персонажей также оказываются почти полярно противоположными. С одной стороны, мальчик, не знавший азбуки до тринадцати лет, махавший на поле сапкой и выносивший помои свиньям, с другой – сын миллионера, учившийся в первоклассном по рангу Московском коммерческом училище (добившийся незаурядного успеха в торговле отец, естественно, видел в сыновьях продолжателей своего процветающего дела) и не имевший в детстве других забот, кроме тех, что были связаны с получением основательного образования[92].

Увлекшись естествознанием, и в первую очередь, биологией, Вавилов после окончания училища поступает в Московский сельскохозяйственный институт (базировавшийся в селе Петровском-Разумовском, и потому более известный под именем Петровской академии – в будущем она будет называться Тимирязевской академией). Отец пытался убедить его в предпочтительности коммерческой карьеры, но не стал противиться твердо выраженному желанию сына.

Можно не сомневаться, что ко времени поступления в институт Вавилов уже знал, чем он собирается заниматься в будущем – только наукой. Он еще не знал точно, с какой именно наукой он свяжет свою судьбу, но он твердо решил, что станет ученым, исследователем, естествоиспытателем. Об этом говорят все его дальнейшие шаги. С первого курса он демонстрирует неуклонное стремление к своей цели и одну за другой осваивает основные

---

[90] И еще об отце: «Отец всегда был кем-то в отдалении. Уже с ранних лет я понял, что он много читал, пробовал писать стихи, у него была, несомненно, довольно сложная внутренняя жизнь. О ней я знал, однако, очень мало». (Вавилов С. И. Начало автобиографии // Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания. М. : Наука, 1991, с. 97 и 104)

[91] Как ни скромны были успехи И.И.Вавилова за границей, по уровню личного потребления он, вероятно, не слишком отставал от своих преуспевших в СССР детей. А.Н.Ипатьев, сын старшей дочери И.И.Вавилова, пишет: «Летом 1927 г. дедушка приехал в Ленинград и там заболел, возможно, он заболел дорогой. Дела его, видимо, были плохи, так как почти все близкие ему взрослые поехали в Ленинград (мама, Сергей Иванович и бабушка). Николай Иванович был в то время в Ленинграде. Дней через десять они вернулись с фотографиями похорон дедушки и его вещами, из которых мне достались костюм, серая шляпа и галстук. Это был мой первый европейский костюм, которым я весьма гордился, хотя висел он на мне мешком». (Ипатьев А.Н. Страницы воспоминаний // Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 1987, с.103-104)

[92] «В годы учебы в коммерческом училище Николай Вавилов не довольствовался одними лишь уроками, а пытался самостоятельно ставить некоторые опыты по химии, физике в самодельной домашней лаборатории. Нередко предпринимались также экскурсии за город, сопровождавшиеся сбором гербария и других интересных экспонатов.

…в детской половине дома Вавиловых бросалось в глаза обилие книг. Были здесь и гербарные сетки с засушенными растениями, многочисленные образцы семян самого разнообразного происхождения, лупы, микроскоп, готовые препараты к нему, географические карты. Старинные и современные издания на русском, французском, немецком, английском, итальянском, испанском и других языках. …Любовь к книге, возникшая у Н.И.Вавилова с ранних лет, не только сохранилась, но и еще более выросла и окрепла в дальнейшем». (Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. 1887 – 1943. Новосибирск: Наука, 1987, с. 28-29)

преподаваемые в академии дисциплины. Многие знавшие Николая Ивановича, вспоминая о нем, указывают на бросавшуюся в глаза черту его характера, на его, можно сказать, физиологическую особенность: неиссякаемую энергию и исключительную работоспособность. В сочетании с его собранностью, деловитостью и целеустремленностью это было основой его профессиональных успехов: он смолоду сам ставил себе цели и упорно, безостановочно их добивался.

Ранние этапы научной карьеры Н.И.Вавилова довольно подробно прослежены в его биографии, написанной Ф.Бахтеевым[93]. Отсюда мы можем узнать, что за годы, проведенные в Петровской академии, Вавилов успел опубликовать несколько научных работ, сделанных им по разным темам, на разных кафедрах и у разных руководителей, и, по рекомендации крупного ученого профессора Д.Н.Прянишникова, был после окончания института и получения диплома агронома первого разряда (в 1911 году) оставлен для подготовки к профессорскому званию при кафедре частного земледелия, которой руководил Прянишников. В качестве практиканта Николай Вавилов работает на Селекционной станции, бывшей научным подразделением МСХИ и руководимой Д.Л.Рудзинским, где начинает свои исследования по иммунитету у растений – теме, к которой он не раз затем возвращался и продолжал заниматься в течение многих лет. Параллельно с этим будущий профессор в 1912 году был обязан вести практикум по прикладной ботанике со студентками Голицынских женских курсов и уже по собственной инициативе в 1911 году устроился стажером в Бюро по прикладной ботанике под руководством Р.А.Регеля и А.А.Ячевского – видных специалистов по зерновым культурам. Как пишет Бахтеев, «с целью дальнейшего усовершенствования и подготовки к научно-исследовательской деятельности Н.И.Вавилов в 1913 году командируется на два года в зарубежные страны». Планировалось посещение ведущих научных учреждений в Англии, Франции, Германии и США, но начавшаяся мировая война вынудила резко сократить эти планы. Почти год молодой ученый провел в Садоводческом институте им. Джона Иннеса, которым руководил один из основателей современной генетики Вильям Бетсон. Впоследствии он сам охарактеризовал принимавший его институт как «Мекку и Медину генетиков всего мира». Он писал в статье, посвященной В.Бетсону: «…Когда нижеподписавшемуся пришлось выбирать страну для научной командировки в целях изучения вопросов генетики и селекции, не было колебаний: наиболее оригинальную школу, приковывавшую внимание всего мира, в то время представлял Институт Бетсона»[94]. Затем Вавилов побывал в знаменитой семеноводческой фирме Вильморена в Париже и отправился в Йену в лабораторию знаменитого Эрнста Геккеля, где приступил к знакомству с экспериментальными исследованиями проблем эволюции. Однако на этом командировка и закончилась, работу пришлось прервать и экстренно выезжать в Россию.

После возвращения в МСХИ осенью 1914 года Николай Иванович, имея уже репутацию состоявшегося, опытного ученого, сдает магистерский экзамен и представляет в качестве диссертации научную работу «История цветка в растительном царстве», защита которой состоялась в 1915 году[95]. Он продолжает работу на Селекционной станции, занимается генетикой и иммунитетом различных разновидностей пшеницы и в связи с этим предпринимает несколько поездок в Закаспийскую область, где он собирает и изучает семена местных сортов пшениц. Его очень интересует персидская пшеница – особый вид, обладающий исключительно стойким иммунитетом к поражению мучнистой росой, - и ему очень хотелось бы попасть в Персию, чтобы иметь возможность на месте изучить обстоятельства происхождения этого вида. И неожиданно судьба дарит ему такую возможность: в 1916 году Министерство земледелия командирует его в Северный Иран, чтобы прояснить причины

---

[93] Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. 1887 – 1943. Новосибирск: Наука, 1987

[94] Вавилов Н. Вильям Бетсон (William Bateson). 1861 – 1926 гг. Памяти учителя. [Некролог] // Труды по прикладной ботанике и селекции, 1925[1926], т. 15, вып. 5, с. 499-511 (Цит. по Бахтеев Ф., указ. соч., с. 47)

[95] Степень магистра, существовавшую в России до 1 октября 1918 года, можно в первом приближении считать равной степени кандидата наук в советские времена.

массовых отравлений в частях российской армии, оккупировавших в то время значительные территории Персии. Вавилову удается установить, что заболевание вызывается употреблением хлеба, испеченного из зерна, урожай которого был собран в Северном Иране и который был сильно заражен паразитическим грибком и сорняком с ядовитыми свойствами. Задача, поставленная министерством, была выполнена, но Вавилов пользуется благоприятным случаем и продолжает экспедицию, собирая образцы семян пшеницы и других зерновых культур в различных областях Ирана, а затем, когда возможности этого были исчерпаны, продолжает свои изыскания на территории Российской империи – в Туркмении и на Памире. Эта экспедиция Н.И.Вавилова была первой в ряду его научных путешествий, охвативших почти весь мир и ставших одним из главных направлений его научной деятельности. Результатами таких экспедиций – часто очень трудных и опасных – стали собранная Вавиловым и его сотрудниками уникальная гигантская коллекция семян и сформулированная им теория о географических центрах происхождения культурных растений.

Летом 1917 года Вавилову, как уже признанному сообществом серьезному ученому, предлагают занять место профессора. И даже сразу два: в Воронеже и в Саратове. Он выбирает Саратов и, переехав туда к началу учебного года, начинает активную научную и педагогическую деятельность, которая бурно развивается и, можно сказать, процветает, несмотря на войну, революцию, разруху и прочие прелести тогдашнего быта. Здесь из вавиловских студентов формируется первое поколение его учеников и соратников, многие из которых остались ему верными до самого конца. За три года профессорства в Саратове Вавилов успел сделать очень много, и именно здесь зародился и приобрел отчетливую форму «закон гомологических рядов» – наиболее известное и яркое научное достижение Н.И.Вавилова. За эти годы его положение в агрономической науке того времени заметно выросло, он становится одним из наиболее популярных и авторитетных лиц в своем научном сообществе, и его приглашение в Петроград в 1920 году на место заведующего Отделом прикладной ботаники и селекции[96] можно считать очевидным признанием его места в науке.

Переезд Вавилова в Петроград состоялся весной 1921 года. До этого он продолжал преподавать и работать в Саратове, но перевез в Петроград часть свой саратовской команды и неутомимо бился за создание материальной базы Отдела и возрождение его работоспособности: «выбивал» помещения для работы (и выбил большое трехэтажное здание на Исакиевской площади), экспериментальную базу (получил прекрасный участок для опытного хозяйства в Царском селе), жилье, ставки и пайки для сотрудников и т.д. Судя по результатам, ему удалось установить тесное и эффективное сотрудничество с советскими учреждениями, от которых зависела судьба Отдела. Власть ему, явно, покровительствовала, так как одними организационными и дипломатическими талантами (которыми Вавилов, безусловно, обладал в высшей степени) эти результаты не объяснишь. Во власти Вавилов становится своим человеком и активно использует это положение, чтобы делать дело – строить новую российскую агрономию на современных научных основаниях.

С 1920 по 1925 год – год, в котором судьба скрестила пути Вавилова и Лысенко, – в жизни Николая Ивановича произошло очень многое, что приходится обозначить лишь пунктиром, так как более или менее подробное описание его дел и свершений потребовало бы многотомного

---

[96] Р.Э.Регель, который занимал эту должность и под руководством которого когда-то работал молодой стажер Вавилов, умер в январе 1920 года. В некрологе ученому, послужившему предисловием к вышедшей в 1922 году книге Регеля, Вавилов написал пророческую фразу, которая могла бы быть эпиграфом ко всей будущей истории отечественной биологии: «Ряды русских ученых редеют день за днем, и жутко становится за судьбу отечественной науки, ибо много званых, но мало избранных» (Вавилов Н.И. Р.Э.Регель. 1867 – 1920. [Некролог] // Регель Э.Р. Хлеба в России. Пг., 1922, с. 6; цит. по Бахтеев Ф., указ. соч., с. 67). Но, высказав это, Николай Иванович действовал вопреки своему предвидению, можно сказать, противостоял обозначенной им мрачной тенденции и тем самым, как ни странно, ускорял осуществление своего пророчества.

труда[97]. Здесь надо упомянуть и доклад на III Всероссийском съезде по селекции и семеноводству, где впервые публично был изложен закон гомологических рядов[98], и командировку в 1921 году в США в составе делегации для закупки семенного материала (в этой поездке Вавилову удалось познакомиться с Л.Бербанком в его знаменитом саду-питомнике, посетить лабораторию Т.Моргана – это был, воистину, передний край генетики тех лет, а также выступить с расширенным английским вариантом доклада о гомологических рядах на Международном съезде по болезням хлебных злаков, что привлекло к нему внимание не только ученых, но и широкой публики, узнавшей об этом событии из газет. В эти же годы неутомимый ученый осуществил свое давнее желание – совершил длительную, опасную, сопряженную с многими препятствиями и предпринимаемыми для их обхождения хитростями и дипломатическими уловками, но исключительно плодотворную экспедицию в Афганистан, куда Вавилов со своими спутниками въехал в составе дипломатической советской миссии (только так он смог проникнуть в эту закрытую для чужаков страну)[99]. Параллельно с этими путешествиями и организационными хлопотами он не прекращает своих экспериментов и исследований, пишет и публикует несколько солидных научных трудов, руководит работой нескольких десятков сотрудников[100]. В 1923 году Н.И.Вавилов был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, и это было лишь естественным следствием

---

[97] Тем более, что значительная часть этих томов уже написана теми, из чьих книг и статей я и черпаю даты, факты и выводы, необходимые для лежащей перед читателем работы. О жизни и деятельности Н.И.Вавилова существует уже приличная библиотечка. Вот несколько книг с ее полок: Грумм-Гржимайло А.Г. В поисках растительных ресурсов мира. Некоторые научные итоги путешествий академика Н.И.Вавилова. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1962; Николай Иванович Вавилов. М.: Издательство АН СССР, 1962; Резник С. Николай Вавилов. М.: Молодая гвардия, 1968; Поповский М. Надо спешить. Путешествия академика Н.И.Вавилова. М.: Детская литература, 1968; Рядом с Н.И.Вавиловым. Сборник воспоминаний. М.: Советская Россия, 1973; Резник С. Дорога на эшафот. Париж – Нью-Йорк: Третья волна, 1983; Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 1987; Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. 1887 – 1943. Новосибирск: Наука, 1987; Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов. М.: Агропромиздат, 1987; Бальдыш Г.Н. Николай Вавилов в Петербурге – Петрограде – Ленинграде. Л.: Лениздат, 1987; Поповский М.А. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1991; Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И.Вавилове. Киев: Наукова думка, 1991; Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. Биографический очерк. Документы. М.: Academia, 1999; Николай Иванович Вавилов и страницы истории советской генетики. М.: ИОГен РАН, 2000; Шайкин В. Николай Вавилов. М.: Молодая гвардия, 2006; Мирзоян Э.Н. Николай Иванович Вавилов и его учение. М.: Наука, 2007; Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. Книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых. М.: ФИАН, 2008; Николай Иванович Вавилов: в контексте эпохи. М. – Ижевск, 2012; Резник С.Е. Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время. М.: Захаров, 2017.

[98] Доклад назывался «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» и стал триумфом 33-летнего ученого. Вот как пишет об этом – на основании свидетельств участников съезда – В.Шайкин в своей биографической книге: «Вавилов закончил говорить – в зале было тихо первые пять секунд. И вдруг гром оваций! Восторженный голос профессора В.Р.Заленского перекрыл все аплодисменты:

– Наш съезд стал историческим – это биологи приветствуют своего Менделеева!

А Николай Максимович Тулайков, человек на похвалы очень сдержанный, сказал позднее так: – Что можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно: не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович» (Шайкин В. Николай Вавилов. М.: Молодая гвардия, 2006, с. 66).

[99] Экспедиция продолжалась полгода и за ее осуществление Вавилов был награжден Русским географическим обществом золотой медалью имени Н.М.Пржевальского «За географический подвиг». Позже он совместно со своим спутником по афганскому путешествию Д.Букиничем опубликовал книгу, в которой они описали свои ботанические находки (Вавилов Н.И., Букинич Д.Д. Земледельческий Афганистан. Л.: Изд-во ВИПБ при СНК СССР, 1929; переиздание: Вавилов Н.И. Избранные труды. В пяти томах. Т. 1. Земледельческий Афганистан. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959).

[100] «К сожалению, за массой административных работ, поездок в Москву, финансовых и правленческих дел мало приходится работать самому и не успеваешь делать и десятой доли того, что нужно. Но кое-что удается». (Вавилов Н.И. Письмо Д.Л.Рудзинскому от 23 февраля 1923 года // В кн. Бечюс К.М., Марков Х.Н. Пионер селекции. Вильнюс: Минтис, 1966, с. 57-59. Цит. по Бахтеев Ф., указ. соч., с. 87)

занятого им положения в науке. Как уже было упомянуто, в 1925 году решением советского правительства на базе существующего Отдела прикладной ботаники создается Институт прикладной ботаники и новых культур (в 1930 году он будет переименован во Всесоюзный институт растениеводства – ВИР, и мы так и будем его называть) и директором его назначается Н.И.Вавилов. ВИР создается как головное научное учреждение агрономического профиля в стране и как основа запланированной на будущее академии сельскохозяйственных наук, ему в подчинение отдается значительная часть опытных агрономических станций, расположенных по всей стране, и других подобных учреждений. Таким образом, директор ВИРа – Вавилов становится фактическим главой всей советской агрономической науки.

И на этом я хотел бы поставить точку в последовательном изложении биографии этого нашего героя. Он успел сделать еще очень много, во многом участвовал, ко многому приложил руку, успел объехать полмира, собирая свою знаменитую коллекцию, написал еще несколько книжек, боролся и искал, отбивался и не сдавался. Обо всем этом можно прочитать в разных хороших книгах, но дальнейшее изложение всех перипетий его жизни мало что может добавить к его уже вполне сложившемуся облику. Для наших целей это было бы излишним. Фигура персонажа, противостоящего упырю Лысенко, в общих чертах обрисована, и он может выступить на сцену того спектакля, о котором здесь идет речь.

Я сознательно оставил за скобками вопрос о научных заслугах Н.И.Вавилова. Действительно ли он *великий* ученый, один из основоположников современной генетики, или же правильнее было бы говорить лишь о *выдающемся* представителе отечественной генетической школы? Я не думаю, что мне и большинству моих потенциальных читателей есть смысл ломать над этим голову. Наш уровень знаний в этой области не дает никаких оснований полагать, что мы здесь способны к самостоятельным и реалистичным оценкам. И потому, вероятно, разумнее будет положиться на оценки специалистов, причисливших Вавилова к когорте *великих* биологов, и считать, что издатели очень авторитетного международного научного журнала *Heredity* («Наследственность»), поместившие имя Н.И.Вавилова на свою обложку – в одном ряду с Дарвином, Менделем и другими биологами этого разряда, – знали, каковы его истинные заслуги перед генетикой. Нам для наших рассуждений этого вполне достаточно.

И еще один вопрос, который мне пришлось обойти в своем представлении героев-протагонистов сей мрачной пьесы. Как мне ни жаль, но мне нечего сказать об отношении Вавилова к «советской власти», то есть к тому большевистскому режиму, который захватил власть в стране и от многочисленных и разнообразных представителей которого прямо и непосредственно зависел не только сам Н.И.Вавилов со всеми его научными проектами, экспедициями, опытными делянками, публикациями и прочими интеллигентскими занятиями, но и все его родные, друзья, сотрудники, студенты и случайные знакомые. Конечно, жизнь, благополучие и исполнение жизненных планов каждого зависели от многих условий, но важнейшим вопросом, от которого зависела судьба любого из советских граждан и исход любого дела, был вопрос: что там решат? – в Кремле, в Смольном, в райкоме, в любой конторе, встроенной в этот режим и ставшей его частью. Всякий, кто жил в то время, волей-неволей должен был как-то реагировать на происходящее, испытывать какие-то чувства, вставать в какое-то отношение к происходящим бурным событиям, как-то их оценивать и строить свою жизнь в соответствии с этими оценками. Это можно сказать о всяком.

О любом – но не о Вавилове, если полагаться на его биографии, воспоминания друзей и сослуживцев, да и на все, доступные мне материалы о его жизни. Практически никаких сведений о политических симпатиях и антипатиях Вавилова, о его внутреннем отношении к власти и ее агентам, о его простейших «обывательских» реакциях на происходящее в стране я найти не смог. Ясно, что такое полное неведение абсолютно неправдоподобно и может быть только искусственно созданным. Даже понятно, как оно возникло: при жизни Вавилова (в советские годы) рассуждать об этом было слишком опасно. И сам он в своих разговорах и письмах, и близкие к нему люди в своих высказываниях о нем старались не выходить за рамки тех суждений и оценок, которые в данный момент предписывались властью и транслировались

пропагандой, а еще лучше – вовсе не касаться этих смертельно опасных тем. Когда же Вавилова уже не было в живых, старания всех вавиловских доброжелателей, включая биографов и людей, писавших воспоминания, были направлены на то, чтобы не повредить восстановлению доброго имени оклеветанного ученого и не дать лишнего козыря его многочисленным врагам, которые ставили палки в колеса любому благожелательному упоминанию о Вавилове и рады были бы сообщить тупым и злобным сидящим во власти бюрократам, каким «несоветским» человеком был этот тип, притворявшийся поборником советских порядков, но вовремя разоблаченный доблестными органами. Так что всё это замалчивание «неудобных» фактов и причесывание Вавилова под отличника боевой и политической подготовки по существовавшему канону вызывалось самыми добрыми намерениями, и трудно поставить это кому-то в вину, но нам, пытающимся сегодня понять ход мыслей ученого и разобраться в мотивах его поступков и решений, от этого не легче.

Как бы ни был Н.И.Вавилов аполитичен по натуре и как бы он ни дистанцировался от существовавших в его окружении политических течений[101], всё же он что-то думал, чего-то пугался, на что-то смотрел с надеждой. Он вовсе не плыл по течению, у него был какой-то выбранным им самим курс – пусть запутанный и извилистый, пусть рискованный, пусть даже иллюзорный и заведший его в тупик, но это был путь, на который он вступил самостоятельно и который он корректировал, исходя из собственных оценок ситуации. И для целей нашего доморощенного исследования крайне желательно было бы представлять – хотя бы в общих чертах – мотивы и резоны, которые подтолкнули его двигаться в этом направлении и руководили его действиями в дальнейшем.

Наверное, в старых газетах, в государственных и домашних архивах можно, тщательно порывшись, отыскать хоть какие-то минимальные обрывки информации, способные до определенной степени прояснить интересующий нас вопрос. Но мне, ни в какие архивы не вхожему (да и вряд ли я сумел бы что-то в них найти, даже если бы туда попал) и обреченному питаться лишь теми крохами печатной продукции, которые удается найти в интернете, приходится остановиться перед этой неразрешимой для меня проблемой и поставить точку. А в дальнейшем изложении, если это будет необходимо, полагаться в этой области больше на правдоподобные предположения, нежели на факты, зафиксированные в каких-то более или менее достоверных документах.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович – «чудесный грузин», по меткой характеристике Ленина. Основные вехи его биографии и его морально-психологический облик читателям более или менее известны, и мы не будем тратить на них лишних строк – да они и не будут играть существенной роли в этой истории.

Однако попал он в этот список не на правах всемогущего властелина, управляющего всеми без исключения процессами в жизни СССР[102], и не в качестве *корифея всех наук*, способного

---

[101] Если основываться на содержании дела, заведенного на Н.И.Вавилова и опубликованного в книге «Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД» (М., 1999), то можно констатировать, что ученый ни в каких политических партиях не состоял и ни с какими активными политическими деятелями, противостоящими большевикам, в близких отношениях не был. Дотошные следователи не оставили бы такие факты без внимания, если бы им было за что зацепиться.

[102] Именно так обычно рисуется роль Сталина в жизни советской страны: добившийся абсолютной власти, аморальный, жестокий, часто капризный и мстительный восточный владыка, нисколько не жалевший своих подданных и хладнокровно жертвовавший миллионами граждан-рабов ради

указать направления развития любой научной отрасли – вовсе нет. Эти парадные звания и большая реальная власть, которой он обладал, не мешали ему, конечно, и при постановке заинтересовавшего нас спектакля. Но включение его в число трех главных персонажей, участвующих в этом представлении, которое в течение многих лет разыгрывалось на глазах у потрясенной публики и завершилось ошеломительным финалом, привлекшим внимание всего мира, имеет более конкретную и вескую причину. Сталин был непосредственным режиссером-постановщиком этой – далеко не оптимистической – трагедии советской биологии и многократно лично встревал в происходящее на сцене, определяя чуть ли не отдельные реплики персонажей, стиль декораций и мельчайшие сюжетные перипетии. Трудно понять, что могло привлечь столь могущественную фигуру к личному вмешательству в область деятельности, казалось бы, совершенно не соответствующую обычным масштабам его забот, почему он не отдал ее на откуп кому-нибудь из своих второстепенных клевретов, как это происходило со множеством других отраслей. Невольно напрашивается предположение, что, создавая условия для самозарождения – буквально, из кучи гниющих отбросов – специфической «советской биологии» и раздувания ее до гомерических размеров, большевистский пахан просто развлекался, получая от постановки этого уморительного (во всех смыслах) фарса чисто эстетическое удовольствие.

Нелегка и опасна жизнь советского вождя, однако и в ней есть минуты отдохновения – в такую минуту можно забыть о свирепой борьбе и хитроумных комбинациях *ради жизни на земле* (своей, конечно, жизни, а чьей же еще), слегка расслабиться и доставить себе простенькое удовольствие: посмотреть хорошую комедию, или заставить Хрущева сплясать гопака (какое, однако, самообладание у этого змея! никогда ни на йоту не выходит из своей роли простоватого малограмотного хохла), или осуществить постановку остроумной пьески, чей сюжет в общих чертах уже сложился в сознании автора, – никаких реальных гонораров от нее ожидать нельзя, но, если всё разыграть, как задумано, это будет образец чистого искусства – *искусства для искусства* – искусства большевистской тактики. Так-то, господа Алексеевы-Станиславские, Немировичи-Данченки, Таировы-Мейерхольды и прочие Гордоны-Крэги! Что бы вы о себе не думали, не вы – истинные режиссеры-новаторы нашего времени[103].

Естественно, всё это – лишь досужие выдумки (на мой взгляд, относительно правдоподобные, а на взгляд читателя, возможно, – безвкусные и далекие от реальности), но нас не будет волновать истинность предположения о данном спектакле, как о художественном капризе советского вождя, нас будут интересовать только режиссерские приемы, примененные властью при формировании советской [2]интеллигенции. И с этой точки зрения,

---

выполнения своих грандиозных планов, нацеленных на завоевание всего мира. Такое представление об этой исторической фигуре, свойственное, как истекающим восторженными слюнями нынешним поклонникам *вождя*, так и непримиримым противникам Сталина и сталинщины, хорошо сочетается с обликом Сталина как *хозяина*, который, поставив перед своими бесчисленными слугами задачи, строго следит неусыпным оком за их безукоризненным выполнением, старается вникнуть во все детали, принимает чуть ли не ежедневные отчеты и рапорты с важнейших участков проекта, советуется со специалистами, оперативно поправляет допущенные ошибки и, добиваясь своих целей, жестоко карает нерадивых и несправившихся и щедро по-царски награждает тех, кто достиг желаемых им результатов.

Нельзя сказать, что все описания Сталина и его политики исчерпываются подобным представлением о нем, но вряд ли можно оспаривать факт, что данный взгляд, сформировавшись еще при жизни самого Сталина и не без его руководящего участия, продолжает доминировать в общественном сознании на протяжении десятилетий и практически отрезает все пути для понимания сути происходивших процессов. В своем дальнейшем изложении я постараюсь хотя бы немного расшатать уверенность читателей в истинности такого представления о Сталине, в частности, и о большевистской политике, в целом.

[103] «Меня уже поразили демонстрация и театральность общественной жизни в революционной России (большевики оказались мастерами режиссуры)…» (Балабанова А. Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897 – 1938. М.: Центрполиграф, 2007, с. 230)

мы имеем дело с несомненным фактом – в отношении советской биологии Сталин был непосредственным режиссером данного процесса.

Пролог

Итак, занавес поднимается. На сцене небольшое поле, засеянное викой, люцерной или еще какой-то неизвестной нам кормовой травой, а, скорее всего, знакомым нам горохом. В небольшом отдалении – сакля (татарско-кавказский домик), описать ее внешний вид я затрудняюсь, но это и не важно. Она нужна лишь для придания сцене кавказского колорита. Сакля вырисовывается на фоне виднеющихся вдали горных отрогов, покрытых не слишком пышной растительностью. Раннее утро. Из-за правой кулисы на сцену бодрым шагом выходит Трофим Лысенко.

Ганджа. Опытная селекционная станция. Весна 1926 года. Принятый на станцию в качестве младшего специалиста Лысенко получил задание проверить возможность зимнего посева кормовых культур в условиях Азербайджана. Идея этих опытов была проста: если удастся подобрать культуры бобовых, способные развиваться в условиях относительно теплой азербайджанской зимы, то их выращивание на пустующих в этот период полях со одной стороны поможет обеспечивать скот кормами, а с другой – запахивая эти посевы весной, можно добиться дешевого азотистого удобрения полей. Такие «сидерационные» посевы уже используются в других краях, почему бы не испытать их применимость и на азербайджанской земле. Зима 1925 – 1926 годов была необычно теплой, и Лысенко с его руководителем Н.Ф.Деревицким могли быть довольны: результаты опытов были весьма успешными. Однако одиночный эксперимент мало что доказывал, и работу надо было продолжать. Засевать новые делянки, сравнивать различные сорта и виды бобовых культур, подбирать оптимальные режимы культивирования. Нудная, рутинная и рассчитанная на годы работа. «Научными исследованиями» такие опыты можно назвать лишь с большой натяжкой, однако полезность их не вызывает больших сомнений: здраво поставленная задача отработки технологии, которая в случае успеха должна принести очевидную пользу народному хозяйству. Деньги, выделяемые совнаркомом на содержание станции и всех ее сотрудников, в том числе и Лысенко, расходуются рационально и в соответствии с уставными целями данного государственного учреждения.

Я думаю, важно заметить, что в это время Лысенко настроен на упорное освоение избранной профессии агронома-исследователя и постепенное, шаг за шагом, достижение более высокого положения на этом пути. Конечно, это всего лишь предположение, и заглянуть в душу младшего специалиста мы не в состоянии. Однако внешний рисунок его поведения не дает возможности предполагать какую-либо внутреннюю готовность нашего героя к «большим скачкам» и авантюрам. Будем считать, что окружающие воспринимали его как послушного, приземленного и не склонного к умствованиям, но старательного и исполнительного работника. Да, вероятно, и сам он в это время далеко вперед не загадывал и исходил из наличного положения дел. Существенным аргументом в пользу того, что Лысенко в ту пору не собирался ввязываться ни в какие авантюры, не выражал недовольства своим статусом и не замышлял никакого хода конем, является отсутствие любых свидетельств о его участии в

«политической борьбе», что было характерным признаком тогдашних молодых карьеристов и что позволяло сколотить первичный «оборотный капитал» для ускоренного продвижения по служебной лестнице. Большевистская власть и открыто – через партячейки, и исподтишка – через сеть имевшихся во всяком учреждении сексотов упрямо, настойчиво и во многих случаях успешно разжигала, где только могла, разнообразные склоки, раздувала естественно возникающие конфликты и натравливала православных на мусульман, юных безбожников на верующих, простолюдинов на бывших дворян, чернорабочих на инженеров, пионеров на старорежимных предков. Это был испытанный веками тактический прием, который большевики отточили до мыслимого совершенства, и всякий внутриучрежденческий возмутитель спокойствия мог с большой степенью вероятности рассчитывать, что его притязания на что бы то ни было будут благосклонно поддержаны «партийной прослойкой», а сам он прикрыт от начальственного гнева. Конечно, палка эта была о двух концах, и всякую ситуацию можно было повернуть в любую сторону, но многие проходимцы с авантюрной жилкой, добившиеся, в конечном итоге, тех лакомых кусков, к которым они исходно стремились, и занявшие видные позиции в советском истеблишменте, начинали свою карьеру в двадцатые-тридцатые годы как «ниспровергатели основ», бунтовавшие в своем маленьком стоячем болоте и «атаковавшие слева» своих главных инженеров, заведующих канцеляриями, устаревшие приемы работы и чуть ли не законы механики[104]. Однако нет ни единого намека на то, что Лысенко пытался или надеялся спрямить свой путь к сытному и устойчивому положению в своей агронауке благодаря некой «политической» активности и подпевания советской власти громче окружающих. С крестьянской осторожностью молодой специалист ни в какие конфликты не ввязывался и внешне безропотно шел туда, куда его вело начальство. Если он и был склонен к авантюрам, что невольно приходит в голову при взгляде на его карьеру в целом, то до 1928 года это ни в чем не проявлялось.

Но вернемся к производственной деятельности нашего героя, главные события которой – в соответствии с планом исследований – должны падать на осенне-зимний период. В сезон

---

[104] В этом отношении интересны те обрывочные сведения о ранних попытках «выбиться в люди» Исая Презента – ближайшего соратника «народного академика» в пору расцвета лысенковщины, – которыми мы сегодня располагаем. И.И.Презент был активный и по-своему талантливый прохвост, который выбрал как раз тот самый путь наверх, о котором мы говорим, и именно в те же самые годы.

Как пишет В.Е.Борейко, специально изучавший карьеру и деяния Презента за отчетный период, тот, бывший в заштатном Торопце преподавателем железнодорожного училища: «В 1922 году по путевке комсомола попадает на факультет общественных наук с ускоренным 3-годичным обучением Ленинградского университета, где прославился тем, что организовывал успешные кампании по травле ‘белоподкладочников’ — ‘буржуазных’ профессоров».

Борейко основывается на словах самого Презента: «Когда я в 1922 г. был командирован вместе с рядом товарищей на учебу в ЛГУ», — вспоминал Презент, — «университет еще не окончательно освободился от ‘белоподкладочников’, — эсеровских, меньшевистских, кадетских, ведших за собой значительную часть ‘болота’ и тому подобных ‘коллег’. Университет делился на курии: профессорскую, преподавательскую и студенческую, и приходилось завоевывать эти курии, что было не так-то легко (...). С помощью пролетарского студенчества, влившегося из рабфаков, пришлось завоевать сначала студенческую массу, и только тогда мы двинулись на завоевание и проведение нашей линии среди профессорско-преподавательского персонала» (Борейко В.Е. Белые пятна истории природоохраны. Т 1. Киев: Киевский эколого-культурный центр, 1996).

И расчет этого откровенно беспринципного и циничного карьериста вполне оправдался. Еще до знакомства с уже становящимся влиятельным лицом Лысенко и заключения с ним взаимовыгодного «пакта о дружбе и границе» Презенту, получившему специальность юриста, удалось занять место заведующего Кафедрой диалектики природы и эволюционного учения в Ленинградском университете и стать председателем Общества биологов-марксистов. Он и в дальнейшем неуклонно придерживался этого наилучшим образом зарекомендовавшего себя метода в своем продвижении все выше и выше: «…Презент страдал какой-то манией разоблачений. Что как никогда пригодилось в сталинскую эпоху» (Борейко В., указ. соч.). Эта, как выразился исследователь, «мания», очень удобная для «страдающего» ею жулья, и была главной базой для сердечного согласия между Презентом и Лысенко.

1926-1927 годов он продолжает наблюдения за сидерационными посевами, причем главной исследуемой культурой выбраны различные сорта гороха. К сожалению, нам не известно, насколько успешным оказался этот второй сезон полевых опытов – книга Сойфера (главный наш источник) почему-то не касается этого небезынтересного вопроса. Но, вероятно, результаты были, если и не возвещающими скорую победу над закавказской зимой, то, по крайней мере, не такими уж и удручающими. Во всяком случае, разговоры о том, что с этим бесперспективным делом пора заканчивать, не велись и работы продолжались. Более того, здесь появляются симптомы возникновения нового аспекта в работе молодого специалиста.

Как видно из его позднейших высказываний в работе 1935 года[105], уже в 1926 году Лысенко включает в свои наблюдения не только горох (или какие-то другие бобовые культуры), но и широкий ряд злаков. Он высевает различные озимые и яровые сорта пшеницы, ржи , ячменя в определенные сроки и следит за их развитием, пытаясь выяснить влияние холода и тепла на эти процессы. Но такие эксперименты никак не укладываются в первоначальный план, и ясно что, каковы бы ни были получаемые результаты, они не помогут решить кормовые проблемы азербайджанского скотоводства и очевидно бесплодны в плане удобрения почв. Это значит, что заявленное направление исследований (чисто технологическое) было существенно скорректировано и по ходу дела стало превращаться в собственно научное изучение влияния низких температур на развитие различных растений. Кто был инициатором такого поворота в сторону «бесполезной» науки, нам, вероятно, узнать никогда не удастся. Непосредственные участники процесса определенных свидетельств не оставили. Сам Лысенко в своих рассказах нигде не утверждает, что такой интерес к эффектам холодовых воздействий возник у него в ходе экспериментов и что именно по его инициативе план опытов стал уклоняться от технологических проблем в сторону физиологии растений[106]. С другой стороны, нет прямых указаний и на то, что инициатором такого «общебиологического уклона» стал его руководитель Н.Ф.Деревицкий, который ни до того, ни тем более после данной темой не занимался. Сама схема опытов – посев одного и того же сорта каждые десять дней – была заимствована Деревицким из работ директора Туркестанской селекционной станции Г.С.Зайцева, проводившего таким способом подбор оптимальных сроков посева хлопка[107], а потому естественно предположить, что и содержание опытов, проводимых Лысенко в те годы, в общих чертах определялась директором ганджийской станции.

В.Сойфер, который специально изучил вопрос о том, насколько Лысенко был осведомлен о работах своих предшественников, изучавших действие холода на растения, пришел к выводу, что об опытах Максимова он мог узнать от приезжавших в Ганджу сотрудников ВИРа, но

---

[105] Лысенко Т.Д. Теоретические основы яровизации. // Лысенко Т.Д. Агробиология. Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства. М.: Госсельхозиздат, 1949, с. 12-15

[106] Юрий Долгушин – типичный советский литератор тех времен, специализировавшийся в основном на «научной фантастике» (читай: пропаганде всякого бреда под видом смелых научных идей), и одновременно родной брат Доната Долгушина, бывшего многолетним сотрудником Лысенко, написал в 1949 году небольшую книжку о замечательном биологе Т.Д.Лысенко. В ней он то ли цитирует, то ли пересказывает письмо, якобы полученное им от брата из Ганджи в самом начале 1928 года и выражавшее бурный восторг пишущего по поводу знакомства с молодым агрономом Лысенко – интеллектуальным центром всей научной жизни на опытной станции: «…Это настоящий творческий ум, новые оригинальные идеи так и прут из него. И каждый, разговор с ним поднимает в голове вихрь интересных мыслей. Он всегда увлечен своей работой, энтузиаст отчаянный. …Мысли его почти всегда неожиданны и парадоксальны, но на поверку оказываются удивительно меткими и правильными» (Долгушин Ю. У истоков новой биологии. Рассказ о настоящем биологе (Правдивая биография Т.Д.Лысенко). М.: Госкультпросветиздат, 1949).

Такое письмо можно было бы считать одним из немногих документальных свидетельств, рисующих облик «народного академика» в те ранние годы, если бы не было очевидно, что всё «цитируемое» его содержание сочинено самим «фантастом» при фабрикации брошюры – уже после сессии 1948 года.

[107] Резник С. Снова о Вавилове и Лысенко. // «Природа», 1992, № 11, с. 88

основным толчком к постановке подобных экспериментов были сведения, полученные им от Н.М.Тулайкова. Сойфер пишет:

> Как оказалось, уже на самом раннем этапе своей работы Лысенко узнал, какими должны быть основные выводы, а также как следует проводить опыты и как их интерпретировать, услыхав о работах Гавриила Семеновича Зайцева – известного не только в России, но и на Западе физиолога растений и селекционера, организовавшего широкие научные исследования физиологии растений в условиях Средней Азии, где он изучал поведение растений после воздействия на них низких температур и других факторов среды. Работая главным образом с хлопчатником, Зайцев вывел важные закономерности, приложимые и к другим растениям.
>
> …О том, что Лысенко узнал о методах работы и выводах Зайцева, говорила заметка, опубликованная в «Сельскохозяйственной газете» авторитетнейшим агрономом и земледелом России Николаем Максимовичем Тулайковым, который 13 января 1929 года писал:
>
> «В начале 1927 г. на опытной станции в Гандже мне пришлось много говорить с Лысенко, ...который разрабатывал в приложении к различным растениям того района установленные проф. Г.С.Зайцевым закономерности о суммах температур, необходимых для прохождения различных фаз развития хлопка».
>
> Из заметки следует, что Лысенко выяснил детали работы Зайцева с хлопчатником и обсудил их, что, разумеется, не могло не способствовать тому, чтобы направить его энергию по верному руслу».

Но если С.Резник не ошибается, говоря о близких, приятельских отношениях между Деревицким и Зайцевым и о том, что Зайцев регулярно наведывался в Ганджу, то все советы Тулайкова младшему специалисту могли оказать не большее влияние на программу уже идущих с осени 1926 года опытов, чем его разговоры с любым азербайджанским мужичком, пахавшим поля опытной станции. Не в этих разговорах было дело.

И всё же мы, вероятно, ошиблись бы, если бы посчитали Лысенко тупым, не рассуждающим исполнителем, которому безразлично, что высевать на указанных ему делянках. Можно не сомневаться, что таким он вовсе не был. В этом убеждает один эпизод из его жизни, описанный В.Сойфером в другой, тоже очень интересной книге на близкие темы. В ней автор, в частности, вспоминает о личных встречах и длительных беседах студента плодоовощного факультета Тимирязевской академии, каким был в 1956-1957 годах Валерий Сойфер, с академиком Лысенко, находившимся в ту пору на вершине славы и могущества. Студент, увлекшийся генетикой и самостоятельно изучавший ее по старым, с трудом раскопанным учебникам, многое уже знал о ее современных достижениях, и этим – точнее сказать, своей самостоятельной научной позицией – заинтересовал основателя и главу «мичуринской биологии». Лысенко затащил нахального студента в свой кабинет, и «так начались наши с ним беседы, первая из которых продолжалась часов четыре или пять», – пишет Сойфер.

> Затем я начал рассказывать ему о новых успехах биохимической генетики. Дело было в 1956 году, и я знал об открытом не так давно строении молекул ДНК и смог рассказать об этом Лысенко. Я поведал ему об этой модели ДНК, предложенной Дж.Уотсоном и Ф.Криком, о гипотезе матричного синтеза белков и других новинках. Я спросил его сначала, знает ли он что-либо о ней, на что он ответил отрицательно. Да и потому, как он слушал мой рассказ и как он смотрел на рисунки, которыми я пытался по ходу дела иллюстрировать рассказ, было видно, что он впервые об этих вещах слышит. Говорить с ним было непросто: он прерывал меня, яростно спорил, в начале беседы часто кричал. В тех случаях, когда я был не согласен, я тоже повышал голос, стараясь заставить его слушать не только себя, но и меня. Со стороны это, наверное, выглядело чудно – известнейший академик и зеленый студентик, криками отстаивающие свои взгляды.
>
> Но странно, чем дольше я выдерживал его напор, тем мягче и даже благостнее становился Лысенко. Он уже дослушивал мои фразы до конца, а не перебивал с первых слов, а иногда, прерывая, говорил:
>
> – Простите, тут я не согласен.
>
> …Но он буквально замирал, когда я рассказывал что-либо для него неизвестное, когда я ссылался на данные только еще зарождающейся молекулярной генетики. И

> искал, быстро и радостно искал аргументы против этих нововведений, чтобы только отмести их, только бы не поверить в новое, противоречащее привычному строю его мыслей. Впрочем, когда в первый раз он услышал от меня, как устроена молекула ДНК, как она обеспечивает преемственность наследственных записей и их передачу от клетки к клетке в ряду поколений, он надолго задумался и молчал, опустив голову. Затем, подняв ее, внимательно на меня посмотрел, удерживая взгляд несколько секунд и не отводя его от меня, и промолвил:
>
> – Нет, это не имеет смысла. Это не биология. Это химия![108]

На мой взгляд, это свидетельство очень интересно, особенно, если учесть, что исходит оно от человека, считающего Лысенко псевдоученым и шарлатаном, облик которого вовсе не нуждается в приукрашивании со стороны автора воспоминаний. Если человек, написавший в своей жизни одну-единственную научную работу (а если точнее, участвовавший в ее выполнении и написании) и затем неустанно искоренявший проявления научной мысли во всех подвластных ему сферах (собственно этим и исчерпывается его «вклад в науку» за тридцать лет), оказывается способным на склоне жизни заинтересоваться – хотя бы на краткое время – этой самой ненавистной ему наукой, то трудно отказаться от мысли, что в молодости, когда он собирался стать ученым, ему вполне мог быть свойственен определенный энтузиазм и желание вникнуть во все эти сложные научные материи. Тем более, что такое желание хорошо совпадало с его личными жизненными планами и устремлениями. Его ум – ум простого, не переобремененного избыточной интеллигентностью человека – был нацелен на усвоение специальности ученого, поскольку именно в этом хозяин ума усматривал свою пользу. И поэтому он мог не только аккуратно исполнять все пункты намеченного с руководителем плана, тщательно заносить в тетрадки полученные результаты и не жалеть времени на осмотр делянок, проверяя добросовестность их полива, но и стараться понять смысл и значение получаемых данных, подробно обсуждать с Н.М.Тулайковым (да и с кем угодно) детали применяемой методики и проблемы, которые решал профессор Зайцев в своих опытах на хлопчатнике. Я думаю, можно согласиться с В.Сойфером в том, что, попав в среду профессиональных агрономов-исследователей, Лысенко старался стать такими же, как они, и на первых порах достаточно уверенно продвигался к поставленной цели. Чему-то он научился, что-то усвоил и двигался по этому пути дальше.

Однако судьба, уготовившая герою прямо противоположный жизненный путь, посчитала, что сцена уже готова для начала основного действия, и в знак того, что занавес наконец поднимается, прислала в Ганджу своего вестника. Им стал приехавший на опытную станцию летом 1927 года корреспондент «Правды», писавший под псевдонимом «Вит. Федорович»[109].

---

[108] Сойфер В.Н. Красная биология. Псевдонаука в СССР. М.: Флинта, 1998, с. 35-36

[109] К сожалению, об этом персонаже, сыгравшем эпизодическую, но очень важную роль во всей обсуждаемой нами истории, мне не удалось найти почти никаких сведений. Кроме самых элементарных: *Добровольский Виталий Федорович* (псевд. В.Федорович, Вит. Федорович, Виталий Федорович) (1885–1962) – писатель, автор нескольких романов, повестей, рассказов и очерков; начинал до революции сотрудником газеты «Донская речь»; с 1918 работал как сценарист – он автор сценариев нескольких игровых фильмов, вышедших на экран в 1918 – 1927 годах. В 1920-е гг. работал в Московском кинокомитете, в газетах «Правда» и «Известия», куда его пригласил Демьян Бедный.

В своей книге Сойфер пишет, что это был известный всей стране журналист и что коллеги подозревали его – вероятно, обоснованно – в тесных связях с ГПУ. Но это, пожалуй, и всё. А жаль. Ведь именно его вторжение в судьбу Лысенко, можно сказать, и стало тем первоначальным камешком, падение которого привело к движению лавины, обрушившейся на советскую биологию.

Акт первый

Великое открытие Лысенко

Почти все писавшие о Лысенко и его карьерном взлете упоминают об этой истории. И это понятно. Именно в этом пункте легко усмотреть перелом, разделяющий всю жизнь этого человека на две резко отличающиеся друг от друга части. Как озимый злак, прозябал крестьянский хлопчик, а затем молодой специалист в полях, в заштатных городишках, затерявшихся в необозримых просторах огромной страны. И никому ни он, ни его мелкие делишки не были интересны, никого не волновало его мнение по какому бы то ни было вопросу. Один из миллионов совслужащих, тянущих свою ежедневную лямку и рассуждающих, дадут ли на третье компот. И вдруг, откуда только что взялось, за несколько лет бешеный взлет на самые вершины известности и власти, обнаруживший в этом корявом, малограмотном существе и стратегический талант, и способность к тонкому расчету и актерские дарования, и умение использовать всё это в каждый момент своего продвижения наверх. И эта метаморфоза невольно связывается с появлением статьи в «Правде» – ведь до этого никаких признаков будущего взлета не было.

Каким образом посланец высшей партийной газеты оказался на Ганджийской опытной станции, что его туда занесло, не вполне ясно. По словам В.Сойфера, «корреспонденту понадобился прототип на роль героя из рабоче-крестьянской среды, и заезжему журналисту представили Лысенко». Вполне возможно, что и так, хотя, понятно, что младший специалист был не единственным в ганджийских окрестностях кандидатом с такими характеристиками. Как бы то ни было, выбор героя для «производственного очерка» был более или менее случайным. Будем считать, что судьба знала, на кого указать перстом.

Столичный корреспондент провел на станции два дня. Ходил по полям, много беседовал с Лысенко, который якобы с воодушевлением рассказывал о своих опытах и их значении для азербайджанского сельского хозяйства. Может, так и было, а, может, и не было. Для того, чтобы сляпать свою статью (ту, что была напечатана), журналисту вполне хватило бы на часок заглянуть на станцию. Но не будем придираться. Дело вовсе не в том, насколько глубоко корреспондент разобрался в проблемах сидерационных культур. Ему это вовсе и не требовалось. А то, что от него ожидали, журналист так или сяк сварганил, и в августе 1927 статья появилась на страницах «Правды».

Статья называлась «Поля зимой» и была обычным продуктом советской прессы: большой - занимавший, вероятно, четверть газетной страницы – текст, из которого трудно понять, о чем, собственно говоря, идет речь. Если читатель заранее не знает сути дела, то вряд ли он поймет, чем занимается герой очерка и какие у него в этом деле успехи. Но было бы неверно адресовать такой упрек автору статьи. Всякий, кто читал советские газеты, знает, что подобное заключение можно сделать после чтения практически любой заметки в газете, являвшейся органом какого-то партийного комитета, тем более в газете «Правда» – центральном органе ВКП(б). Никакому здравомыслящему человеку не могло придти в голову читать «Правду», чтобы знакомиться с состоянием дел в нашей стране. И дело было не только в лживости данного печатного органа, хотя правдивым его, безусловно, не назовешь. Дело в том, что и

лжи-то особенной из газеты вычитать не удавалось. В ней просто не было никакой реальной информации: шесть больших газетных страниц, заполненных какой-то словесной трухой – ткачиха *NN* перевыполнила план, хлеборобы *N*-ского района с воодушевлением готовятся к осенней пахоте, некоторые районные руководители недооценивают важность применения инсектицидов, орден нашел ветерана через сорок лет, албанские раскольники докатились до прямой клеветы и получили достойный отпор, на *N*-ском радиозаводе разрабатывается новая модель электропроигрывателя и т.д. и т.д. Кого всё это может заинтересовать, кроме родственников ткачихи *NN* и директора радиозавода вместе с его главным инженером – так они это и сами давно знают, с их же слов и заметка написана. И тем не менее такого рода жвачкой заполнены все шесть газетных полос, и так изо дня в день. Зачем это читать? Нормальные люди и не читали.

Но, как говорил Жванецкий (еще тот Жванецкий, из тех времен), *нормальный не станет, а умный сделает*. И, действительно, существовал слой людей, ежедневно читавших газету «Правда», – это советские начальники всех рангов. В большинстве своем они были членами партии, но не обязательно – были и беспартийные постоянные читатели «Правды». Главную роль играло здесь наличие какого-то поста в советской иерархии. И вряд ли эту начальственную привычку можно объяснить только склонностью к показухе и спектаклем, разыгрываемым для подчиненных. Нет, многие читали, закрывшись в своем начальственном кабинете. Это была такая же привычка, как и ежеутреннее чтение биржевых сводок для западного бизнесмена или просмотр светской львицей свежих журналов мод. Не надо понимать это как признание особого умственного превосходства начальственных субъектов над обычными нормальными людьми. Не в степени умственной проницательности тут секрет, просто та информация, которая все же имелась в газете «Правда», – специфическая информация, и, соответственно, читать эту газету (и ей подобные) надо под специфическим углом зрения. Обычный (нормальный) читатель предполагает, что автор читаемого текста что-то собирается ему сообщить, в чем-то убедить, удивить, испугать или обрадовать, подвести к каким-то выводам и пользуется для этого соответствующими средствами: сюжетными, стилистическими, и в первую очередь, логическими, растолковывая и подтверждая свою мысль убедительными аргументами. Если же читатель не находит в тексте привычной ему схемы изложения, то он и расценивает его как лишенный конкретной информации набор слов. Но это ошибка. Потому что партийная газета вовсе не пытается в чем-то убедить читателя: не ее это дело. Ее читатели ни в каких убеждениях и разъяснениях не нуждаются. Им нужна «сегодняшняя установка», спущенное сверху указание, как себя вести. Газета всё же не зря называется «Правда»: ее содержание – это ответ на вопрос «Что сегодня считается правдой?»[110]. Поэтому всякий рабочий день и начинается с чтения газеты: а вдруг висящий в вашем кабинете портрет уже не соответствует сегодняшнему пониманию истории партии или, может быть, албанские руководители вовсе уже и не раскольники, а истинные марксисты и борцы за европейский мир – брякнешь что-нибудь из *вчерашней правды* и сядешь (хорошо, если только в лужу).

Конечно, такое специфическое чтение газет и выяснение того, *что сегодня носят*, *какие мысли сегодня правильные*, *куда нужно поворотиться лицом* и *где сегодня север, где запад, а где красный угол* и *сколько поклонов надо бить при упоминании такого-то*, требует определенного навыка и, вероятно, каждый читавший понимал руководящие установки в меру своих способностей, однако большинство советских людей обладали хотя бы минимальным чутьем, позволявшим им улавливать настроения и пожелания властей, и как-то ухитрялись лавировать в своей повседневной жизни, не вступая в прямой конфликт с внедряемыми в данный момент установками. Естественно, начальники, для которых этот вопрос был жизненно

---

[110] Некоторые читатели сего трактата, возможно, еще помнят расхожую фразу из производственных романов не так уж и давних лет: «А ты читал сегодняшнюю *Правду*?» – фразу, которая могла закончить любую дискуссию, не оставляя тому, кто не успел ознакомиться с *сегодняшней правдой*, никакой надежды на апелляцию.

важным, были более подкованы в восприятии идущих сверху веяний и умели вычитывать из газеты гораздо больше своих подчиненных[111].

Но вернемся к «Полям зимой». Статья эта есть в интернете, ее можно прочитать и убедиться, что это, как я уже сказал, не более, чем типичная журналистская лабуда, из которой с усилием можно понять лишь то, что есть на Ганджийской опытной станции сотрудник Лысенко, сумевший вырастить зимой горох и овес, и теперь «перед человеком Закавказья лежит совершенно новая полоса жизни». Все остальные десять тысяч знаков – какие-то сумбурные лирические излияния автора, неизвестно зачем сюда приплетенные. Самая колоритная и запоминающаяся часть очерка – портрет Лысенко в молодости, недаром это место очень часто цитируется работах, посвященных феномену «лысенковщины»:

> Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается, ощущение зубной боли, – дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слово скупой, и лицом незначительный, – только и помнятся угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь укокать[112].

Однако, как мы уже выяснили, вся эта и квази-лирическая, и квази-информационная, и квази-сумбурная труха – лишь несущественная оболочка тех вполне конкретных установок, которые легко может вычитать из этого якобы «производственного очерка» даже неопытный, не поднаторевший в этом деле читатель. Установок на *сегодняшнюю правду* в тексте, как это и положено, несколько, некоторые вполне различимы и сегодня, но, вероятно, опытный тогдашний читатель воспринимал из текста гораздо больше указаний, чем это удается нам.

Первая установка элементарна, но в момент появления статьи, она была, возможно, главной для нашего героя: «Лысенко – хороший ученый». С момента появления статьи никакая критика Лысенко и его научных занятий становилась невозможной: то, что напечатано в «Правде» и есть правда. Лысенко получил, можно сказать, диплом «босоногого профессора» и лишить его этого диплома могла только другая статья в той же «Правде» или другом приравненном к ней органе печати. Теперь просто немыслимо было бы уволить Лысенко по сокращению штатов или объявить ему выговор за развал работы, никто бы на это не пошел ни при каких обстоятельствах. Правда, ему это, вероятно, и не грозило, но мало ли чего бывает. Теперь он мог быть совершенно спокоен, никакие козни со стороны начальства были ему не опасны.

---

[111] Солженицын так описывает это отношение к *партийной прессе*:

«… в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему. Костоглотов принял, развернул, но доглядел Русанов и громко, с обидой, выговорил лаборантке, ещё не успевшей ушмыгнуть:

– Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газету первому мне!

Настоящая боль была в его голосе, но Костоглотов не пожалел его, а только отгавкнулся:

– А почему это вам первому?

– Ну как почему? Как почему? – вслух страдал Павел Николаевич, страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами.

Он испытывал не что иное, как ревность, если кто-нибудь другой до него непосвящёнными пальцами разворачивал свежую газету. Никто из них тут не мог бы понять в газете того, что понимал Павел Николаевич. Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, по тому, что не указано и опущено, – составить верное понятие о новейшем направлении. И именно поэтому Русанов должен был читать газету первый». (Солженицын А.И. Раковый корпус. // Солженицын А. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 3. М.: Время, 2012, с. 181)

[112] Федорович В. Поля зимой. // «Правда», 1927, № 178 (7 августа). Цит. по публикации текста в интернете – http://sceptic-ratio.narod.ru/rep/lysenko-1.htm.

Вторая, тесно связанная с предыдущей, установка: «‘Профессор’ Лысенко и вся стоящая за ним Ганджийская опытная станция с ее руководством *сделали* хорошее дело – *обеспечили* закавказское сельское хозяйство зимними кормами и дополнительным удобрением полей». Можно расценить это как объявление благодарности перед строем всей станции, стоящему за ней ВИРу и, кроме того, райкому партии, в ведении которого находится опытная станция, – все эти начальники выбрали правильный путь и добились на нем определенных успехов, замеченных высшим начальством.

Третья и, возможно, главная – по крайней мере, наиболее явно и назойливо выраженная – *сегодняшняя правда*: «Специалисты рабоче-крестьянского происхождения – самые правильные специалисты, только от них можно ожидать настоящей помощи трудовому народу. Они твердо стоят на земле и видят самую суть дела. Кабинетные же ученые, выходцы из буржуазно-интеллигентской среды, оторваны от жизни. Как бы ни были они образованы, их ученые штудии бесплодны, большей частью высосаны из пальца и практической пользы не приносят». Песня это, конечно, старая, советской пропагандой поется она с 1918 года. Иногда она слегка затихает, потом вдруг усиливается до диких воплей, которые так же внезапно вдруг умолкают, чтобы вновь зазвучать в уже несколько иной тональности, но не было в нашей истории периода – вплоть до сегодняшних дней – когда бы эта заезженная пластинка была отставлена и забыта. Чем-то она по душе нашим начальникам – может быть, это как раз одно из проявлений начальственной нелюбви к интеллигентам. В 1927 году вопли были в самом разгаре – «шахтинское дело» дало им очередной мощный толчок, – и в статье Федоровича куплеты на этот мотив, занимающие значительную часть текста, были как нельзя более на месте. Всю статью можно прочитать как похвалу руководству Ганджийской станции, поручившему важное дело малограмотному крестьянскому сыну, который месит грязь босыми ногами и не нуждается в носовом платке. Правильно поступили товарищи. И вот результат: дело *сделано*. Хоть и не привык Лысенко к обращению с носовым платком, а утер нос всем прочим, кичащимся своей ученостью.

Я думаю, что и лысенковские руководители и сам он вполне поняли этот появившийся в главной газете страны «мессидж». И сделали из него верные выводы. Однако я предполагаю, что Лысенко пошел дальше и сделал из всего случившегося – из самой статьи, из разговоров с Федоровичем[113], из поведения своих начальников и реакций окружающих – вывод, который не приходил в голову большинству других советских граждан. Более того, вряд ли его осознавал сам Федорович. И даже тогдашний главный редактор «Правды» – Николай Иванович Бухарин, считавшийся на тот период ведущим идеологом партии, вероятно, не сформулировал для себя ясно и осознанно этот важнейший тезис – краеугольный камень большевистской теории и практики. Как верно подметил Ленин, он (Бухарин) «никогда не понимал вполне диалектики»[114]. А простой малограмотный младший специалист дошел до этой ленинской истины своим умом. Можно, правда, сказать, что он изобрел велосипед, а можно – что он сделал великое открытие, и оно дало ему возможность совершить свой стремительный путь в верхи сталинского руководства, хотя и сломало при этом его человеческую жизнь. Но так всегда бывает с теми, кто, узнав «петушиное слово», обращается к дьяволу за помощью. О сути сделанного Лысенко открытия поговорим позже, а пока вкратце проследим ход дальнейших событий, по-прежнему опираясь в своем изложении на книгу В.Сойфера.

---

[113] Корреспондент был старше своего интервьюируемого, гораздо опытнее в политическом отношении и в понимании столичной властной механики, нахальнее и циничнее его – что видно из стиля статьи – и я думаю, он в определенной мере мог намеками, тоном высказываний, а где-то и прямым текстом попытаться направить своего собеседника на путь истинный: обрисовать ему выгоды его позиции, указать на имеющиеся у него козыри (с точки зрения власти) и вытекающие отсюда перспективы. Тут можно вспомнить и о предполагаемой связи Федоровича с ГПУ, чьи агенты как раз и занимались разжиганием амбиций в разного рода ущербных и ущемленных судьбой субъектах и подталкиванием их к выступлениям против тогдашнего истеблишмента.

[114] Ленин В.И. Письмо к съезду. // Ленин В.И. ПСС, 5-е издание, Т. 45, с. 345

В следующий сезон 1927-1928 года, то есть после появления статьи в «Правде», Лысенко прекращает опыты с бобовыми (сидерационные культуры, *открывавшие закавказскому крестьянину перспективы новой жизни*, выпали из плана работ и, по-видимому, навеки) и все внимание уделяется продолжающимся экспериментам на злаковых. Сойфер расценивает такое изменение в планах опытов, как свидетельство своеволия младшего специалиста, который после своего прославления в печати перестал послушно следовать за руководством и пошел своим путем, и ему это, дескать, сошло с рук. Но я думаю, здесь Сойфер ошибается.

Прекратить опыты с зимним выращиванием гороха велели сами лысенковские руководители, и это было единственно правильным решением в их ситуации. После того, как объявленное «Правдой» успешное решение проблемы выращивания кормов зимой стало фактом, продолжать опыты было слишком рискованным предприятием, это могли расценить как сомнение в правдивости «Правды» и подкоп под незыблемость решений партийного органа. Ведь еще неизвестно, к каким результатам могут эти опыты привести – на то они и эксперименты, что результат их заранее не предрешен. Да и зачем эти опыты нужны? Что бы из них, в конечном итоге, ни вышло в будущем, улучшить ситуацию это не сможет (она и так наилучшая из возможных; всё уже сделано, и отчет принят в высшей инстанции), а вот вероятность ухудшить и создать труднопреодолимые проблемы вполне реальна. И если вы, читатель, будете продолжать упорствовать и спросите: а как же с истиной – её-то ведь так и не выяснили? Я резонно, с точки зрения простого здравомыслящего человека, отвечу: какая же это истина, если она может ухудшить дело, а помочь тем, кто ее выясняет, ничем не может? Это не настоящая истина, а так – интеллигентская побрякушка, информационный шум.

Исходя из этих простейших рассуждений, кто бы ни принимал решение об опытах с горохом[115], если он понял содержащуюся в статье начальственную установку (№ 2 по нашей нумерации), должен был закрыть это дело. Но точно так же можно трактовать и дальнейшие шаги руководителей научной работы младшего специалиста: их труды по сотворению из недоучки-агронома «рабоче-крестьянского специалиста» признаны на высшем уровне власти соответствующими сегодняшней генеральной линии и одобрены (установка № 3), следовательно, есть смысл воспользоваться этим обстоятельством и извлечь из него какую-нибудь пользу для дела, которым занимается опытная станция. Как бы ни относились Н.Ф.Деревицкий и другие неизвестные нам руководители агрономического дела к тенденции приоритетного продвижения рабоче-крестьянских выходцев в науку – они могли сочувствовать этому продвижению, но могли и чертыхаться про себя, считая этот курс идеологической блажью, – но в ситуации, когда повлиять на установки властей в этом вопросе они не могли, им оставалось только принять складывающуюся ситуацию за данность и учитывать ее существование при выборе своих решений. В данном случае интересы находящихся во власти идеологов и цели ученых опытной станции хорошо согласовывались друг с другом. Теперь, после выступления «Правды», той работе, которая велась на станции, была уготована зеленая улица. Надо было быстрее заканчивать опыты – тем более, что результаты исследований были неплохими (вряд ли хуже тех, которыми обычно отчитывалась Ганджийская станция; да и на общем фоне российской агрономической науки тех лет они, по-видимому, выглядели вполне пристойно) – и публиковать полученные данные. При этом публиковать их надо было под именем Лысенко, уже заявленного как главный и единственный автор работы.

Так и было сделано. После спешного завершения трудов зимой 1927-1928 годов (у Лысенко в это время уже были помощники: три практикантки и прикрепленный впоследствии к этой группе молодой агроном Донат Долгушин) была срочно изготовлена и издана в «Трудах Азербайджанской центральной опытно-селекционной станции» небольшая книжка,

---

[115] Любопытно, что Лысенко – как и ставший впоследствии объектом его нападок «фашиствующий монах» Мендель – начинал свою научную карьеру с экспериментов на горохе. Так же, как и положенные в основу современной генетики менделевские закономерности, лысенковские теоретические рассуждения о «стадийности развития растений» вполне можно было бы назвать «гороховыми законами».

претендующая на решение актуальной научной проблемы и научную новизну – автором ее значился Т.Д.Лысенко[116].

В.Сойфер попытался детально разобраться в научной ценности этой первой (и последней, как оказалось) экспериментальной работы будущего академика. Я не хочу втягиваться в обсуждение этого непростого вопроса, тем более, что не могу даже прочитать текст этой книжечки. А самое главное, какое бы ни было заключение по этому поводу, оно мало что может изменить в наших дальнейших рассуждениях. Поэтому будем считать, что, не представляя собой выдающегося открытия (большая часть того, что нашло отражение в этом труде, было уже так или иначе описано другими исследователями), книга Лысенко по своему научному уровню соответствовала тем критериям качества, которые требовались в агрономических работах тех лет. Проще, по-моему, обстоит дело с личным вкладом младшего специалиста в данный труд. Несомненно, он участвовал в его создании и не только как технический исполнитель, но и как соавтор. Но столь же несомненно, что сам он написать данную книгу не мог. Это касается и планирования экспериментов, и осмысления полученных данных, и – что совершенно очевидно – математической обработки результатов[117]. Ясно, что роль Н.Ф.Деревицкого (и, возможно, других соавторов) в написании книги весьма велика. Однако в этом нет ничего выходящего за рамки обычных отношений между молодым научным сотрудником и его руководителями. Приблизительно так пишется большинство серьезных кандидатских диссертаций и сегодня. Ничего принижающего достижения Лысенко в этом нет, и мы можем согласиться с Сойфером, констатировавшим в конце своего анализа: «Лысенко старался расти, стремился превратиться в добротного научного сотрудника».

Таким образом, указания партии были выполнены, и пользу от этого получила не только власть (в чем бы эта польза ни заключалась), но и непосредственные исполнители: сам Лысенко, перешедший теперь в разряд уже состоявшихся ученых, имеющих за собой некоторые заслуги перед наукой, и научный коллектив Ганджийской станции, вырастивший в своей среде такого ученого и опубликовавший ценный научный труд.

Теперь, естественно, следовало показать товар лицом, продемонстрировав азербайджанские достижения коллегам по профессии. В декабре 1928 года Лысенко делает доклад по своим материалам на Всесоюзном совещании в Сахаротресте (привязав их, как положено в научной среде, к выращиванию свеклы), а в январе 1929 года едет в Ленинград на представительный Всесоюзный съезд по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству, где выступает с докладом «К вопросу о сущности озими» (его соавтором указан Д.Долгушин). Параллельно с ним на той же секции съезда выступил Максимов, доложивший гораздо более обоснованные результаты своих опытов, в которых исследовалось влияние холода на развитие растений[118]. Сразу скажем, что фурора доклад Лысенко не

---

[116] Т.Д.Лысенко. Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений. Опыт со злаками и хлопчатником. Труды Азербайджанской Центральной Опытно-селекционной станции им. тов. Орджоникидзе, вып. 3, Баку, 1928

[117] «Единственный раз за всю жизнь Лысенко попытался в этой работе использовать математику, чтобы рассчитать среднюю сумму температур, нужную для завершения отдельных фаз развития, и его работа украсилась двумя страницами, на которых имелись четыре формулы, содержавшие буквенные обозначения A, B, t и Σ. В предисловии он указал, что написать формулы и научиться подставлять в них цифры ему помогли Н.Ф.Деревицкий и И.Ю.Старосельский. Больше никогда в жизни никаких формул он в свои статьи не включал, а в пятидесятых годах даже пришел к выводу, что они вредны для биологов» (Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002).

Использование формул и применение для расчета коэффициентов в них метода наименьших квадратов были настолько необычны в биологических работах тех лет, что авторам пришлось несколько приоткрыть свои внутрицеховые секреты и сделать ссылку на участие Деревицкого, который был пионером применения методов математической обработки данных в сельскохозяйственных науках. Никто бы просто не поверил, что это мог сделать такой доморощенный специалист, как Лысенко.

[118] Профессор Г.С.Зайцев из Ташкента, который также вез на съезд свои данные о термических воздействиях на развитие хлопчатника – именно его работы послужили прототипом для экспериментов,

произвел, несмотря на заостренную подачу материала в его выступлении. Критика в прениях, по словам Сойфера, была мягкой, но никаких возгласов восхищения и слов об «эпохальном открытии» не прозвучало. Сейчас, по прошествии многих лет и некотором стихании страстей, можно уже с достаточной уверенностью утверждать, что открытия в ганджийских экспериментах, действительно, не было. Потому что непременным следствием всякого серьезного открытия является бурное развитие некой новой области исследований. *Открытие* – судя даже по его названию – должно *открывать* некие новые горизонты, какое-то до того неведомое и незамечаемое поле деятельности. Но, насколько я, не будучи специалистом, могу судить по тишине, господствующей в этой отрасли знаний, ни о каком прорыве в понимании механики развития растений нет речи и до сегодняшнего дня.

И всё же, не совершив открытия в биологии, Лысенко – отдадим ему должное – сделал, как я полагаю, очень важное открытие в области социальных наук. Он открыл фундаментальный закон, лежащий в основании большевистской власти, – истинный базис «государства нового типа». Закон этот, с одной стороны, чрезвычайно прост, а с другой – никак не укладывается в сознании граждан, живущих в этом самом «государстве нового типа». Так что не стоит преуменьшать достижение Лысенко, самостоятельно, своим самобытным мужицким умом дошедшего до понимания сущности этой властной механики, вроде бы нехитрой, но по своей таинственности и свойству ускользать от прямого взгляда граничащей с каким-то эзотерическим учением.

Закон этот гласит:

> **Высшая власть** (речь идет о власти большевистского типа) ***абсолютно*** **не заинтересована в результатах деятельности своих подвластных.**

Как ни проста эта формула, но великий ученый Н.И.Вавилов ее не смог увидеть, хотя и был вхож в коридоры и кабинеты, очень близкие к высшему сосредоточию большевистской власти. А вот корявый младший специалист, не способный понять суть метода наименьших квадратов, сидючи в своей Гандже и не сталкиваясь не только с высокими властями, но и секретаря райкома видевший разве что издалека, сумел вычислить на одном-единственном примере вмешательства «Правды» в свою судьбу ту закономерность, которая управляет движениями этих заоблачных сфер. Вот такой мужицкий Леверье. Интересно, что сделав свое открытие, простой человек Лысенко не кинулся рассказывать кому только возможно о засиявшей перед ним истине, как это, вероятно, сделало бы большинство интеллигентов. И даже с ямкой, вырытой на своем гороховом поле, не поделился он своим открытием (как мог бы сделать, опасаясь ГПУ и обвинений в антисоветской пропаганде). Ничего подобного. Он просто стал строить свои жизненные планы таким образом, чтобы извлечь конкретную пользу из познанной им истины.

Отвлечемся на минуту от перипетий в жизни одного из наших героев и задержим свое внимание на открытой им закономерности: мы еще не раз должны будем к ней возвращаться и обсуждать вытекающие из нее следствия. А пока что познакомимся с несколько ослабленной версией того же закона в изложении советского интеллигента – Ильи Давыдовича Константиновского. В описанном Бенедиктом Сарновым эпизоде речь идет уже о совсем других временах, далеких от того момента, когда сознание провинциального научного сотрудника озарила великая идея. 1966 год: власть за истекшие сорок лет существенно

проведенных в Гандже, – до Ленинграда не доехал и на съезде не выступал. Он заболел и скоропостижно умер по дороге от перитонита. И в этом смысле Лысенко отчасти повезло – я думаю, ему было страшновато столкнуться с тем, кто был несомненным докой в области «стадийного развития растений»; мало ли как он мог отреагировать на доклад своего малограмотного последователя. Но… «судьба Евгения хранила».

эволюционировала, она уже утратила свою исходную динамику и ведет себя не столь однозначно, как в годы «великого перелома», но ее сущность, ее фундаментальное отличие от других типов власти остается прежним – как ни далеки Брежнев с компанией от Ленина с его Совнаркомом или от Сталина с его Политбюро, генотип у них тот же. Об этом генотипе и идет речь в воспоминаниях Сарнова:

> В перерыве ко мне подошел мой приятель и сосед по дому Илья Давыдович Константиновский. …Человек он был занятный, с причудливой биографией и весьма неординарным характером. Но об этом, может быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас важно сказать о нем только одно: он был создателем оригинальной теории, объясняющей самую суть нашей уникальной советской системы, не имеющей, как он уверял, никаких аналогов в мировой истории.
>
> Отбросив все известные определения этой её уникальности («Новый класс», «Номенклатура» и проч.), он дал ей своё название: ГЛИСТОКРАТИЯ.
>
> – Слово удачное, меткое, – согласился я при первом нашем с ним разговоре на эту тему. – Но в чем же тут уникальность? Да, глисты, гельминты – это паразиты. И наши номенклатурщики, безусловно, таковыми являются. Но ведь до них были и другие паразитические классы... Ведь и рабовладелец, и феодал, и какой-нибудь там азиатский сатрап, они ведь тоже...
>
> – Ах, вы ничего не понимаете! – сразу начал горячиться автор «Теории глистократии». – Ну, хорошо! Возьмем рабовладельческий строй – самый отвратительный, самый бесчеловечный. На рынке рабов может возникнуть ситуация, при которой рабы будут так дешевы, что рабовладельцу выгоднее будет купить новых, чем более или менее сносно кормить тех, которые работают, положим, на его виноградниках. Черт с ними, думает он, пусть дохнут. Куплю других. Казалось бы, что может быть ужаснее?
>
> – Почему «казалось бы»? Это действительно ужасно, – говорил я.
>
> – Да, ужасно... Но можете ли вы представить себе ситуацию, при которой тому же рабовладельцу было бы при этом совершенно все равно, соберет ли он к осени свой урожай или не соберет?
>
> – Нет, – подумав, сказал я. – Такого я себе представить не могу.
>
> – А чтобы помещику было наплевать, взойдет ли то, что его мужики посеяли, или померзнет к чертовой матери? Такое вы можете себе представить?
>
> – Нет, – сказал я. – Тоже не могу.
>
> – Вот! А нашему председателю колхоза позвонят из райкома и прикажут сеять, даже если точно будет известно, что сеять рано, что весь будущий урожай померзнет на корню. Прикажут, потому что им сверху такой план спустили. Или прикажут сажать кукурузу, которая в его широтах никогда не росла и расти не будет. И он, как миленький, будет её сажать. Потому что его благополучие не зависит от того, соберет или не соберет он урожай. Оно целиком и полностью зависит только от того, что в райкоме поставят галочку: план по посевной выполнен. Вот это и есть глистократия, – заключил он свою маленькую лекцию.
>
> Возвращались мы с ним к этой теме неоднократно. …Вот и сейчас, отыскав меня, чтобы излить свои мысли о карякинской речи, он с ходу начал:
>
> – Карякин хочет убедить ИХ, что деятельность Солженицына ИМ не опасна и даже выгодна. Но разве можно убедить глисту, что она жизненно заинтересована в том, чтобы организм, на котором она паразитирует, был жив? Что если он погибнет, с ним вместе погибнет и она тоже? Глиста не в состоянии этого понять! Она знает только одно: сосать, сосать и сосать!
>
> Дальнейшее развитие событий показало, что автор «теории глистократии» глядел в корень[119].

---

[119] Сарнов Б. Феномен Солженицына. М.: Эксмо, 2012

А вот еще одно высказывание о теории И.Константиновского:

«Биологические законы, которым подчинены глисты, эти очень своеобразные паразиты, вполне совпадают с образом жизни той самой правящей верхушки, которую создал Ленин и довел до совершенства Сталин. Это открытие по праву принадлежит писателю Илье Константиновскому. Он его не просто вот так сформулировал, но и, как положено в таких случаях, обосновал. К сожалению, здесь из-за экономии места не удастся привести глубокие и остроумные соображения писателя, но еще одно его утверждение, наверное, все же надо огласить: ‘Все это, вместе взятое, создает условия, при которых паразитизмом заражаются все без исключения члены общества, в том числе производители материальных благ и культурных ценностей. Паразит есть упрощенная и, быть может, идеальная форма жизни. Склонность к паразитизму присуща и человеческой натуре, но в обществе, где идет постоянная

Как мы видим, формулировки И.Константиновского очень близко совпадают с тем законом, который – как мы предполагаем – открыл для себя Трофим Лысенко в начале своей феерической карьеры. Единственное и, на первый взгляд, малосущественное отличие заключается в том, что в нашей формулировке подчеркивается его применимость к самой высшей власти в большевистской государственной системе. Константиновский, не отрицая такой возможности, все же прямо этого не утверждает, и его примеры, на которых он разъясняет суть своей теории, касаются относительно низких ступеней власти, занимающих подчиненное положение в государственной пирамиде чинов и должностей. Как и следует истинному [1]интеллигенту, Д.Константиновский высказывал свои заветные мысли множеству своих друзей и знакомых, не особенно заботясь о том, какую пользу могут принести ему такие разговоры. Конечно, смертельной опасности, как это было в лысенковские времена, в них не было, но и каких-то личных дивидендов от них автору ожидать не приходилось – контора не дремлет, собираются донесения, пишутся сводки о настроениях в писательской среде, на каждого заведена папочка, и не исключено, что при определенных обстоятельствах автору «клеветнических измышлений на советский строй» припомнят все эти его высказывания. Однако все эти неопределенные угрозы его, по-видимому, не слишком и беспокоят, его хлебом не корми, а дай ему возможность убедить всех желающих в истинности своего открытия. И, судя по воспоминаниям, на слушателей его аргументы производили желаемое впечатление.

Однако тут есть тонкость: пока мы рассуждаем на уровне кого-то вроде председателя колхоза *Незаможник* или управляющего трестом *Запсибверхтормаш*, всё звучит весьма убедительно и даже чуть ли не тривиально. Действительно, в гиперцентрализованной советской системе любой пост – это всего лишь позиция слуги существующего режима, и не дело слуги заботиться о целесообразности поручаемых ему функций. Каждый руководитель в этой системе лишь винтик государственной машины, и его задача выполнять полученные сверху указания, какими бы абсурдными они ему лично ни казались и к чему бы они, в конечном итоге, ни привели. Куда ехать и какую выбирать дорогу, решают не элементы, составляющие это техническое устройство, а тот, кто находится у руля – хозяин машины. Но как только мы взглянем на всю картинку в целом, включая в нее и этого хозяина – верховного правителя, царя-батюшку, как его ни называй – вся прозрачность и стройность обсуждаемой теории пропадает.

Каковы бы ни были цели этой верховной инстанции, пусть они для нас непонятны и мы не можем оценить их с точки зрения здравого смысла, но всё же, исходя из этих своих целей, царь-батюшка раздает своим царским слугам вполне определенные указания: мосты мостить, засеки ставить, коров доить, недра бурить, броню крепить, пряжки начищать и т.д. и т.д. И это не голословные пожелания: раздача приказов сопровождается распределением имеющихся в распоряжении хозяина людских и материальных ресурсов и неусыпным контролем за точностью выполнения полученных заданий. Не выполнишь план, можешь вылететь из своего директорского кресла, лишиться каких-то благ, а то и вовсе будешь низвергнут в тартарары. А как же! На то и жесткая централизация управления, чтобы слуги государевы не бездельничали и не подменяли своими прихотями царскую волю. И вот работа кипит. В соответствии с царскими предначертаниями, каналы прорезают землю, паруса хлопают, визжат пилы,

---

политическая и экономическая борьба, паразит не может долго существовать. А в глистократическом устройстве, где нет свободы политической или экономической инициативы и все находится в одних руках, паразитизм получает объективное поощрение, борьба идет лишь за захват мест, должностей, позиций, дающих наибольшую возможность для паразитирования» (Николаев В. Сталин, Гитлер и мы. М.: Терра – книжный клуб, 2005, с. 259).

К сожалению, автор не указывает, из каких текстов И.Константиновского он взял приводимые им цитаты.

почтовые кареты мчатся, куры несутся, оркестры играют. Сверху вниз спускаются тучи циркуляров и распоряжений, им навстречу поднимаются бодрые рапорты и мольбы о дополнительных ассигнованиях. Такая повседневная государственная жизнь. И как же совместить эту картинку с нашим утверждением о том, что хозяина по большому счету вовсе не волнует, какие результаты принесет ему вся эта бурная деятельность миллионов подвластных ему рабов. Как ему может быть безразлично, что и как происходит в его собственной вотчине? Ведь это по его указаниям строится канал. Если канал ему не нужен, то зачем он повелел его строить? Он мог дать любое другое задание, и построить на эти деньги дворец или броненосец или что угодно из того, что ему действительно нужно. Но предполагать, что ему не нужны ни каналы, ни броненосцы, и вообще ничто из происходящего в стране, деятельностью которой он руководит, ведь это же абсурд. Да, наши рассуждения ведут к абсурдным выводам. И тем не менее, Лысенко, именно так понявший суть событий, был прав, и его умозаключение верно. И пора уже вернуться к его поучительной истории.

Уже название доклада на съезде в январе 1929 года говорит о том, что он начал свою собственную игру и держит в уме свой план действий. Если сравнить два названия: книги – «Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития…» и доклада – «К вопросу о сущности озими», видно, что в докладе Лысенко отодвинул на задний план теоретические рассуждения и формулы, сочиненные вместе с руководителями Ганджийской станции, и сделал упор на практическом выводе, следовавшем из результатов проведенных им экспериментов. Как излагает это В.Сойфер: «Хотя авторы [Лысенко и Долгушин] заявили, что они излагают данные, представленные в книге Лысенко, на самом деле это была принципиально другая работа. В докладе было заявлено громко, что авторы пришли к революционной идее, позволяющей произвести переворот в сельском хозяйстве, – высевать весной озимые зерновые культуры как обычные яровые. Авторы утверждали, что достаточно подержать наклюнувшиеся семена озимой пшеницы на холоду, как растения нормально выколосятся при яровом посеве». Речь здесь идет о явлении, которое несколько позже получило название *яровизация*.

Как известно, сама возможность яровизации[120] озимых культур была до Лысенко многократно описана многими учеными, занимавшимися физиологией растений[121]. Никакого научного интереса еще одно описание этого факта, взятого самого по себе, без тех рассуждений и обобщений, которые все же были в книге Лысенко, представлять не могло. И на первый взгляд, Лысенко в своем выступлении допустил ошибку, отставив в сторону научные аспекты, и сделав акцент на практической возможности весеннего посева яровизированных семян озимой пшеницы. Но последующие события показали, что он знал, как ему подавать свой материал, и это был лишь первый ход в начинаемой им победоносной кампании.

---

[120] В западной литературе используют термин *вернализация* – от *лат*. vernalis *весенний*

[121] Довольно большое количество ссылок на описание таких опытов приведено в книге Сойфера.
В частности, процитирована работа, написанная в середине XIX века:
«Еще в 1858 г. американский физиолог растений Клиппарт писал:

> ‘Для превращения озимой пшеницы в яровую достаточно озимой пшенице тронуться в рост осенью или зимой, но удержать от прорастания низкой температурой или замораживанием до тех пор, пока ее можно будет посеять весной. Это обычно производят посредством вымачивания и проращивания зерна и последующего замораживания в этом состоянии, пока не придет время весеннего посева’. Klippart. An assay on the origin, growth, disease, etc. of the wheat plant. Ohio State Bot. Agr. Ann. Rep., 1857, 12, 1858, p.562-816.

Цитировано по книге Ж.А.Медведева ‘Биологические науки и культ личности’, машинописный вариант (каждая глава собственноручно подписана Ж.А.Медведевым), датированный сентябрем 1962 г., стр. 335-336».

Акт второй

Победа под Полтавой

Вся дальнейшая деятельность Т.Д.Лысенко однозначно показывает, что, начиная с 1929 года, он решительно, без колебаний сменил свой курс и навсегда покончил с научными исследованиями – больше он к ним не возвращался и, видимо, не чувствовал в этом никакой необходимости. Поиск истины перестал быть его жизненной задачей. И это естественно и в высшей степени разумно в его положении, если, как мы постулировали, он пришел к выводу, что та агрономическая истина, выяснением которой он занимался в научном коллективе Ганджийской станции, никому, в конечном итоге, не нужна – на нее нет серьезного платежеспособного заказчика. Государство, которое выдает себя за такого нуждающегося в истине потребителя научных услуг, на самом деле играет в свои, непонятные простым смертным игры и совершенно не интересуется теми конечными эффектами, ради которых якобы и затеваются все эти хлопоты с экспериментами и изысканиями. Но при таком раскладе сил бессмысленно тратить жизнь на проведение реальных экспериментов и придумывание теорий, объясняющих сущность процессов, которые ты стараешься исследовать и поставить под свой контроль. Удастся тебе это или не удастся – в любом случае ты не можешь рассчитывать на реальную оценку своих результатов, основанную на сущности порученного тебе дела. Само это дело никому не нужно – не надо обращать внимания на те словеса, которыми маскируется отсутствие у фиктивного заказчика заинтересованности в конкретной истине. А потому оценка твоего труда зависит только от прихоти и каприза неких надзорных инстанций, у которых сам черт не разберет, что им, собственно, требуется. И главное: оценка эта – какой бы она, в конечном итоге, ни оказалась – практически не связана с выполняемым тобой заданием. Можно, почти не уклоняясь от реальности, считать, что в данном общественном устройстве добываемая тобой истина устойчивой меновой стоимостью не обладает, и следовательно, будет ли оплачен твой труд и, если все же будет, то по какой именно ставке, предсказать почти что невозможно – все в руках слепой фортуны. Приехал корреспондент и по своим соображениям, никак с твоим реальным делом не связанным, написал хвалебную статью – значит тебе повезло, и еще не добытая тобой истина оказалась оплаченной авансом и притом по высшей тарифной ставке. Но ведь мог приехать и какой-нибудь ревизор с заданием к чему-нибудь прицепиться и разогнать всю эту бездельничающую научную кодлу, чтобы на освободившихся полях организовать показательную чайную плантацию – оказывается у азербайджанского ЦК появилась необходимость пристроить куда-то старого большевика, оставшегося без места после ликвидации ЧОНовских бригад, вот ему и дадут это престижное поручение. Так что запросто могут ликвидировать станцию – таких прецедентов сколько угодно. И, опять же, никакие планы высокого начальства при этом не пострадают – никаких реальных планов у них вовсе нет.

Что должен делать разумный человек, чтобы, занимаясь интродукцией бобовых в закавказское сельское хозяйство, самому не остаться на бобах? Ему остается лишь быть готовым к любым неожиданностям, лавировать, выкручиваться, подделываться под бесчисленные выдумки высоких чиновников, изобретать разного рода уловки, обещать золотые горы, улещать и тех, и этих, продолжая свое дело чуть ли не в подпольных условиях, – и всё это для того, чтобы решить поставленную задачу и выяснить, какой из сортов гороха способен произрастать в условиях закавказской зимы и обеспечивать кормами азербайджанскую скотину. Но зачем всё это? Что тебе светит в конце этой борьбы за знание, даже если тебе удастся все преодолеть и найти искомое решение? Трудно сказать: может, премируют путевкой в санаторий и пошлют на республиканский съезд передовиков производства, но может, и обвинят во вредительстве и перерасходе горючего (ведь ты же ловчил и подписывал липовые наряды, да и как же было их не подписывать – пахать-то надо) и тогда вряд ли удастся легко отделаться. Так стоит ли овчинка выделки? Ведь тех же самых исходов можно ожидать и тому, кто никаких проблем не решал и вообще не ударил палец о палец. Ты скажешь, что в результате была получена новая истина, именно она была целью исследования, и ее достижение оправдывает все хлопоты, риски и потраченные усилия. Но все же, как мы условились, эта истина бесполезна, она никому не нужна, а если и найдется кто-то, кому она могла бы принести пользу (какой-нибудь *нищий крестьянин-тюрк, дрожащий за завтрашний день* из очерка Вит.Федоровича), то он не готов дать за нее и пяти копеек, чтобы возместить тебе затраты на ее постижение. Оправдывать свою деятельность стремлением к такой «истине»[122] может лишь какой-нибудь интеллигентный хомячок, но никак не серьезный, трезво смотрящий на жизнь человек. Истина должна приносить пользу тому, чей ум оказался способным ее постигнуть, и только тогда она заслуживает права именоваться истиной.

Исходя из таких соображений, здравомыслящий простой человек, не заморачивающий себе голову бессмысленной погоней за бесплодными «истинами» и твердо нацеленный на достижение пользы, должен отказаться от научной деятельности, которая никому из власть имущих не нужна и заказ на которую – лишь пропагандистская фикция, и заняться другим делом, на результаты которого существует реальный спрос. В частности, можно заняться производством этих самых фикций – судя по всему, это единственный вид продукции, в котором власть, действительно, нуждается и за который она готова щедро платить.

Вот простой, толковый и вооруженный открывшимся ему новым знанием человек – Трофим Лысенко и пошел этим путем, продемонстрировав свое верное понимание ситуации и обнаружив при этом неожиданные дремавшие в нем таланты. Можно только удивляться, насколько тонко и верно он рассчитал свои первые ходы в начатой им игре.

Невольно возникает подозрение: а не стоял ли кто-то за его спиной – кто-то, уже поднаторевший в разного рода аппаратных интригах и, главное, способный создать определенный «промоушен» еще мало известному провинциальному агроному, не имеющему серьезных связей в структурах власти и в прессе. Такое подозрение не лишено некоторых оснований, если учесть, что уши ГПУ (оно же будущее НКВД) демонстративно торчат в разных эпизодах этой истории, даже в тех, где речь не идет об арестах, ссылках и тому подобных проявлениях гэпэушной активности[123]. Если немного пофантазировать, можно предположить,

---

[122] Формально-то она – *истина*, конечно, но какой от нее прок. Таких «истин» можно насобирать сколько угодно: выяснить, например, сколько лестничных ступенек во всех учреждениях, расположенных на центральной улице города Тамбова, и утереть тем самым нос Шерлоку Холмсу. Или пересчитать всех плодовых мушек с укороченными крыльями и вычислить их процент среди всех мушек, живущих на спиртозаводах Молдавии. И ведь находятся люди, выдающие себя за ученых-исследователей и занимающиеся подобной ерундой. Опять же вспомним Вит.Федоровича с его описанием ученого, добросовестно измерявшего длину хоботка у разных видов пчел, – в корень смотрел корреспондент «Правды», недаром вошел в историю.

[123] «…И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер

что два дня, проведенные Вит.Федоровичем на Ганджийской станции в разговорах с угрюмым младшим специалистом, были лишь началом «оперативной разработки» этого перспективного, неглупого мужичка с агрономическим дипломом, на лету схватывающего внедряемые корреспондентом мыслишки и вполне способного стать в научно-агрономической среде одним из «агентов влияния» той организации, с которой сотрудничал Федорович. Для этого вовсе не нужно вербовать его и требовать от него каких-то донесений – что он, собственно, может узнать и донести? Надо только заронить в него зерно для самостоятельных размышлений, ориентировать его в реальной обстановке и затем, может быть, немного помочь ему на первых порах. Он как раз подходящий типаж для планируемых ГПУ мероприятий. Один из тех, кто, стремясь к собственной выгоде, способен взбудоражить это стоячее интеллигентское болото. Надо его лишь слегка подтолкнуть.

Но всё это лишь догадки, не подкрепленные никакими свидетельствами. ГПУ, несомненно, вело планомерную работу по созданию точек напряженности и по инициированию раскола в среде научных работников сельскохозяйственного профиля (как и в любой другой профессиональной сфере), и, несомненно, обладало разветвленной сетью «своих людей» внутри агрономических учреждений. Но конкретных сведений о том, что работники этого важнейшего учреждения большевистской власти непосредственно патронировали первые шаги Лысенко на его новом поприще, у нас нет, и вряд ли они когда-нибудь появятся. Даже если, что и было, всё делалось, скорее всего, попросту: в разговорах с глазу на глаз, и никаких документально оформленных следов своего существования не оставило. К счастью, для нас не так уж и важно знать, были ли у Лысенко той поры советчики и доброжелатели, подталкивавшие его карьеру в нужном направлении, или же он всё обдумал сам долгими бессонными ночами и смог самостоятельно, без чьей-либо помощи воплотить в жизнь. Главное, что мы можем не сомневаться: пешкой в чужой игре он не был, и ключевые моменты его плана выработаны им самим (даже если он и пользовался при этом чьими-то советами или рассчитывал на чью-то помощь) – на всех его шагах, высказываниях, поступках лежит явный отпечаток его личности. На всем протяжении длившейся несколько десятилетий истории, известной нам под именем «лысенковщины», он не менял выбранной им в начале линии поведения и сохранял те характерные черты, которыми он декорировал свой истинный облик в ту пору, когда начинал свой стремительный путь от «босоногого профессора» к «мужицкому академику».

Первый безошибочно сделанный Лысенко шаг был связан с его решением не покидать пределов той науки, в которой ему уже удалось кое-чего добиться и создать себе репутацию пусть малограмотного, но упорного и целеустремленного исследователя. Несмотря на то, что Лысенко решил прекратить научную деятельность, ввиду ее выясненной бездоходности, и в дальнейшем своего решения не изменял, свою вновь избранную сферу занятий – производство фикций – он разумно запланировал в уже мало-мальски знакомой ему отрасли агрономической науки. Это было естественно, и такой выбор не требовал от него особой изобретательности. Его агрономическое образование, предыдущий стаж работы и все прочие атрибуты [2]интеллигента создавали ему минимальную, но прочную стартовую площадку, на которой можно было устроить свой «маленький свечной заводик» и уже отсюда начинать торговлю ходким товаром, завоевывая новое жизненное пространство и переходя к новым

С Востока виден Милиционер
И с Юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли...
да он и не скрывается».
Пригов Д. Апофеоз Милицанера (1978)

рубежам борьбы с огромным и жестоким окружающим миром, в котором он надеялся построить и отстоять свое маленькое личное счастье.

Такой подход к делу, при котором изменение сути деятельности сочеталось с внешней неизменностью предшествующего направления занятий, был и осмотрителен (поскольку не приводил к утере уже достигнутых жизненных позиций), и одновременно психологически убедителен для окружающих – у зрителей, созерцающих надувание очередного мыльного пузыря, не было оснований сомневаться в том, что человек, демонстрирующий этот аттракцион, сам непререкаемо верит в истинность и мощь прокламируемого им чудодейственного средства. Верит в силу своей биологической и агрономической малограмотности, ограниченности своего кругозора и в силу своей природной догматической упертости, не позволяющей ему воспринимать какую бы то ни было внешнюю критику его убогой идеи. По общему мнению, как-то сумевшему просуществовать до наших дней, Лысенко не шарлатан, цинично дурачащий доверчивую и бестолковую публику[124], а обыкновенный деревенский знахарь – только вознесенный на астрономические высоты волной политической конъюнктуры, – который тупо повторял свои магические формулы и не был способен в них усомниться. Но именно такой облик производителя фикций и требовался их основному заказчику, и именно естественность возникновения уже запланированной для сбыта фикции – яровизации, как чудодейственного агроприема, – должно было удостоверить и засвидетельствовать выступление Лысенко на ленинградском научном съезде в январе 1929 года, удивившее историка науки В.Сойфера своим внешне нелогичным смещением акцента с научного изучения *стадийности развития* на тривиальную и не представлявшую научной ценности *яровизацию*. На самом деле такой поворот был совершенно логичным, если иметь в виду истинную цель выступления: обосновать и засвидетельствовать, что появление яровизации было обусловлено не выдумкой Лысенко, специально предназначенной для привлечения к себе внимания и в расчете на безудержную рекламу, а стало естественным и закономерным следствием его научных исследований, приведших к осознанию хозяйственной ценности такого агрономического новшества.

Другой аспект «перерождения» Лысенко из Павла в Савла – выбор им своего внешнего облика, манеры держаться, имиджа, как сказали бы сейчас, то есть той картинки, которую Лысенко демонстрировал окружающим и которая стала чуть ли не главной составляющей его «визитной карточки» на многие годы, успешно маскируя суть демонстрируемого феномена. Опять же здесь Лысенко не надо было ничего придумывать. Вероятно, выбор имиджа совершился сам собой, без долгих размышлений. В тот период, когда молодой Лысенко стремился перейти из крестьянского сословия в разряд образованных людей, он, вероятно, старался, по возможности, усвоить привычки, способы выражаться, манеры, характерные для интеллигенции. Но когда выяснилось, что социальный заказ сделан не на всякого интеллигента, а только на «интеллигента из рабочих и крестьян», «интеллигента от сохи» (характеристика «интеллигент из породы интеллигентов» расценивалась скорее как минус в послужном списке, нежели как плюс), Лысенко стал настойчиво, а порой и утрированно подчеркивать свое крестьянское происхождение, специально демонстрировать, что «в гимназиях мы не обучались». Такое поведение не только соответствовало исходившей от власти установке на недоверие к интеллигенции старого образца и на скорейшую замену ее новой «пролетарской» генерацией специалистов, но и импонировало широким массам «простых людей», которые и вообще, как уже говорилось, к интеллигентам относятся с подозрением, а в то время еще и считали, не без оснований, что все имеющие высшее образование – «баре», «господа», «белоручки», живущие за счет эксплуатации этих самых простых и темных рабочих и крестьян и пользующиеся их темнотой в своих корыстных целях. В такой ситуации возвышение «своего брата крестьянина», получившего образование, но не

[124] Сравним его хотя бы с тем же Презентом, искренность «научных воззрений» которого не вызывает никаких вопросов, да и никогда не вызывала, и поверить в честность которого могли лишь самые наивные из учившихся у него студентов.

забывшего своих корней и не отделяющего себя от «трудовой массы», оставшегося верным своим крестьянским привычкам и бытовым стереотипам, воспринималось как торжество справедливости и обеспечивало «всенародную поддержку» такого «интеллигента от сохи» в любых его конфликтах с теми, кто с сохой близко знаком не был. Лысенко, чья известность началась именно с такой ноты, определенно педалировал этот – вообще-то заезженный к тому времени, но хорошо вписывающийся в целостную мелодию – мотив в своем поведении и сделал его неотъемлемой частью своего бренда[125].

Мне могут возразить, что Лысенко вовсе не изображал «интеллигента от сохи» – он таким и был. Малообразованным даже в близких ему агрономических вопросах, дремучим невеждой во всех прочих материях, грубым в высказываниях, не соблюдающим простейших правил приличия и чавкающим за обедом в академической столовой и т.д. И многое из этого объясняется его крестьянским детством и тем, что читать он выучился только в тринадцать лет. Ему не надо было напяливать на себя маску малограмотного, плохо воспитанного, по городским понятиям, человека – его истинное лицо хорошо соответствовало желаемому облику. Всё это, по-видимому, верно. Но ведь то же самое можно сказать о всяком хорошем актере (по крайней мере, об актере реалистической школы). Изображая вспыльчивость или завистливость, актер не показывает нам черты характера представляемого персонажа, он сам «живет» на сцене и показывает нам *свою* вспыльчивость и *свою* зависть. Только найдя в себе нужные для роли черты характера и повернувшись к зрителю этой гранью своей личности, он может надеяться создать глубокий и психологически убедительный образ своего героя. Лысенко потому и оказывается столь органичен в своей роли «мужицкого академика», что играет, в определенном смысле, самого себя, поставленного в данные обстоятельства, он не пытается изображать то, чего в нем нет – ему это и не требуется. Но ясно, что скрывающийся за этим образом человек шире и многограннее того, каким он себя показывает. Он мог бы, не теряя связи с реальностью, показать себя и в другом ракурсе, если бы ему это было необходимо.

И наконец, можно перейти к третьему шагу, сделанному Лысенко в дебюте своей рассчитанной на длительный срок игры. Шаг этот был, с одной стороны, отчетливо сделанной заявкой о начинавшейся игре – именно с этого момента о Лысенко заговорили как о самостоятельной фигуре на государственном уровне. А с другой стороны – в нем можно усмотреть впервые проявившуюся изощренную изобретательность будущего основоположника мичуринской биологии и творческого дарвинизма. Речь идет о «производственных испытаниях» нового агрономического приема – яровизации, предлагаемого Лысенко к внедрению в советское сельское хозяйство. Такие испытания прошли весной-летом 1929 года в селе Карловка Полтавской области, на участке земли, входящем в

---

[125] В романе В.Дудинцева «Белые одежды» есть яркий, запоминающийся штришок, характеризующий одного из главных персонажей романа – «народного академика» Рядно, чьим прототипом, несомненно, был Трофим Лысенко.

«Он умолк и стал смотреть с лаской на Федора Ивановича. Потом достал из кармана большой клетчатый платок -- собрался протереть лежавшие на столе очки. Протянул руку к очкам, но в этот момент из платка просыпалась на стол земля. Академик развеселился:

-- Хух-х! От черт! Это ж я так и не вытряхнул платок! Понимаешь, вчера на лекции достаю платок и оттуда вот так -- земля! Это я по делянкам лазил и вот -- набрался... Любит старика земля, а? Так и лезет везде.

Растроганно качал головой, смахивая землю на пол».

Трудно сказать, насколько близок такой эпизод к «натуре» – взят ли он непосредственно «из жизни» (а Дудинцев был лично знаком с Лысенко и специально «изучал» его во время работы над романом) или же придуман писателем, – но сама механика такой довольно примитивной игры на публику схвачена верно. Герой романа подает себя, во-первых, как интеллигента (очки, которые надо протереть на лекции, чистый носовой платок в кармане), а во-вторых, как крестьянина по сути своей, который даже поднявшись к вершинам науки не утерял связи с землей (и земля-матушка любит его за пожизненную верность) – и всё это в одной отточенной репризе.

состав единоличного крестьянского хозяйства Д.Н.Лысенко – отца нашего героя. Крестьянин-экспериментатор высеял весной два мешка *озимой* пшеницы, которую он предварительно намочил (чтобы она проросла), а затем проморозил, – и чудо-чудное! – пшеница эта не только дружно взошла и пышно разрослась, но и заколосилась, дав великолепный, невиданный в этих краях урожай. Что тут началось! Вся деревня и окрестности дивились такому нарушению законов природы, понабежали любопытные, понаехали корреспонденты, даже из самой Москвы (и как только до них слух дошел!), и не успели еще урожай с этого чудесного поля собрать, как всё та же газета «Правда» оповестила всю страну о замечательном открытии агронома Т.Д.Лысенко. Теперь уже не только *нищие крестьяне-тюрки*, но и гораздо более зажиточные колхозники Украины могли без страха глядеть в свое будущее – хлеба у них теперь будет навалом (ведь не могли же они в то время догадаться, что несколько миллионов из них умрут от голода в ближайшие годы). Такая вот немудреная сказочка. Что-то вроде: «А орешки непростые, все скорлупки золотые…» и далее по тексту. *Где же здесь прокламируемая изобретательность?* – скажет скептически настроенный читатель. В самой сказочке ее, конечно, нет, да и не могло быть, поскольку сочиняли ее несколько отчаянно лгущих людей, не сговаривавшихся предварительно между собой и потому плетущих каждый свое. Сейчас уже не установишь, что было, чего не было, и как происходили те реальные события, о которых сложена эта «быличка». Народное творчество, вообще, с трудом поддается рациональному анализу, и любые исторические реконструкции на его основе крайне недостоверны. Однако, когда я говорил об изобретательности Лысенко, я имел в виду вовсе не содержание этой «советской сказки»[126], а предысторию ее возникновения.

Как повел бы себя рядовой научный работник, намеревающийся раскрутить аферу с яровизацией? Пытаясь это представить, воспользуемся методом «*если бы директором был я*». Будучи сотрудником опытной станции и пользуясь тем, что я на хорошем счету у начальства, я бы правдами и неправдами добился бы отвода для своего «опыта века» делянки побольше, высеял на ней яровизированную пшеницу и старался бы с помощью разных «маленьких хитростей»[127] доказать, что урожай, полученный с помощью яровизации озимой пшеницы, больше того, что дает яровая пшеница на соседнем поле. Добившись этого, я бы потрясал пачкой листов со своими данными на разных совещаниях и сельскохозяйственных форумах, собирая заслуженные лавры и требуя широкомасштабных испытаний с целью внедрения своего новшества на колхозных полях. Удалось ли бы мне чего-то достигнуть таким способом, сказать трудно, но ясно, что путь этот долгий, муторный и не лишенный определенных рисков.

Однако Лысенко не пошел этим стандартным, лежащим на поверхности путем – он сделал ход как бы в противоположном направлении: самоустранился от участия в проверке яровизации. И это было блестящее в той ситуации решение. Во-первых, он тем самым избег малейшего риска: проводимый на уединенном крестьянском поле, вдали от пытливых глаз коллег-агрономов эксперимент можно было обставить так, как хотелось естествоиспытателям. Но даже, если бы, несмотря на все предосторожности, кое-какие неудобные обстоятельства и стали достоянием гласности, то с кого можно было бы за это спросить? С Дениса Никаноровича? Как бы он там ни сеял, ни веял, на каких бы весах ни взвешивал и что бы потом про это ни рассказывал – всё это его личное дело, и он вовсе никому не обязан давать в этом отчет. А сам Лысенко – идеолог яровизации – к этому полю даже близко не подходил и никаких утверждений о результатах чужого опыта не делал. Узнал о них из газет – как все, и только издали радовался отцовскому успеху. Прикопаться просто не к чему. Кто, собственно, поднял вокруг этого самодельного опыта излишний шум? Газетчики? Вот с них и спрашивайте. Во-вторых, с помощью своего разворота Лысенко сразу же выбросил за борт своих

---

[126] Как и подавляющая часть всего «народного творчества советской эпохи» создавались эти сказки Ляписом-Трубецким с соавторами в бесчисленных редакциях «Пищевиков», «Сельских новей» и «Колхозных зорь». Отсюда и их качество. Какой может быть спрос с этих халтурщиков – как умели, так и сляпали.

[127] Одну из них – из арсенала передовой агронауки – мы чуть позже опишем.

агрономических начальников – соавторов всей его предшествующей научной работы. Они к *полтавской виктории* никакого отношения не имели и претендовать на раздел лавров не могли, даже если бы и захотели. Это был триумф не азербайджанской станции, не ВИРа, а лично Лысенко, который, даже как бы не участвуя в опыте, был связан с ним тем, что носил одну с отцом фамилию. С другой стороны, Лысенко своим хитроумным планом не только лишил свое непосредственное начальство плодов, которые в случае успеха мог бы принести его эксперимент, но и гуманно вывел их из-под удара, угрожавшего участникам неудачного эксперимента. Если бы Лысенко проводил свой опыт на ганджийской станции, начальники могли бы как-то вмешиваться в его планирование и проведение, что, очевидно, было не желательно для новатора и ниспровергателя агрономических предрассудков, но главное, они по долгу службы обязаны были поставить опыт под свой контроль и нести ответственность за его результаты и за изложение оных в прессе. В таком случае им было бы рискованно ставить палки в колеса смелому начинанию, но и пересолить с рукоплесканиями тоже могло оказаться небезопасным. А при вовлечении в игру необразованного крестьянина, взявшего всю ответственность на себя (для него и риска-то никакого не было), все остались в стороне. После же того, как статья в «Правде» возвестила об успехе яровизационного дела в нашей стране, всякие сомнения по поводу эксперимента и условий его проведения стали числиться по ведомству ГПУ, и агрономической науке не было никаких оснований в это вмешиваться. Сработано чисто – комар носу не подточит.

И всё же основное изящество и совершенство рассчитанной Лысенко комбинации лежит, я считаю, в иной плоскости. Смена декораций, то есть перенесение задуманного спектакля с полей опытной станции на крестьянскую ниву, и замена актеров с «босоногого» пусть, но всё же ученого-агронома на хитро улыбающегося в усы патриархального полтавского дедка радикально изменили жанр, в рамках которого воспринималась публикой рассказываемая ей история. Из рапорта о научных достижениях она превратилась в чудесную сказку, занятное повествование о том, какие всё же чудеса случаются на нашей матушке-земле[128]. Существовала обыденная и достаточно унылая реальность, в которой каждый кусок хлеба давался только как награда за тяжкий изматывающий труд, но вот пришел хитроватый мужичок, где-то узнавший заветное петушиное слово (а это ему сын открыл секрет), дунул, плюнул, смочил семена, пробормотал над ними три раза это самое слово: иравиза, иравиза, иравиза (или как-то похоже) – и как поперло, как заколосилось. И теперь он с хлебом, и дом у него – полная чаша. Вот как бывает. Надо только раздобыть это слово, и горя знать не будешь. От такой истории глупо было бы требовать, чтобы в ней ясно и недвусмысленно излагались условия эксперимента и скрупулезно описывались его результаты, сравниваемые с результатами на контрольном участке – это было бы недопустимым, свидетельствующим об отсутствии художественного вкуса смешением жанров. Дико и странно выглядит человек, разглядывающий чудесную белку и интересующийся тем, есть ли на ореховых скорлупках клеймо пробирной палатки. И вообще: не веришь – не слушай, а врать не мешай.

В книге В.Сойфера довольно подробно разбирается несколько разных реляций с поля этой «полтавской битвы за урожай», которые противоречат друг другу во всех мыслимых аспектах описания одной и той же, казалось бы, реальности. Разные авторы, писавшие в разные годы, каждый по-своему и ни в чем не совпадая друг с другом и с самими собой, рассказывают о том, кто был инициатором посева, как яровизировалось зерно, какова была площадь посева и т.д. (Для сказок-то такой разнобой как раз и характерен: каждая из них бытует во множестве вариантов). В частности, главный вопрос – каков же был урожай? – освещался неоднократно и каждый раз по иному.

Согласно официальным данным, оглашенным Молотовым в докладе на XVII партийном съезде, урожайность пшеницы в 1928-1932 годах составляла в среднем 7, 5 ц/га (озимая – 8,6

[128] Стоит заменить «матушку-землю» на «нашу советскую землю» и сразу становится видно, что мы имеем дело с самым востребованным большевистской пропагандой типом истории – не только «очерки на темы дня», но и почти весь «социалистический реализм» легко и удобно укладываются в этот шаблон.

ц/га, яровая – 6,7 ц/га). На этом фоне урожай, полученный в ходе яровизационного опыта, достиг (по разным сообщениям):

30 ц/га – «Правда» от 21 июля 1929 года, статья Вл. Григорьева «Открытие агронома Лысенко»;

25 ц/га – «Правда» от 8 октября 1929 года, статья наркома земледелия УССР А.Шлихтера «О посеве озимых культур весной (Открытие агронома Лысенко)»;

24 ц/га – Лысенко Т.Д. Теоретические основы яровизации. М.1935;

8,5 ц/га – Глущенко И.Е. Краткий очерк научно-исследовательской и производственной деятельности Т.Д.Лысенко. // Трофим Денисович Лысенко. М.1953 (ясно, что вступительная статья к этой брошюре, вышедшая из-под пера одного из ближайших сподвижников академика, была написана под его личным неусыпным надзором и все цифры в ней продиктованы им самим).

Как пишет Сойфер, в 1935 году Лысенко сообщил в газете «Социалистическое земледелие»: «В 1934 г. в 1060 колхозах, которые дали сведения об учете урожая, среднее увеличение урожайности от яровизации было 1,14 ц/га».

После сопоставления таких оглашенных в печати цифр вопрос о том, *а был ли мальчик?* представляется мне абсолютно лишенным смысла. Даже если предположить, что какой-то акт рождения все же имел место, то обсуждать был ли это мальчик, девочка или вовсе неведомая зверушка, совершенно бесполезно. Если современники сего эпохального события не придавали этому ни малейшего значения, то стоит ли нам ломать над этим голову. Удовлетворимся теми «доказательствами», которые считались весомыми у наших дедов:

> «В музее этого института [Одесский селекционно-генетический институт – главная цитадель «мичуринской биологии» в те годы – *Н.В.*] показывали два снопа: один был похож на мочалку, другой — пышный куст, весь в тяжелых колосьях. Это одна и та же пшеница одного и того же сорта. Только первый сноп вырос из неяровизированных, а второй — из яровизированных семян»[129].

Остается еще один, по-моему, немаловажный вопрос: откуда начальники и центральная пресса узнали о том, что под Полтавой творится это самое «чудо-чудное»? Кто их надоумил заинтересоваться этим феноменом и обратить на него свой благосклонный взор? Главный мой просветитель во всех подробностях, связанных с лысенковской эпопеей, – Валерий Сойфер, к сожалению, не уделил достаточного внимания прояснению этого обстоятельства. Из цитируемых им двух «правдинских» статей можно понять, что крестьянин-экспериментатор Д.Н.Лысенко либо пригласил (письменно?) находившуюся в Харькове коллегию Наркомзема Украины полюбоваться его яровизированной пшеницей (статья В.Григорьева), либо сам приехал в Харьков и принес в Наркомзем «прекрасные образцы вызревающей озимой

---

[129] Сафонов В.А. Земля в цвету. Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1949

Любопытный человек был, кстати сказать, этот певец цветущей земли – Вадим Андреевич Сафонов (1904-2000) – автор более сорока книг, значительная часть из них написана в жанре *научно-художественной прозы* (образец которой я и процитировал). По образованию – ***биолог*** (учился на биологическом факультете МГУ), дослужился до старшего научного сотрудника Биологического института Комакадемии им. К.А.Тимирязева. Но впоследствии полностью отдался литературному творчеству.

Вот что он говорил уже в наши годы (где-то в середине 90-х) о писательском призвании:

«Каждый писатель должен верно строить свое время, без фальши и ложного пафоса. Тогда его книги будут читаться многими поколениями. А цель искусства вмешиваться в жизнь, и вашу, и мою. Очень важно иметь неразрывную связь со своим народом и его культурой. Не быть конъюнктурным писателем».

Слушайте, детки, старика. Он знает, о чем говорит.

(Цитата взята из биографического очерка о писателе, помещенного на *Официальном сайте муниципального образования «Город Льгов»* - http://gorlgov.rkursk.ru/index.php?mun_obr=539&sub_menus_id=19092&num_str=1&id_mat=2053).

пшеницы» (статья А.Шлихтера). При этом нас пытаются убедить, что в ответ на такую сельскую похвальбу чиновники Наркомзема – перегруженные служебными обязанностями люди – в горячую летнюю пору отставляют в сторону все свои текущие дела и немедленно образуют комиссию, которая, не теряя ни одного дня, спешит в Карловку, чтобы своими глазами убедиться в чудесных результатах яровизации. После чего об этом узнает корреспондент «Правды» (каким образом?) и так же, не тратя даром времени, мчится на место происшествия (времени у него в обрез, чтобы съездить в Карловку и вернуться в Москву), строчит, в тот же час согласовывает, визирует – и не успела пройти неделя после отъезда комиссии из Карловки, как в «Правде» появляется «установочная» статья, воспевающая новый агроприем. При этом ее успевают снабдить издательской врезкой, содержащей официальное «Сообщение ТАСС»[130], в котором подтверждалось свершение описываемого в статье чуда, придавая ему тем самым высшую степень «правдивости». Для того, чтобы выйти на этот уровень, одного А.Шлихтера, несмотря на весь его партийный авторитет, было недостаточно, ясно, что в принятии такого решения участвовали и другие не менее влиятельные лица.

Изложенная таким образом история появления самой первой статьи в «Правде» оказывается, по моему мнению, гораздо более чудесной, чем даже быличка о «диде Денисе». Понятно, что это такая же сказочка, как и основной миф о яровизации. Не может быть сомнений в том, что подготовка реакции Наркомзема Украины и появления статьи в «Правде» была достаточно длительной и протекала за кулисами параллельно самому яровизационному опыту. Но это снова возвращает нас к подозрениям, что с самого начала лысенковской аферы ей покровительствовали и помогали некие неустановленные лица, на поверхности событий не замеченные и действовавшие в тиши властных кабинетов[131]. Они-то и обеспечили пропаганду агрономического новшества на самом высоком уровне.

Однако выяснение этого небезынтересного вопроса не так уж и важно для общего понимания истории «лысенковщины». Гораздо важнее, на мой взгляд, понять – хотя бы на уровне правдоподобной гипотезы, – почему Лысенко был уверен, что его блеф с яровизацией будет одобрительно воспринят властью, и почему его уверенность оправдалась на сто пятьдесят процентов. Из предыдущего изложения совершенно не ясно, чем его деревенская «задумка» могла привлечь руководителей, возглавлявших сельское хозяйство Украины и всей страны. Обещанным хозяйственным эффектом и будущими высокими урожаями? Но из чего они могли сделать такой вывод? Неужели эти специалисты из коллегии Наркомзема, профессионально занимающиеся зерновыми культурами, были глупее нас, профанов, не способных отличить озимую пшеницу от яровой, и не разглядели, что им демонстрируют радужный мыльный пузырь, за которым если и скрывается нечто полезное, то с этим *нечто* надо еще долго и тщательно разбираться. Поверить в это совершенно невозможно. Психология обычного чиновника такова, что он скорее будет отталкивать самое очевидное и дающее несомненный эффект изобретение (зачем ему дополнительные хлопоты, что он лично поимеет с внедрения такой новинки?), чем клюнет на какой-то рекламируемый, но туманный в перспективах проект. В течение нескольких последующих лет кампания по внедрению яровизации в технологию выращивания зерна набирала силу, о применении нового приема рапортовали колхозы не только Украины, но и других областей, но никаких доводов, способных убедить мало-мальски соображающего стороннего наблюдателя в хозяйственной

---

[130] Многие из читателей, вероятно, помнят еще формулу: «ТАСС уполномочен заявить…», которая регулярно сопровождала самые наглые и превосходящие обычную меру лживости сообщения советской прессы. В качестве яркого исторического примера можно привести «Сообщение ТАСС» появившееся в газетах 14 июня 1941 года и опровергавшее возможность войны с Германией, после чего значительная часть вменяемых граждан нашей страны, если не прямо осознала, то отчетливо ощутила, что дело – дрянь и война вот-вот разразится.

[131] Не берусь гадать, чьи именно были длинные уши, торчащие в этой истории, но, похоже, они так же, как у Мидаса, скрывались под «фригийским колпаком» – классическим символическим головным убором профессиональных революционеров, заимствовавших эту моду у «Свободы на баррикадах».

ценности этого метода, найдено не было. Вся эта эпопея кончилась очевидным пшиком. Тем не менее, волна восхвалений и пропаганды яровизации[132] только нарастала и достигла такой высоты и мощи, что и до наших дней нет-нет да и докатятся отзвуки этой шумной кликушеской кампании. Нет, достоинства яровизации, склонившие Наркомзем Украины и редакцию «Правды» к ее решительной поддержке, надо искать не в хозяйственных перспективах внедрения этого метода, а в чем-то другом, лежащем в другой плоскости и обещающем какие-то приятные для большевистского духа перспективы.

Сойфер видит экономическую нелепость пропаганды яровизации и объясняет ее, как и некоторые другие исследователи лысенковщины, кризисным в этот период состоянием сельского хозяйства на Украине (да и по стране в целом) и тем, что руководители, отвечающие за сельхозпроизводство, были в растерянности и готовы были ухватиться за соломинку, лишь бы она давала хоть какую-то призрачную надежду на улучшение положения. Он пишет, имея в виду статью Шлихтера в «Правде»:

> Повторяю, в момент публикации статьи о Лысенко Шлихтер был наркомом земледелия Украины. Суровые зимы 1927 и 1928 годов и страшные последствия начатой в 1928 году поголовной коллективизации лишили Украину хлеба. Видимо, поэтому так радостно отнесся нарком земледелия к посулам Лысенко:
> «За последние два года сельское хозяйство Украины понесло значительные потери от вымерзания озимых посевов... В этом отношении исключительное значение имеет открытие молодого агронома-селекционера Лысенко ...оно несет величайшие возможности и в борьбе с суховеями...»

И чуть позднее:

> Вообще история с мгновенным признанием *открытия Лысенко* могла бы казаться какой-то мистификацией или крупномасштабным помутнением рассудка сразу у сотен начальников, если бы не простое объяснение: земля под ними горела, и они готовы были подписаться под любым бредом, только бы продемонстрировать своим начальникам инициативу и заботу о сельском секторе экономики. Только этим можно объяснить странную, даже парадоксальную ситуацию, при которой руководители сельского хозяйства Украины и страны в целом вообще никаких трудностей в использовании на практике несостоявшегося *открытия* не видели и ни о каких возможных просчетах не ведали. Они разом уверовали в могущество чуда и решили, что жар-птица у них в руках, и их не бес попутал, прельстив возможностью замены реальной (и серьезной) работы мифами, якобы способными разом решить все проблемы. Но мифами была пронизана вся советская жизнь, все ожидания близкого наступления коммунизма, светлое будущее грезилось не во сне, а в ближайшей перспективе. В связи с этим очень подходили и личности передовиков – простых людей, «рожденных сказку сделать былью».

В этих рассуждениях, вероятно, многое верно. Надо только исключить отсюда, как крайне неправдоподобное, предположение о том, что А.Г.Шлихтер, бывший с 1891 года профессиональным революционером, занимавший в 1920 году должность наркома продовольствия РСФСР (вспомните, что говорилось выше о борьбе с мешочниками) и посланный Лениным на подавление Тамбовского восстания, верил в близкое наступление коммунизма и в *простых людей, рожденных чтобы…* Уж очень это не вяжется с тем, что вытворяли Шлихтер и его подельники в реальности, как раз в эти годы «поголовной коллективизации».

И всё же. Предположим, что Шлихтер со товарищи, проводя по указаниям свыше раскулачивание и коллективизацию, то есть ломая хребет существовавшему крестьянству и

---

[132] Сначала яровизировали озимые, потом взялись за яровизацию яровых, а потом адепты этого чудодейственного агроприема и сами запутались в том, что они, собственно, делают и зачем. Сойфер приводит очень занятные в этом отношении выдержки из их статей.

превращая сельское хозяйство в руину, предвидят свое близкое будущее[133]. Как только процесс подойдет к концу, московские начальнички по доброй старой традиции пожелают найти кого-нибудь ответственного за разруху и срыв плана хлебозаготовок и, видимо, долго искать не будут. Поэтому у тех, кто был предназначен на роль будущих козлов отпущения, несомненно, было горячее желание найти хоть какое-то средство, способное смягчить и притормозить неизбежный экономический крах. Любой проект производства «вечного хлеба» из воздуха должен быть встречен в такой ситуации с неподдельным интересом. Однако могло ли горячее желание отодвинуть свой приближающийся печальный конец в такой степени ослепить сотни трезвомыслящих людей и лишить их разума настолько, чтобы они не заметили эфемерности и пустоты предлагаемого рецепта? Поверить в это трудно. Они были достаточно профессионально подкованы в своем деле и житейски опытны, чтобы сходу понять, что речь идет о банальной сказочке и что никаких «простых людей», готовых с энтузиазмом претворять эту сказку в быль, вокруг нет – да и откуда им было взяться на двенадцатом году советской власти. Причем заметьте: никаких усилий обмануть начальников, решающих быть или не быть яровизации, втереть им очки и «запарить мозги» научным антуражем или изощренно изготовленными декорациями и правдоподобной бутафорией предпринято не было. Весь расчет был на то, что начальникам нужна специфическая сказка, и на продажу была выставлена именно она, никто и не пытался выдать это творение народных умельцев за тщательно проработанный план ГОЭЛРО. Но, если начальственный заказ был на создание красивой сказки, то странно было бы предполагать, что заказчик намеревался распространением этой сказки добиться улучшения экономического положения. Дело здесь в чем-то другом.

И еще одно: если даже считать, что украинские сельхозруководители были заинтересованы в появлении хоть какого-то средства, способного увеличить производство хлеба, и потому столь доверчиво отнеслись к явному блефу, то чем можно объяснить поведение газеты «Правда»? Ведь редакция центральной партийной газеты и стоящее за ней Политбюро никак не могли опасаться того, что они окажутся в числе ответственных за развал сельского хозяйства на Украине. Тем не менее реакция «Правды» на самые первые сообщения о полтавском «опыте» была мгновенной и однозначной. Создается впечатление, что партийный печатный орган был заинтересован в тиражировании лысенковской сказки никак не меньше украинских начальников – ведь именно с подачи «Правды» благодетельность яровизации стала неоспоримым в пределах всей страны фактом и надолго заняла место злобы дня во множестве газет и газеток, в докладах на многочисленных совещаниях и в «научных дискуссиях». Отсюда мы можем констатировать, что интерес, проявленный всей системой большевистской власти к выставленному на рынок идей яровизационному мифу, имел, главным образом, центральное происхождение, и его не объяснить местными условиями, в которых он был представлен публике. Сварганенная Лысенко сказка по каким-то причинам пришлась как раз впору большевистской пропаганде и удовлетворяла каким-то ее потребностям.

Попробуем, хотя бы сугубо предположительно, разобраться, в чем мог состоять этот интерес, на котором Лысенко и построил свою аферу. Для этого придется сделать кое-какие (на мой взгляд, весьма правдоподобные) допущения, чтобы было на что опираться в рассуждениях. Первое, и главное, допущение мы уже сделали и считаем, что именно на него рассчитывал Лысенко, круто изменивший свои жизненные ориентиры и в одночасье превратившийся в отчаянного авантюриста. Это тезис о полной незаинтересованности власти в каких бы то ни было реальных успехах советского государства и общества. В частности, власти на всех уровнях и обслуживающей власть прессе было глубоко безразлично, даст ли пресловутая яровизация некую прибавку к будущим урожаям или же напротив будет тянуть эти

---

[133] И большинство из них, по-видимому, не слишком ошиблись в своих прогнозах. Шлихтер, в частности, уже через несколько месяцев после появления его статьи о яровизации, как сообщает Сойфер, расстался с креслом наркома и был «отправлен на низовку» директором Института марксизма-ленинизма УССР, а в конце тридцатых и вовсе был арестован и сгинул в лагерях. Ничем ему яровизация не помогла, да он, наверняка, на это и не надеялся.

показатели вниз. И действительно, могли ли быть всерьез заинтересованы в получении дополнительных одного-двух центнеров зерна на гектар те, под чьим блистательным руководством под восторженные вопли бесстыжих газетчиков была проведена массовая экспроприация крестьянства с последовавшими за ней тяжелейшей дезорганизацией сельскохозяйственного производства, массовым забоем и падежом скота, крестьянскими восстаниями, введением хлебных карточек, голодом и гибелью миллионов людей. О каких агрономических новшествах могла идти речь в то время, когда в деревне разжигалась натуральная гражданская война. Следовательно, цели всей поднятой шумихи были исключительно пропагандистскими, никакого экономического эффекта здесь и не предполагалось. Отбросим также идею о том, что яровизацией и ее успехами украинские товарищи надеялись заморочить голову кремлевским верховодам и представить экономическое положение украинского села в приукрашенном виде. В Кремле сидели не менее здравые люди, которых нельзя было обвести вокруг пальца таким примитивным способом. Да и, как мы убедились, именно из Кремля шла отмашка на пропаганду яровизации. Всё они прекрасно понимали. Кроме того, если дело было в том, чтобы представлять наверх рапорты о несуществующих успехах, то зачем для этого потребовалась яровизация? Ведь и с ней, и без нее успехи по-прежнему оставались несуществующими, и цифры, подтверждающие *неуклонный рост производства* и *расцвет украинского села*, всё так же высасывались из пальца, как и в дояровизационную эпоху. Выдумка с яровизацией не добавляла этим цифрам убедительности, а скорее наоборот, обнажала их дутую природу. Таким образом, мы приходим к выводу, что вся начальственная затея с яровизацией была чисто пропагандистской кампанией, не имеющей никакой прочной связи с реальными потребностями общества и в этом сходной со множеством других исходящих от власти «починов» и «движений». Но тогда неизбежен вопрос: на кого было направлено такое пропагандистское воздействие? Кого собиралась убедить власть в необходимости яровизации и, главное, зачем?

И вот тут нам придется сделать еще одно допущение, в истинности которого я не сомневаюсь, но которое может показаться излишне экстравагантным части моих потенциальных читателей. Ничем не могу помочь затрудняющимся перешагнуть эту ступеньку, но предлагаю сделать всё же этот шаг и посмотреть, к каким выводам позволяет придти такое понимание сути обсуждаемого дела. Я надеюсь, что правдоподобность следствий, вытекающих из предлагаемого тезиса, и их хорошая согласованность с известными нам фактами, склонят скептически настроенного читателя к мысли, что выдвигаемый в следующих строках тезис – не выдумка автора, не знающего как выпутаться из сложностей рассказываемой истории, а более или менее верное описание одного из важных элементов, сочетание которых образует механизм большевистской власти.

Тезис этот гласит:

Советская пропаганда не стремится кого-либо в чем-нибудь убедить или внушить кому-то веру в пропагандируемые ею убеждения.

Сформулированное подобным образом утверждение кажется, на трезвый, непредубежденный взгляд, абсурдным и противоречащим самому себе. Обычное употребление слова *пропаганда* подразумевает, что под ним понимаются некоторые действия и мероприятия, призванные внушить объекту пропаганды некоторое убеждение и заставить его поверить в истинность пропагандируемого утверждения, а тем самым и побудить его к определенным действиям, чем-то выгодным тому, кто занимается такой пропагандой. Вполне можно представить себе, что пропаганда может быть лживой и пропагандируемое утверждение может не соответствовать реальности. Но считать, что пропаганда не пытается кого-то и в чем-то убедить, это значит неверно употреблять используемый термин. Всё это так. Но прошу отметить, что в выдвигаемом мною тезисе использован особый термин *советская пропаганда*. И это меняет дело.

Давно замечено, что присовокупление к любому существительному прилагательных *партийный, советский, пролетарский, социалистический* очень часто кардинально меняет смысл употребленного существительного: *большевистская принципиальность* означает то, что обычно принято считать конформизмом, оппортунизмом и беспринципным приспособленчеством, *партийная совесть* указывает на полное пренебрежение моральными нормами, *социалистический гуманизм* в большинстве контекстов может быть без изменения смысла высказываний заменен на людоедство и абсолютную безжалостность, *советский гражданин* – человек, никакими гражданскими правами не обладающий, и т.д. С аналогичным случаем «загрязнения имен» мы здесь как раз и столкнулись. *Советская пропаганда* – это, конечно, не *пропаганда* в обычном понимании данного слова. С исходной *пропагандой* ее роднят только некоторые элементы формы, в которой она осуществляется: крикливость, назойливость, пренебрежение к последовательности изложения и к логичности, склонность к преувеличениям и прямой лживости и т.п. – но функция, которую она выполняет в обществе, радикально изменилась[134], и в новое понятие вкладывается совершенно иной смысл, не имеющий ни малейшего сходства с прежним понятием.

Даже если читатель и согласится принять (как допущение) вышеизложенное толкование, всё же остается вопрос: зачем? – зачем власти нужна *советская пропаганда*, которая никого не убеждает?[135] В чем ее функция в механизме большевистской власти?

---

[134] Разумеется, между *пропагандой* и *советской пропагандой* существует генетическое родство: вторая, несомненно, произошла от первой. При этом, процесс превращения малоэффективной и лживой советской *пропаганды* в высокоэффективную и уже не имеющую прямого отношения к истине или лжи *советскую пропаганду* происходил как бы сам собой – шаг за шагом и большей частью совершенно незаметно для ее непосредственных производителей.

Вряд ли Вит.Федорович понимал суть процесса, в котором он участвовал. Как и положено рядовому ремесленнику, он знал, чего от него хотят, и умел в своих опусах соответствовать конкретным пожеланиям заказчика, но понять, какой цели служит выполнение этих заданий, он не мог, да и, будучи простым человеком, видимо, не интересовался этим вопросом, разрешение которого в любом случае не могло повлиять на оплату его трудов. Как и сотни тысяч других *автоматчиков партии* – интеллектуалов той эпохи – он врал по заданному шаблону, поскольку за такое вранье неплохо платили, и не ломал голову над тем, кому и зачем это вранье могло потребоваться. Хотя, конечно, такой неглупый и чуткий ко всевозможным «веяниям» прохиндей мог всё же как-то неосознанно – «животом» – ощущать, что за этим не особенно и скрывающимся враньем стоит какая-то еще более изощренная ложь, но смысл ее он и не пытался разгадать.

[135] Я не стану утверждать, что никто из читавших в то время газеты или слушавших радио не мог поверить в реальность чудодейственных свойств яровизации. Я даже уверен, что такие люди были. Какой-то процент читателей и слушателей, особенно среди городских жителей, слабо представляющих, чем озимые отличаются от яровых и зачем менять одни на другие, вполне мог попасться на эту нехитрую удочку. Пусть их было пять, десять или даже пятнадцать процентов от всей массы дееспособного населения. С этим я вполне могу согласиться. Но я продолжаю настаивать, что главная цель советской пропаганды не в убеждении этой небольшой части населения – это всего лишь ее побочный эффект, не имеющий существенного значения для тех, кто руководит такими пропагандистскими кампаниями.

В этом, кстати сказать, кардинальное отличие обсуждаемого феномена от торговой рекламы, с которой мы все теперь хорошо знакомы. Пусть лишь небольшая часть жителей, вынимающих ежедневно рекламные газетки из своих почтовых ящиков, разворачивает их и знакомится с помещенными в них рекламными объявлениями, а не выбрасывает их сразу же, не открывая, в мусоропровод, удобно расположенный на той же лестничной площадке. Пусть из прочитавших объявление лишь очень немногие поверят напечатанному тексту и решат купить рекламируемый продукт, но именно на них и нацелена та рациональная составляющая любой рекламной кампании, которая служит ее оправданием в глазах заказчика. Даже незначительный процент всего населения, положительно отреагировавший на прочитанное объявление, может оказаться достаточным для того, чтобы предлагаемый *Чудо-гель с пантотеном, приводящий волосы в идеальное состояние* был наконец-то распродан, окупив в том числе и расходы фирмы на его рекламу.

Но такой подход совершенно не пригоден в общем случае для оценки эффективности пропаганды советского типа. Тот, кто имел дело с яровизацией, поверить в ее чудесные свойства не мог, а тот, кто

Я думаю, настало время обратиться за помощью к *методу апелляции к реальности*, который я так настойчиво – и надеюсь, не безуспешно – пропагандировал в своем «Историко-методологическом интермеццо». Мы не можем понять мотивы, побуждающие большевистское руководство инициировать шумные пропагандистские кампании, которые – как и в обсуждаемом нами случае яровизации – никого не убеждают и никакого положительного эффекта, с нашей точки зрения, произвести не могут. Единственное, что они производят, – это крики, аплодисменты, барабанный бой, бессмысленное нагнетание ажиотажа, бодрые сводки с фронта борьбы за очередной фетиш, которые заполнены фиктивными, взятыми с потолка показателями, передовики этого дела, приглашаемые в президиумы бесчисленных совещаний, пионеры, повязывающие им символические красные галстуки, встречные планы, повышенные обязательства, приветствия участникам движения, оглашаемые от имени кремлевского руководства и встречаемые бурными, продолжительными овациями (все встают и поют «Интернационал», а через месяц-другой любуются собой на сеансе кинохроники – *я вот там, в шестом ряду около второй колонны – разглядела?*), всеобщее ликование, и параллельно с этим публичное сечение отстающих, строгие оргвыводы в отношении не осознавших и не перестроившихся, выведение на чистую воду затаившихся вредителей, выявление и пригвождение к позорному столбу маловеров и нытиков, естественные при этом перегибы и сведение счетов, новые волны энтузиазма и вызванная ими глухая злоба тайных и явных врагов и недоброжелателей советского строя, хихикающие обыватели, на ушко пересказывающие друг другу анекдоты на злободневную тему, – короче говоря (а я уже утомился перечислять всем известные аспекты любой советской пропагандистской кампании), жуткая, безумная свистопляска вокруг вовсе несуществующего, как в нашем примере с яровизацией, или, в лучшем случае, более или менее разумного, но всерьез не интересующего главных участников этого шабаша и в пылу борьбы отодвинутого на задний план дела. Предположим, согласно нашему методу, что основной целью инициаторов является сама эта свистопляска, и постараемся увидеть в ней некое рациональное – с их точки зрения – содержание[136].

Как ни удивительно, но за этим бессмысленным, на первый взгляд, бедламом можно разглядеть вполне здравый, точно рассчитанный замысел, и подсказку для того, чтобы разгадать его, можно найти в том же самом «Интермеццо», которым я еще долго не устану похваляться. Аналогично рассуждениям в примерах, описывающих борьбу с мешочниками и беспрецедентные по жестокости раскулачивание и коллективизацию, можно думать, что и в случае с проведением пропагандистских кампаний речь идет не об экономическом эффекте, которого странно было бы ожидать при таком способе действий, и не о какой-то особой идеологической подоплеке событий, а о воздействии на людей, волей или неволей участвовавших в инициированных властью процессах. Я полагаю, что целью советской пропаганды было *создание нового человека*, превращение *людей* в *советских людей*, главное отличие между которыми было в том, что *людям* большевистская власть мешала жить, и они охотно бы от нее избавились, а *советские люди* жить без этой власти не могли.

Вывод, на мой взгляд, поразительный: та эзотерическая тайна пропагандистских кампаний, над которой мы ломали голову, оказывается, дословно совпадает с лозунгом той же советской пропаганды, не только регулярно появлявшимся в передовицах «Правды» и тому подобных установочных документах, но и беспрестанно тиражировавшимся в бесчисленных опусах творцов социалистического реализма, в журналистских очерках на моральные темы, в

мог поверить, поскольку дела с ней не имел, естественно, не был в состоянии повлиять на результаты ее внедрения в производство зерна. В любом случае, эффективность такой пропаганды – если понимать ее в обычном смысле – должна быть равна нулю.

[136] А оно в *советской пропаганде*, непременно, должно быть. Недаром же в каждом обкоме и горкоме партии существовал специальный *отдел агитации и пропаганды – агитпроп*. Это было одно из важных и нужных для создателей данной системы власти направлений партийной работы.

«теоретических трудах» советских философов[137], да и просто на кумачовых полотнах, растянутых по случаю праздника для украшения улиц. Партия большевиков в лице своих идеологов не скрывала своих целей и объясняла всем и каждому, что одной из важнейших целей при затеянном переустройстве общества на новый лад является переделка тех людей, которые составляли старое общество, но которые не вполне пригодны для жизни при новом строе. Социалистическое общество требует людей нового типа, но поскольку в начале построения социализма такие люди составляют лишь незначительную часть населения, будучи сознательными пролетариями, авангардом борьбы за переделку общества на новый лад, то в течение переходного периода от капитализма к социализму основная масса должна быть переделана и перевоспитана – из имеющегося в наличии человеческого материала должны быть созданы новые люди с требуемыми социализму качествами. Широко известна и часто цитируется фраза Н.Бухарина из его книги, вышедшей в 1920 году, когда борьба с мешочниками была в полном разгаре:

> С более широкой точки зрения, т.е. с точки зрения большего по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи[138].

Обычно цитирующие эту хлесткую фразу, в которой «любимец партии» рассматривает живых людей как сырье, необходимое для работы созданной большевиками мегамашины, обращают внимание на готовность руководителей партии использовать для достижения своих целей самое жестокое и ничем не прикрытое насилие. Однако к 1920 году удивить кого-то такими заявлениями было уже затруднительно. Вся политика большевиков строилась на открытом и даже демонстративном насилии и внеэкономическом принуждении: ставка делалась на террор и запугивание, которые стали фирменной маркой большевистской власти. От всех подвластных требовались абсолютная покорность и согласие на любые тяготы, сопровождавшие запланированный большевиками социальный эксперимент. *Кто не с нами, тот против нас*, и с ним церемониться не будут, он будет покаран по всей строгости революционного закона. Число жертв такого подхода к *выработке коммунистического человечества* исчислялось сотнями тысяч, и рядовой обыватель, попавший волею судеб в объятия советской власти, не надеялся ни на какое снисхождение. Если он не готов был взять в руки оружие и стать на путь открытой борьбы с большевиками, ему оставалось только безропотно подчиняться всем требованиям власти и уповать на то, что, дескать, всех не перевешают, авось меня и проглядят.

И всё же насилие – это лишь средство, с помощью которого большевики собирались добиваться своих целей, и более важным представляется вопрос о том, к чему же они конкретно стремились, какой *новый человек* им был нужен, какими качествами он должен был обладать, чтобы соответствовать запланированному образцу. Вопрос этот, надо сказать, трудно разрешим, поскольку на данную тему кто только не высказывался, начиная с того же Бухарина или Троцкого, чьи слова были в ту пору весомы и воспринимались как глас самой партии. Им вторили и параллельно выдвигали свои соображения многочисленные работники этого самого

---

[137] Здесь каждое слово требует кавычек, поскольку *советский философ* вовсе не *философ*, а *социалистический реализм*, если и связан каким-то образом с *реализмом*, приписываемым литературоведением Толстому и Чехову, то обнаружить эту связь будет очень непросто. Этот *метод отражения действительности* представляет собой настолько специфическое явление, что непонятно даже, следует ли его рассматривать в рамках литературы или же его нужно втискивать в какую-то иную классификацию. Мне, например, нравится такое старинное определение: «Социалистический реализм – это восхваление начальства в доступных ему формах».

[138] Бухарин Н. Экономика переходного периода. // Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.: Экономика, 1990, с. 197

агитпропа, отрабатывающие свои пайки и вещающие по должности, целая армия журналистов и партийных публицистов, десятки тысяч безвестных ораторов, выступавших на митингах и собраниях, – вся эта разношерстная компания советских пропагандистов, в которой были и искренние борцы за рабочее дело, в большинстве своем поплатившиеся за свою искренность и безоглядное увлечение строительством нового мира, и циничные демагоги, значительная часть которых столь же печально закончила свою карьеру. И одновременно с этим внести свою лепту в прояснение животрепещущего вопроса не возбранялось и всякого рода попутчикам, еще не вполне стоявшим на советской платформе, но желающим воспользоваться случаем и донести до публики свои заветные мысли о том, что плохо в ветхом Адаме и какие свойства не мешало бы приобрести людям будущих дней. Всё это вместе взятое составляет широчайший пестрый спектр мнений – сплав здравых суждений, поэтических фантазий, научных прозрений, полусумасшедших утопий и самой беззастенчивой демагогии. Здесь, естественно, существовали различные меняющиеся с годами моды, ожесточенные споры, борьба амбиций и подковерные интриги. Подвизаясь в этой области, легко можно было скатиться в болото *правого оппортунизма* или неожиданно для самого себя оказаться *меньшевиствующим идеалистом*. Всякое бывало. Временами власть милостиво позволяла расцветать на этом поле «ста цветам», в другой период рамки дозволенных рассуждений ограничивались узким перечнем установленных сверху качеств, приписываемых будущему человеку. Но в целом, рассматривая весь набор высказанных воззрений, можно придти к выводу, что здесь мы сталкиваемся со «свободным творчеством широких народных масс» (пусть даже относительно свободным, под присмотром сверху). Железной направляющей руки партии в этом вопросе не чувствуется. Окрики и затрещины попавшим под руку, конечно, были, но какую-то четко прорисованную твердую линию, единообразно проводимую из года в год, вычленить не удается, и это удивительным образом противоречит самому существованию агитпропа и тому почетному месту, которое он занимал в деятельности партийных и советских органов власти. Складывается впечатление, что, разворачивая бешеную пропаганду воспитания нового человека и вовлекая в нее кого только можно, власть была мало обеспокоена тем, какого именно человека она собирается воспитать, и оставляла выбор его будущих качеств на волю самих перевоспитываемых «трудящихся масс» и просто слепого случая. То есть и на этом этапе наших рассуждений мы сталкиваемся с тем же парадоксом. Чтобы выпутаться из противоречия между несомненной полезностью пропаганды как социального института, созданного большевиками, и очевидной бессмысленностью и бесполезностью большинства пропагандируемых тезисов, мы сделали вывод, что полезность пропаганды не обусловливается ее конкретным содержанием, а лежит в иной плоскости – она полезна тем, что воспитывает нового человека. Но приняв это за истину, мы опять приходим к противоречию: цель пропагандистских усилий сводится к созданию нового человека, но, судя по всему, желаемый конечный итог этой неустанной работы не вполне ясен ни самой пропаганде, ни стоящей за ней власти – образ запланированного человека меняется от года к году, и, похоже, никого это особенно не беспокоит. Вся видимая нам картинка может быть адекватно описана «оппортунистическим» лозунгом Э.Бернштейна: «Конечная цель – ничто, движение – всё», который был широко разрекламирован «борющимися с ревизионизмом» советскими брошюрами. Однако такое понимание дела слишком уж расходится с общим обликом и известной прагматичностью большевиков: не могли они позволить существенной части выстроенного ими механизма крутиться на холостом ходу, не принося никакой пользы строительству «первого в мире социалистического государства».

Разрешение описанного выше парадокса предложено давно. Наиболее въедливые и не склонные идти на поводу у советской пропаганды критики большевизма уже много лет назад заподозрили, что все эти видные с поверхности споры о новом человеке и прожекты его воспитания следует рассматривать как маскировку главного эффекта пропаганды – воспитание в людях послушности начальству. Неважно, чего именно требует очередная пропагандистская кампания: создания бригад коммунистического труда, товарищеского отношения к женщине,

удвоения в течение года показателя яйценоскости или разоблачения в каждой области не менее десяти японских шпионов, нужно ли бросить все силы на выращивание кок-сагыза, мелиорацию, яровизацию, борьбу за трезвость или немедленный переход промышленности на станки с ЧПУ – всё это труха, суть которой мало что значит для истинных целей власти. Важно, что, получив сегодняшнюю установку, каждый воспитуемый должен взять под козырек и без долгих расспросов и препирательств с полной отдачей начать действовать в духе полученных указаний. Истинная цель всех пропагандистских кампаний – воспитание в переделываемых на социалистический манер людях рабской покорности и привычки слепо, не рассуждая, подчиняться и выполнять любые, даже самые абсурдные и противоречащие их жизненным интересам, приказы начальников.

С таким объяснением трудно, да и не хочется спорить. Мне кажется, что оно вполне приемлемо истолковывает все видимые несуразности, которые бросаются в глаза всякому, кто пытается понять, как функционирует и зачем существует *советская пропаганда*. В его свете становится ясной и та роль, которую советские идеологи отводили насилию в деле коммунистического воспитания трудящихся, – именно оно обеспечивает тупую покорность воспитуемых и изымает из обращения тех, кто упорно сопротивляется такому воспитанию. Раскрытая таким образом истинная цель пропаганды советского разлива прекрасно сочетается с выдвинутым нами допущением, что советская пропаганда не пытается никого и ни в чем убеждать, ей это совершенно не нужно. Если ее цель – воспитание привычки к послушанию, то оказывается абсолютно неважным, веришь ли ты в осмысленность и нужность предписываемого тебе дела. Веришь или не веришь, помалкивай и делай, что тебе говорят. Иначе… сам знаешь, чем это может для тебя закончиться. С этой точки зрения, содержание пропагандируемых лозунгов и установок не имеет большого значения: требование выполнять действительно разумные и полезные для общества указания и требование неукоснительно следовать глупейшим рекомендациям могут быть одинаково полезными для воспитания послушности человеческого стада. Более того, чем абсурднее очередная начальственная установка, чем больше она противоречит устоявшемуся жизненному укладу, привычкам и принятым в обществе социальным и моральным нормам, тем эффективнее она может оказаться в деле воспитания рабской покорности и искоренения присущей невоспитанному человеку вредной привычки оценивать начальственные приказы с позиций здравого смысла и нравственности.

Однако, признавая справедливость всего вышесказанного, я предлагаю не останавливаться после удовлетворительного решения стоявшей перед нами задачи, а продвинуться еще на шаг и постараться выяснить расположенную глубже (*под* этим решением, если можно так выразиться) и важнейшую цель функционирования советской пропагандистской машины. Мне кажется, что достижение покорности и привычка к бездумному и некритичному выполнению приказов – лишь первая ступенька, на которую должен взойти исходный человеческий материал, чтобы превратиться в *советского человека*[139].

Некоторые читатели, наверное, уже заметили, что описание послушного подвластного и процесса его воспитания и переделки очень напоминает процесс армейского обучения и воспитания, в котором ломка разнообразных по привычкам, наклонностям и способностям

---

[139] Если следовать принятой выше логике, то приходится признать, что присоединение эпитета *советский* к существительному *человек* должно приводить к радикальному изменению исходного понятия, связываемого со словом *человек*. То есть *советский человек* – вовсе не *человек* в его старом добром понимании. Так оно и есть. При доведенном до желаемого идеального образца воспитании нового человека его продукт – *советский человек* – не обладает сущностными характеристиками *человека*, они оказываются вытравленными в процессе воспитания, а следовательно, такое существо и не должно называться человеком, дабы не приводить к путанице в рассуждениях и логическим ошибкам. Если даже в этом существе и обнаруживаются кое-какие человеческие свойства, перешедшие к нему от исходного человеческого материала, то это всего лишь *родимые пятна старого строя*, генетические дефекты, неизбежные при таком происхождении, но не связанные с его новой сущностью и не определяющие его мотивацию, поведение и жизненные ориентиры.

молодых людей, поступивших в армию с очередным призывом, и переделка их в однотипных, внешне трудноразличимых *рядовых* является основной целью деятельности всей армейской структуры. Здесь также основной инструмент – насилие, и та же основная цель – создать привычку к беспрекословному послушанию. Поэтому не так уж важно каковы конкретные требования к воспитуемым – можно часами гонять их на плацу, добиваясь единообразного и синхронного вытягивания носка, можно заставлять бегать десятикилометровые кроссы, можно приучать стоять навытяжку под знаменем, так, чтобы ни один мускул не дрогнул, а можно и по три раза заставлять перемывать зубной щеткой казарменный коридор – к предполагаемым боевым действиям всё это никакого отношения не имеет, а воспитательный эффект получается приблизительно тем же. Следовательно, чем тупее непосредственные «воспитатели», чем бестолковее и противоречивее их приказы: *Копать от забора до обеда, а после обеда всё выкопанное засыпать и заровнять*, тем надежнее будет приближение человеческого материала к желанному идеалу. В качестве такового имеется в виду существо, почти не отличающееся от зомби, – человек-автомат, не имеющий своей воли и желаний, послушный инструмент в руках любого начальника. Идеал этот, безусловно, труднодостижим в реальных условиях, так что в армии полным-полно и своевольства, и пренебрежения обязанностями, и всяческих, направленных на обман начальства махинаций и уверток, но всё же идеальный образ машинообразного подчиненного служит путеводной звездой всем армейским затеям. Если бы можно было добиться воплощения в жизнь этого армейского идеала, такая армия радовала бы глаз любого генерала и стоящих над ним начальников.

И всё же у такой армии есть один крупный недостаток (правда, с точки зрения не генералов, а тех, кто раздает им генеральские звания) – воевать всерьез против сравнимого по мощности противника такая армия не может. И это с неопровержимой доказательностью продемонстрировал 1941 год, когда за считанные месяцы насчитывающая около четырех с половиной миллионов солдат и офицеров кадровая Красная армия рассыпалась и просто исчезла со всеми своими десятками тысяч танков, пушек и самолетов, почти не участвуя в боях и не мешая продвигаться вглубь страны хуже вооруженному и уступающему ей в численности противнику. Здесь, разумеется, сыграли свою роль разнообразные факторы, сводящие чуть ли не к нулю боеспособность красноармейских соединений, но, поразмыслив, мы должны будем признать, что армия, целиком состоящая из признанных идеалом не рассуждающих и послушных солдат, даже при отсутствии всех прочих неблагоприятных обстоятельств вряд ли могла упорно и успешно сопротивляться опасному врагу. Дело в том, что приученный к послушанию человек выполняет отдаваемые ему приказы не потому, что он считает их правомерными и осмысленными, совпадающими, в общем и целом, с его собственными жизненными ориентирами, а потому, что находится в созданном угрозами и принуждением силовом поле и действует под влиянием этого внешнего импульса. Пока исходящее от начальников и стоящей за ними всей армейской структуры силовое поле остается единственным внешним воздействием на признанного идеальным солдата, он делает то, что от него требуют. Но как только на поле боя возникает еще одно силовое поле, чьи импульсы, транслируемые через убийственный артиллерийский и пулеметный огонь, действуют на того же солдата в противоположном направлении, вся система подчинения начинает рушиться и терять свою монолитность. В таких ситуациях легко может начаться цепная реакция распада: непослушание части солдат уменьшает воздействие идущего от собственной армии силового поля и ведет к тому, что подчиняться приказам перестает следующая часть солдат, еще больше ослабляя армейскую систему подчинения, и так далее, и так далее.

Можно не сомневаться, что большевики хорошо понимали такую противоречивую («диалектическую») сущность воспитываемой у масс послушности и не могли удовлетвориться такой относительно просто достижимой целью – гораздо важнее для них было воспитание сознательных сторонников их большевистской власти, то есть тех, кто будет защищать ее и в отсутствие внешних импульсов, принуждающих к таким действиям. На примере борьбы с мешочниками мы видели, что такие *сознательные пролетарии* представляют собой слой

людей, связанных с этой властью одной веревочкой, совокупность всех тех, кто может более или менее благополучно жить лишь при наличии советской власти. Они подчиняются приказам власти не только потому, что находятся под воздействием непосредственного принуждения и угроз, но и потому, что поражение и исчезновение большевистской власти было бы и концом их собственного привычного существования. Именно осознание этого факта делает их стойкими и верными защитниками своих угнетателей.

Сознательная (не из-под палки) верность большевистской власти – вот главная характеристика *советского человека*, над созданием которого во всё больших количествах и во всё более приближающихся к идеалу образцах трудилась, не покладая рук, советская пропагандистская машина. Если вдуматься, то приходишь к мысли, что вся партийно-государственная машина в нашей стране ни о чем больше не заботилась кроме производства *советских людей* и ничего кроме них и не производила.

Я думаю, что мы уже выяснили в общих чертах заинтересовавший нас вопрос о сущности и целях *советской пропаганды*, но хочу всё же, хотя бы вкратце объяснить – как я себе это представляю, – каким образом кампания по внедрению яровизации в производство зерна (или иная подобная пропагандистская кампания) могла способствовать созданию и воспитанию *советских людей*.

Первое, о чем следует здесь сказать, это то, что стиль большинства подобных кампаний – особенно в те годы – был взвинченным, требовательным и даже угрожающим, никакие благодушные нотки в нем не сквозили. *Давай, давай… Шевелись… Не отставай… Кто там шагает правой?* И это не было пустой журналистской трепотней. Как ни склонна эта газетная братия к преувеличениям и раздуванию любых пустяков до размеров эпохальных свершений, единодушие, с которым все как один органы пропаганды начинали дудеть в одну дуду, показывало, что болтовня болтовней, но направление этим журналистским выдумкам задается из одного центра, и значит *там* взят определенный курс, – отклоняться от него не безопасно. Вся чиновничья пирамида понимала, что если в центральных газетах появилась установка на яровизацию, значит *они* намереваются воспитывать подчиненных на примере этого агрономического новшества, и не дай бог прослыть при этом трудновоспитуемым. Чиновник высокого ранга, *проваренный в чистках как соль*, вообще-то говоря, уже воспитан, он, скорее всего, и есть тот самый *советский человек*, о производстве которых так пекутся родные партия и правительство, его трудно заподозрить в том, что он недопонимает важность курса на яровизацию. Все он понимает, а чего не может выразить словами, то исправно воспринимает какими-то иными нежели мозг, внутренними органами (хотя в сознании пишущего почему-то всплывает старинное, известное из классиков выражение *поротой задницей*). Иначе бы он не оказался на своем посту. Он особенно и не волнуется, для него участие в таких воспитательных кампаниях – обычная рутина. Ему пришлось пережить не один десяток таких прокатывающихся по стране пропагандистских волн, и у него уже сформировался единообразный шаблон, по которому он реагирует на очередную волну. Главное для него не забыть про *сегодняшнюю правду* – с его бесчисленными должностными заботами и общественными нагрузками существует опасность в суматохе (а ведь параллельно идет несколько воспитательных кампаний, только успевай поворачиваться) пропустить нужные сроки и к моменту отчета оказаться с пустыми руками. И он отмечает в перекидном календаре: *Яровизация. До 1.12.29. Иваненко, Софронов, Козелькис – предложения и план.* Всё. Теперь дело должно стать на правильные рельсы[140]. Такому опытному служаке просто не может придти в голову

---

[140] Андрей Платонов, работавший до 1926 года инженером-мелиоратором и заведующим отделом электрификации в Губземуправлении и, следовательно, тесно общавшийся с персонажами, подобными тем, чьи мотивы и поведенческие шаблоны мы пытаемся понять, написал, на основе своих многолетних наблюдений, рассказ «Город Градов» (1926), в котором есть запоминающаяся с первого прочтения фраза – запись, обнаруженная героем повествования в ежедневнике *одного столоначальника*:

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня».

Рассказ обычно квалифицируется как сатирический, но его предваряет поставленный автором эпиграф:

поинтересоваться, есть ли рациональный смысл в этой яровизации или это очередная псевдоученая блажь. Какое это может иметь значение, если выполнять полученную установку надо будет в любом случае. Кто-то наверху так решил, наверное, он знает, что и зачем. А его дело: спустить приказ по начальственной лестнице так, чтобы он дошел до конкретных ответственных лиц, и проконтролировать его исполнение. Проверяется ведь не его способность разобраться в яровизации – на то он и начальник, чтобы не заморачиваться такими пустяками, – проверяется его дисциплинированность, послушность и – это главное – способность руководить. Если он сумеет мотивировать и стимулировать своих подчиненных и добьется от них выполнения приказа на таком уровне, чтобы их область выглядела не хуже, а то и лучше других, значит он по праву занимает свое место и может надеяться на повышение. Если же его подчиненные не покажут себя с лучшей стороны, значит он не умеет их воспитывать, и грош ему цена как начальнику. А что там получится из внедрения этой… как ее… яровизации, это уж не его забота. Об этом должны заботиться те, кого ему поручено воспитывать. Вот пусть и стараются, а то он их так простимулирует. Вот и вся нехитрая логика сельскохозяйственного руководителя, как она мне видится с его кресла, которое я ненадолго занял, чтобы представить, как бы я себя вел, окажись я на его месте.

Теперь осталось только не забыть, что статьи в «Правде» внимательно прочитали не только в Губземуправлении, но и в губкоме партии, губкоме комсомола, губисполкоме, местном подразделении ГПУ, губпрофсовете, губнаробразе и других республиканских, губернских, уездных учреждениях. Некоторых ответвлений власти это касается в большей степени, некоторых – в меньшей, но все внимательно читающие центральную прессу начальники взяли себе на заметку, что сегодня – читай сегодняшнюю «Правду» – яровизации придается важное политическое значение, и многие из читавших запланировали для себя какие-то телодвижения, призванные засвидетельствовать их правильное понимание полученной установки. В губернском суде, например, заранее приняли решение поставить на особый контроль дела, связанные с саботажем яровизации, и оформили это решение в виде специальной бумажки, направленной в низовые суды губернии. Теперь, если любой уездный суд будет рассматривать дело колхозного возчика, по разгильдяйству свалившегося с ветхого моста в реку и утопившего три мешка яровизированных семян, это не кончится принудработами сроком на два месяца, как это было бы, окажись семена обычной пшеницей, а приведет к полноценным пяти годам в северных лагерях за саботаж и вредительство. А тот судья, который вздумает вдруг пожалеть бестолкового возчика и не примет во внимание разосланное губсудом инструктивное письмо, рискует отправиться туда же с еще более внушительной статьей. Дисциплинирующее насилие и угроза его применения являются, как мы уже знаем, важнейшим инструментом воспитания нового человека. Но всё это происходит на уровнях власти, заполненных в основном уже сформированными советскими людьми, им уже не требуется курс молодого бойца – они и так уже испытанные и закаленные защитники советской власти. Их надо только держать в тонусе, чтобы они не отлынивали от выполнения своей задачи – воспитывать подвластных им простых людей в советском духе.

От всех этих советских учреждений, где прослойка *советских людей* и так высока, приводные ремни тянутся вниз, к земле, на которой копошатся простые *люди* – они-то и есть основное сырье для обрабатывающей советской машины, главный резерв поступления всё новых и новых генераций *советских людей*. Пропустим в своем разборе председателя колхоза, хотя он и важнейшая, вероятно, фигура в обсуждаемой яровизационной кампании. Но в качестве воспитуемого он для нас большого интереса не представляет. Если он – председатель, то, видимо, он уже прошел через горнило коллективизации и раскулачивания, а

«*Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.* Ив. Шаронов, писатель конца XIX века».

Поверив Платонову, мы должны воспринимать цитированную фразу не как гиперболу, введенную в текст ради красного словца и для заострения художественного эффекта, а как часть приземленного фактографического отчета о будничной жизни губернских канцелярий.

следовательно, он уже сознательный сторонник большевистской власти, без которой он своей жизни не мыслит. Конечно, у реальных председателей еще множество разнообразных пережитков, доставшихся им от бывших *людей*, которыми они были прежде, – вот в избавлении от этих родимых пятен досоветской эпохи воспитательные кампании могут сыграть важную роль. Но всё-таки это совсем не то, что нам нужно для примера.

Возьмем и рассмотрим процесс советизации простого агронома. Предположим, он еще мало связан с властью и не чувствует к ней большой симпатии. Он тоже окончил Киевский сельскохозяйственный институт, какое-то время после окончания околачивался на мелкой фиктивной должности в Сахаротресте – перекладывал груды бумажек с места на место и составлял ежемесячные сводки, но затем был направлен во вновь организованный колхоз и получил самостоятельное и ответственное место колхозного агронома. Он, как и Лысенко, – крестьянский сын, и то, что он *вышел из крестьян* для него очень важно. Для власти главное – что *из крестьян*, а для него самого – что *вышел*, стал образованным человеком – агрономом. Именно это было заветной целью всех его предшествующих стараний – оторваться от сохи, от нескончаемой изнурительной работы, от постоянного ощущения, что любая неудача может столкнуть тебя в нищету, от которой ты и так недалеко ушел. Правда, пока он карабкался через трудности и лишения к желанному месту в обществе, само это место изрядно полиняло и уже не кажется столь завидным, как раньше. Колхозный агроном по своему социальному статусу и материальной обеспеченности – это далеко не тот *пан агроном*, который занимал воображение его отца, из кожи лезущего, чтобы дать ему образование. Но всё же главное удалось, и теперь ему не грозит вытягивающий жилы крестьянский труд, он преодолел сразу несколько ступенек и встроился в огромную сельскую производственную систему не на низшем ее уровне, на котором были его предки, а где-то в средине производственной пирамиды, даже ближе к тем, которые руководят всем этим производством. Не беда, что с агрономическими познаниями у него пока что слабовато, если не лениться, всё пропущенное в институте можно наверстать, существуют книги и вокруг много знающих опытных людей, с которыми всегда можно посоветоваться. В общем и целом, его будущее обеспечено. Он – дипломированный специалист, и приобретенные им знания дадут ему вес в обществе, почет, уважение и материальное благополучие, пусть и в значительно меньших размерах, чем имели агрономы до революции.

Однако с самых первых шагов в его профессиональной деятельности колхозная действительность вносит существенные коррективы в такие рассуждения. Конечно, он и до этого был о многом наслышан, сидючи в своем Сахаротресте, но одно дело – знать с чужих слов, а другое – столкнуться с этим нос к носу, находясь к тому же по другую сторону прилавка. Оказывается, что агрономические познания – даже в том небольшом объеме, которым он обладает, – остаются невостребованными в реальном колхозном производстве. Роль агронома оказывается ничтожно малой. Что сеять, когда, в каких количествах, какими семенами, по каким нормам и т.д. определяет не он – колхозный специалист, и даже не правление во главе с председателем, а жестко сформулированные указания, поступающие из райкома партии, политотдела МТС, Наркомзема и еще черт знает откуда. Его мнения и рекомендации оказываются при таком раскладе излишними и никому не нужными. Причем многие из терзающих колхозы указаний, за выполнением которых следит туча проверяющих и уполномоченных, налетающих на села как саранча, противоречат здравому рассудку, идут наперекор всем агрономическим нормам и традициям и часто выглядят просто вредительскими. Это ясно не только нашему агроному, но и любому колхозному бригадиру – они ведь тоже своего рода профессионалы в этих вопросах. И никому ничего не объяснишь и не докажешь – а он пытался. Уком ссылается на приказы губкома, уполномоченные, когда им растолковываешь бессмысленность и вредность того, что они требуют, суют под нос решения 7-ой губернской партийной конференции, и любые здравые аргументы отскакивают от них, как от стенки горох. Толковать с этими замордованными начальством чиновниками бесполезно. И ничего с этим не поделаешь.

– *Ваня*, – говорит ему председатель в минуту благодушного настроения – он много старше по возрасту, опытнее агронома и вразумляет его как непослушного ребенка, – *Ваня, положим ты прав и сеять, действительно, рано. Не стану с тобой спорить – ты со своим термометром лучше в этом разбираешься. Но если мы посеем по-твоему, а не в сроки, заданные укомом, то – пусть даже вырастет замечательный урожай – убирать нам с тобой его не придется, нас попрут гораздо раньше начала уборки. Я тебе больше того скажу. Предположим, нам разрешат – по дружбе и по нашим настоятельным просьбам – посеять, когда захотим, а не по их твердым указаниям. А вдруг в этом году так всё сложится, что наш урожай будет хуже, чем у соседей, которые сеяли, как им было сказано. Ты же сам знаешь, ничего в этом деле заранее гарантировать нельзя – всё зависит от погоды и еще бог знает от чего. И что тогда? Кто будет виноват? А так – хоть по два с половиной центнера мы соберем. Мало, но это не наша вина – мы всё делали, как велено. Согласен?*

И как ни противно соглашаться с тем, от чего всю душу выворачивает, приходится признать, что в словах председателя есть своя логика и свой резон. Это вполне здравые мысли, с ними трудно спорить. Агроном – трезвый, не склонный к бесплодным воздыханиям человек и понимает, что плетью обуха не перешибешь. Любые попытки восстать против существующего строя выливаются в беспощадный и одновременно беспомощный бунт. Они никуда не ведут. Как ни дурно руководят хозяйством большевики, но другой власти нет и не предвидится, надо как-то приноравливаться к этой. Первый урок – обучение послушности – наш агроном уже усвоил. Он, конечно, не понимает воспитательной механики, объектом которой является, и объясняет себе всю явную бестолковость и разрушительность «указивок» господствующими на всех этажах власти разгильдяйством, чиновничьей ленью, безграмотностью, халатным отношением к делу, идеологическими завихрениями в партийных мозгах, бюрократизмом, прямым вредительством, комчванством и прочими грехами, которые, не взирая на должности грешников, клеймит и дубасит изо дня в день советская пресса. Более того, он может винить в распространении всех этих негативных явлений большевиков, которые взяли власть, вцепились в нее мертвой хваткой, но не способны разумно пользоваться этой безграничной властью и хоть как-то наладить эффективное хозяйство и жизнь страны в целом. Однако даже его критическое отношение к власти (а как иначе он может думать о ней, крестьянский сын, видящий, что сделала и продолжает вытворять с крестьянами эта власть) играет на руку его воспитателям. Чем лучше он видит дурь правящей машины и одновременно свою неспособность сопротивляться ей, тем острее он ощущает свою беспомощность и слабость, свою трусость и свое неумение защищаться, отстаивать свои жизненные ценности, а следовательно, тем быстрее он становится покорным и безгласным – тем эффективнее он обучается в школе первой ступени. Будем считать, что он ее уже прошел.

Уже не взбрыкивая, он прилаживается к общему стилю руководства и тянет колхозный воз тем путем, который указывает начальство: по ухабам, буеракам и почти непроходимым топям. Указания высокого руководства он рассматривает теперь как дождь в сенокос: очень неприятно, но что же делать – с небом не поспоришь. Худо-бедно как-то получается. У тех, кто не справился с погодными условиями, неуклонно уничтожающими сельское хозяйство шестой части суши, уже по пять раз укрепляли руководство, укрупняли, разукрупняли, списывали долги, переводили в совхозную форму собственности, и про них уже не слышно, а их колхоз как-то выкарабкивается и сумел выжить. То ли просто им везет, то ли они, с председателем во главе, так насобачились увертываться, писать бравурные донесения, налаживать особые отношения с разными нужными людьми (поросеночка туда, баночку меда этому), составлять липовые отчеты, клянчить безвозвратные кредиты, утаивать и припрятывать кое-какие заначки, ловчить и крутиться, но жизнь их продолжается, и они даже числятся на неплохом счету в уезде и всей губернии, как крепкое хозяйство. Агроном наш уже не вспоминает о книгах и мудрых советах опытных профессионалов. В его условиях повышение квалификации – это лишь ни к чему не пригодная блажь. Какие там севообороты, улучшение структуры почв или

рациональное распределение удобрений. Пока в хозяйственную деятельность не будет возвращен здравый смысл и не восстановлена заинтересованность работников в результатах труда, никакие агрономические премудрости ничего дать не могут. Да и некогда о них даже подумать. С утра до ночи он вертится как жук на палочке, скачет и кривляется, как картонный паяц, подергиваемый за ниточки, на потеху местной колхозной публике, которая однако не смеется, а что-то неясно бурчит и поет за спиной обидные частушки. Не понимают, дурачье, что без их с председателем усилий, без их изворотливости и умения втирать очки проверяющим и надзирающим вообще бы всё развалилось.

Пришла пора вспомнить и о временно отставленной в сторону яровизации.

Иван Игнатьевич, это по твоей части, – говорит председатель и подает нашему агроному замусленный листок. – *Яровизация и до нас дошла. Читал статьи в «Сельскохозяйственной газете»? Давай. К четвергу надо представить подробнейший план мероприятий и весной засеять как минимум сорок гектаров. Да, пожалуй, мы и больше сможем. Возьмем на себя, так сказать, повышенные обязательства. Да, ты не кривись. Дело-то, наверное, хорошее. Вон другие губернии рапортуют, уже тысячи тонн дополнительного зерна получили таким способом. Валяй, не откладывай*.

Указание получено – надо действовать.

Какая к черту еще яровизация? – пыхтит про себя раздраженный дополнительной канителью агроном. – *Брехня очередная. Тысячи тонн… У нас соломы-то не хватает. Никого в поле не выгонишь. А теперь еще эта хрень на нашу голову. И этот тоже. Вроде неплохой мужик, но по сути такой же большевистский холуй, как те канцелярские крысы, с которыми я сидел в Сахаротресте. Лишь бы повышенными обязательствами помахать перед начальниками. А мне отдуваться.*

Однако, как ни злобствуй, а ясно, что спустить это дело на тормозах не получится. Слишком много вокруг него шуму. Проще идти накатанным путем. Он пишет заказанный план на трех страницах с разбивкой по пунктам и точным указанием сроков, ответственных за проведение работ и предполагаемым экономическим эффектом. Потом перепирается с бухгалтером и бригадиром по поводу строительства специальных навесов для вымораживания семян. Потом инструктирует тех, кто будет этим заниматься. Причем ему приходится грубо и жестко оборвать правдолюбца-мужика, который высказывает сомнения относительно осмысленности и полезности всех этих вымачиваний[141], и пообещать тому, что за подобные разговорчики может и не поздоровиться. Его грубость и угрозы усугубляются тем, что внутренне он вполне согласен с мужиком и разделяет его разумный скептицизм. Но не оборвать сельского интеллигента нельзя – рядом стоит комсомолец Васька, и нельзя поручиться, что он не передаст содержание разговоров своему секретарю комячейки. А тот известно к кому регулярно шастает, и это слишком опасно – могут и дело раскрутить. Потом через пень-колоду разбрасывают руками эти яровизированные семена – как в старину, из лукошка. Иначе нельзя. В сеялке все наклюнувшиеся ростки обломаются – вовсе ничего не взойдет. Агроному приходится самому торчать на поле и наблюдать за каждым сеятелем. Бригадиру такое доверять опасно – он хоть и надежный мужик, но бог его знает, что у него на уме. Засеют с грехом пополам восемь гектаров, из которых на четырех ни черта не уродится, но на двух с половиной вырастет приличная пшеница. В отчете агроном, заручившись поддержкой специально созданной внутриколхозной оценочной комиссии, в которую для объективности включат представителя уездного исполкома – тестя колхозного бухгалтера, согласного пару дней попьянствовать у

---

[141] «Товарищи, разве не было и нет классовой борьбы на фронте яровизации? В колхозах были кулаки и подкулачники, которые не раз нашептывали крестьянам, да и не только они, а всяческий классовый враг шептал крестьянину: «Не мочи зерно. Ведь так семена погибнут». Было такое дело, были такие нашептывания, такие кулацкие вредительские россказни, когда вместо того, чтобы помогать колхозникам – делали вредительское дело» (Лысенко Т.Д. Речь на Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников // Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. 11 – 17 февраля 1935 года. Стенографический отчет. М.: Сельхозгиз, 1935, с. 107).

родственника и подмахнуть нужную бумажку, отрапортует о якобы засеянных по новому методу 55 гектарах. Урожай на этом яровизированном клине покажут, исходя из несколько преувеличенных результатов, полученных на лучшем участке яровизированного поля. А недостающие тонны «дополнительного» зерна, полученного за счет яровизации, возьмут из общего колхозного урожая, и, чтобы свести баланс, напишут несколько липовых актов, удостоверяющих частичную гибель посевов на колхозных полях вследствие вымерзания, града, нашествия сусликов и других сельскохозяйственных вредителей. Конечно, это прямая уголовщина, причем шитая белыми нитками. Деревня. Здесь всё всем известно и ничего не скроешь. Только копнут, и прости-прощай, родная сторона. Весь расчет на то, что копать никто не заинтересован. И местное, и более высокое начальство само по уши погрязло в таком вранье, а потому не только смотрит на подобные проделки сквозь пальцы, делая вид, что верит всем этим «отчетам» и «актам», но и при необходимости покрывает нижестоящих очковтирателей, «договариваясь» с ревизорами, другими ведомствами и партийными инстанциями – на все есть свои способы и везде есть свои люди. И всё проходит – в который раз – благополучно. Все довольны. Колхозные успехи отмечены на губернском уровне, а сам агроном получает грамоту Губземуправления и премию в размере трех мешков пшеницы (из «дополнительной» прибавки к урожаю, полученной благодаря яровизации). Всё путем. Указание начальства выполнено, и оно, можно сказать, не осталось в долгу. К его репутации колхозного агронома и крепкого профессионала добавился еще один плюсик.

Теперь взглянем на общий результат всех пройденных нашим агрономом воспитательных кампаний, в общих чертах подобных затее с яровизацией. Глядя с высоты птичьего полета, можно констатировать, что жизненные планы молодого специалиста, которые теснились в его мозгу при направлении в колхоз, в общем и целом сбылись. Он прочно встроен в колхозно-совхозную производственную систему и по праву может считать себя опытным специалистом. Он, конечно, не стал *интеллигентом*, в старом понимании этого слова (да он и не стремится к этому двусмысленному в новых условиях наименованию), но он – *интеллигент новой советской формации*, обладающий необходимыми специальными познаниями и навыками, позволяющими ему успешно выполнять порученные функции в процессе производства[142]. Его мечты, как и мечты многих сотен тысяч крестьянских детей, сбылись, и их отцы законно могут гордиться своими чадами – их дети, благодаря отцовским заботам и благодаря справедливой советской власти, вышли из крестьянского состояния и заняли те места в обществе, которые раньше занимали, главным образом, потомки привилегированных сословий – разные господа и баре, воротившие нос от черной мужицкой кости.

И всё же, несмотря на очевидный жизненный успех и открывающиеся перед ним дальнейшие перспективы, в глубине души пресловутого колхозного агронома, ненадолго ставшего героем нашего повествования, упорно зреет ощущение того, что добиться он, ясное дело, добился, но не совсем того, чего он исходно хотел. Он стал профессионалом, Это признано всеми, но стал ли он *агрономом*? Нет. Он – *советский агроном*. А это, как уже говорилось, далеко не одно и то же. Его специальные познания и навыки, приобретенные на производстве, не имеют прямого отношения к агрономической науке, а то немногое, что он вынес из института, он уже и забыл за ненадобностью. Он – профессионал, но не в области агрономии, а в сфере той спихотехники и очковтирательства, которые позволяют ему и его соратникам по колхозному производству выживать и удерживать на плаву колхоз со всеми его колхозниками, отдавая при этом основную часть производимого продукта ненасытному государству. Его навыки совершенно необходимы для существования и функционирования той мегамашины, которая производит сельхозпродукты в советских условиях хозяйствования. Это, действительно, так: без него и ему подобных производство, и так дышащее на ладан, вовсе бы остановилось. Он – необходимейший винтик советской производственной системы. Собственно, на нем и на его навыках держится всё производство. Но как *агроном* он не

[142] Мы бы могли назвать его *интеллектуалом*, но сам он назвать себя так не мог – не было еще в употреблении этого слова.

представляет ни малейшей ценности. Вне того производства, в котором он существует, он не мог бы занять место агронома – он не имеет соответствующей квалификации и опыта. Если вдруг советская власть в одночасье рухнет и советская производительная система будет заменена более рациональным и эффективным способом производства, ему придется вернуться в исходное состояние и начать жизнь заново в качестве малоквалифицированного сельскохозяйственного работника – батрака, если выражаться по-старому. Наш агроном вряд ли рисует в своем воображении подобные картины и осознанно осмысливает свое положение. Ему недосуг ломать над этим голову, да и приятными такие размышления не назовешь. Но где-то там, подспудно, в своей телесной и душевной глубине, он верно оценивает свою позицию в обществе и ее связь с наличием и устойчивостью большевистской власти.

Всё сказанное выше, понятно, касается не одного только агронома – он только пример, использованный лишь потому, что речь шла о близкой ему по должности яровизации. Точно так же действуют воспитательные кампании и на колхозного бухгалтера, и на секретаря сельсовета, на комсорга, бригадира, завклубом, библиотекаря, директора школы и т.д. Взять хотя бы последнего. Казалось бы, он так далек от всякого производства, что его все эти кампании почти не затрагивают. Но тем не менее, ему приходится работать в тех же условиях: чего только не требовалось от него за годы его работы в школе – *Вы на государственной службе и будьте добры выполнять все требования. В противном случае мы вас не задерживаем. Пока не задерживаем*. И он, чертыхаясь поначалу, выполнял всё, что ему спускали сверху. Внедрял бригадный метод обучения, следил за подготовкой пионеров к приветствию на партийной конференции, обеспечивал весьма крутыми мерами повышение процента успеваемости, проверял своевременное закрашивание в учебниках портретов героев гражданской войны, успевших обернуться матерыми шпионами и предателями, снимал с занятий учащихся, мобилизованных на уборку хлопка, сбор колосков, вылавливание сусликов или еще какую-нибудь идиотскую затею, рассказывал детям о замечательном пионере-герое Павлике Морозове, организовывал школьное производство торфоперегнойных горшочков, проводил чистки аппарата и ленинские зачеты – и это лишь малая доля того, что вменялось в служебные обязанности советскому педагогу. Так *учитель* ли он после этого или же он – прожженный прохвост, циник и растлитель малолетних? Можно ли допускать его в нормальную школу, если когда-нибудь такая появится? Кому в нормальном процессе образования могут понадобиться его навыки и *большой педагогический опыт*? И он – *советский учитель* – всё это про себя знает, хотя и сам себе в этом не признаётся, и костьми ляжет, чтобы не допустить исчезновения той системы образования, в которой он работает.

Поэтому власть может спать спокойно и не опасаться никаких серьезных массовых покушений на ее устойчивость со стороны любых борцов с тиранией. И не надо обращать внимания на почти поголовное недовольство существующими порядками. Как бы ни скрипели зубами все эти бесчисленные агрономы, учетчики, сменные мастера, майоры пожарной службы, кладовщики, прорабы, заведующие канцеляриями, секретари, референты, секретарши, продавщицы обувных магазинов и даже уборщицы губнаркомземов, как бы не витийствовали они у себя в тесном кругу: дескать, «они» (палец тычет в потолок) замордовали, довели до ручки, перекрыли все пути и вставляют палки в колеса любому делу – всё это лишь выпускание пара и пустые, в конечном итоге, словеса, за которыми нет значимого импульса свергнуть эту ненавистную власть, потому что все они без этой власти жить уже не могут. Если вдруг возникнет какой-то катаклизм, – а власть в любой момент и сама готова такой катаклизм инициировать – мигом обнаружится, что в каждом учреждении, на каждом заводе, в любом самом захудалом и забытом Богом селении есть большая армия верных защитников этой подлой, безжалостной и паскудной власти. И защищать ее невольно связанные с ней *советские люди* будут упорно, беззаветно и до конца – точно так же, как они защищали бы свое добро и имущество. *Воспитанные советским строем* они, и в самом деле, не имеют ничего более ценного, чем занимаемое ими место в советской системе, – это и есть их главное имущество.

Не стану тратить время на разъяснение того, что и *агроном*, и *майор пожарной службы*, и любой из упомянутых *воспитанников* советской системы – это всего лишь идеальные образы, необходимые для понимания сути дела. В реальности каждый из живущих на территории СССР представлял собой (и представляет) сложное сочетание черт, как унаследованных от прежнего человеческого общества (также не вполне свободного от описанной выше механики), так и возникших в результате целенаправленного советского воспитания. Каждый – частично *советский человек*, а частично – *человек*. Невозможно провести резкую границу и отделить заведомых агнцев, от несомненных козлищ. Пропорция, в которой смешаны эти черты в любой оцениваемой личности, непостоянна, зыбка, имеет в каждом индивиде различную величину и зависит от множества разнообразных условий. Возможность оценить ее среднее значение появляется лишь в моменты возникновения реальной угрозы существующему строю: лишь в этих условиях люди вынуждены осознать свои реальные предпочтения и выбрать свое место в поляризующемся обществе.

Но пора закончить это – неизбежное, по моему мнению – обширное отступление о воспитательной роли советских пропагандистских кампаний и, вооружившись новым знанием, вернуться к нашей основной линии повествования: живописанию перипетий рождения *мичуринской биологии*.

Теперь мы можем задать себе вопрос: если шумиха вокруг несуществующей выгоды яровизации могла быть легко заменена любой другой не менее шумной затеей – на суть дела и на его воспитательную эффективность это существенно повлиять не могло, то почему власть так ухватилась именно за прожект Лысенко, чем он привлек внимание высоких советских руководителей? Я сомневаюсь, что в данном случае возможен однозначный окончательный ответ. Мы даже не знаем, кто именно и из каких соображений «пробивал» этот предложенный Лысенко проект, какими он пользовался аргументами, чтобы убедить начальство в его целесообразности – всё это, вероятно, навеки останется за кулисами событий. Мы же можем лишь строить предположения и высказывать свои догадки. Мне, в частности, кажется, что одним из доводов в пользу «яровизационного оформления» очередной воспитательной кампании могла быть длительность данного проекта и возможность его развития по ходу уже развернутой кампании. И, действительно, эпопея с яровизацией растянулась на несколько лет и продолжалась не по прямой исходно обозначенной линии, а постоянно разворачивалась и видоизменялась. Яровизацию внедряли, исследовали, передавали друг другу опыт, распространяли на всё новые территории, и одновременно менялась суть пропагандируемого метода: начав с яровизации озимых, вскоре перешли к яровизации яровых, чего-то с чем-то скрещивали, отбирали, вновь внедряли, уповая на инициативу трудящихся масс и энтузиазм «колхозников-опытников», потом почему-то мейнстрим этого обширного – сравнимого со стахановским – движения сместился на яровизацию картофеля, и на этом, если не ошибаюсь, движение затихло и бесследно растаяло в предвоенные годы. У Лысенко со товарищи появились другие не менее интересные заботы. Но каждый поворот в этой затее и переход ее к новому этапу давал хороший повод для нового всплеска радостных возгласов, клеймения маловеров и подливал масла в огонь. Возможно, что пригодность этой оркестровой пьесы к многоразовому исполнению с разнообразными вариациями была важным ее достоинством, с точки зрения пропагандистской машины.

Но еще более важная – и, вероятно, достаточно редкая – особенность предлагаемого Лысенко направления пропаганды заключалась, как я думаю, в *художественном совершенстве* яровизационного мифа. Не уверен, что уместно применять этот термин к пропагандистским поделкам, но ничего другого на ум не приходит. Мы уже говорили, что первые сообщения о чуде яровизации производят впечатление современного варианта какой-то знакомой с детства сказки: «Посадил дед (Д.Н.Лысенко) горошинку, и вырос горох до самого неба…» – что-то такое примитивное и в то же время уютное, убаюкивающее[143]. И само по себе

[143] «Жил дед да баба, и была у них хата. Посадил дед бобинку, а баба горошинку под стол. Горошинку поклевала курица, а бобинка выросла под самый стол; приняли стол, она еще выше выросла, сняли

это, на мой взгляд, неплохо для тех, кто призван поставлять на рынок продукты в упаковке, вызывающей хотя бы минимальное доверие простодушной публики. Однако в оформлении мифа о яровизации было и нечто новое: будучи примитивом, он опирался на авторитет современной науки, которая, не вмешиваясь в плетение словес по канону древней сказки, стояла рядом и одобрительно кивала головой.

То, что наука в век пара и электричества, радио и аэропланов способна творить чудеса, стало к тому времени уже заезженным журналистским клише. Но до этого описываемая журналистами наука выступала в своем академическом обличье, может быть, и впечатляющем для доверчивых простаков, но очень уж далеком от тех слоев населения, которые способны были увлечься сюжетом простенькой сказки. В картинках обещающей чудеса науки подчеркивалась, как правило, ее сложность, удаленность от обыденной жизни, можно даже сказать, эзотеричность: лаборатории, аудитории, профессора в ермолках, говорящие на непонятном птичьем языке, сложные приборы и конструкции, колбы, пинцеты, микроскопы… Достаточно вспомнить иллюстрации, украшающие очерки под заголовками «На переднем крае науки» или «Еще одна победа отечественных ученых». Да, наука творит чудеса, кто бы в этом сомневался, но происходит это на таких заоблачных высотах, по сравнению с которыми даже «Физика» Краевича – недостойный упоминания примитив и на которые нет доступа простому, ждущему чудес человеку. Сказка про яровизацию разрушает это привычное разделение общества на загадочных лобастых *ученых*, священнодействующих на своих научных высотах, и *профанов*, которые, стоя далеко внизу и задумчиво ковыряя в носу, ждут, когда же наука соблаговолит осчастливить их чудесными плодами своих открытий.

В самом первом сообщении о яровизации уже присутствует та ментальная схема, которой Лысенко остался верен до конца дней своих и которую он сделал основным направлением своей «просветительской» деятельности. Рассказанная, можно сказать, от его имени сказка повествует о *научном эксперименте*, подтвердившем эпохальное открытие отечественного ученого и давшем замечательный практический результат. И провел этот эксперимент не *академик* Павлов и не *профессор* Бехтерев, а простой малограмотный крестьянин, и не где-то в заоблачных научных высях, а на своей же крестьянской землице. Так сказать, не отходя от станка. Это звучит даже похлеще фантазий «лучшего поэта нашей советской эпохи» о крестьянах, которые в своих деревеньках «землю попашут, попишут стихи» – всё-таки крестьянские поэты были, а вот крестьянина, который, оставаясь крестьянином, сделал научное открытие, до тех пор еще не было. В этом сообщении, если вдуматься, уже таится в свернутом виде простое и в то же время ошеломительное содержание, которое было написано на знамени Лысенко и всей возглавляемой им «мичуринской биологии». Кратчайшим образом его можно выразить словами самого Лысенко:

…как приятно быть ученым в наш век[144]

Далекая от науки публика всегда подозревает (не слишком погрешая против истины), что представители ученой касты не столько витают в облаках, морща лоб и обдумывая свои очередные открытия, сколько изображают из себя высоко залетевших мыслителей, чьи размышления недоступны простому обладающему здравым рассудком человеку, находящемуся на уровне грешной земли. Действительно, надувание щек, склонность взбираться на котурны и вещать с амвона – распространенные грехи служителей науки. К науке как таковой этот упрек неприменим, но люди, избравшие науку своей профессией, нередко

накат, крышу — все растет, и выросла под самое небо. Дед полез на небо; лез, лез — стоит хатка, стены из блинов, лавки из калачей, печка из творогу, вымазана маслом. Он принялся есть, наелся и лег на печку отдыхать» (Старик на небе. // Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. В трех томах. Т. 1. М.: Наука, 1984, с. 32).

[144] Лысенко Т.Д. Речь на Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников // Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. 11 – 17 февраля 1935 года. Стенографический отчет. М.: Сельхозгиз, 1935, с. 108.

преувеличивают дистанцию между теми, кто входит в круг посвященных, и теми, кто остался за его пределами. Такое стремление преувеличить собственную значимость – часто достаточно безобидное, но иногда и принимающее злокачественные формы – коренится, вероятно, в самой структуре личности современного человека, настроенного на достижение некой лежащей за горизонтом цели и повышающего свою самооценку подчеркиванием огромности уже пройденного им пути. Справедливости ради нужно однако заметить, что подобное преувеличение своих успехов и раздутое самомнение присущи отнюдь не только представителям ученого сословия. В эпоху появления на сцене Лысенко извечная подозрительность по отношению к ученым усугублялась тем, что в предшествующие десятилетия, когда и сформировался публичный образ ученого – профессора, закрывшегося в своем кабинете среди книг и научных приборов и размышляющего о тайнах мироздания, лишь иногда появляясь на публике, чтобы с высоты кафедры сообщить всем о поразительных результатах своих научных занятий (почему-то на ум сразу приходит профессор Серебряков), – принадлежность к научным академическим кругам обеспечивала довольно высокий социальный статус и приличное благосостояние. К 1929 году, как упоминалось выше, это было уже совсем не так, но сложившийся ранее образ профессора – большого барина, имеющего собственный выезд и отдыхающего со всей семьей на заграничных курортах, еще не изгладился из общественного мнения. Таким образом, оценивавшая науку и ученых простонародная масса могла не без оснований предполагать, что профессорская ермолка и изображение из себя недоступного смертным жреца науки могут иметь корыстную подоплеку. Искусство картинно надувать щеки и без запинки выдавать вереницу заумных фраз хорошо оплачивалось и обеспечивало этим лицедеям постоянную «научную» ренту. Поскольку у несведущего в научных проблемах человека нет критерия, позволяющего отличать таких притворщиков от истинных ученых, он невольно подозревает в корыстном притворстве всю корпорацию ученых, которые намеренно преувеличивают сложность и недоступность научных материй, отталкивая от занятий наукой широкие массы и ограничивая тем самым конкуренцию в своей профессиональной области, поскольку не собираются делиться ни с кем своими доходами.

Яровизационный миф бьет в самый нерв данной социальной проблемы и эксплуатирует реально существующие в обществе подозрения в отношении официальной науки. «Научный опыт» поставленный Д.Н.Лысенко на своем участке можно сравнить с широко практиковавшимся тогда вскрытием святых мощей. *Вот, смотрите сами. Сколько вам дурили голову благодатью, исходящей от нетленных останков святого угодника, а что мы видим: несколько косточек – и еще не факт, что все они человеческие, – какие-то тряпки, вата, пыльная труха. Вот и вся святость. Не на угодников надо надеяться, граждане, а брать судьбу в свои собственные руки, самим строить хорошую жизнь*.

Нечто подобное лежит и в подкладке сказочки о яровизации. *Вот оно как! Мы всё ждем, когда наука создаст для нас пряничный домик со стенками из блинов и печкой из творога. А вот дед Лысенко, которому открыл глаза его сын, ничего ждать не стал: взял и поставил опыт с яровизацией самостоятельно. И сам обеспечил себя блинами. А разве он – ученый? Он не то что физики или химии не знает, он и по-русски толком-то писать не умеет. А сделал же открытие, утер нос всем этим «прохвессорам». И нечего им верить – они наговорят. Им лишь бы крестьянина или рабочего человека не допустить в свою епархию. Точно, как попы, морочащие нам голову: кровь и тело Христово, а на деле: копеечная булочка со сладеньким винцом. Не такое уж сложное, видимо, дело – эта наука, как нам рассказывают, если малограмотный дед смог посрамить больших ученых. Раз дед смог, то, наверное, и мы сможем. Надо бороться и искать, найти и не сдаваться на милость этих жрецов науки, пускающих пыль в глаза и преграждающих нам путь в храм науки. Нам не нужен их храм. Мы перенесем науку в свои хаты. И мы не будем больше ждать милостей от старой профессорской науки, взять их у нее – наша задача*.

В этом ракурсе угрюмый и непрезентабельный Лысенко, ни одной своей чертой не напоминающий титана и сверхчеловека, выступает как современный Прометей. Плоть от плоти простых людей, он сумел всё же взобраться на научный Олимп и, как рабоче-крестьянский лазутчик в стане господ и их служителей, извечно противостоящих трудящимся классам, всё там вызнал, проник в господские секреты, скрываемые от масс, чтобы держать их в темноте и вечном повиновении, и, похитив огонь науки, вернулся на землю, к простым людям[145]. Естественно, он принес этот огонь первым делом в родительский дом, но не затем он стал перебежчиком из олимпийского стана в стан простых людей, чтобы в одиночку пользоваться своим трофеем. Он готов отдать его всем желающим, чтобы любая убогая деревенская изба могла быть освещена и согрета творческим пламенем современной науки, чтобы каждый независимо от его происхождения, воспитания и уровня образования имел возможность выйти на светлый путь, ведущий к хорошей – сытой, благополучной и содержательной жизни.

Ясно, что на тех художественных высотах, куда заносит миф о яровизации, нелепо задавать какие-то дурацкие вопросы: *как вымачивали? сколько посеяли? сколько собрали? а где доказательства? – Ну, что вы, ей-богу! Тут такие перспективы открываются – дух захватывает. А вы в мелочах копаетесь*.

Вряд ли сам Лысенко мог с самого начала оценить потенциальную мощь и жизнеспособность нехитрой, на первый взгляд, сказочки. Но что-то он, несомненно, чувствовал. Скорее всего он просто продолжал линию, обозначенную уже в очерке «Поля зимой»: не в том интерес, что ученые сумели вырастить зимой полезную траву, а в том, что сделал это малограмотный «босоногий профессор». Однако, чутье подсказало ему так оформить продолжение этой общеизвестной песни, что вся история вышла на совершенно другой уровень обобщения и неожиданно заиграла новыми красками. Не крестьянский парень, поднявшийся на высоты науки и чего-то там добившийся, а высокая наука, спустившаяся на уровень крестьянских парней и не утратившая при этом своей научности и эффективности. И руководители советской пропаганды, принимавшие решение о начале яровизационной кампании, оценили интуицию провинциального агронома, нащупавшего чувствительную болевую точку в массовом сознании, и дали его детищу зеленый свет, а многообещающего сказочника вывели на всесоюзную сцену. Как я предполагаю, главным привлекательным для пропаганды свойством яровизационного мифа было сочетание авторитета современной науки с примитивным, годным лишь для сказок способом аргументации. В этом была специфичность истории про яровизацию, в остальном мало чем отличающейся от прочих пропагандистских конструкций, и это стало личным *specialite* Лысенко, его фирменным блюдом, которое пришлось по вкусу не только большевистской воспитательной системе, но и широким массам воспитываемых советских людей. На этой специфике была построена вся его карьера.

Можно сказать, что на пути скрещивания (вот он селекционно-генетический подход!) примитивного восприятия с «научной» теорией Лысенко пришел к созданию нового квази-литературного жанра. Он не рассказывал о достижениях науки в художественных произведениях, по примеру Жюля Верна и десятков иных менее известных писателей, и не пытался излагать сложное содержание научных теорий на том уровне научной аргументации, которая доступна любознательному дилетанту, как это делали Фарадей, Тимирязев, широко и заслуженно известный у нас Перельман и другие авторы научно-популярных книжек, – всё это было не то и совершенно ему не годилось. В своих «трудах» он выдвигал некие «научные» утверждения и «доказывал» их истинность художественными средствами, заменяя *научную истину* на *художественную убедительность*. Конечно, используемые им художественные средства не надо расценивать с позиций «серьезной литературы», но его целевая аудитория и не состояла из тонких ценителей изящного. Убогость и примитивность его способов убеждения вполне соответствовала тому примитивному уровню восприятия художественных текстов, на

[145] Чувствуете, как уже замаячили вдали коршуны – разные там Вавиловы, Кольцовы, Рапопорты и иже с ними – слетающиеся, чтобы терзать печень отступника Лысенко. Хорошо, что он успел заблаговременно уехать с Кавказа.

котором находилась основная масса его читателей и слушателей, да, вероятно, и сам Лысенко[146]. Главное, что свою как бы «научную» ахинею он внедрял в сознание читателей не с помощью общепринятых приемов последовательной и логичной научной аргументации, а использовал для этого некую художественную логику и суггестивность текста, в чем бы они не заключались. Тот факт, что большинству сегодняшних читателей эти тексты не кажутся сегодня убедительными, связан, как мне кажется, не столько с возросшими уровнем художественного вкуса и степенью образованности в современном обществе (хотя, вероятно, и это надо учитывать), сколько с тем, что погруженные в подтекст намеки и аллюзии, отсылки к злободневным и в то время всем известным реалиям, фразы, вызывающие при восприятии текста пугающие или успокаивающие ассоциации, перестали быть актуальными и уже не действуют на нынешних читателей.

Если вышесказанное более или менее верно, мы можем, слегка смещая понятия, считать Лысенко одним из первых творцов *научно-художественной литературы* в нашей стране. С одним представителем этого литературного направления – В.А.Сафоновым мы уже знакомы[147]. Его первый опус в этом жанре датируется 1930 годом. Так что начинали они смешивать научность и художественность в одном флаконе приблизительно одновременно, и следовательно, обоим можно приписать честь основания этого перспективного жанра, который, в частности, оказался очень удобным для пропагандистских целей. Но несмотря на сходство их творений, между ними была и существенная разница: Сафонов, хотя и получил биологическое образование, наверняка, более основательное, нежели провинциальный агроном, учившийся заочно, выбрал стезю *советского писателя*, а Лысенко остался верен *советской науке*, печатая свои научно-художественные опусы в специализированных журналах и выдавая их за *научные* статьи.

---

[146] И сегодня (как и вчера) подавляющая масса читаемых книжек – все эти бесчисленные боевики, розовые романы, фантастические триллеры, фэнтези, детские детективы и т.п. – должна быть квалифицирована как абсолютно беспомощные в художественном отношении, убогие халтурные поделки, не обладающие ни малейшей художественной убедительностью, с точки зрения нормального читателя. Однако для своих поклонников, значительная часть которых – взрослые здравомыслящие люди с высшим образованием, они представляются увлекательнейшим чтивом и чуть ли не учебниками жизни, из которых читатели черпают свои мнения о мире и образцы поведения. Так что нам, вероятно, не стоит свысока относиться к читателям Лысенко и ему подобных. Не так уж и далеко мы от них ушли. Да еще и непонятно, в какую сторону.

[147] Для заинтересовавшихся этим писателем вот еще один отрывочек из тех же «Полей в цвету»:

«…Но советская наука вовсе не сводилась к одним морганистам, к тем, кто счел на съезде сообщение Лысенко «провинциальным вопросом». И дело происходило в СССР, в стране, где ни одному зерну подлинно передовой, служащей народу научной мысли большевистская партия и советская власть не дают упасть на бесплодную почву.

Уже начинался год великого перелома. Гигантская стройка первой сталинской пятилетки преображала страну. На смену мелкособственнической деревне шла деревня колхозная, социалистическая.

Колхозники боролись за такие урожаи, каких не бывало прежде. Колхозники потребовали от сельскохозяйственной науки: научи́, как лучше возделывать землю, как сеять, как выращивать растения».

Акт третий

Одесса-мама

Мы видели, что 1929 год оказался «годом великого перелома» не только в масштабах всей страны (о чем со всех углов вещала пропаганда), но и в личной судьбе Лысенко. Уже осенью он мог пожинать плоды своего хорошо продуманного и эффектного вступления на новое поприще. В октябре он перемещается с места младшего специалиста Ганджийской станции на должность старшего специалиста лаборатории морфологии растений Украинского генетико-селекционного института в Одессе[148].

К моему большому сожалению, мне не удалось найти никаких конкретных сведений о тех обстоятельствах, которые сопутствовали появлению Лысенко в одесском институте, и о первых годах его деятельности на новом месте. Авторы, пишущие о феномене лысенковщины, главную свою задачу видели в опровержении «научных идей», проповедуемых нашим героем, и в доказательстве их вздорности, но очень мало внимания уделяли документированным свидетельствам его поступков и сопутствующих событий, из которых складывалась бы ясная картина его неординарного жизненного пути. Такое направление основных усилий авторов, борющихся с заразой «мичуринской науки», было вполне естественным для времени, когда были написаны основные работы по этой теме: в первую очередь надо было развенчать «мужицкого академика» в глазах широкой публики (включающей и значительную часть советских научных работников), которую в течение долгих лет приучали считать Лысенко крупным ученым, создателем новейшей версии биологической науки и творцом высокоэффективных агрономических методов. Однако теперь, когда эта задача давно решена, и нет ни малейшего смысла тратить время на опровержение очевидной ахинеи, изрекавшейся

---

[148] Сойфер, ссылаясь на слова самого Лысенко, сказанные им в 1934 году, говорит о том, что тот сразу был приглашен руководителем лаборатории: «В конце 1929 года ему удается перескочить сразу через много ступенек, обязательных в послужном списке любого научного работника. Специальным постановлением Наркомзема Украины для него создают большую лабораторию в Одесском Институте селекции и генетики – одном из ведущих в стране научных учреждений такого профиля, руководимом крупным ученым академиком АН УССР Андреем Афанасьевичем Сапегиным. Из младшего специалиста опытной станции Лысенко одной строкой в наркоматском приказе был превращен в заведующего лабораторией академического института» (Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002)
Однако Д.Урсу, специально исследовавший историю генетических исследований в Одессе, говорит о более скромном статусе, в котором Лысенко начал свою «научную» деятельность в УГСИ (Урсу Д. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед и поражений // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып. 14. Одесса: Печатный дом, 2012, с. 217). Правда, это было только начало, и к 1934 году, когда Лысенко писал статью, на которую ссылается Сойфер, он – после изгнания Сапегина – был уже научным руководителем этого института, впоследствии, с подачи Лысенко, переименованного во Всесоюзный селекционно-генетический институт (чувствуется, что даже в мелочах наш герой не забывал указать науке ее место).

когда-то Лысенко и его соратниками, на первый план выходит скрупулезное изучение подробностей этой знаменитой аферы. Чтобы разобраться, каким образом чушь, составляющая «мичуринскую биологию» (а больше ведь в ней ничего и нет), вбивалась в головы миллионов людей, а главное, понять, зачем и с какой целью это делалось, нужна публикация и дотошное комментирование всех этих, до сих пор лежащих в архивах приказов Наркомзема, платежных ведомостей, отчетов и справок, результатов голосования сессий ВАСХНИЛ, писем и мемуаров, оставленных участниками этих событий, их отчетов для кураторов из ГПУ и НКВД и т.д. и т.д. Нужна не столько публицистика под лозунгом *Раздавите гадину* – время таких памфлетов уже прошло, – сколько нормальная, основанная на документах и свидетельствах очевидцев история данного эпизода. Увы, с этим дело обстоит пока что плохо. Наверное, какие-то неизвестные мне материалы появляются в печати, но ясно, что никакого прорыва на этом направлении не произошло. Скорее всего, историческая наука пострадала в годы советской власти не меньше биологии, и до сих пор не может от этого оправиться, а, может, не особенно к этому и стремится.

К счастью, у нас есть возможность обратиться к книге В.Сойфера, которому пусть и не удалось побывать, вероятно, во многих из советских архивов, но который все же сумел собрать различные свидетельства о Лысенко и его карьере из газет и журналов той поры, так что кое-какие важные сведения о том, чем занимался будущий академик в одесский период своей жизни, нам доступны. Став сотрудником научно-исследовательского института, новоиспеченный старший специалист волей-неволей должен был подчиняться существующим стандартам: у него было непосредственное начальство, утверждавшее планы его работы, он, несомненно, проводил некие эксперименты на отведенных ему делянках, у него теперь были подчиненные, выполнявшие его указания. В их числе оказывается и Д.Долгушин[149] – его бессменный многолетний сотрудник, начинавший работать с Лысенко еще на Ганджийской станции и переведенный в Одессу по распоряжению наркома земледелия СССР Яковлева, который так очарован творцом яровизации, что не отказывает ни в одной его просьбе. Всё, как и положено в приличном научном учреждении.

Тем более, что Одесский генетико-селекционный институт, созданный за год до появления в нем Лысенко (в 1928 году), отнюдь не был учреждением, только-только становившимся на ноги, – нет, уже к тому времени он представлял собой научный центр с давно сложившимся коллективом и с очень высокой репутацией. Его директор – А.А.Сапегин был уважаемым ученым, который, имея образование ботаника, еще с 1911 года, то есть со времени зарождения современной генетики, увлекся этой новой наукой[150] и благодаря этому стал заниматься селекцией сельскохозяйственных растений, внедряя в нее новейшие генетические понятия и методы. Уже в 1912 году он уже издал свой первый учебник: «Законы наследственности как основа селекции в сельском хозяйстве», затем последовали книги: «Законы наследственности», «Этапы менделизма», «Вариационная статистика» (Сапегин был одним из пионеров применения математико-статистических методов в агрономии), «Общая методика селекции» и другие. Начавши в 1912 году с «отдела селекции Одесского опытного поля», размещавшегося на участке земли чуть побольше среднего огорода, который выделяли колхозникам в советские времена, он уже в 1918 году стал руководителем вновь созданной Одесской сельскохозяйственной селекционной станции, на которой базировалась возглавляемая профессором Сапегиным научно-исследовательская кафедра генетики. Через десять лет ее существования станция была преобразована в генетико-селекционный институт. Уже к 1922 году Сапегин и его сотрудники смогли представить внушительные результаты своей

---

[149] Как уже упоминалось, это с долгушинских, якобы, слов, молодой Лысенко характеризовался как фонтан научных идей и отчаянный энтузиаст, заражавший всех вокруг своими оригинальными мыслями.

[150] Некоторое время (в 1911 году) Сапегин работал в лаборатории Э.Баура – видного немецкого генетика, стоявшего у самых истоков новой науки и бывшего одним из первооткрывателей феномена цитоплазматической наследственности.

работы по выведению новых сортов пшеницы[151], а с 1930 года Сапегин, чуть ли не первый в мире, стал использовать рентгеновскую установку для радиационного мутагенеза пшениц, и выведения новых сортов на основе полученных мутантов[152].

Короче говоря, можно не сомневаться, что переехав в Одессу, бывший младший специалист (а теперь он уже расценивался как вполне сложившийся и перспективный научный сотрудник) попал в оптимальные для исследовательской работы условия – он стал членом мощного научного коллектива, руководимого серьезным и добившимся выдающихся результатов ученым. Ему предстояло встроиться в этот коллектив и, не наживая себе лишних врагов, идти своим уже избранным путем – имитировать активную научную деятельность. Урсу, основываясь на письме Степаненко, написанном в 1930 году, пишет, что в первые одесские годы Лысенко представлялся «очень осторожным, скромным, необычайно трудолюбивым – день и ночь проводил в поле, у своих опытных делянок»[153]. Несмотря на то, что автор письма не заслуживает ни малейшего доверия – он очевидный соратник Лысенко в деле эксплуатации государственной кормушки, – в отношении лысенковских скромности и трудолюбия мы можем, вероятно, положиться на его оценки, тем более, что имеется еще одно свидетельство (с неожиданной стороны), описывающее стиль поведения Лысенко в эти годы: С.И.Липкин, поэт и известный переводчик, встречался с Лысенко в Одессе на неких «литературных посиделках» и, как он сообщил В.Сойферу, тот произвел на поэта впечатление «скромного, вежливого человека»[154]. В свете дальнейшего развития облика и манер «мужицкого академика» уже само по себе посещение им встреч литераторов кажется удивительным и неправдоподобным, но поскольку это – факт, мы вынуждены предположить, что в тот период у нашего героя было еще стремление вписаться в непривычную для него интеллигентскую среду и как можно меньше из нее выделяться: он хотел, чтобы окружающие видели в нем «своего», и пытался поднакопить явно недостаточный для этого «культурный капитал» – вплоть до знакомств с молодыми одесскими литераторами. Однако жизнь судила иначе, и в дальнейшем он забросил путь своей личностной эволюции, которому он следовал в Одессе.

---

[151] Как пишет Д.Урсу: «Итоги работы по выведению новых сортов за десять лет он [Сапегин] подвел в вышедшей в 1922 г. брошюре. В ней с нескрываемой гордостью сообщается, что в тяжелейших условиях империалистической и гражданской войн, послевоенной разрухи одесские селекционеры, используя в полной мере теоретические основы классической генетики, сумели вывести ряд ценных сортов озимой и яровой пшеницы. В частности, путем скрещивания чистых линий из местных сортов была выделена Кооператорка, которая давала по пару более 200 пуд. с десятины, что намного выше прежних сортов. … Кроме высокой урожайности у Кооператорки были и другие достоинства. Мука, выработанная из зерна этого сорта, обладала превосходными хлебопекарными качествами, так что зерно охотно покупали за границей. Другое преимущество – высокая засухоустойчивость, поэтому Кооператорку широко сеяли в южных районах страны – до 5 млн. га, намного больше, чем ее соперницы. Даже после войны, когда были выведены новые сорта, она все еще занимала до 1,5 млн. га. А в районах Средней Азии и Казахстана популярность этой долгожительницы длилась до середины 1970-х гг». (Урсу Д. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед и поражений // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып. 14. Одесса: Печатный дом, 2012, с. 214)

[152] Все сведения об А.А.Сапегине взяты мной из уже цитированной статьи Д.Урсу. Я привожу эти данные, в общем-то мало касающиеся нашей темы, в основном затем, чтобы у читателя не создавалось впечатления, что упырю Лысенко и ему подобным противостоял лишь Н.И.Вавилов и его непосредственные соратники. Нет, *были люди и в то время*. И Сапегин – один из многих настоящих ученых, работавших в 1929 году в области агрономии. Именно они задавали тон в науке в ту – «домичуринскую» – эпоху.

[153] Op. cit., стр. 219

[154] Близко знакомый с С.А.Липкиным Сойфер пишет в своей книге: «Липкин в конце 20-х годов жил в Одессе, встречался с другими молодыми интеллектуалами в городе и, как он рассказал мне в 1983 году, в 1929-1930 годах несколько раз встречал приходившего на некоторые встречи молодого Лысенко, перебравшегося в Одессу и тяготевшего к литераторам. Липкин запомнил Лысенко как скромного, вежливого человека» (Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002).

Да и в те годы мимикрия под ординарного представителя [2]интеллигенции была лишь одним из векторов лысенковского развития. Ковыряясь на своих делянках, вымачивая-вымораживая пшеницу и играя роль усердного исследователя яровизации (а чем он мог еще заниматься – ведь для этого его сюда и перевели, и никакие Сапегины не могли – да и не рискнули бы – перенацелить его на иные задачи), он не собирался отказываться от припрятанных в его рукаве козырей. Первый сделанный им шаг в эпопее с яровизацией просто вынуждал его к использованию таких приемов. Я думаю, главным фактором, склоняющим его в сторону от образа скромного и усердного научного сотрудника, был даже не его уже проявившийся авантюризм, а ощущение чрезвычайной шаткости его текущего положения. Он вовсе не был ординарным сотрудником Одесского института: его относительно самостоятельное и практически независимое от мнений непосредственных начальников положение давало ему хорошие шансы на дальнейший карьерный рост, но оно же грозило ему полным крахом в недалеком будущем. Власть (в лице «Правды» и украинского Наркомзема) дала Лысенко щедрый аванс, якобы поверив в чудодейственную эффективность предлагаемого им агроприема, но теперь он должен был любой ценой подтвердить эту чудодейственность – поставить веру в нее на твердую экспериментальную почву. Но ведь научные эксперименты – дело рискованное и ненадежное: если бы мы заранее знали их результаты, то зачем их и вообще проводить. Несмотря на свою малограмотность, Лысенко не мог не понимать безусловной верности этого простейшего утверждения – уже тот факт, что честь непосредственного первооткрывателя яровизационного феномена он предоставил «диду Денису», прямо говорит об отсутствии у него безмятежной уверенности в постоянной благосклонности научной рулетки. Но в таком случае, что будет, если опыты на делянках Одесского института не приведут к эффектным результатам? Хорошенькое дело! весной сотни, а может быть, и десятки тысяч колхозных гектаров будут засеяны яровизированными семенами, а осенью инициатор такой затеи вынужден будет сознаться, что опыты пока что не дали определенных результатов и судить о плодотворности данного агроприема еще рано. Как будут выглядеть тогда руководители Наркомзема (да и сама газета «Правда») и что они сделают с провалившимся «новатором», которому были предоставлены все возможности для подтверждения своей «чудесной» яровизации? Вопрос этот, несомненно возникавший в душе нашего героя, чисто риторический, и предсказать ответ на него не представляет трудности.

Нет, ни в каком случае он не мог делать ставку на результаты своих научных экспериментов на институтских делянках – слишком велик был риск крупно проиграть, особенно если учесть, что эти эксперименты проводились на глазах других – весьма квалифицированных – сотрудников, вряд ли так уж очарованных стремительным взлетом их новоиспеченного коллеги[155]. Разного рода «маленькие хитрости» на делянках могли привести к неприятным разоблачениям и скандалам (чуть позже мы увидим, что до такого конфликта дело, в конце концов, и дошло) – надо было быть осторожнее. Поэтому на первый план вышла параллельная деятельность «новатора», целенаправленно создающая «доказательства» эффективности яровизации. Конечно, главную роль в этом играли выступления самого Лысенко и прочих адептов яровизации в печати, именно они создавали фон, на котором мелкие конкретные эксперименты, даже если их результаты пойдут вразрез с уже созданным мейнстримом, не будут играть существенной роли, но были у Лысенко в запасе и другие «агропоэтические» (или

---

[155] Нам мало что известно об отношениях «старшего специалиста лаборатории физиологии растений» со своими новыми коллегами, но всё же в нашем распоряжении есть одно высказывание П.Шкварникова, работавшего в то время в соседней лаборатории и занимавшегося под руководством Сапегина радиационным мутагенезом у картофеля. О Лысенко он (правда, гораздо позднее тех лет) высказывался так: «Он поразил меня своей примитивностью. Мы работали в разных лабораториях. Хотя, конечно, бывали случаи, обменивались мыслями, спорили... Если Лысенко и отличался чем-то от других, то в первую очередь лицемерием, невежеством, необразованностью» (См. статью о П.К.Шкварникове, содержащую фразы из его воспоминаний: Глазко В., Шумный В. Век генетики, судьба генетика // «Зеркало недели. Украина», 2000, № 36)

«агрополитические», как тут лучше сказать?) мыслишки. И тут я опять не могу не восхититься очередным изобретением этого неординарного шулера и прохвоста: он не шел проторенными (пусть безопасными, но не сулившими стопроцентного успеха) путями – он смело мыслил и делал свой «ход конем», беспроигрышно приводивший его на желательную клетку шахматной доски и обеспечивающий ему блистательное завершение разыгрываемой партии.

В данном случае я имею в виду его затею с анкетированием результатов яровизации, достигнутых на колхозных и совхозных полях. Смысл этой акции легко объяснить желанием расширить масштабы проводимых экспериментов: мы, дескать, хотим перенести их с маленьких делянок на обширные поля. Ведь, чем больше объем проводимых опытов, тем достовернее их результаты – не так ли утверждает математическая статистика? С чем тут можно спорить? С этой благой целью сотрудники Лысенко разослали «на места» сотни анкет, в которые надо было внести данные о сроках и методах яровизации, засеянных площадях, сроках колошения, полученных урожаях и т.п., и получили ответы на какую-то часть разосланных анкет. При этом надо не пропустить мимо внимания один тонкий и весьма существенный нюанс: колхозных получателей никто не обязывал отвечать на присланные вопросы, это оставлялось на их свободное усмотрение. Как пишет Сойфер, который достаточно подробно обсудил в своей книге вопрос с анкетами и у которого я черпаю все эти сведения, никаких данных о количестве разосланных и вернувшихся к Лысенко анкет нет и, видимо, никогда уже не будет, как и данных о том, что же в них, собственно, сообщалось. Сейчас это уже и не важно – даже не заглядывая в эти анкеты, можно с уверенностью предсказать, что бы мы увидели, если бы в них заглянули, – но тогда, при необходимости и при дотошных расспросах начальства, эти бумажки могли сыграть, а возможно, и сыграли роль неопровержимых свидетельств правоты нашего героя и эффективности яровизации. К чему должна была привести затея с анкетами (и к чему она, несомненно, привела) я уже писал в предыдущей главе, обсуждая деятельность молодого *советского агронома*, и мне не хочется жевать уже пережеванное. Но вот обстоятельства применения этого приема в научно-исследовательской работе заслуживают еще нескольких фраз. Прием этот не утерял своего значения и в наши дни.

В своей насыщенной конкретными сведениями книге В.Сойфер пишет об этой продлившейся несколько лет «анкетной» эпопее:

> Какие успехи были зафиксированы в первых десятках или даже сотнях анкет и поступили ли они вообще в лабораторию Лысенко в 1930 году, мы, по-видимому, никогда узнать не сможем, так как данные о них не были опубликованы. Однако, ссылаясь на их наличие, Лысенко бомбардирует столичное начальство и в Харькове, и в Москве предложениями о необходимости обязать колхозы и совхозы проводить яровизацию в приказном порядке.
>
> …Итак, рассылкой анкет и сбором заполненных малограмотными людьми листков Лысенко заменил научно-обоснованные методы работы. Нельзя исключить, что сделал он это, быстро сообразив, что все требуемые наукой манипуляции могут обернуться плохими последствиями.
>
> …В то же время анкетно-вопросный метод стал на деле закамуфлированной формой очковтирательства. …Никакой ответственности за преувеличение цифр в анкетах никто на местах не нес: это были еще одни бумажки, коими наводняли колхозы и совхозы разные органы с целью сбора нужных им сведений, а не бланки строгой государственной отчетности. Проставляемые в анкетах цифры никто не контролировал, и никто за них не отвечал, а вот за плохие показатели могли последовать нагоняи. Поэтому любой учетчик в колхозе, бригадир или бухгалтер отлично знали, в какую сторону следует изменять цифры. Таким образом, даже честное суммирование данных анкет, в которых – исключительно для пользы дела! – было приврано «немножко», приводило к гигантскому обману. Позже, когда правительство ввело планы яровизации, а из центра на места пошли «разверстки по яровизации», стало уже небезопасным проставлять в анкетах незначительные цифры прибавок. Блеф разрастался как снежный ком.
>
> Позже сам Лысенко признал низкую эффективность работы с анкетами: оказывается, даже в 1932 году (данных о предыдущих годах так и не было никогда сообщено): «не все опытные точки прислали к 27/ VIII все эти три формы анкет.

> Особенно мало прислано анкет №3 (уборка и учет урожая)... со всех областей только 59 анкет». Цифра «пятьдесят девять» была ужасающе низкой. Никаких выводов, кроме одного – затея провалилась – сделать было на основании этого числа нельзя. И тот факт, что Лысенко привел эту цифру в его собственной публикации, говорил, что он, видимо, не понимал требований к научной работе, хотя еще был честен в представлении своих данных (не утаил правду, не приукрасил ее).

Что касается низкой эффективности работы с анкетами и общей оценки всей акции как очковтирательства, спорить с Сойфером не приходится: всё так и есть. И даже понятно, почему «анкет № 3» прислали намного меньше, чем за номерами 1 и 2 – почему не прихвастнуть, что засеяли «чудо-пшеницей» большие площади и вовремя (неважно, правда это или откровенное вранье), но вот анкету, вопрошающую об урожае, если похвалиться нам нечем, лучше и не посылать – на всякий случай: вдруг эти ученые (мать их..!) заинтересуются и захотят проверить. Поэтому практически все объявленные Лысенко 59 анкет, наверняка, содержали данные об успехе яровизационных мероприятий, и совершенно неважно, добились ли заполнявшие эти анкеты реальных успехов или просто не побоялись рискнуть и вписали в анкеты желаемые цифры.

Но вот с выводом автора книги о «наивности» и научной «честности» Лысенко, не утаивавшего фактов, говорящих всякому разумному читателю о провале затеи с анкетированием, я согласиться не могу. Я убежден, что никакой наивностью (как ее ни обосновывай) здесь и не пахнет, и что Лысенко с самого начала прекрасно понимал, каким именно очковтирательством он собирается заниматься и к чему оно должно привести. Оставим в стороне то обстоятельство, что «честно сознался» наш герой лишь в 1932 году, когда актуальность ожидаемых от него свидетельств в пользу эффективности яровизации уже давно сошла с повестки дня (яровизированными семенами числились засеянными – в отчетах – уже сотни тысяч гектаров), главное не в этом. Вся суть его продуманной стратегии состояла в том, что Лысенко ни при каких ситуациях не пытался врать и подделывать первичные документы, так что поймать его за руку и припереть к стенке было чрезвычайно трудно. Непосредственное вранье предоставлялось другим связанным с Лысенко людям – и если вдруг кто-то взял бы на себя труд разоблачения совершенных этой гоп-компанией очковтирательств, то отвечать за содеянное пришлось бы непосредственно вравшим (вроде тех *советских агрономов*, заполнявших анкеты), а их организатор и вдохновитель оказался бы в числе потерпевших, обманутых этими лжецами (в одной связке с *оказавшимися в дураках* партией и правительством). Такой широко используемый большевиками прием, позволяющий в любой момент перевести стрелки с организаторов на подвластный им *вороватый и бессовестный народ*.

В подтверждение вышеизложенной точки зрения на «честность» Лысенко и методы, какими эта «честность» достигалась, стоит привести еще один эпизод из одесского периода деятельности этого талантливого прохвоста, описанный в той же сойферовской книге (что бы я без нее делал? просто не о чем было бы писать и пришлось бы ограничиваться лишь собственными домыслами).

Сойфер, основываясь, по-видимому, на личном сообщении, пишет:

> Вдова Сапегина рассказывала, что последней каплей, переполнившей чашу терпения обеих сторон, стал случай, произошедший осенью то ли 1930, то ли 1931 года. Сотрудники Лысенко убрали урожай со своих делянок, поля института опустели, надо было готовить их к осенней пахоте. Неожиданно в одной из комнат, где работал Лысенко со своими учениками, появился разгневанный директор и потребовал от Лысенко немедленно пойти с ним в поле. Там еще валялись кое-где остатки соломы, ботва, делянки были не распаханы, вбитые в землю колышки с надписями вариантов опытов оставались на местах. Осматривая поля, Сапегин, оказывается, наткнулся на неожиданную и неприятную деталь: на части делянок кто-то бросил снопики необмолоченных растений. Дотошный Андрей Афанасьевич все поля тщательно осмотрел и установил истину: выяснил, что это не было делом раззявы или лентяя. Снопики валялись, не как попало. Во-первых, необмолоченный материал остался только на поле лаборатории Лысенко, а, во-вторых,

«забывчивые» селекционеры осмотрительно следовали определенной системе: материал остался несобранным только на контрольных делянках. Таким нехитрым путем сотрудники Лысенко искусственно завышали результат своих опытов, «забывая» учесть весь урожай с контрольных посевов.

Лысенко от показанного директором пришел в показную ярость (его артистические наклонности отмечали многие из тех, кто встречал его в жизни) и набросился на Долгушина и других своих сотрудников.

В некотором отношении этот случай представляет собой прямую аналогию аферы с «анкетами». Давал ли Лысенко прямые указания своим подчиненным занижать урожай на контрольных делянках? – я стопроцентно уверен, что он ничего подобного не делал. И не вследствие предполагаемой «честности», а из разумной осторожности: сегодня этот сотрудник, можно сказать, твой клеврет и клянется в вечной верности, а завтра перейдет в другую лабораторию и за кружкой пива сознается в своих подвигах, упирая на то, что это ты его подучил и вынудил. Да и зачем ему – руководителю всех очковтирательств – было нужно давать такие опасные прямые указания? Ведь достаточно дать понять, что те, у кого будут *хорошие результаты*, могут рассчитывать на поощрения и повышение в должности, а тем, у кого такие результаты не получатся, придется работать дальше, пока и им не удастся чем-то похвалиться, или – при неблагоприятном стечении обстоятельств – они даже рискуют подпасть под сокращение штатов из-за своей профнепригодности. Вот и всё, что требуется донести до сведения сотрудников. А дальше: *думайте сами, решайте сами*, хотите ли вы попасть на *красную доску* или на *черную*. Ну, и где здесь криминал? Что можно вменить в вину Лысенко или другому подобному ему руководителю? То, что он призывал сотрудников работать хорошо и результативно? Так что же в этом плохого? В.Сойфер описывает ярость Лысенко, которого ткнули носом во вранье его подчиненных, как «показную», но я считаю, что скорее всего она была вполне натуральной: *Вот работнички! Вот балбесы! Даже соврать толком не могут. Вот и работай с такими!* Здесь, по-моему, типичная ситуация, описываемая поговоркой: *Не за то отец сына драл, что воровал…* Главное здесь в том, что Лысенко и сам напрямую не врал, и не пытался замазывать вранье своих подчиненных, поскольку ему это совершенно не требовалось: всё делалось само собой и именно так, как ему хотелось. А то, что сотрудники врали, – ну что ж, такое бывает и в наши дни и, вероятно, не так уж и редко. От этого никто из руководителей не застрахован. Бывало это и прежде.

Ведь эту же самую ситуацию можно обернуть и против самого разгневанного Сапегина: ведь это сотрудники *его* института, возглавляемые Лысенко, подделывали результаты опытов. Но он-то чем в этом виноват – просто человеку не повезло с подбором кадров. И только. И даже нельзя оправдать Сапегина тем, что он, дескать, ничего не мог поделать с Лысенко, которого ему просто навязали в качестве сотрудника. Ведь не один Лысенко оказался махинатором и аферистом: многие из тех, кого принимал на работу Сапегин и кого он мог безо всякого труда уволить – никто бы за них и не заступился, – оказались в этом смысле ничем не лучше сего одиозного яровизатора[156]. Значительное число сапегинских сотрудников продолжали работать

---

[156] Здесь достаточно упомянуть М.Ольшанского, который, будучи вполне квалифицированным сотрудником, а затем аспирантом Одесского института при Сапегине, без особых проблем сработался и с Лысенко, а чуть позже даже выдвинулся в число самых известных его соратников, защищавших лысенкоизм и все его прихотливые идеологические изгибы. И никакая квалификация и образованность ему в этом не помешали.

Или еще один представитель той же плеяды одесских ученых: А.И.Воробьев. Он, конечно, далеко не так известен, как Ольшанский, и даже близко не подходил к тому уровню, на котором вращался его более удачливый коллега (Ольшанский одно время был министром сельского хозяйства СССР и кандидатом в члены ЦК КПСС), но в определенных отношениях он, может быть, даже более интересный тип *советского ученого* той эпохи. Вот что пишут о нем на Официальном сайте Одесского национального университета им. И.И.Мечникова (http://onu.edu.ua/ru/structure/faculty/bio/genetic/genetic_history): «Самострельная [так в тексте – *Н.В.*] кафедра генетики в Одесском университете была создана 3 сентября 1949 г. …Основателем кафедры и первым ее заведующим… был… А.И.Воробьев.

в Одесском институте и в то время, когда он превратился в цитадель мичуринской биологии, а их верные ученики, вероятно, и до сих пор там усердно трудятся, найдя сердечное взаимопонимание с нынешним начальством, как это удавалось их незабвенным учителям, находившим такое же взаимопонимание как с Сапегиным, так и с Лысенко. Впрочем, не стоит объяснять подоплеку подобных прискорбных ситуаций, в которых может оказаться любой руководитель, национальными традициями нашего *вороватого русского народа*. Схожие случаи время от времени происходили (и происходят) и в зарубежной науке. Хотя лишь незначительная часть из них оказывается вытащенной на всеобщее обозрение.

Однако, вернемся к истории с лысенковской идеей анкетирования. Дело в том, что разобранный выше случай с оставленными на поле снопиками, хоть и характеризует Лысенко с негативной стороны, но ничего интересного о его индивидуальных способностях не говорит. Всё, как у всех, и только. А вот «анкетирование», несмотря на его внешнюю схожесть со «снопиками», я считаю остроумным изобретением Лысенко (в самом крайнем варианте, если окажется, что Лысенко у кого-то его позаимствовал, остроумным использованием чужого изобретения в новой области применения). И вот почему я так думаю. Несмотря на то, что всякий более или менее грамотный человек должен без каких-либо размышлений отвергнуть предложенный хитроумным махинатором способ «проверки» эффективности яровизации, как абсолютно непригодный и ведущий к неминуемой фальсификации результатов[157], мне не удалось – а я достаточно долго ломал над этим голову – найти приемлемые рациональные

А. И. Воробьев … аспирантскую подготовку проходил в 1925 - 1929 гг. на кафедре генетики и селекции того же института под руководством проф. А.О.Сапегина. По его инициативе А.И.Воробьев был командирован в Ленинград и Москву для ознакомления с методикой работы в лучших генетических лабораториях и изучения литературы. Поездки оказались плодотворными: была собрана необходимая литература для фундаментального исследования «Кратные хромосомные числа у близкородственных форм». Успешной работе способствовало знание иностранных языков, а владение цитогенетическими методами дало возможность накопить собственные экспериментальные данные. С рукописью работы ознакомились всемирно известные ученые Н.И.Вавилов и Г.А.Левитский, и она была принята к печати.

…После возвращения в Одессу, работал во ВСГИ вначале старшим научным сотрудником, а потом – заведующим отделом генетики…

Ставши заведующим кафедры генетики ОГУ, …А. И. Воробьев большое внимание уделял …научно-исследовательской работе преподавателей и студентов. Написанный им учебник «Основы мичуринской генетики» (первое издание вышло в печати в 1950 г., второе, дополненное - в 1953г.) был переведен на польский, чешский, румынский, японский и китайский языки.

…Поскольку кафедра генетики формировалась и развивалась в сложные для страны и ее науки времена, общий курс «Генетика с основами селекции» А.И.Воробьев был вынужден преподавать по министерской программе… Но на спецкурсах… студенты слушали классическую генетику и изучали ее по учебникам Ю.А.Филипченко, Е.Синнота и Л.Денна. Эти учебники студенты получали из собственной библиотеки А.И.Воробьева. На заседаниях студенческого кружка проводились дискуссии по разным проблемам генетики, а также обговаривались результаты исследований зарубежных авторов, которые различными нелегальными путями попадали на кафедру».

Прямо-таки приходят на ум герои «Белых одежд» Дудинцева с их подпольной работой на благо запрещенной генетики, но тут же:

«Кафедра поддерживала тесные связи с Всесоюзным селекционно-генетическим институтом [так теперь назывался институт, о котором идет речь. – *Н.В.*]. В отделе цитологии и генетики, а также в селекционных отделах студенты кафедры проходили производственную практику, выполняли курсовые и дипломные работы».

Вот такой был интересный дядечка. Всю жизнь положил на подготовку всесторонне образованных специалистов, мастеров на все руки, – посылай их хоть к Ольшанскому, хоть к Тимофееву-Ресовскому: везде они будут на коне.

[157] Сойфер, ссылаясь на личное сообщение В.П.Эфроимсона, выдающегося советского генетика [прошу читателя обратить внимание на то, что эти слова не выделены курсивом – *Н.В.*], начавшего свою научную карьеру в 1929 году исключением из МГУ за защиту арестованного профессора С.С.Четверикова, сообщает, что А.А.Сапегин резко выступал против планируемого Лысенко анкетирования. Но, как видно из дальнейшего, не имел в этом деле успеха – Лысенко его протесты проигнорировал.

основания для такого бескомпромиссного отвержения[158]. Интуитивно, вроде бы, всё ясно и так, без дальнейших умствований. Но как убедить того, кому это не ясно и кто не видит в таком приеме нарушения обычных принципов, на которых зиждутся повсеместно применяемые в науке процедуры?

Мы пытаемся расширить свою экспериментальную базу и ради этого вербуем добровольных сотрудников из тех, кто работает в колхозах и совхозах. Что в этом неприемлемого? – *Ваши добровольные помощники будут вас обманывать и присылать вам анкеты с дутыми цифрами.* – Вот те раз! Почему же, когда вы набираете своих сотрудников в институт, вы не опасаетесь, что они станут вас обманывать, а людей «от сохи» вы всех чохом считаете заведомыми жуликами? Откуда такой дифференцированный подход, отделяющий *честных ученых* от *вороватого народа*? Не следствие ли он присущего вам кастового высокомерия? Но такое разделение ни на чем не основано: жулики встречаются как в *народе*, так и в среде *ученых* – разве не так? – *Да, но ваши колхозные помощники – не специалисты, они не подготовлены вести экспериментальную работу*. – Верно. Не специалисты. Но мы ведь и не предлагаем им измерять гравитационные волны, а аккуратно записать дату посева или взвесить собранное зерно может любой старательный человек независимо от его образовательного уровня. Квалифицированные специалисты здесь и не требуются. И даже если отдельные наши корреспонденты в чем-то ошибутся, не такая уж это и беда – ведь мы не строим свои выводы на единичных случаях, а чем больше будет заполнено анкет, тем меньше будет средняя ошибка общего результата. Статистика, батенька! Против нее не попрешь. Да и, откровенно говоря, разве ученые не совершают ошибок? Регулярнейшим образом ошибаются, чего тут скрывать. Но ведь науку это не отменяет – она продолжает развиваться, несмотря на допускаемые учеными ошибки. Общая масса полученных результатов нивелирует частные ошибки отдельных ученых. Чем эта привычная картина научного поиска отличается от разбираемого случая? – *Та-ак. Ну, кажется, я понял, в чем тут заковыка. Дело в статистическом перекосе, создаваемом вашей процедурой анкетирования. Ответы на вопросы вы получаете не от случайных представителей той массы, которая участвует в яровизации, а только от тех, кто почему-то захотел поучаствовать в вашем анкетировании, то есть от специфической группы яровизаторов, имеющих некоторые специфические мотивы и установки. Но тогда вы получите не случайную, как этого требует статистика, а смещенную выборку результатов яровизации, которая непригодна для статистической обработки. Следовательно, полученные вами конечные результаты будут неминуемо искажены. Они не будут отражать реальной картины*. – О, на какой уровень обсуждения мы вышли! Значит, по-вашему, дело в специфичности группы лиц, взявшихся отвечать на анкеты. Ну, что ж. С этим трудно спорить. Однако ставящие эксперименты ученые – еще более специфичная группа лиц, а вовсе не случайная выборка из общего числа тех, кто, в принципе, мог бы заняться экспериментальной работой – почему *это* вас не беспокоит? И разве это обстоятельство серьезно мешает получению учеными достоверных результатов?

Вот к такой бесплодной перепалке мог бы, как мне кажется, привести спор между Сапегиным, на дух не приемлющим метод анкетирования, и каким-то достаточно образованным сторонником Лысенко, способным участвовать в такого рода спорах (ну, например, с Презентом). Как ни прав Сапегин в своем неприятии такого изощренного очковтирательства, но уцепиться ему, похоже, не за что. Я не думаю, что Лысенко мог рассуждать в такой форме (в этом и заключается его отличие от Презента), но он, безусловно, чувствовал, что применение анкетирования обеспечивает ему неуязвимость для критики. Опять же: всё всем ясно, а за руку не поймаешь. Можно сколько угодно твердить, что Лысенко – шулер, но это лишь слова, а вы покажите, где и как он передергивает. Вот, то-то и оно!

---

[158] Я буду только рад, если кому-то из читателей удастся привести убедительные аргументы в пользу позиции, отвергающей подобные «методы исследования» на рациональной основе.

Еще одно нововведение, использованное Лысенко в те ранние годы для беспроигрышного получения «доказательств» эффективности яровизации, а затем распространенное и на другие его «почины», связано с созданием в колхозах сети так называемых *хат-лабораторий*. Мне не удалось, к сожалению, толком выяснить, каким образом и когда появилась эта своеобразная институция в советской системе сельскохозяйственного производства – исследователи лысенковщины не уделили этой теме должного внимания (или мне просто не попались такие работы). Но для наших целей достаточно знать, что появились эти *хаты* в начале тридцатых годов на Украине (о месте их зарождения говорит и сам термин: *изба-читальня*, но *хата-лаборатория*), а к 1934 году распространились уже по всей стране, и организация их была поставлена на государственную основу с выделением необходимых средств и регламентацией их деятельности[159]. Нет никаких сомнений, что затея с *хатами* была точно того же типа, что и яровизация и прочие раздуваемые Агитпропом шумные кампании. Визг, вопли, бодрые рапорты и бурные аплодисменты некоторое время нарастали по экспоненте, потом шум поутих и последнее упоминание о хате-лаборатории, которое мне повстречалось в интернете, относится к 1942 году. Стоит, вероятно, упомянуть, что горячим поборником этих оплотов сельской научной мысли и инициатором их государственной поддержки был П.П.Постышев – людоед такого ранга, что даже среди видных большевиков с ним мало кто может сравниться. (Это надо себе вообразить: еще не успели, видимо, схоронить всех умерших во время жуткого Голодомора на Украине, а партийный лидер, командовавший выгребанием хлеба – до последнего зерна – у украинских крестьян, уже озаботился развитием сельскохозяйственной «науки», призванной обеспечить благосостояние и процветание тех колхозников, кому – очевидно, по недосмотру Постышева – посчастливилось всё же выжить).

Для понимания тактики Лысенко надо заметить, что независимо от того, какими целями руководствовался в своей затее Агитпроп, под мудрым партийным руководством в структуре колхозов и совхозов была создана еще одна синекура – иначе должность заведующего хатой-лабораторией и не назовешь: человек ни за что не отвечает, никому в своей деятельности не подчинен (ну, пишет он какие-то бумажки и отсылает их наверх, кто их читать-то будет) и при этом ему не надо брать в руки вилы или ходить за плугом – это дело рядовых колхозников. Идеальное местечко для тестя колхозного агронома или для жены парторга (ей уже не по чину выходить на поле с сапкой или два раза в день доить по пятнадцать коров). Не сомневаюсь, что среди руководителей таких *хат* встречались и искренние энтузиасты, которые так и рвались что-то выращивать, скрещивать, прореживать или заделывать в землю при мелкой вспашке, однако так же не сомневаюсь, что подавляющее большинство занимающих эту должность заступали на нее, руководствуясь совершенно иными, гораздо более приземленными мотивами (а уж становились они после этого энтузиастами или нет, зависело от их доброй воли)[160]. Попав на эту, связанную с «наукой», должность, они были просто вынуждены чем-то оправдывать свое назначение и рапортовать о разного рода мыслимых и немыслимых успехах. Опираясь на их отчеты и рапорты, Лысенко мог быть уверен, что любым его починам и рекомендациям гарантирована масса непосредственных «доказательств» со стороны *колхозной науки* – и неважно, были ли полученные в хатах-лабораториях цифры

---

[159] Начиная с мая 1934 года Наркомзем УССР издает ряд постановлений об организации хат-лабораторий и их работе.

В 1935 – 1937 годах Наркомземом Украины издавался даже специальный журнал «Хата-лаборатория». Он числился научно-популярным, но в нем печатались и ученые высокого ранга, включая Н.И.Вавилова (Вавилов М.І. Багато невідкладної і важливої роботи // Хата-лабораторія, 1936, № 2, с. 13–15).

[160] Я, разумеется, не располагаю никакой статистикой такого рода – да ее и быть не может, но встреченные в литературе два указания на социальный статус заведующих хатами-лабораториями этим предположениям, по крайней мере, не противоречат. Один из таких случаев – уже известный нам Д.Н.Лысенко (пресловутый «дид Денис»), а другой – *секретарь комсомольской организации колхоза* «Имени 9 января» Городецкого района Нижегородской области Пимен Киселев, ставший известным благодаря своим опытам по применению люпина для улучшения плодородия почвы – его пригласили на сессию ВАСХНИЛ и он попал в газеты.

обусловлены малограмотностью и неопытностью «ученых от сохи», их незамутненным энтузиазмом, головокружением от собственных – научных! не хухры-мухры! – успехов, или же обыкновенным враньем и типичными для всей колхозной отчетности приписками. Даже если многие их рапорты были враньем, то врали-то они, а *бравший на веру* их данные академик оставался чист как стеклышко. Заранее зная всю нехитрую механику «колхозной науки», Лысенко сделал ставку именно на хаты-лаборатории[161] – они были идеальным инструментом, который ему и требовался. На протяжении многих лет значительная часть цифр и сделанных из них выводов, которые наш герой оглашал при своих выступлениях на многочисленных конференциях и совещаниях, печатал в газетах и в своем плюгавом журнальчике, вставлял в свои «научно-художественные труды», была плодом деятельности этих самых хат-лабораторий и работавших в них «колхозных ученых». Хаты не подвели его и на этот раз, и Лысенко оставался верен им на протяжении всего их существования[162].

Мне осталось только обратить внимание читателей на один специфический нюанс, вероятно, сыгравший некую роль в безотчетной любви Лысенко к *колхозной науке* и ее деятелям. В отличие от затеи с анкетами, которая была целиком на совести Лысенко и потому могла – хотя бы чисто теоретически – попасть под критику научного сообщества, за развитие сети хат-лабораторий ратовали не только такие фигуры, как Постышев или Лысенко, сопровождаемые чиновным подтявкиванием и дежурными воплями газетно-журнальной братии, но и истинные серьезные ученые, столпы агронауки, в том числе, как мы уже видели, и Н.И.Вавилов. При этом можно, по-видимому, особенно не сомневаться в их искреннем одобрении данного «почина». Даже если какая-то часть их высказываний была обусловлена желанием «отметиться» и лишний раз удостоверить власть в своей лояльности, то всё же значительная часть поддержки со стороны крупных ученых выражала их истинное отношение к обсуждаемому делу. И здесь нет ничего удивительного: еще в дореволюционные годы отечественная агрономия и другие сельхознауки пришли к формированию на местах сети *крестьян-опытников*, которые призваны были осваивать и внедрять в своих единоличных хозяйствах передовые, рекомендуемые наукой агроприемы, а затем распространять усвоенные знания среди других крестьян, заинтересовавшихся их несущим выгоду опытом. Эта прерванная гражданской войной традиция была возобновлена в двадцатые годы[163], так что

---

[161] Никак не могу отделаться от мысли об удивительной «рифмовке» этих *хат* с той сказочной *хаткой* деда Дениса, куда его сын, выступающий в роли мужицкого Прометея, впервые принес огонь высокой науки. Или это проявление общего художественного вкуса эпохи, или же к названию очагов *колхозной науки* приложил руку кто-то из идейных побратимов Лысенко, кто-то живший и чувствовавший с ним в унисон.

[162] Сын Н.И.Вавилова в своей мемуарной книге пишет:

«Интересно, что, став после ареста моего отца директором Института генетики, Т.Лысенко передал прекрасное здание института, построенное в 1939 году по проекту знаменитого архитектора Щусева, Институту удобрений, заявив, что его «мичуринская генетика» (фактически лысенковская) развивается и будет развиваться преимущественно в колхозных и совхозных хатах-лабораториях» (Вавилов Ю. В долгом поиске. Книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых. М.: ФИАН, 2008, с. 15).

И в этом, на первый взгляд, экзотическом решении Лысенко последовательно проводит свою *генеральную линию*. Действительно, оставь это здание – и в нем могут завестись разные ученые, которым нужны все эти цейсовские микроскопы, центрифуги, вытяжные шкафы и прочее, а в хатах они существовать не смогут. И это прекрасно: не будут путаться под ногами.

[163] «Одним из удачных нововведений реформы опытного дела стало создание Н.И.Вавиловым в 1924-1925 г.г. института крестьян-опытников. Первоначально к ним относили любого крестьянина, пытавшегося ввести в своем хозяйстве какое-либо усовершенствование в соответствии с предлагаемыми ему научными разработками. С февраля 1927 г. – опытниками называли владельцев хозяйств, проводивших по соглашению с опытными станциями или иными сельскохозяйственными исследовательскими учреждениями и под их контролем апробацию определенных научно-технических разработок.

…Численность этого слоя, который по оценке современного историка «становился гарантией развития цивилизации в деревне», возрастала примерно на 6 тыс. человек в год и достигнув к концу периода

хаты-лаборатории и звание *колхозников-опытников* можно было считать продолжением уже испытанной практики в новых колхозных условиях. Таким образом, ученым было вовсе не с руки критиковать Лысенко за опору на «колхозную науку», ведь они сами на все лады твердили о *тесной связи передовой советской науки с жизнью и ее заботами*. Правда, тот же Вавилов характеризовал хаты-лаборатории как «приводные ремни от высшей науки к колхозному производству», указав тем самым на направление потока знаний: сверху вниз. Не стоит с этим спорить, но ведь можно крутить эти *ремни* и в другую сторону, ставя опыт народных умельцев на службу *высшей науке*. Чем вам это может не нравиться? И чем вы можете обосновать свое недоверие к связи науки с жизнью в *таком* – пусть пока еще и непривычном – качестве, кроме как барским пренебрежением к *творческому потенциалу широких масс, разбуженных великой революцией и всемирно-историческим переходом к социалистическим формам собственности на средства производства*? А раз нет у вас убедительных аргументов, то и молчите. Вот и молчали, не мешали Лысенко морочить голову всем, кто хотел быть замороченным.

Теперь мне предстоит перейти к тому яркому и захватившему внимание публики конфликту, который обычно расценивается как основное содержание феномена *лысенковщины*: к длительному и всё обостряющемуся противостоянию достаточно многочисленных ученых-биологов во главе с Н.И.Вавиловым и еще более многочисленной своры разнообразных прохвостов, группировавшихся вокруг Лысенко с его *мичуринской биологией*. Да и пора уже: большая часть разбираемого представления уже за плечами, а два центральных протагониста, в прологе вышедших на сцену из-за кулис с противоположных сторон, еще не начинали бороться друг с другом, и даже неясно, что может привести к такой непримиримой борьбе: оба наших героя заняты своими собственными заботами и, можно сказать, не замечают друг друга.

Взаимодействие между будущими заклятыми врагами начинается как раз в одесский период деятельности Лысенко (в начале тридцатых) и, как ни удивительно для тех, кто знает, к чему это приведет, начинается оно отнюдь не с объявления войны, а с трогательной заботы академика Вавилова о старшем специалисте одесского института с его яровизационными прозрениями. Здесь нам придется разобраться – хотя бы в общих чертах – с проблемой, которая вызвала довольно живую дискуссию и бескомпромиссный обмен достаточно жестко сформулированными мнениями среди тех, кого интересует история лысенковщины, как глава общей истории отечественной биологии. Вопрос поставлен так: насколько велика вина Вавилова в том, что он своими руками способствовал возвышению Лысенко на ранних этапах его восхождения к вершинам научной власти? Действительно ли он пригрел у себя на груди эту гадину, создав тем самым благоприятные предпосылки для развития известных событий, приведших, в конечном итоге, самого Вавилова к гибели в тюрьме, а отечественную биологию к жалкому, унизительному состоянию?

Первым открыто поставил вопрос о трагических заблуждениях и вине Вавилова, вероятно, М.А.Поповский в своей книге «Дело академика Вавилова»[164], и нетрудно понять, почему обсуждение этого вопроса началось с его книги. Хотя книга была создана им в СССР[165], появиться в печати она смогла лишь после того, как ее автор оказался в эмиграции, где у него не было причин уклоняться от обсуждения интересующих его вопросов. В то же время

НЭПа 24 тыс. [Борисов Ю.С. Производственные кадры деревни. М.: Наука, 1991, с. 174]». (Глазко В.И, Чешко В.Ф. Август – 48. Уроки прошлого. (Научное киллерство, к истории советской генетики, к феномену распада СССР). М.: РГАУ–МСХА, 2009).

[164] Он уже касался этого вопроса в большой статье «1000 дней академика Вавилова», успевшей «проскочить» в печать на волне очередной перестройки партийных верхов и опубликованной в 1966 году в алматинском журнале «Простор».

Сойфер указывает, что первым обратил внимание на вавиловскую помощь Лысенко американский историк Д.Жоравский в своей работе «The Vavilov's brothers», опубликованной в Slavic review в 1965 году, а Поповский существенно расширил аргументы, доказывающие верность этого утверждения (Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002).

[165] Ее первый, ходивший в самиздате вариант так и назывался: «Беда и вина академика Вавилова».

ситуация в нашей стране была совершенно иной: идейные противники Вавилова и их наследники, которые несмотря на официальное развенчание Лысенко и его мичуринской биологии продолжали доминировать во всех научных, околонаучных и вовсе не имеющих к науке никакого отношения инстанциях, где что-то решалось, вовсе не имели желания вспоминать об этой истории и всячески противились ее «раздуванию», а сторонники Вавилова, прилагавшие всяческие усилия для реабилитации его имени и дела его жизни, были озабочены попытками посмертно обелить так и остающегося в негласной полуопале ученого в глазах власть имущих, для чего вынуждены были доказывать его лояльность советской власти и его искреннее сочувствие социалистическим идеалам. Упрекать Вавилова за компромиссы с властью они никак не могли: в тех условиях это было бы воспринято как признание его внутренней антисоветской настроенности, льющее воду на мельницу его врагов, изо всех сил старающихся не допустить увековечения Вавилова в пантеоне отечественной науки[166]. Но стоит ли винить их в сознательном искажении облика уважаемого ими ученого? Я так не думаю. У них просто не было выбора: если они стремились вернуть Вавилова на его законное место в истории науки, и при этом им приходилось привирать и лицемерить, то всё же это была *ложь во спасение*, оправданная ситуацией, в которой им приходилось действовать.

У Поповского не было необходимости что-то умалчивать и присочинять, и он мог описывать события, как они ему виделись. Приведя несколько красноречивых высказываний и поступков Вавилова, датируемых 1931 – 1934 годами, автор «Дела академика Вавилова» резюмирует:

> …документы свидетельствуют: в начале 30-х годов академик Вавилов открыл агроному Лысенко путь к должностной и научной карьере. Как ни печален сам факт, он неоспорим[167].

Сходные по смыслу формулировки мы находим и у В.Сойфера, писавшего существенно позже и уже в новых условиях, которые давали ему возможность открыто высказываться на эту тему без опасений повредить научной реабилитации Вавилова и его сторонников. Он пишет в первой, появившейся в советской печати, своей статье о Вавилове и его борьбе с Лысенко:

> С 1930 года Лысенко начал активно поддерживать тогдашний глава биологической и агрономической науки академик Н.И.Вавилов, как-то разом поверивший в силу, ум и стремление Лысенко помочь нарождающимся колхозам[168].

и позднее:

---

[166] В этом отношении интересна история с «ленинской подписью», которую, не щадя сил, искали защитники Вавилова, чтобы добиться официального празднования 100-летия со дня рождения ученого. Занятные были всё же порядки – если бы сами в то время не жили, вряд ли бы и поверили этому.

«Хотя реабилитирован Николай Иванович был в 1955 г., добиться почти через 30 лет Постановления Совета Министров о проведении 100-летнего юбилея было совсем не простым делом. Никто открыто не возражал, но дело не двигалось с мертвой точки.

Не один день потратил Иосиф Абрамович [Рапопорт] в библиотеке, просматривая собрание сочинений В.И.Ленина, пытаясь найти хоть что-то, что говорило бы о том, что В.И.Ленин был знаком с Николаем Ивановичем или с его работами. И с помощью Владимира Дмитриевича Есакова он эти доказательства получил. Это было Постановление Совета Труда и Обороны о командировании Н.И.Вавилова и А.А.Ячевского в Северную Америку, а Председателем Совета Труда и обороны был В.И.Ленин. Речь шла о закупке зерна для Советской России после неурожая 20-го года. Ссылка на этот документ сыграла решающую роль в продвижении вопроса. Но только в 1983 г. было получено знаменитое Постановление Совета Министров СССР № 510 от 9 июня 1983 г. ‘Об увековечении памяти академика Николая Ивановича Вавилова’, которое дало ‘зеленый свет’ работе Оргкомитета
(Авруцкая Т.Б. Иосиф Абрамович Рапопорт и 100-летний юбилей академикаН.И.Вавилова // Иосиф Абрамович Рапопорт – ученый, воин, гражданин. Очерки. Воспоминания. Материалы. М.: Наука, 2001, с. 226)

[167] Поповский М.А. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990

[168] Сойфер В. Горький плод // Огонек, 1988, № 1, с. 26

> Вавилов с явной симпатией относился к Лысенко с начала его выдвижения в ученые и активно хвалил его работы на протяжении почти 8 лет (с 1929 до 1936 года), чем помог ему за эти годы сформировать в глазах публики и властей образ талантливейшего ученого[169].

И Поповский, и расширивший «доказательную базу» таких выводов Сойфер приводят многочисленные поступки и высказывания Н.И.Вавилова, неопровержимо свидетельствующие о его неуклонном стремлении поддержать лысенковскую аферу и помочь ее инициатору занять высокопоставленную позицию в советской научной иерархии. Список таких примеров, «разоблачающих» вавиловское трагическое заблуждение, весьма велик и мне нет смысла приводить его здесь, когда читатели могут познакомиться с ним в полном объеме, обратившись к названным великолепным книгам. Укажу лишь на те свидетельства, которые кажутся мне наиболее убедительными и отчасти даже шокирующими.

И первым среди них стоит упомянуть тот факт, что в 1932 году Вавилов в своем официальном письме к президенту Всеукраинской академии наук А.А.Богомольцу рекомендует принять Лысенко в члены этой почтенной научной организации. Событие, как его ни толкуй, неординарное: заслуженный ученый, обладающий к тому же большим авторитетом в тех кругах власти, которые и осуществляют непосредственное руководство всей советской наукой, ходатайствует за старшего специалиста одного из многочисленных подчиненных ему институтов, настаивая, чтобы этому малограмотному «специалисту», имевшему к тому времени на своем счету *одну* научную работу, было присвоено высшее в нашей стране научное звание. Есть над чем задуматься и почесать голову. И хотя в том году вавиловский кунштюк не прошел, но со второй попытки Вавилову удается осуществить задуманное: на следующих выборах в 1934 году Лысенко оказывается избранным в члены ВУАН – вопрос о его научных заслугах, по-видимому, уже не казался академикам столь важным на фоне победных рапортов о миллионах пудов зерна, подаренных стране яровизацией.

Оставим в стороне хвалебные характеристики, которыми Вавилов не стесняясь награждает Лысенко и его яровизационные труды в своих выступлениях на самых разных съездах и совещаниях, или намерение главы отечественной генетики включить Лысенко в состав нашей делегации на Международный генетический конгресс, или представление этого самородка, этой *гордости нашей науки* в качестве кандидата на получение Ленинской премии в 1933 году[170] – всё это можно отнести к официальной линии поведения директора ВИРа и президента ВАСХНИЛ, и в таких случаях нельзя исключить, что Вавилов руководствуется желанием говорить то, чего от него ожидают и что будет благосклонно выслушано власть имущими. Но и Поповский, и Сойфер, и другие, касающиеся этой скользкой темы, с недоумением и с глубоким сожалением вынуждены признать, что и в частной переписке со своими соратниками и с зарубежными учеными Вавилов щедро рассыпает не менее лестные отзывы как о самом Лысенко, так и о его методе яровизации – нет сомнений, Вавилов активно раздувает научную репутацию своего протеже, и подтверждений этому вполне достаточно.

Более того, точно те же хвалебные оценки деятельности Лысенко он дает и в разговорах с близко стоявшими к нему людьми, разговорах, лишенных всякой публичности и ведущихся,

---

[169] Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002

[170] «Настоящим представляю в качестве кандидата на премию в 1933 году агронома Т.Д.ЛЫСЕНКО.

Его работа по так наз[ываемой] яровизации растений несомненно является за последнее десятилетие крупнейшим достижением в области физиологии растений и связанных с ней дисциплин.

…И теоретически и практически открытие ЛЫСЕНКО уже в настоящей фазе предоставляет исключительный интерес, и мы бы считали т. ЛЫСЕНКО одним из первых кандидатов на получение премии в 1933 году.

Если бы понадобились более подробные данные, то они могут быть предоставлены мною.

Академик Н.И.Вавилов»

(ЦГАНТД Спб, ф. 618, оп. 1-1, д. 52, л. 12. Цитируется по всё той же книге В.Сойфера).

можно сказать, с глазу на глаз. Известный цитогенетик А.А.Прокофьева-Бельговская, принадлежавшая в те годы к ближайшему научному окружению Вавилова, в 1987 году вспоминала, как об этом сообщает Сойфер, что «даже в 1936 году Вавилов, обращаясь к ней и к Герману Мёллеру в их лабораторной комнате в Институте генетики в Москве, повторял не раз, как и прежде, что Лысенко – талант, умница, но не обучен тонкостям науки, и надо прилагать усилия к тому, чтобы обучать его всеми доступными средствами». И автор воспоминаний, и Мёллер были людьми из ближайшего круга общения академика и его единомышленниками, он не имел никаких оснований сомневаться в том, что они его не выдадут, однако и им он говорил буквально то же, что возвещал публично с высоких трибун.

И венчают всю эту груду разнообразных свидетельств, говорящих об искренней завороженности великого ученого ублюдочной яровизационной суматохой, краткие заметки, предназначенные Вавиловым для «внутреннего употребления» и обнаруженные в его записных книжках.

М.Поповский пишет:

> Яровизация же Вавилова сразу заинтересовала. Мы располагаем документом (да, снова документом!), который позволяет судить, насколько искренним и даже горячим был у Вавилова этот интерес. Я имею в виду так называемую академическую записную книжку Н. И. Вавилова за 1934 год. Здесь, на странице 151, среди сугубо личных пометок, совершенно не предназначенных для чужих глаз, можно прочитать следующие набросанные карандашом строки:
>
> «4 – 5.000.000 пуд. прибавки от яровизации... картофель... Яровизация светом... Лысенко яровизовал комплексом низких t° (температур). Условия развития растений требуют фактора низких температур...»…
>
> На другой странице среди плохо разборчивых записей снова:
>
> «Яровизация Лысенко...
> Работать...
> Генетика вегетационный период
> Управление формообразованием
> Широкий простор».
>
> Наконец на странице 189 той же книжки читаем: «Яровизация широких ресурсов – новый метод растениеводства»[171]. Здесь уже не просто констатация фактов, а целая программа действий, которую Николай Иванович намечает для советской агрономической науки. Эти сделанные в разное время записи говорят нам еще об одном: с каким живым личным вниманием академик Вавилов приглядывался в те годы к творцу яровизации[172].

Всё. Не подкопаешься. Весь комплекс сведений, имеющихся на сегодняшний день в распоряжении исследователей, однозначно говорит о том, что Н.И.Вавилов в период с 1930 по 1934 (а может быть, и 1935) годы был искренним сторонником лысенковской пропаганды и восхищался широчайшими перспективами, которые открывал перед агрономической наукой пропагандируемый им метод яровизации. *Полнота источниковой базы* в данном вопросе, можно сказать, достигнута. Нам остается только понять, каким же образом неглупый и очень опытный человек мог оказаться столь близоруким и не распознать в этом корявом агрономе обычного проходимца и будущего своего могильщика, схоронившего, в конечном итоге, дело всей вавиловской жизни (если даже не касаться участия Лысенко в доведении до гибели самого Вавилова).

На мой непредубежденный взгляд уже сама постановка вопроса в подобном виде указывает, что мы здесь чего-то не понимаем, и что всё происходило как-то не так, как нам сегодня это видится.

Однако посмотрим как отвечают на этот вопрос те, кого не устраивает вывод, сделанный Поповским и Сойфером о «трагической вине» академика Вавилова, своими высказываниями и

---

[171] Цитируя записные книжки Вавилова, автор ссылается на *Архив АН СССР, Ленинградское отделение, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 73, л. 151.*

[172] Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990

действиями способствовавшего возвышению Лысенко и появлению феномена *лысенковщины*, и кто хотел бы защитить память покойного от обвинений, сформулированных, как им кажется, в стиле *сам виноват* и *за что боролся, на то и напоролся*. В качестве примера такого желания оправдать Вавилова я возьму только позицию Е.С.Левиной – историка науки, опубликовавшей несколько статей на эту тему[173], хотя людей, высказывавших подобные мнения, достаточно много (в том числе и оставшихся мне неизвестными – на обстоятельный обзор полемики по этому поводу я не претендую). В своих стараниях защитить Вавилова от несправедливых обвинений Левина не пытается дезавуировать свидетельства, приводимые Поповским и другими авторами, да и как это можно сделать – речь ведь идет не о единичном высказывании Вавилова. Ее линия защиты построена, главным образом, на том, что она стремится доказать, во-первых, непритворное стремление ее подзащитного сделать всё возможное со стороны руководимой им агрономической науки для подъема отечественного сельского хозяйства (в существовавших тогда условиях это стремление не могло не вылиться в лозунг «науку – на службу социалистическому хозяйству») и, во-вторых, его уверенность в том, что любые теоретические разногласия в науке могут быть разрешены с помощью конкретных экспериментов – и здесь уже проглядывает прямая связь с отношением Вавилова к Лысенко. Левина считает, что Вавилов не боялся идейной конкуренции и, как формулирует исследовательница, «приветствовал каждого, кто потенциально мог содействовать успеху в решении важной проблемы», – в том числе и Лысенко с его часто бездоказательными заявлениями. «Вавилов, – говорит она, – поддерживал *эксперимент, исследование* и выступил немедленно против, когда стали явными попытки Лысенко на монополизацию, как выступил бы против монополизации любой идеи». Если я правильно понимаю автора, суть ее возражений на обвинения Вавилова в попустительстве этому злодею Лысенко можно, в значительной мере, выразить как объяснение вавиловского поведения его искренней заинтересованностью в успехах любых научных концепций, в том числе и лысенковской яровизации, и его верой в «честную игру» со стороны любого из подчиненных ему по должности научных сотрудников.

Но если защита Вавилова исходит из подобного мнения о его мотивах, приведших к мощной поддержке Лысенко в его продвижении по лестнице научных рангов и званий, то ведь и «обвиняющая» сторона предполагает у «подсудимого» сходные мотивы, и нельзя сказать, что Поповский или Сойфер занимают более жесткую позицию по отношению к своему герою, нежели защищающая его Левина. Максимум, что можно вменить Вавилову в вину, исходя из их «обвинительных» речей, это излишняя доверчивость, неоправданный оптимизм в оценках еще ничем не подтвержденных заявок на научные достижения, и вообще некоторая наивность и интеллигентское прекраснодушие, позволившие махровому жулику обвести вокруг пальца заслуженного ученого. Поповский сочувственно цитирует слова профессора Л.П.Бреславец, бывшей однокашницей Вавилова по Петровской академии и близко контактировавшей с ним в описываемые годы:

> …к сожалению, доброта и наивность, почти детская, такие чудесные в этом большом человеке, иногда мешали ему с должной ясностью разглядеть другого человека. Этим воспользовались некоторые низкие лица. Я бы не хотела, – добавляет она, – чтобы создавалось впечатление, что Николай Иванович не разбирался в людях. Он видел недостатки некоторых из своих коллег, но считал, что любовь к науке их перевоспитает.

И чуть ниже сам высказывается в том же духе:

---

[173] См. Левина Е.С. Трагедия Н.И.Вавилова // Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991, с. 223-239 и Левина Е.С. Беда или вина академика Вавилова? [Рецензия на книгу Марка Поповского «Дело академика Вавилова»] // Природа, 1992, № 8, с.121-124

> …доверчивость или легковерие, то свойство натуры, которое Карл Маркс в известной анкете скорее всего был склонен извинить в человеке, превратилось для президента ВАСХНИЛ в подлинное бедствие. В начале 30-х годов стала формироваться довольно обширная категория людей, обретших в науке кормушку и одновременно трамплин на пути к власти. Вавилов пропустил тот момент, когда для этого нового типа людей у нас в стране сложились наиболее благоприятные условия. Он жил в мире науки, в мире творчества и попросту не думал о жуликах.

Мне кажется, что взгляд на Вавилова как доверчивого простачка плохо вписывается в общую картину всего того, что мы знаем об этом человеке и его блистательной карьере. Но это лишь мое субъективное впечатление, и кто знает, может, Вавилов, и в самом деле, был в некоторых отношениях таким «большим ребенком», благодушным и не ожидающим от окружения никаких подвохов. Однако даже такая реконструкция вавиловских мотивов не дает объяснения факту выдвижения Вавиловым Лысенко в члены ВУАН на основе единственной печатной научной работы. Как бы ни был «очарован» Вавилов лысенковскими трудолюбием и оригинальностью, к чему такие экзотические административные ходы и такая поспешность? Ведь не делал ничего подобного Вавилов по отношению к другим своим подчиненным: например, он вовсе не «продавливал» в академики с такой настойчивостью Г.Д.Карпеченко, бывшего его близким сотрудником и уже завоевавшим к 1931 году мировую известность – уж, наверное, он гораздо больше Лысенко заслуживал звания академика. Нет, ссылки на доверчивость героя здесь ничего не объясняют.

Есть еще одна позиция в данном споре, которую, вероятно, следует упомянуть, хотя она и не представляет для нас существенного интереса. Суть такой позиции, занятой Н.Л.Кременцовым в его напечатанной в 1997 году статье[174] (вероятно, у концепции автора есть и свои сторонники), заключается в вынесении, так сказать, за скобки вопроса о сущности противоборствующих на протяжении 30-х – 40-х годов сторон. Такой подход к делу, как и следовало ожидать, приводит автора к убедительному (в рамках текста) выводу о том, что ожесточенный конфликт между генетиками и другими примкнувшими к ним биологами, с одной стороны, и не имевшей четких границ армией *мичуринцев*, с другой, сводился в сущности к борьбе двух научных клик, конкурирующих между собой за административную поддержку и государственные субсидии. И та, и другая стороны конфликта в своих спорах апеллировали к государственной власти и использовали для этого политическую и идеологическую аргументацию. Власть (по своим, ведомым только ей причинам) поддержала клику, возглавляемую Лысенко, что и привело, в конечном итоге, к разгрому генетики и воцарению – на какой-то период – *мичуринской биологии* в нашей стране.

Мне кажется, что нет особого смысла всерьез обсуждать подобный взгляд на феномен *лысенковщины*, поскольку, несмотря на свою внешнюю «академичность» (*не дело*, дескать, *историка входить в рассмотрение личностных характеристик исторических персонажей – ведь наука должна быть свободна от морализаторства и от субъективных нравственных оценок*), подобное «исследование» полностью выпускает из виду сущность рассматриваемых событий. Если мы вычеркнем из исходных условий тот простой, очевидный и не требующий ни малейших предварительных исторических или биологических штудий, но фундаментальный факт, что Вавилов и его основные сторонники были серьезными учеными, а Лысенко с его компанией – откровенными прохвостами[175], то тем самым мы, в принципе, лишимся даже

---

[174] Кременцов Н.Л. Принцип конкурентного исключения. // На переломе. Советская биология в 20 – 30-х годах. Вып 1. СПб., 1997, с. 107-164.

См. также помещенную здесь реплику (не в бровь, а в глаз!) на статью Кременцова: Лебедев Д.Л. Помогают ли опыты на простейших понять трагические события в отечественной биологии? (Реплика участника этих событий) // На переломе…, с. 165- 170

[175] Лысенко и сам, похоже, придерживался того же мнения о своей компании. По крайней мере, он – будучи уже на склоне своей карьеры – в разговоре с глазу на глаз с В.Сойфером, бывшим в то время студентом Тимирязевской академии, сказал: «Все мои ученики – либо проходимцы, либо дураки!» (Сойфер В.Н. Красная биология. Псевдонаука в СССР. М.: Флинта, 1998, с. 33).

потенциальной возможности что-либо понять в тех давних событиях. Именно *борьба ученых с прохвостами* и была центральным моментом происходившего, который определял всю расстановку сил и динамику событий, а обусловленные ситуацией приемы этой борьбы – несмотря на всю их значимость – не меняли ее сущности, лишь придавая событиям специфический *советский* колорит.

Если же меня или кого-то еще, стоящего на подобной точке зрения, спросят: *с чего вы взяли, что лысенковская мичуринская биология не имеет научной ценности?* Что тут можно ответить? Только одно: смотрите сами. Всякому более или менее грамотному человеку, заинтересовавшемуся этим историческим вопросом, достаточно хотя бы бегло пролистать увесистый том лысенковской «Агробиологии», представляющий собой сборник различных его печатных работ и содержащий – по замыслу – квинтэссенцию мичуринского учения в его новейшей редакции, чтобы самостоятельно убедиться в неоспоримой верности выдвигаемого здесь тезиса[176]. Тем же, кого чтение избранных страниц «Агробиологии»[177] в этом не убедит, можно только посоветовать, забыв о своих попытках разобраться в хитросплетениях «биологических дискуссий» прошлого века, заняться чем-нибудь другим, более соответствующим их навыкам и способностям.

Теперь, обсудив мнения, высказанные по этой несколько подзапутавшейся проблеме, я собираюсь дать собственное толкование мотивов Вавилова, которые руководили его поведением по отношению к Лысенко в первой половине тридцатых. По-моему, оно достаточно просто и позволяет дать рациональное объяснение большинству известных нам фактов, не привлекая для этой цели далеких от обыденности гипотез.

Хоть я и призывал не верить историческим персонажам на слово, но, согласитесь, всё же это довольно красноречивое признание.

[176] Вопрос о научном содержании *мичуринской биологии* был окончательно закрыт еще в середине прошлого века. Ни на какие новые научные воззрения, конкурирующие с современной ему биологией, Лысенко не только не был способен, но и не претендовал – они ему были абсолютно не нужны – скорее наоборот, они были бы для него излишним балластом. И ничего в этом окончательном выводе не могут изменить никакие сегодняшние потуги связать имя Лысенко и его *научные прозрения* с опытами Мак-Клинток или с открытием цитоплазматической наследственности, или с доказанной, якобы, ныне правотой неоламаркизма в вопросе о наследовании благоприобретенных признаков, или с еще какими-нибудь научными достижениями (или заблуждениями) сегодняшних дней. Всё это полностью бессмысленно, поскольку не имеет никакого отношения к тому, что звучало в речах Лысенко или печаталось под его именем. Поезд этот давно ушел, и глупо кричать ему вслед, стараясь подсказать Лысенко, что́ он должен был тогда думать и что́ предвидеть. Нашему герою и тогда это было без надобности, а теперь и тем более. (Оставим без внимания любые досужие рассуждения о мотивах, побуждающих всех этих мирониных, назаровых, анохиных, кононковых, животовских и прочих – *имена их Ты, Господи, веси* – вновь и вновь изощряться в стремлении придать Лысенко статус научного провидца. Будем считать, что у части из них могут быть самые благородные цели).

[177] Стоит, наверное, обратить внимание на любопытный факт, относящийся к этому наиболее полному и многократно переиздаваемому сборнику «трудов» Лысенко: в «Агробиологии» нет первой работы автора, выполненной им на Ганджийской станции и, по его словам, заложившей основы метода яровизации – в томе, содержащем 683 страницы (в издании 1949 года) ей не нашлось места. Статья «О перестройке семеноводства» (на 39 страницах) есть, есть и труд под названием «Колхозные хаты-лаборатории и агронаука» (на 26 страницах), есть и более обширные «теоретические» труды (например, «О наследственности и ее изменчивости» или «Теоретические основы яровизации»), даже вопросу «О предплужниках» уделено полстранички, а вот «Влияния термического фактора на продолжительность фаз развития растений» в книге нет. Я думаю, что эта несуразная ситуация объясняется тем, что редакторы тома, да и, вероятно, сам Лысенко чувствовали неуместность соседства этой, как ни говори, действительно научной (по форме и содержанию) работы, с прочими выдаваемыми за передовую науку лысенковскими трудами. Наглядное сопоставление того, чем автор занимался до *года великого перелома* и чем после него, могло вызвать появление у части читателей нежелательных соображений и привести к неконтролируемым выводам.

Но для начала спросим сами себя: все ли высказывания Вавилова тех лет мы можем считать искренними и выражающими его ничем не стесняемое мнение? Не врал ли, грубо говоря, Вавилов в своих речах о «социалистическом строительстве», «энтузиазме колхозников», об «окончательной победе коллективизации» и тому подобных материях? Всякому ясно, что двух мнений здесь быть не может: конечно, врал. Да и как он мог этого не делать в тех условиях, в которых ему приходилось жить и работать? Он бы и двух недель не продержался на своих постах, если бы хоть раз забыл об этой святой обязанности любого советского руководителя. Либо ты с нами, либо…[178] Но, может быть, ему не приходилось врать в таких случаях – ведь он мог искренне верить в *успехи колхозного строительства*? Нет, и с этим ничего не выйдет: говорящий с трибуны должен был возвещать *сегодняшние* истины, даже если вчера он говорил прямо противоположное[179], – тут не до верности принципам и не до откровенных высказываний. Так что без вранья никак не получится.

Но, может быть, Вавилов лукавил и лицемерил только в своих публичных выступлениях и в общении с партийным начальством, а в частных разговорах он мог себе позволить говорить то, что думал? На это также не приходится рассчитывать. Не мог он, будучи разумным человеком, так рисковать – ведь мало ли с какими людьми он мог столкнуться, не говоря уже о том, что академическая среда, в которой он существовал, была пронизана множеством сексотов, доносящих о любом неуставном движении и неосторожно брошенном словечке. Даже близким и надежным людям нельзя было доверять свои крамольные мысли – при определенных обстоятельствах, которых никто не может предусмотреть, содержание любых доверительных разговоров могло дойти до сведения надзирающих за учеными органов. Таким образом, даже описанный выше разговор с Прокофьевой-Бельговской и с Мёллером не может быть свидетельством истинного отношения Вавилова к чему бы то ни было: и с ними он вынужден был говорить то же самое, что он возвещал во всеуслышание. Пусть он всецело доверял порядочности своих собеседников и видел в них единомышленников, но кто мог поручиться, что Прокофьеву-Бельговскую завтра не арестует ГПУ и не вынудит (выбьет, вымучит) у нее *чистосердечные признания* – нельзя же требовать от всех жертвенного героизма, он мало кому под силу[180].

---

[178] «Для такого крупного чиновника, как член ВЦИК и президент ВАСХНИЛ, ответственность за нарушение политического долга еще выше. Он обязан не просто являть властям свое полное послушание, но и постоянно славословить партию, ее Центральный Комитет, Генерального секретаря в речах, в статьях, в разговорах. Все кругом славословят…» (Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990)

[179] «Добродушная и чуть лукавая улыбка играла на лице Вавилова, когда весной 1930 года в вагоне поезда Москва — Ленинград он рассказывал генетику А.И.Купцову очередную кремлевскую историю: «А Максимыч (академик Н.М.Тулайков) вчера осрамился. Были мы с ним у Сталина. И он вздумал свою политическую грамотность показать. Выучил «Исторический материализм» Бухарина, да при случае все цитаты из него и ввертывает. А Сталин на него с недоумением смотрит – Бухарин-то не в фаворе» [Купцов А.И. Памяти Николая Ивановича Вавилова. Рукопись 1958 г.]. Мог ли думать президент ВАСХНИЛ, с детской непосредственностью вспоминающий дворцовый анекдот, что через пять лет недовольный взгляд вождя обернется гибелью для талантливого земледела Тулайкова, а через десять — сведет в раннюю могилу и его, Вавилова?» (Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990)

Так что мы можем не сомневаться, Вавилов, как и прочие, внимательно читал *сегодняшнюю «Правду»*. А как же иначе?

[180] «Профессор-селекционер Виктор Евграфович Писарев (1882-1971), близкий друг и сподвижник академика Николая Вавилова, рассказывал мне, как в 1934 году в Саратовской тюрьме от него требовали написать донос на Вавилова. Донос на друга, на того, с кем ты связан самыми тесными духовными нитями... Писарев некоторое время уклонялся, говорил, что ничего предосудительного про директора Института не знает. Ему пригрозили: убьем детей, замучаем жену, убьем тебя самого. Он сдался, написал какой-то вздор о заговорах, о тайных партиях и вредительстве во Всесоюзном институте растениеводства. Между тем в то самое время, как в Саратовской тюрьме сочинялась эта бумага, академик Вавилов делал все, чтобы спасти Писарева. Писал в ЦК ВКП (б), обращаясь к ‘всесоюзному старосте’ М.И.Калинину. В конце концов Писарева удалось вытащить из тюрьмы. Недавний узник приехал в Ленинград, разбитый морально и физически, и в первые же дни во всем повинился перед

И в таком случае ты со своими откровениями будешь разоблачен как двурушник – публично ты заявляешь одно, а думаешь, оказывается, совсем другое – «редиска» – красный снаружи и белый внутри. Даже откровенные недоброжелатели советской власти не так ей опасны, как такие волки в овечьей шкуре. И не важно, что разоблачили тебя в эпизоде, вроде бы и не имеющем непосредственного отношения к политике (кто такой этот Лысенко? так, мелочь пузатая, даже в сравнении с такой незначительной в масштабах государства величиной, как ты), важен сам факт твоего двурушничества – ты, на самом деле, не тот, за кого себя выдаешь, и следовательно, не заслуживаешь доверия ни в чем. Таких надо выжигать каленым железом. Твоя подпись стоит под письмом, призывающим беспощадно покарать врагов власти, долгие годы скрывавшихся под личиной ее друзей и соратников[181]*, но ты ведь и сам такой – чем ты от них отличаешься? и почему с тобой надо поступать иначе, чем с ними?* Исходя из такой логики, обвинение в *двурушничестве* было одним из самых тяжких обвинений, которые грозили любому из тех, до кого могла дотянуться карающая рука советской власти. Даже если до тюрьмы дело и не доходило, на карьере разоблаченного *двурушника* ставился жирный крест – ни на какую снисходительность он рассчитывать не мог.

Итак, мы видим, что Вавилов – как и всякий здравомыслящий человек, не склонный безрассудно переть на рожон без особой в том нужды, – не мог быть до конца откровенным ни в своих частных разговорах, ни в письмах (справедливо полагая, что любое его письмо может быть перлюстрировано), ни в своих выступлениях за рубежом. Всякое его слово должно было быть согласовано с теми взглядами и заявлениями, которые он, по разным соображениям, считал необходимым оглашать публично. Всё, что не укладывалось в официальную линию поведения *президента ВАСХНИЛ* и в образ *верного слуги советской власти*, могло грозить опасностью как для самого Вавилова, так и для его собеседников. Обстановка требовала постоянной осторожности и бдительности. И, надо сказать, Вавилов неуклонно выполнял эти требования: даже всезнающему ГПУ (переименованному затем в НКВД), на протяжении многих лет *разрабатывавшему* будущее «дело Вавилова» и копившему с этой целью многочисленные донесения, доносы и выписки из допросов лиц, проходивших по другим делам, не удалось в 1940 году инкриминировать подследственному ни одного *антисоветского высказывания*, за исключением единственной фразы, оброненной им за восемь лет до того, как следователь смог подшить ее в порученное ему дело[182]. Основываясь на этом факте, мы вполне можем

оболганным другом. Вавилов простил его. Но дурная слава доносчика витала потом над Виктором Евграфовичем Писаревым всю его жизнь. И даже после смерти его слышал я от ученой публики разговоры о недостойном его поведении. Этого-то как раз и добивались чекисты: свары, ссоры, подозрения. И чтобы никакого единства, никакой духовной солидарности...» (Поповский М. Управляемая наука. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1978, с. 25-26).

Не избежал этой участи – давать *признательные показания* на себя и других – и сам Н.И.Вавилов.

[181] «Год 1937-й был не только годом великого кровопролития, но и годом непрерывных присяг на верность. 28 января в центральных и республиканских газетах, среди других подобных призывов, появилось письмо, озаглавленное: ‘Мы требуем беспощадной расправы с подлыми изменниками нашей великой родины’. Как и все такие письма, сочинение это не содержало никаких фактов, а наполнено было только бранью, угрозами и клеветой. Его можно было бы и не вспоминать (мало ли грязи выплескивает каждая эпоха!), но несомненный интерес представляет список авторов этого сочинения. Публика собралась действительно отменная: химик А.Бах, растениевод Б.Келлер, геолог И.Губкин, паразитолог Е.Павловский, строитель локомотивов В.Образцов, физиолог А.Сперанский, математик М.Лаврентьев, эпидемиолог П.Здродовский. Все они в один голос требовали: убить, раздавить, растоптать. Третьим по счету автором письма значился Николай Иванович Вавилов. Думал ли этот третий, что по иронии судьбы ровно через шесть лет, почти день в день он сам, став ‘врагом народа’, будет умирать на тюремной койке? Впрочем, ‘не судите и не судимы будете’». (Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990)

Мне кажется, что у нас нет оснований сомневаться в том, что о возможности попасть на тюремную койку Вавилов не забывал ни на минуту, потому он и подписал это письмо, как и множество других писем и документов.

[182] «Оглашаем вам выдержку из показаний арестованного МЕЙСТЕРА Георгия Карловича

сделать вывод о том, что Н.И.Вавилов был блестящим конспиратором – как, впрочем, и подавляющее большинство советских чиновников – и не дал в руки следствию никаких конкретных свидетельств, которые могли бы подтвердить голословные обвинения следователя и не менее голословные «признания» обвиняемого в антисоветской деятельности. Следствие, правда, обошлось и безо всяких фактов, но это уже не относится к обсуждаемой нами теме.

Еще один ряд событий из жизни Вавилова, ставших известными много позже – когда они уже перестали быть опасными и для Вавилова, и для тех, кто их вспоминал, – и приводимых, в частности, в статье Е.С.Левиной, касается его поведения по отношению к тем ученым, которые находились вне пределов, контролируемых ГПУ-НКВД, и которых Вавилов хотел предупредить об опасности пересечения этих пределов. Для нас важно то, что Вавилов, как выясняется, остерегался в таких случаях доверять советской почте и пользовался для этого другими способами. Так, в своих письмах он активно агитировал известного генетика Ф.Г.Добржанского вернуться в СССР, где обещал ему интересную работу, но когда агитируемый принял решение всё же остаться в Калифорнии, то приехавший в США в 1932 году Вавилов при личной встрече с Добржанским сказал, что согласен с его выбором. Нечто подобное было и в случае Тимофеева-Ресовского: приглашая его в СССР, Вавилов некоторое время спустя через уехавшего в Берлин Мёллера передал приглашаемому, чтобы тот ни в коем случае не приезжал. Аналогичная история рассказывается и про М.О.Шаповалова[183]. И это только те случаи, которые стали нам известны, наверное, были и другие, подобные этим.

Из всех этих рассуждений следует, я думаю, весьма правдоподобный вывод: никаким простачком Николай Иванович не был и прекрасно понимал, в какой стране он живет и с кем ему приходится иметь дело. Он был достаточно информирован о реальном положении дел в тех отраслях хозяйства и науки, с которыми был тесно связан, ему приходилось по долгу службы объезжать огромные районы, он многое видел собственными глазами, ежегодно общался с несметным количеством людей, занимавших самые разнообразные посты, тесно соприкасался с кругами, близкими самому высшему руководству страны, так что он отчетливо представлял цену всем этим брошенным в массы починам и лозунгам, и напрасно было бы пытаться провести его на мякине – ее от полновесного зерна он, ученик Прянишникова и Регеля, несомненно, отличал.

Но тогда мы должны признать, что, принимая по каким-то своим соображениям решение активно поддержать Лысенко с его яровизацией, Вавилов *мог* сознательно скрывать истинные мотивы своих поступков, а все его слова – независимо от того, где и кому они были сказаны –

от 19/XI-1937 года:

...Антисоветские настроения ВАВИЛОВА мне были известны и раньше. Помню, что еще в 1932 году ВАВИЛОВ открыто высказывал мне свое враждебное отношение к советской власти. В одном из таких разговоров, происходивших на Саратовской селекционной станции, ВАВИЛОВ заявил мне, что он только что об'ехал огромный район от Северного Кавказа до Казахстана включительно и видел, что ‘повсюду вследствие колхозного экспериментаторства на полях возделываются культуры сорных трав, а не сельско-хозяйственных растений’». (ПРОТОКОЛ ДОПРОСА арестованного Вавилова Николая Ивановича от 28—29 августа 1940 года // Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. М.: Academia, 1999, с. 273-277)

[183] «Еще в 1921 г. началась активная переписка между Н.И. и сотрудником Вашингтонского департамента земледелия М.О.Шаповаловым, вынужденным эмигрировать из России еще во время революции 1905 г. Одержимый мыслью репатриироваться в Советскую Россию, Шаповалов встречает поддержку Вавилова, который берет на себя ходатайство о предоставлении семье Шаповалова въездных виз. Особенно активно ведутся переговоры в 1930 г., и вдруг Вавилов перестает обсуждать проблему приглашения им Шаповалова. Последний недоумевает, но в октябре 1931 г. он получает отправленное Вавиловым *из Берлина* [курсив мой – *Н.В.*] письмо, объясняющее причину молчания. ‘Пользуюсь случаем написать Вам коротенько причины того, что до сих пор мы не послали Вам официального приглашения к нам <...>. В связи с обвинениями в контрреволюции <...> немало людей пострадало зря <...>. Никто из нас не мог Вам гарантировать нормальной работы <...>. Писать об этом неприятно…’» (Левина Е.С. Трагедия Н.И.Вавилова // Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991, с. 223-239)

могли служить только прикрытию его реальных мотивов, какими бы они ни были. Конечно, вывод о *возможном* существовании у Вавилова некоего скрытого мотива, который обусловил его поступки – непонятные нам и вообще неординарные с любой точки зрения (они озадачивали и его современников) – и который ему приходилось маскировать своим странновато выглядящим простодушием и верой в огромный научный потенциал яровизации вкупе с верой в талант и честность ее неказистого творца, такой вывод лишь наше предположение, но оно получило бы действенное подтверждение, если бы мы могли указать некий правдоподобный и одновременно значимый мотив, подвигший президента ВАСХНИЛ на отеческую, можно сказать, заботу о лысенковской научной карьере.

Я надеюсь, что такой мотив можно отыскать, если не сказать, что он лежит на поверхности. Но для того, чтобы его увидеть, мы должны отойти от взгляда на Лысенко и его пресловутую *яровизаци*ю с точки зрения крупного ученого, каким был Н.И.Вавилов, и взглянуть на ту же ситуацию с точки зрения крупного научного администратора, государственного чиновника высокого ранга, кем также являлся Вавилов.

Начнем с простого вопроса: почему тогдашний директор ВИРа и основатель гигантской коллекции семян культурных растений не придавал большого значения яровизации с января, когда Лысенко доложил о своих открытиях на съезде, до сентября 1929 года, когда Лысенко был приглашен сделать доклад на ученом совете ВИРа (Вавилов, правда, на совете не присутствовал, но вряд можно предполагать, что он об этом приглашении не знал и никак в этом не участвовал)? Пусть этот доклад и был лишь первой ласточкой, которая не могла сделать погоды, но он, как и присуще этой птичке, возвещал о приходе новых времен, сделавших яровизацию привлекательной и актуальной в глазах ВИРовского руководства. Что же произошло за этот срок такого, что обусловило явную перемену в умах высокого лысенковского начальства? Собственно говоря, поставив таким образом вопрос, мы автоматически получаем на него ответ. Всё очевидно. Событием, произведшим крутой поворот в отношении к яровизации, стало появление в июле этого года уже обсуждавшейся нами статьи в «Правде», в которой яровизация была на официальном уровне признана замечательным способом повышения урожайности пшеницы.

И вот теперь попробуем понять (воспользовавшись методом «*если бы директором был я*»), каким образом должен был отреагировать на открывшуюся ему *сегодняшнюю правду* директор ВИРа и руководитель всей агрономической науки в стране. Поскольку не согласиться с директивой «Правды» и усомниться в хозяйственной эффективности яровизационного метода он не мог, то у него, как мне кажется, был выбор между двумя стратегиями: либо проигнорировать яровизацию и всю разворачивающуюся в связи с ней кампанию, либо активно включиться в эту кампанию и обеспечить начинанию Лысенко патронат высокой агрономической науки.

Первый из этих вариантов был самым простым, самым – на первый взгляд – разумным и, по-видимому, не таил в себе большой опасности: не выступая против яровизации и не слишком напирая на бездоказательность обещаемой Лысенко эффективности, будем осторожны и уклончивы в оценках данного метода и станем на позицию *жизнь покажет*, а если даже заработаем при этом от Наркомзема и партийного начальства несколько пинков за косность, нерасторопность и отсутствие должного энтузиазма по отношению к новаторам, то нам к этому не привыкать – пинки от вышестоящих инстанций руководители науки получали регулярно. Но никакой ощутимой выгоды Вавилову и руководимым им учреждениям первый вариант действий не сулил.

Второй вариант был много сложнее, хлопотнее и – что, вероятно, немаловажно – просто противнее (*присоединиться к хору всего этого дурачья и жулья – тьфу!*). Так что принять его за актуальную стратегию стоило лишь в том случае, если с ним могла быть связана некая существенная выгода. Но в чем она могла заключаться? Я вижу два тесно связанных между собой следствия, к которым вел выбор второго варианта и которые могли быть стратегически выгодны Вавилову и его соратникам в тех условиях. И оба этих благоприятных для ученых

следствия обещали, если не выход из той крайне неудобной ситуации, в которой оказались Вавилов и всё руководство агрономической наукой в начале тридцатых годов, то, по крайней мере, некоторое смягчение условий их деятельности и, самое главное, возможность отодвинуть грядущие неприятности куда-то вдаль – в отдаленное и, соответственно, туманное будущее. Решение поддержать Лысенко обещало некоторую передышку и продление приемлемых условий работы.

Дело, как я понимаю, было в том, что органы власти, от которых зависело выделение финансовых и прочих ресурсов ВИРу и другим агрономическим учреждениям, начали к этому времени выказывать всё большее нетерпение и раздражение результатами работы подведомственных им научных подразделений. До той поры отношения между высоким начальством и подвластными ему учеными были почти что безоблачными и окрашенными в радужные оптимистические тона: начальство достаточно щедро выделяло деньги «на науку», а возглавляемые Вавиловым ученые *громадьем* своих планов и своими бодрыми рапортами поддерживали в начальниках устойчивую веру в те неисчислимые дары, которые должно принести внедрение достижений современной науки в заскорузлую сельскохозяйственную практику. Недаром М.Поповский дал одной из глав своей книги название: «Счастливец Вавилов. 1925 – 1929», и дело здесь не только в том, что его герою эти годы принесли много личных успехов, но и в том, что именно тогда ему удавалось успешно добиваться выполнения запланированной им реорганизации отечественной сельскохозяйственной науки. Строительство научной отрасли, начавшееся почти что на голом, опустошенном гражданской войной месте, шло под его руководством с большой интенсивностью и достигло невиданного ранее размаха. Налаженные Вавиловым доверительные отношения с высокопоставленными представителями власти, и в первую очередь, с Н.К.Горбуновым, позволяли ему активно продвигать свои планы по созданию в стране сети научно-исследовательских учреждений агрономического профиля и закладывать солидную материальную базу для их будущего развития. Ни у Вавилова, ни у его ближайших соратников не было причин жаловаться на недооценку науки и отсутствие к ней внимания со стороны большевистского руководства.

Однако *год великого перелома* с его курсом на индустриализацию и коллективизацию резко изменил весь политический климат в стране. В самой системе власти шли явные тектонические сдвиги, сразу же повлекшие за собой существенные перемены во всех областях жизни и сопровождаемые взвинченностью, нервозностью и лихорадочной суетой советских чиновников на всех уровнях власти. Лозунги типа *Темпы решают всё!* или *Нет таких крепостей…* плохо сочетались с готовностью руководства терпеливо ждать обещанных успехов базирующегося на научной основе сельского хозяйства, расцвет которого относился к некоему неопределенному будущему. Подгоняемые сверху партийные чиновники стали всё больше скатываться от одобрения обтекаемых планов, обещающих невиданный научно-технический прогресс, к директивной постановке задач, не считающихся ни с какими реальными сроками. При этом ожидалось, что *озадаченные* ученые должны незамедлительно продемонстрировать требуемые успехи. *Сказано – выполняйте! Даром что ли мы вас кормим*? Такой стиль господствовал во всех сферах жизни – почему же ученые должны быть исключением. Ведь государство давало и дает им средства как кредит под залог будущих прибылей, которые должны появиться в результате их научных открытий и высокоэффективных технологий, созданных на их основе. Где же давно ожидаемые новые сорта, породы животных, агроприемы – советское сельское хозяйство так в них нуждается, похоже, это – единственное, что может его спасти в нынешней ситуации. И что на это отвечать? То есть ответы-то можно найти, но если прямо объяснить власти, что ожидания ее завышены и что будущая польза от развития науки, хоть и несомненна, но ее практически невозможно спрогнозировать, и когда появится эта желаемая польза, в результате каких именно научных исследований, сегодня сказать невозможно, то не обрежут ли ассигнования на науку, не расформируют ли

значительную часть с таким трудом созданных научных учреждений и не придется ли ученым вернуться в 1922 год?[184] Перспектива не из приятных.

Конечно, ситуация на переломе от двадцатых к тридцатым была далеко не катастрофической. Работа в подведомственной Вавилову науке шла полным ходом, и, если говорить о «чистой науке», то ученым было чем отчитаться за потраченные средства: находящиеся под вавиловским патронатом направления исследований успешно выходили на мировой уровень[185] – этим можно было и похвастаться (ни *до*, ни *после* этих лет русская биология не занимала такого места в мировой науке, и Вавилов сыграл в этом не последнюю роль, поддерживая талантливых ученых, обеспечивая им возможность нормальной работы и выводя их на мировую научную арену). Не так уж плохо обстояли дела и в отношении развития существующих и создания новых научных организаций. В июне 1929 года Совнарком СССР принимает постановление об организации Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, ее первым президентом становится Н.И.Вавилов, а вице-президентом Н.П.Горбунов (и его появление на этом посту не случайно – он был одним из главных действующих лиц, «пробивавших» решение о создании академии на высоком государственном уровне). Вновь созданная организация огромна: по первоначальному плану в ней предполагалось создать 50 институтов и 180 зональных станций, но уже к 1933 году было создано 229 зональных станций, 114 научно-исследовательских институтов, а на следующий год в систему Академии сельскохозяйственных наук входит уже 407 опытных учреждений[186]. Структура получилась крайне громоздкая и плохо управляемая, потом ее всячески перестраивали, реорганизовывали и сокращали, но бурный рост возглавляемой Вавиловым научной отрасли в первой половине 1930-х годов неоспорим. Процессы, запущенные в двадцатые годы, продолжают раскручиваться по инерции и подпитываются очередными заверениями ученых в их горячем желании *поставить науку на службу социалистическому сельскому хозяйству*[187]. Ситуация

---

[184] «Уже три раза телеграфировал я в опытный отдел о катастрофическом положении с финансами, – читаем мы в его [Н.И.Вавилова] письме в Наркомзем от 22 мая 1922 г. – …Нечем платить ни служащим, ни поденным рабочим, не на что нанимать ни лошадей, ни провести полку, вообще вести работы в сущности совершенно невозможно... Это не обычная просьба, вопрос идет в сущности о жизни или смерти Отдела прикладной ботаники и селекции». (Письмо цитируется по статье Жданова Ю.А., Бороховой И.М., Гуськова И.П. Неизвестные страницы творческой биографии Николая Ивановича Вавилова // Научная мысль Кавказа, 2001, № 1, 3-16).

Здесь же приводятся еще несколько писем Вавилова с аналогичными жалобами на недостаточное финансирование.

[185] «Начиная с 1925 года научный биологический мир земного шара полностью признает профессора Вавилова фигурой первого ранга. Эта оценка относилась не только к его личности, но и к тому высокому научному уровню, на котором оказались в эти годы руководимые им агрономия, ботаника, генетика, физиология и география культурных растений России. После доклада на Пятом генетическом конгрессе в Берлине в сентябре 1927 года Николай Иванович, обычно склонный весьма скромно оценивать свои заслуги, не без удовлетворения сообщил жене: ‘Мы не очень сбоку’. …Но полтора года спустя иностранные гости, прибывшие в Ленинград на Всероссийский съезд по генетике и селекции, констатировали, что советская наука пошла еще дальше. ‘Сейчас основные генетические работы имеются на немецком, английском и русском языках, – заявил журналистам директор Берлинского института наследственности и селекции Эрвин Баур. – Но работы на русском языке быстро прогрессируют и даже превосходят научную литературу Запада’. Еще более решительно сформулировал свое мнение делегат Финляндии доктор Федерлей: ‘Опубликованные в СССР труды по генетике и селекции превосходят работы, изданные в странах Запада’». (Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990)

[186] Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990

[187] Поповский в своей книге пишет о выступлении академика перед партийной верхушкой в 1929 году: «Свое краткое обращение Вавилов завершил словами: ‘Мы пришли заявить о полной готовности научных работников всемерно содействовать реконструкции сельского хозяйства на новых началах’. Ему ответили аплодисментами. В верхах решили: от ученых может быть польза».

складывается, вроде бы, наилучшим образом: большевистское руководство по-прежнему готово верить ласкающим слух посулам, и послушное партии государство не отказывается играть роль дойной коровы для бурно растущих научных структур. И тем не менее… Все чувствуют, что время быстро меняется – грядут новые времена и другие песни.

Вероятно, Вавилов и его окружение гораздо лучше нас видели приближение этих новых времен – несмотря на то, что мы имеем дело с уже известным прошлым, а им приходилось вглядываться в туманное будущее, у них, в отличие от нас, было то преимущество, что они имели дело не с умозрительными выводами, а с той реальностью, которая – по незабываемой формуле – *была дана им в непосредственных ощущениях*. Ну, и кроме того, они, уже пережившие на своем веку разнообразные катаклизмы, были намного опытнее нас в такого рода предощущениях и предсказаниях. Исходя из подобных оценок складывающейся ситуации, Вавилов должен был не обольщаться тем, что его смелые мечты начинают сбываться на глазах, а заботиться о том, чтобы закрепиться на достигнутых рубежах и, по возможности, предупредить или хотя бы затормозить почти неизбежный поворот в отношениях с властью, всё жестче требующей практических результатов. Надо было не дать маховику раскрутиться в обратную сторону[188] – а для достижения этой благой цели годились все подручные средства.

Основное направление усилий на этом стратегическом направлении было связано, как мы видели, с повышением ставок в игре с властью, которую наука вела уже давно и по неизменным правилам: ответом на взвинчивание требований к науке было резкое повышение масштабов задач, решение которых наука брала на свои плечи. Звучало это, вероятно, очень подкупающе и приятно для начальственных ушей: вы, дескать, делайте в этой отсталой деревне, что вам заблагорассудится, хоть по бревнышку там всё размечите – даже если после вашего *социалистического переустройства* там не останется ничего кроме голой земли и голодного крестьянина, нет нужды слишком переживать по поводу гибели традиционного уклада, мы, вооруженные современными научными знаниями и сделанными нами открытиями, поможем восстановить разрушенное, но уже на новом, невиданном до сих пор уровне[189].

И немного ниже: «Нет никакого сомнения в том, – говорил Николай Иванович в апреле 1931 года на Всесоюзной конференции по планированию наук, – что в самое короткое время эта новая система устранит то несоответствие между исследовательской работой и запросами жизни, перед которыми оказалось наше сельское хозяйство. Нет сомнений в том, что новый мощный коллектив исследователей, работающий по определенному плану, заряженный энтузиазмом социалистического строительства, приведет к огромным практическим результатам».

[188] В своей уже цитированной статье Е.С.Левина пишет: «Вспомним, что кроме знаменитого вавиловского ‘Жизнь коротка, надо спешить’, им было сказано Н.М.Тулайкову еще более определенно и весомо: ‘Дожидаться некогда, пока настанет лучшее время’». (Левина Е.С. Трагедия Н.И.Вавилова // Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991, с. 223-239)

Я думаю, что она права на сто пятьдесят процентов. Многое становится логичным и понятным, если исходить из предположения, что основной стратегией Вавилова, как научного администратора, было стремление как можно полнее использовать благоприятную ситуацию и, пока эта сумасшедшая власть не разобралась насколько иллюзорны ее надежды на скорую помощь от науки, успеть сделать как можно больше. Успеть застолбить, построить, развернуть, оснастить, поставить на твердую почву, придать импульс, обучить, накопить человеческие и интеллектуальные ресурсы, чтобы, когда начнется неминуемый откат волны несбывшихся ожиданий, не остаться с пустыми руками и иметь к тому времени уже накопленный научный потенциал, воплощенный в мощные жизнеспособные структуры.

[189] Поповский приводит содержание разговора Вавилова со своим другом профессором экономики сельского хозяйства Н.П.Макаровым. Разговор этот происходил в конце 1929 года и рассказал о нем писателю сам Макаров тридцать пять лет спустя, *горестно разводя при этом руками*.

«Земледелие — производство консервативное. Оно требует реформ, но реформ осторожных, говорил Макаров. Прежде чем разрушать ту систему, которая кормила и кормит народ, надо проверить, отрегулировать, испытать систему колхозов и совхозов.

Вавилову рассуждения друга не понравились. ‘Не так все плохо, – бросил он. – Если даже часть мужиков уйдет в город – беды не будет. В Америке фермеры тоже разоряются, а хлеба, молока и мяса в

Но заверения – заверениями, а всё же крайне желательно было бы что-то бросить в пасть государственному чудовищу (оно, как всегда, *обло, озорно, стозевно и лайяй*) уже сейчас, пока оно только взлаивает, но еще основательно не рассвирепело. И на роль этого *что-то* мало годятся те рядовые научные разработки, которыми научная агрономия достаточно регулярно одаривает отечественное сельское хозяйство. На фоне обещаемых в будущем золотых гор они не производят желаемого впечатления. Нет, здесь требуется нечто экстраординарное, весомое, поражающее воображение и способное возбудить чиновный энтузиазм.

И вот с этой-то точки зрения, появление Лысенко с его яровизацией, было просто подарком руководству ВАСХНИЛ[190]. Собственно говоря, сама по себе яровизация вовсе не выглядела тем лакомым куском, который мог хотя бы на время насытить и успокоить власть, алчущую ощутимой сегодняшней пользы. А потому нет ничего удивительного в том, что доклад Лысенко на съезде в январе 1929 года не вызвал у слушавших особого интереса – агрономические генералы добродушно похлопали младшего специалиста по плечу: *молодец! старайся, братец!* – и тут же забыли про него, перейдя к своим насущным генеральским делам. Особой сенсации из доклада не вышло. Но совсем другой была реакция Вавилова и его команды на ту же самую – уже известную им – яровизацию после появления статьи в «Правде» и «Сообщения ТАСС» с немедленно последовавшим *всенародным обсуждением* чудесного агроприема – обсуждения, исход которого было вовсе нетрудно предсказать заранее. В считанные дни после этого события руководство ВИРа проявляет живой интерес к опытам Лысенко и приглашает автора лично выступить перед авторитетнейшими специалистами в этой области науки. Уже само по себе такое приглашение – явный знак благорасположения вышестоящих к мелкой научной сошке из провинциального института и неопровержимое свидетельство заинтересованности руководителей ВИРа и ВАСХНИЛ в этой самой яровизации, которую прокламирует Лысенко (и Политбюро ЦК ВКП(б) с его партийным органом печати! вот он корень внезапно пробужденного интереса!)

Власть почему-то решила, что яровизация даст колхозам возможность увеличить урожаи зерна. Конечно, интересно было бы узнать, почему в Наркомземе и в ЦК ВКП(б) пришли к такому неожиданному выводу, но всё же это побочный вопрос – чем бы это ни было обусловлено, но такое решение принято, и на его основании разворачивается бурная пропагандистская кампания, славословящая открытие Лысенко и прокламирующая немедленное внедрение яровизации в колхозную практику. Но это ведь как раз то, что

США – завались'. …Наука – вот главная сила! Пусть будут колхозы, совхозы, что угодно, только бы новые хозяева взялись за землю по науке...» (Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990)

Я вовсе не пытаюсь оспаривать наличие у Вавилова искренней веры в конечное торжество агрономической науки – это соответствовало общему духу эпохи, да и не надо требовать от него каких-то чрезвычайных, граничащих с ясновидением, способностей прозревать будущее. Но я также почти не сомневаюсь, что Вавилов отчетливо понимал: грядущее торжество наступит значительно позже тех сроков, которые планируют щедро отпускающие деньги на науку начальники.

[190] Поповский, придерживающийся, в целом, иного толкования мотивов своего героя и доказывающий, что Вавилов, поддержав Лысенко в первые годы его аферы с яровизацией, искренне заблуждался в своей оценке этого агроприема, тем не менее роняет, между прочим, фразу о совпадении в тот момент интересов ученых и ловкого махинатора, хотя и встраивает ее в совершенно иной, нежели у меня, контекст.

«…президиум ВАСХНИЛ прежде всего принял к сведению, что яровизация — практическое открытие. В другое время ученые, конечно, потребовали бы сначала проверить утверждения Лысенко на опытных делянках других научных учреждений. Но в 1931 году для этого попросту не было времени. И академики, удовлетворившись докладом специалиста из Одессы, постановили: считать яровизацию методом большого практического значения. Так, вопреки главному принципу биологической науки, поддержка и пропаганда нового открытия началась задолго до того, как кто-либо повторил опыты Лысенко. Ошибка? Ее не заметили. Наоборот, мысль о том, что агрономическая наука дает стране зримые, конкретные блага, обрадовала, увлекла академиков. Ветер энтузиазма тридцатых годов надувал в ту пору и не такие паруса. Короче, *в 1931 году агроном Лысенко и его яровизация оказались находкой для всех: и для администраторов, и для ученых*» [курсив мой – *Н.В.*].

требуется Вавилову и его команде. Пусть власть ошибается, считая яровизацию лакомым куском, – скорее всего от нее никакой пользы не будет, – но это совершенно не важно. Главное, власть считает, что получила от науки нечто ценное, и, судя по масштабам разворачивающейся кампании, еще достаточно долго будет пребывать в сладостном заблуждении. И прекрасно. Теперь надо покрепче привязать этого попавшего в фавор «ученого от сохи» к высокой агрономической науке, чтобы он преподносил свое чудодейственное открытие колхозам не от себя лично, обретающегося где-то на периферии науки, а от лица всей агрономической научной корпорации, и для этого желательно, чтобы он выглядел видным членом этой корпорации. Хорошо, что Лысенко – сотрудник научно-исследовательского института, входящего в сеть подчиненных ВАСХНИЛ организаций, но этого мало. Происходящий бедлам надо аранжировать таким образом, чтобы щедрый дар науки колхозному производству преподносился от лица всей научной агрономии, возглавляемой виднейшими ее представителями. На первом плане, естественно, сам первооткрыватель яровизации как агротехнического приема, украшенный научными регалиями и с лавровым венком на челе, а чуть поодаль – но не слишком далеко; не выпадая из поля зрения тех, кому предназначен дар, – прочие представители сельскохозяйственной науки, среди которых и Вавилов, и его ближайшее окружение, отнюдь не претендующие на лысенковские лавры (этого им не надо – им и самим есть чем похвалиться), но живо заинтересованные в раскрытии научного потенциала яровизации и прилагающие активные усилия для ее дальнейшего научного исследования. Такая благостная картинка. И все довольны: и расплывшаяся в счастливой улыбке власть, получившая от преданных подчиненных – *молодцы! расстарались!* – красивую бонбоньерку с бантиком и надписью *Грядущие успехи колхозного строя*, и Лысенко, как всегда насупленный, но внутренне ликующий – *вот я уже где! всех вас, профессоров и академиков, вокруг пальца обвел!* – и руководство ВАСХНИЛ во главе с Вавиловым, прячущим в усы еле приметную усмешку – *Quod erat demonstrandum!* [191]

Предполагая ход мыслей Вавилова подобным тому, что излагалось выше, мы получаем возможность непротиворечиво объяснить ряд событий, имевших место после появления Лысенко на всесоюзной арене. С изложенной точки зрения, рассматриваемые нами высказывания и поступки Вавилова, являющиеся реакцией на аферу Лысенко и внешне выглядящие странными и необъяснимыми, предстают вполне адекватным ответом на требования среды, в которой приходилось существовать отечественной научной агрономии и ее руководителю: в действиях Вавилова обнаруживаются здравый смысл, логичность и последовательность[192].

---

[191] В данном случае известную латинскую фразу стоит перевести: *Что и следовало продемонстрировать!*

[192] Возьмем конкретный пример. Как пишет Поповский, в 1932 году Вавилов лично приезжает в Одессу, чтобы на месте познакомиться с работой Лысенко. Он беседует со своим протеже и его сотрудниками, обходит делянки, ездит по колхозам, внедряющим яровизацию. Внешне он вполне доволен результатами своей инспекции – в колхозах, правда, дела обстоят неважно, но это трудности роста, к этому можно не придираться. Но спросим себя: что просто обязан сделать большой начальник, приехавший в институт с инспекцией, разве не должен он обратиться к научному руководителю, чтобы тот охарактеризовал состояние дел в интересующей начальника области? Вавилов не мог этого не сделать – это было бы нарушением чиновного этикета и выглядело бы как выражение недоверия к подчиненному. И, конечно, такой разговор был: *Ну, как тут у вас Лысенко?* – спросил президент ВАСХНИЛ. И Сапегин, уже прекрасно разобравшийся в Лысенко и знающий о его «анкетировании» и прочих «маленьких хитростях», но осведомленный также о мощной поддержке, которую оказывает Вавилов этому «крестьянскому самородку», не стал лгать: *На редкость безграмотный.* – и так же честно добавил, – *но целеустремленный и упорный. – Ну что ж, если целеустремленный, то, пожалуй, и научится чему-нибудь постепенно,* – дипломатично подытожил Вавилов. Два умных и всё понимающих человека переговорили, не сказав друг другу ни одного лишнего слова.

Прилагая все усилия по выведению безграмотного и не имеющего научных работ Лысенко на высший уровень научной иерархии, чтобы он мог высказываться от имени агрономической науки, Вавилов должен был обеспокоиться приданием яровизации достойного *научного* реноме (на самого Лысенко с его невежеством полагаться было бы неосмотрительно). Отсюда все вавиловские упоминания этого приема в научных трудах, письмах зарубежным ученым, в выступлениях на съездах и конференциях. Вавилову требовалось некое правдоподобное объяснение своего внезапно вспыхнувшего интереса к яровизации. Однако в качестве такого объяснения не годились ссылки на хозяйственную эффективность яровизации как практического агроприема, нужно было представить яровизацию как естественный феномен, привлекающий внимание ученых в связи с их научными исследованиями. Да, *яровизация – практическое открытие*, так написала «Правда», и следовательно, сегодня это – неоспоримый факт, из которого практики должны сделать соответствующие выводы, но нас, даже не пытающихся оспаривать этот факт *ученых*, больше интересуют те аспекты данного феномена, которые могут помочь нам в наших *научных* трудах, вот о них мы и должны говорить. Вавилов указывает на один из таких аспектов, придающий яровизации определенную научную ценность и связывающий этот методический прием с теми исследованиями, которые планировались и реально проводились в институтах ВАСХНИЛ с коллекцией семян культурных растений[193] – то есть с любимым детищем академика, результатом его многочисленных экспедиций. Внешне такое объяснение выглядит весьма правдоподобно[194]. Именно с ним связаны заметки в записных книжках Вавилова: он набрасывает для себя план своих будущих высказываний, прикидывает, как ему получше обосновать свою заинтересованность в методе яровизации и вовлечь в это дело своих коллег, большинство из которых, вероятно, весьма скептически относится ко всей этой агитпроповской суете и газетной шумихе. Благодаря переводу своего интереса в другую, далекую от колхозной практики плоскость ученые могут вынести за скобки всё, что пишется о Лысенко в газетах, и всё, что обещает и провозглашает он сам, – это не их епархия, и они за нее не отвечают. Они могут изучать феномен яровизации (его-то никто не отрицает, он, действительно, существует) независимо от того, что говорит и делает Лысенко[195].

И здесь нет необходимости предполагать катастрофическую близорукость Вавилова в оценках яровизации или личности Лысенко. Он всё видел не хуже Прокофьевой-Бельговской, но имел свои резоны вести себя в соответствии с принятым решением.

[193] «Если все сорта из собранной ВИРом мировой коллекции, до сих пор имевшие разновременные сроки развития, удастся синхронизировать, и все они начнут цвести в одно время с местными сортами, то удастся обойти главную трудность: можно будет свободно переопылять цветки любых сортов и получить, наконец-то, гибридное потомство, а затем из этого моря гибридов отобрать лучшие перспективные формы... Тогда скачок отечественной селекции будет гигантским, разнообразие первичного материала необозримым, успехи неоспоримыми. Быстро сообразивший это Вавилов стал активно помогать Лысенко, который, еще не понял возможности, увидевшиеся Вавилову» (Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002).

[194] По крайней мере, до сих пор это объяснение продолжает служить веским доказательством , обосновывающим искреннюю увлеченность Вавилова методом, связанным с именем Лысенко. Более того, предполагается, что увлеченность методом обусловила теплое расположение и покровительство академика по отношению к молодому подающему надежды ученому.

[195] В 1935 году был выпущен под редакцией Н.И.Вавилова трехтомный капитальный труд «Теоретические основы селекции растений», насыщенный, кстати сказать, упоминаниями имени Лысенко и яровизации как таковой (по словам В.Сойфера, «имя Лысенко было упомянуто только в первом томе 29 раз (!); с ним конкурировали лишь Дарвин (27 цитирований) и сам Вавилов (55 упоминаний)»). Но в том же первом томе, как пишет Сойфер, «была специальная статья ‘Значение яровизации для фитоселекции’, написанная Сапегиным, в которой, правда, была дана достаточно осторожная оценка вклада Лысенко в изучение этого явления». Я думаю, что именно тонкая политика Вавилова дала возможность Сапегину, несомненно, относившемуся к Лысенко резко отрицательно, с одной стороны, писать статьи о яровизации, а с другой – делать это, не превознося и не восхваляя явного мошенника.

На мой взгляд, запланированная Вавиловым и соавторами[196] многоходовая комбинация, целью которой было извлечение пользы для существования и развития агрономической науки из кошмарной и бесстыдной яровизационной аферы, была проведена руководителями ВАСХНИЛ с большой тонкостью, остроумием и безупречной конспирацией – комар носу не подточит.

Следует заметить, что, разрабатывая в уме детали своей будущей тактики, Вавилов должен был предусмотреть и пути отхода *на заранее подготовленные*, как принято выражаться у военных, позиции. Даже не будучи ясновидцем, можно было заранее предсказать, что внедряемая, как картошка при Екатерине, яровизация не только не принесет никакой пользы нарождающимся колхозам, но и дополнительно усугубит положение в сельском хозяйстве. Рано или поздно, но организаторам этого дела придется признать крах всей этой, подаваемой с большой помпой, затее. Демонстративная поддержка Лысенко научным сообществом, сочетающаяся с явным отстранением от участия в конкретных мероприятиях, связанных с практическим применением яровизации, должна была помочь ученым вовремя дистанцироваться от одиозной практики и избежать прямых обвинений в саботаже колхозного строительства и в тому подобных грехах. *Да, мы, ученые, оказались лопухами; мы, зараженные интеллигентским прекраснодушием, не смогли разглядеть вовремя гнилую сущность этого махинатора и подкулачника, маскирующегося под выходца из трудового крестьянства, поверили его сладким песням о выгодах яровизации, утратили бдительность и слишком поздно стали сигнализировать в инстанции о бесплодности данной затеи. Но ведь всё выглядело так заманчиво, обещало такие преимущества. И ведь не только нас, легковерных интеллигентов, удалось обмануть этому прохвосту, ведь ему удалось ввести в заблуждение и правительство, и даже партию. Наверное, среди людей на высоких постах, раздувавших всю эту кампанию, можно найти и более виновных, чем мы, не принимавшие в этом значимого участия.*

Именно как подготовку к завершающему этапу лысенковской яровизационной кампании, мне хотелось бы истолковать тот факт, что, как сообщает Поповский,

> …доверяя Лысенко как своему коллеге, Николай Иванович с конца 1931 года предложил всем опытным станциям ВИР, где проводились так называемые географические посевы, испытать эффективность яровизации.

Если задание дано в конце 1931, то выполнение его начнется в 1932, и результаты опытов будут получены, в лучшем случае, к 1934 году (проверка в агрономии – дело долгое). Но почему же Вавилов не дал такое задание в конце 1929 года, когда ВИР впервые обратил внимание на яровизацию? Ведь это было бы естественно и логично: начать не с хвалебных отзывов, а с экспериментальной проверки, ну, или хотя бы вести эту проверку параллельно с выдвижением Лысенко в академики и ходатайством о присуждении ему Ленинской премии (нет, как ни крути, а, с общепринятой точки зрения, налегающей на искренность и доверчивость президента ВАСХНИЛ, Вавилов выглядит как олух царя небесного при всей его мировой славе; да и соратники его оказываются из той же породы). Однако, если следовать излагаемой выше гипотезе, то поведение Вавилова отлично укладывается в общую стратегию запланированной им игры: если начать проверочные опыты слишком рано, то будет затруднительно скрывать их результаты, продолжая ратовать за яровизацию и подыгрывать власти, – отрицательные данные потребуются ученым в тот момент, когда наверху разочаруются в яровизации, а следовательно, к этому времени они и должны появиться.

Славословия шли по другой линии и, соответственно, появлялись в других – по возможности, удаленных от чистой науки – местах.

[196] Я уверен, что никаких прямых сговоров между ними не было, да они, по-видимому, и не требовались. Главную роль играла направляющая и координирующая воля Вавилова, за которым следовали доверявшие своему руководителю и сами хорошо разбиравшиеся в складывающейся обстановке его ближайшие сотрудники (тоже, наверное, регулярно знакомившиеся с *сегодняшней «Правдой»*).

Отсюда можно сделать вывод, что Вавилов прогнозировал длительность раскрученной властями шумихи до 1934-1935 годов. Он практически не ошибся: к 1935 году всё уже всем было ясно[197]. Правда, как мы сегодня знаем, это не повлияло на репутацию Лысенко и благосклонность к нему высшей власти – именно в 1935 Сталин произнес знаменитую фразу: *Браво, товарищ Лысенко!* и, тем самым, вопрос о том, кто будет отвечать за колоссальную аферу, был снят с повестки дня. Вероятно, Вавилов не мог учесть возможность такого неожиданного поворота событий при разработке своего плана в 1929 году. С чем была связана ошибка в его прогнозах и почему Лысенко, несмотря ни на что, удержался в седле, а Вавилову с единомышленниками пришлось занимать круговую оборону против превосходящих сил противника, – ответы на эти вопросы не имеют прямого отношения к той полемике «о вине и беде Вавилова», которую мы здесь обсуждали, а потому мы вернемся к ним позднее, оставив их пока что открытыми.

Заканчивая эту тему, я хочу четко обозначить те два аспекта выгоды, которые должен был принести агрономическому научному сообществу принятый им стратегический курс на поддержку Лысенко и которые я уже упоминал.

Первый – и, без сомнения, главный – аспект выгоды заключался в улучшении облика агрономической науки в глазах власти – «примазываясь» к славе превозносимого чиновниками всех уровней Лысенко и относя его «достижения» ко всей системе ВАСХНИЛ, Вавилов пытался растянуть, насколько это возможно, период благосклонного отношения властей к руководимой им науке. Но это уже детально обсуждалось, и нет нужды продолжать пережевывать данный тезис.

Второй же аспект – пусть и лежащий на заднем плане, но, может быть, всё же немаловажный – видится мне в том, что выбранная стратегия хоть в какой-то степени уменьшала груз, лежащий на совести каждого из членов научного сообщества, и груз тем больший, чем выше была ступенька в научной иерархии, которую занимал человек, принуждаемый обстоятельствами ежедневно лгать, лицемерить и скрывать свои истинные мысли в общении с представителями власти (да, как мы видели, и в любых публичных и частных разговорах). Кардинально изменить положение, ведущее ко всеобщему лицемерию, ученые не могли, но курс на поддержку Лысенко мог, хотя бы частично, снизить интенсивность требуемой лжи. Конечно, и в своих высказываниях о Лысенко Вавилову приходилось кривить душой, закрывать глаза на очевидное, выкручиваться, а то и прямо беззастенчиво лгать, но, как бы то ни было, всё же основная миссия лгать власти и заниматься очковтирательством отводилась Лысенко и его компании. Тем более, что его и не нужно было принуждать к вранью. Он сам выбрал себе эту роль, готов был врать, сочинять и брать на себя неисполнимые обязательства – на благо отечественной науки грех было бы не воспользоваться его рвением. *Ты рвешься на трибуну, чтобы в очередной раз заморочить голову жаждущим быть обманутыми чиновникам? Да ради бога! Мы не только не будем тебе мешать, но даже поможем, снабдив тебя разнообразными дипломами и грамотами, позволяющими тебе рассказывать свои сказки, вроде бы, от нашего имени – от имени всей сельхознауки. Пой, соловушка, пой. А мы посидим в партере, радуясь про себя, что не надо в этот раз вылазить на трибуну и нести какую-нибудь бессовестную чушь. А когда ты закончишь, мы даже дружно поаплодируем тебе вместе со всем ликующим залом. Это всё же несравненно легче, чем, стоя на трибуне, слушать такого рода аплодисменты*.

---

[197] «Пока яровизацию превозносили, а Лысенко занимался самовосхвалениями, другие ученые – П.Н.Константинов, П.И.Лисицын – и под их руководством широкая сеть опытных станций по всей стране методично и скрупулезно проверяли на 35 сортах действие яровизации. Ученые убедились, что ничего, кроме вреда, эта новинка земледельцам и стране не несет. Результаты проверки были обнародованы в конце 1935 года, но слушать правду никто уже не хотел» (Сойфер В. Горький плод // Огонек, 1988, № 1, с. 26).

Я бы сказал, что эта правда перестала быть актуальной для всех участников игры: было ясно, что начинается уже совершенно иная игра, в которой яровизация не занимает существенного места.

Я предполагаю, что у некоторых – а, возможно, и у многих – читателей создастся впечатление, что лягнув несколькими страницами раньше Кременцова, и отмежевавшись от его взгляда на конфликт Вавилов – Лысенко, как на борьбу двух мало отличающихся друг от друга научных клик, я сам, в конечном итоге, пришел к сходным с этим взглядом выводам. Уверяю вас: это впечатление ошибочно.

Во-первых, я вовсе не склонен обвинять в чем-либо Вавилова и его друзей. Даже по сравнению с позициями, занимаемыми М.Поповским и В.Сойфером, которые, искренне сочувствуя своему герою, оказываются всё же вынужденными упрекнуть Вавилова в излишней доверчивости, чрезмерном энтузиазме в отношении к колхозному плану переустройства допотопного отечественного сельского хозяйства и прочих грехах, хоть простительных, но приведших к тяжким последствиям, мой взгляд на Вавилова следует признать еще менее зараженным «обвинительным уклоном». Прав я или не прав, но, пытаясь выяснить мотивы поступков Вавилова, я прихожу к выводу, что его поведение в тех условиях было безупречным, оценки людей и положений – трезвыми и проницательными, а цели и способы их достижения – в высшей степени благородными. Нам не в чем его упрекнуть.

Он был несгибаемый борец за истину и за благо науки, и, зная то, что мы сегодня знаем, мы можем сказать, что он всей своей жизнью подтвердил верность исповедуемым с юности принципам. Оказавшись во главе большой научной отрасли, он вел ежедневную войну за ее интересы, а потому вынужден был пользоваться всеми доступными способами и средствами ведения войны: поднимать людей в атаку, отступать и маневрировать, организовывать разведку, жертвовать отдельными частями и подразделениями, совершать отвлекающие маневры, дезориентировать противника – всё, как и положено на войне. Его противник был коварен, не стеснялся в средствах и обладал несметными резервами – бороться с ним в чистом поле было бессмысленно, а потому приходилось использовать партизанские вылазки, переодеваться в чужие мундиры, изображать из себя мирных поселян – что здесь может быть поставлено в вину командиру, стремящемуся к победе? – по-моему, это всё законные средства ведения войны. И никаким интриганством, подсиживанием конкурентов и прочими нечистоплотными делишками здесь не пахнет. Поведение Вавилова было бы просто глупым, если бы он откровенно рассказывал врагу о своих планах и рассчитывал на благородство людоедов, в руках которых была государственная власть, но он таких глупостей и не делал. Он прекрасно понимал, с кем ему приходится сосуществовать и вести борьбу за выживание отечественной науки.

Во-вторых, основной порок концепции Кременцова заключается, на мой взгляд, вовсе не в том, что он, так сказать, «вытаскивает на свет» те способы и средства, которые использовала «клика Вавилова» в борьбе с набирающей силу «кликой Лысенко». В этом нет ничего неприемлемого – так и должен поступать всякий стремящийся к истинному знанию историк. Более того, вероятно, почти каждый, кто взглянет на эти способы, использовавшиеся вавиловцами, чтобы путем обращения к власти и призывов к административным воздействиям с ее стороны отбить атаки на сложившуюся научную иерархию со стороны стремительно растущей армии лысенковцев, должен будет согласиться, что такие способы плохо вписываются в общепринятые нормы научной полемики. Исходя из основополагающих принципов исторической науки, мы обязаны не затушевывать этот факт, а найти ему подходящее место в нашей реконструкции исторических событий. В этом Кременцов прав, и нет необходимости спорить с ним об этом.

Однако то, что Кременцов на основании данного факта уравнивает участвовавшие в конфликте стороны, неявно приписывая им сходные, если не идентичные, мотивы – очевидный нонсенс. Выбор средств борьбы практически на сто процентов определяется обстоятельствами, а вовсе не мотивами противоборствующих сторон, и было бы крайне странным обвинять хозяина дома в том, что он, застав взломщика с маузером в руках за его усердными стараниями над входной дверью, не стал посылать секундантов к этому громиле

(как полагается поступать в конфликтах между джентльменами), а без лишних слов, напав из-за угла, огрел его подвернувшейся под руки лопатой. Мы не можем отрицать, что средство в данной ситуации вполне адекватно цели и полностью ею оправдывается. Нет ни малейшего смысла в том, чтобы ставить хозяина и взломщика на одну доску, упирая на тот факт, что между ними был имущественный спор – хозяин хотел сохранить свое имущество, а взломщик стремился его присвоить, – в котором обе стороны применяли сходные средства воздействия на противника. Очевидное неравенство хозяина и взломщика определяется здесь их исходными позициями, а различие между маузером и лопатой (как и их сходство – оба служат орудиями насилия) никакой роли здесь не играет.

Никто не может отрицать (не вступая в вопиющее противоречие с общеизвестными фактами), что основным мотивом у подавляющего большинства представителей лысенковской гвардии[198] было стремление к собственному благополучию – костяк этой армии состоял из мошенников, карьеристов и приспособленцев всех мастей и разновидностей, в то время как сторонников Вавилова вряд ли кому-то удастся представить в качестве людей, руководимых широко понимаемым корыстным интересом. Конечно, они были живыми людьми, не забывающими ни о своей научной карьере, ни о личной безопасности, ни о материальном благополучии, но, выбирая между Вавиловым и Лысенко, они были движимы не этими «земными» мотивами, а лежащими за пределами этой сферы устремлениями к победе истины и к защите своей науки. Те же, в ком побеждали другие мотивы, дружно перебежали на сторону Лысенко, как только выяснилось, что за ним стоит сила всей государственной машины, – не о них здесь идет речь. Несомненное бескорыстие мотивов самого Вавилова удостоверяет простейший и неопровержимый факт: он мог не вернуться в СССР из любой из своих многочисленных зарубежных поездок и, имея мировую известность, преспокойно дожить, занимаясь любимым делом и наблюдая всю вакханалию мичуринской биологии из безопасного далека, и до 1948 года, и до 1953, и – кто его знает – может быть, и до 1987, ничем не рискуя, не впутываясь ни в какие интриги и склоки и не беря на свою совесть откровенно лживых заявлений. И если он не пошел этим путем, то лишь потому, что благо любимой отечественной науки было ему дороже собственного благополучия. Можно по-разному оценивать этот вавиловский выбор, но в любом случае у нас нет оснований сомневаться в его личном бескорыстии. Очевидно: интересы ученого доминировали в его душе над прочими, свойственными человеку, интересами.

И в-третьих. Как и Сойфер с Поповским – основные авторы, на чьи книги я опираюсь в своих рассуждениях, – я считаю, что непосредственной причиной, обусловившей проигрыш Вавилова и его друзей в их разворачивающемся конфликте с еще даже не существующей *мичуринской биологией*, была ошибка вавиловцев и их вождя. Правда, указанные авторы вменяют в вину Вавилову излишнюю доверчивость и увлечение научным потенциалом яровизации, а я вижу его ошибку в том, что он не понял, в какую игру он вступает, решая поддержать Лысенко, но и в том, и в другом случае речь идет об ошибке Вавилова. Однако, признавая такую ошибку, вовсе нет надобности переходить на позицию Кременцова и считать, что борьба «научных клик» привела к известному нам исходу вследствие завоеванного кликой Лысенко тактического преимущества: Лысенко, оказавшийся, дескать, более искусным аппаратным интриганом, победил, а Вавилов, ввязавшийся в эту борьбу в расчете на неизменную поддержку государства, ошибся в оценке благосклонности к нему власти, а

---

[198] Даже если исключить из их числа самого Лысенко, которого до сих пор еще многие из участников обсуждения данного феномена продолжают – по странной аберрации зрения – рассматривать как добросовестно заблуждающегося тупицу, в силу своей биологической безграмотности верившего в распространяемые им бредни. Но и придерживаясь такой точки зрения (абсолютно, по-моему, неверной – тупицей Лысенко вовсе не был), нет никакой возможности применить это воззрение к основным кадрам лысенковской «клики», относительно которых и сам их вождь ни в малейшей степени не заблуждался.

потому и потерпел поражение. На самом деле, нет ничего более далекого от реальности, нежели такой взгляд на рассматриваемые нами события.

Конечный исход конфликта между Лысенко и Вавиловым был предрешен задолго до начала этого противоборства, он был обусловлен самой позицией науки в большевистском государстве и основными принципами большевистского руководства обществом. Никакие тактические уловки сторон не могли бы изменить эту диспозицию и привести к другому исходу баталий. Однако мы обсуждаем не общие – и в силу того, абстрактные – социологические схемы, а конкретные ряды исторических событий, а потому не только вправе, но и обязаны, уделять внимание всем перипетиям борьбы и рассматривать каждый поступок персонажей с точки зрения того, чем он, по всей вероятности, был обусловлен и к чему, в конечном итоге, привел. Исходя из этого, мы не должны упускать из виду ошибку Вавилова, которая ускорила наступление эры *мичуринской биологии и творческого дарвинизма* и усугубила сложность положения ученых, противостоящих этой магистральной линии развития советской науки. Как ни противно это признавать, но это так – уже в тридцатые годы течение, приведшее к становлению *мичуринской биологии*, стало мейнстримом в отечественной науке. Но можем ли мы винить Вавилова за эту ошибку, за то, что он оказался недальновидным и не сумел предусмотреть, куда свернет власть, – ведь Лысенко это удалось: он-то сумел сделать верный прогноз, а многоумный Вавилов оплошал? Я думаю: нет, не можем – у нас нет разумных оснований, чтобы упрекать Вавилова в недальновидности и, тем более, ставить ему в пример тугодумного Лысенко: различия между ними коренились отнюдь не в способности к планированию сложных аппаратных комбинаций.

В начале тридцатых годов, когда Вавилов принимал решение поддержать Лысенко, ни тот, ни другой еще не могли знать, в какой игре им предстоит участвовать и какие роли будут им предопределены главным режиссером спектакля. Я даже не уверен, что и сам этот кремлевский режиссер уже подготовил к тому времени сценарий будущего действа. Всё могло складываться постепенно, по мере развертывания событий.

Надо полагать, что, исходя из прежнего опыта, Вавилов расценивал затею с яровизацией как очередную государственную блажь, аналогичную всем этим *большевистским инициативам* и *всенародным починам* – да она такой и была. Блажь должна была кончиться тем же, чем и все предыдущие: очевидным крахом и наказанием подвернувшихся под руку. На таком понимании дела, вероятно, и строился план Вавилова и его окружения. Лысенко, я думаю, так же не сомневался в результатах яровизации, как и Вавилов, но у него было важное преимущество: он знал, что власть совершенно не интересуется реальными хозяйственными результатами шумной кампании[199]. А потому не слишком опасался краха своей затеи: в конце

---

[199] Не надо только делать из этого вывода о том, что Лысенко был умнее Вавилова, – *ну как же! он понял, а Вавилов не понял?* Дело вовсе не в *количественной* мощи лысенковского ума, а в его *качественном* отличии от ума Вавилова и ему подобных. Ум образованного человека, каким был не только Вавилов, но и все его соратники, не привык воспринимать увиденное как окончательное свидетельство того, что видимое и есть реальность, – мы знаем, что *видимое* может оказаться лишь *видимостью* (солнце обращается вокруг земли, но на самом деле, это же не так), а потому *видимое* должно пройти проверку *разумом*: если оно адекватно вписывается в наши теоретические представления об устройстве мира, то мы согласимся считать свои ощущения реальностью, если же им нет места в общей конструкции мироздания, мы вынуждены считать *видимое* иллюзией или, по крайней мере, оставить его на положении не истолкованного *феномена восприятия*, реальность которого весьма сомнительна. Ум же простого человека – крестьянский ум, – который не только не склонен к теоретическому осмыслению *видимого*, но и не нуждается в нем, всё увиденное трактует как *реальный факт* и согласовывает с ним свои дальнейшие поступки.

Мне кажется, что именно этим можно объяснить верность прогноза Лысенко относительно того, что никто не спросит с него за итоги яровизационной кампании, и предполагаемый мною просчет Вавилова в этом вопросе. Мужицкому уму Лысенко было достаточно единичной демонстрации полной незаинтересованности власти в случае его зимних посевов бобовых и реакции «Правды» на результаты этих посевов (точнее, на отсутствие таких результатов, которое никого не смущало). Несмотря на

концов, он делал то, чего от него желала власть, – выполнял заказ на красивую сказку. Главный режиссер в это время помалкивал, а только он мог на этом этапе знать, какую игру начинают вышедшие на поле фигуры и что стоит на кону. Не исключено, что, если бы вдруг Вавилов решил не ввязываться в поддержку Лысенко, режиссер пересмотрел бы свои планы, и вся партия разыгрывалась бы как-то иначе[200].

Когда к 1935 году выяснилось, что ставший очевидным крах яровизации не привел к запланированному вавиловцами эффектному окончанию разыгранной ими комбинации с потерей Лысенко всех его научных званий и удалением его со всех ранее занятых постов, Вавилов с друзьями вряд ли должны были сильно беспокоиться по этому поводу. Как бы это ни было досадно, главную цель операции можно было считать достигнутой, и созданные за прошедшие годы на государственные деньги 114 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля, вне всяких сомнений, многократно перевешивали тот ущерб, который был нанесен отечественной науке членством Лысенко в нескольких академиях наук. Кто такой, в конце концов, Лысенко и как он может помешать бурному развитию сельскохозяйственной науки?

И всё же, я думаю, в это время Вавилов и другие ученые не могли не почувствовать, что игра перемещается в другую плоскость и что опасность, олицетворяемая фигурой Лысенко, начинает угрожать им с другой стороны.

мизерность данного примера по сравнению с огромным массивом других самых разнообразных фактов, Лысенко сделал на основании него глобальный вывод и, как мы уже знаем, не ошибся: *увиденное* им оказалось *истинной реальностью*. Вавилову же подобное суждение, несмотря на свою истинность, просто не могло придти в голову, поскольку резко противоречило всем его представлениям о рациональных основах человеческого поведения (мы уже касались ранее данного интересного вопроса и продолжим наши рассуждения об этом несколько позднее).

И еще. Прошу прощения у читателей, но мне жаль отказываться от еще одного любопытного примера на эту же тему. Я где-то читал воспоминания одного пожилого человека о его не слишком образованном дядьке, который незадолго до начала войны получил некую премию и одновременно прочитал в газете известное «Сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года», утверждавшее, что нет никаких оснований опасаться скорой войны между Германией и СССР. Познакомившись с этим сообщением, дядька, долго не раздумывая, прямо из кассы отправился в ближайший магазин и на всю полученную им сумму закупил соль, мыло, спички, керосин и прочие *товары первой необходимости*. В то же время вся интеллигенция Страны Советов ломала голову над тем, что могло бы означать данное сообщение и как его связать со всеми имеющимися сведениями о политике Германии, СССР и прочих великих держав. Хотя поджилки, вероятно, затряслись у многих, читавших это сообщение, но отсутствие у них разумной теоретической конструкции, в которую бы оно укладывалось, не позволило этим – наверное, в целом, ничуть не менее умным, чем описываемый *дядька*, – людям истолковать его однозначно и сделать соответствующие практические выводы. Это оказалось доступным немногим.

[200] Могло быть и наоборот: изначальный план был другим, и лишь поддержка, оказанная Лысенко Вавиловым, привела к его коррекции и вызвала к жизни известные нам события. Мне даже больше нравится такая трактовка, предполагающая, что мысль о превращении яровизационной кампании, возникшей по совсем другим причинам, в один из ходов, ведущих к *мичуринской биологии*, возникла в мозгу режиссера в связи с неожиданными вавиловскими действиями – *ага! он сам лезет в ловушку. отлично!*

Акт четвертый

«Вавилон должен быть разрушен»

Увенчанный, благодаря стараниям Вавилова, высшими научными званиями и пользующийся неуклонной поддержкой на всех уровнях власти Лысенко не позволяет себе расслабиться и продолжает с завидной активностью «выдавать на горá» всё новые и новые инициативы и агрономические рецепты, призванные осчастливить советское сельское хозяйство. В этой области он становится признанным, как бы сейчас сказали, «ньюсмейкером», и газеты, ни одним словом не упомянувшие о жутком голоде, охватившим полстраны и выкосившим миллионы «осчастливленных советской властью крестьян» и прочих, случайно попавших под раздачу, наперегонки и захлебываясь от распиравшего журналистов энтузиазма, год за годом расписывают свершения новоиспеченного академика и те массовые движения, которые возникают в советском селе в ответ на его инициативы и под его идейным руководством. Вероятно, было бы перебором сравнивать шумиху, вызываемую этими пропагандистскими кампаниями, с тем воистину захватившим внимание среднего советского человека шквалом сообщений, который сопровождал аварию «Челюскина» и спасение его экипажа[201], однако некоторые детали лысенковской ни на минуту не прекращаемой «борьбы за колхозные урожаи» и до сих пор могут поразить воображение досужего читателя. Мне, например, кажется совершенно феерической история о 800 000 пинцетов, затребованных Лысенко на нужды колхозников-опытников.

Сойфер уделил этой – даже по тем временам нестандартной – эпопее несколько страниц:

> Согласно объяснениям Лысенко, внутрисортовое скрещивание должно было обеспечить рост урожайности всех сортов за счет процесса перемешивания наследственных задатков… Когда с критикой его «внутрисортового скрещивания» выступили Вавилов, Мейстер и другие, «опровергать» их он стал с помощью уже испытанного приема: «обновлением» семян -- по указке начальства -- заставили заниматься в массовых масштабах малограмотных колхозников. Опять в ход пошли анкеты, сообщения с мест, рапорты с колхозных полей... И года не прошло, как Лысенко стал заявлять, что правильность его нового предложения была «блестяще подтверждена совхозно-колхозной практикой».
>
> …Колхозников начали учить. Они, конечно, не знали, что к чему, им было безразлично, обновляются или портятся семена от таких вивисекций, -- сказали, что обновляются, записывают трудодни за работу, ну, так ползай на коленках по полям,

[201] Вся страна – без преувеличения – переживала за попавших в ледовый плен челюскинцев и оплакивала безвременную гибель завхоза экспедиции Б.Г.Могилевича, знать не зная (да и не желая знать) о тысячах безымянных завхозов, водовозов и свекловодов, буквально уничтожаемых вместе со своими семьями нищенскими, голодными условиями жизни в том же феврале 1934 года.

рви пыльники, не жалей. (Заставить выполнять эту нелепую работу можно было только колхозников, крестьянин на *своей* земле такими экспериментами заниматься бы не стал.)

Как и во времена кампании по яровизации, лысенковский журнал начал печатать десятки писем от крестьян, заведующих хатами-лабораториями, партийных и советских чиновников, сообщавших, конечно, не о прибавках урожая, а о другом -- о числе кастрированных цветков и граммах «обновленных» семян..

…за год разговоры об эффективности забылись, прием стал самоцелью. И отчеты уже составляли не о количестве собранного зерна, а о сотнях или тысячах штук кастрированных колосьев. Что же дальше? Кастрировать следующие тысячи колосьев, собирать вручную с них семена и надеяться, что урожай будет повышен и в следующем году? Но ведь и в следующие годы надо будет тратить миллионы человеко-дней, чтобы прокастрировать очередные миллионы колосьев и наготовить новые «обновки». Получался замкнутый круг.

…Впрочем, его такие мелочи волновали мало. Он беспокоился о другом: «Узким местом стало наличие пинцетов. Спрос на пинцеты против обычного потребления их в Советском Союзе моментально возрос в десятки раз».

Предприимчивые лысенкоисты, конечно же, попробовали найти выход и на этот раз. Придумали еще более простой (и еще более травматичный для растений) способ: обстригать ножницами колосья, оголяя ось колоса с торчащими наружу рыльцами пестика -- вот и вся кастрация.

Теперь возникла очередная проблема: где взять столько ножниц, чтобы удовлетворить аппетиты кастрирователей? «Нам потребуется для этого дела до 500 тыс. ножниц, -- заявил Лысенко на заседании IV сессии ВАСХНИЛ в декабре 1936 года, и, естественно, потребовал, чтобы для этого числа ножниц выделили столько же колхозников. -- Для работы... необходимо подготовить до 500 тысяч колхозников».

Нашлись занятия и для академиков: «Дело Академии взять на себя всю эту большую организационную работу».

Но ножницы -- более сложный агрегат, чем пинцеты, и Лысенко решил снова ограничиться более простым прибором научного облагораживания семян -- пинцетами, тем более, что по предложению лысенкоистов в газетах и журналах стали печатать советы колхозным кузнецам, как лучше всего, используя местные ресурсы, самим наготовить пинцеты. Тем временем Лысенко стал требовать уже не полмиллиона пинцетов и колхозников, а больше. В более позднем издании того же доклада назывались другие цифры: «Нам потребуется для этого дела 800 тысяч пинцетов. То же самое с подготовкой кадров... потребуется подготовить до 800 тысяч колхозников».

Итак, роли в грандиозном спектакле с участием почти миллиона действующих лиц и множества статистов из партийных, советских и других организаций были распределены. Оставалось только узнать, окупятся ли издержки?

…рекомендации Лысенко тут же приняли к исполнению партийные чиновники. Их приказ полетел в края, области, районы, оттуда в совхозы и колхозы. Сотни тысяч крестьян вместо того, чтобы заняться делом, были вынуждены тратить время на чепуху. А обернулась эта затея страшным провалом. На огромных массивах колхозных полей была переопылена масса самых ценных посевов -- семенных. Были перепорчены основные сорта зерновых культур, что сразу же и на много лет снизило их урожайность. Случилось то, о чем предупреждали генетики и селекционеры[202].

А вот эта история в колоритном изложении А.Д.Поповского[203]:

Ученый [Лысенко] больше не медлит. Как раз время цветения пшеницы. Он поручает сотрудникам заняться опытным ее опылением, а сам спешит выступить на сессии Академии наук. *Никаких доказательств нет у него, эксперименты не дали еще результатов, но он смеет заверить высокое собрание, что скрещивание в пределах того же сорта положит конец вырождению пшеницы* [курсив мой – *Н.В.*], поднимет ее силы и откроет новые пути в науке о селекции.

…Удивительный фантазер! Ведь для этой работы потребуются миллионы селекционеров.

---

[202] Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002

[203] Этого весьма популярного в свое время автора не надо путать с Марком Поповским. Здесь речь идет об отце Марка, Александре Поповском, который также много писал о советских биологах, но, конечно, с тех позиций, которые требовались в его эпоху.

– Где же вы наберете людей?

Во всей стране не наберется столько специалистов. Ведь речь идет о том, чтобы искусственными средствами вывести миллионы тонн обновленной пшеницы. Засеять все поля этими злаками. Тут нужны легионы селекционеров.

– Зачем? – не смущается Лысенко. – Работу проделают колхозники.

Его противники – верные ученики Моргана – русские генетики весело тогда посмеялись: вообразите колхозника с пинцетом в руках над сложной манипуляцией оплодотворения.

– Я обращаюсь к вам, президенту академии, – ничуть не смутился мечтатель из Одессы, – и прошу научных сотрудников других институтов как можно скорее проверить это мероприятие. Сделать это надо немедленно, потому что предстоит большая работа. Взять хотя бы вопрос о пинцетах и ножницах. Потребуются пятьсот тысяч тех и других – надо еще подучить полмиллиона колхозников.

Требование было отвергнуто. Если Лысенко так уж хочется, он может проделать свой опыт в одном из колхозов. Результаты экспериментов покажут, как быть.

…Лысенко не мог не подчиниться: на другой стороне была сила авторитета. Но и отчаиваться рано… он мобилизует армию неофициальных исследователей: бригадиров, звеньевых и заведующих хатами-лабораториями.

…Им и отдал Лысенко свою новую гипотезу, доверил проверочные опыты. Снова в институте закипела работа, на курсах готовили агрономов, научных работников. Аспиранты и ученые подготовляли бригадиров и звеньевых на местах. В свет явилась брошюра о внутрисортовом скрещивании, жаркие статьи в журнале «Яровизация». Началась величайшая битва за обновление сортов пшеницы.

Две тысячи колхозов в то лето провели опыты у себя на полях. Опытники пинцетом удаляли пыльник колоска и клали на рыльце цветка пыльцу соседа. Десять тысяч бесстрастных свидетелей воочию убедились, что семена, рожденные из такого опыления, лучше, чем их собратья, зачатые под пленкой.

…В 1937 году Народный комиссариат земледелия предложил двенадцати тысячам колхозов двадцати одной области провести внутрисортовое скрещивание озимой пшеницы.

…Великая битва развернулась на украинских полях. На одной стороне был Лысенко и его сотрудник и армия колхозников – помощников его, а на другой – трудности, неудачи и неполадки. Началось с крупного успеха: процедуру опыления ускорили и упростили. Пыльцу не клали пинцетом в каждый цветок, а предоставили это делать ветру. Он подхватывал пыльцу и щедро наделял ею кастрированные растения. За этой удачей пошли испытания. Оказались исчерпанными запасы пинцетов и ножниц во всей области. Лысенко приспособил мастерскую института, и вместо приборов там стали готовить пинцеты. Но что значит сотня их, когда нужны тысячи! Он посылает рентгенолога – единственно свободного человека – в Павлово-Посад заказать и привезти пятьдесят тысяч пинцетов. Ученый самолетом доставляет их на поля, но и этого запаса не надолго хватает. Недостаток ножниц и пинцетов грозит погубить все планы института, и Лысенко неожиданно находит выход. Колхозные кузни будут делать эти вещи из кос… Кузнецы поддержали ученого, его идея нашла у них отклик[204].

Я в который раз прошу прощения у читателя за огромные цитаты, но в них (особенно у А.Поповского) ощутим дух того времени – точнее, стиль *советской пропаганды* предвоенной эпохи, которая, абсолютно не считаясь с реальностью, создавала свои воздушные замки буквально на голом месте и, населяя их такими же выдуманными персонажами, не скупилась на запоминающиеся детали и взятые с потолка подробности. *Рентгенолог, доставляющий на самолете пятьдесят тысяч пинцетов*, и *армия колхозных кузнецов, могучей поступью выходящая на трудовую вахту по изготовлению оных инструментов* – этого сам не придумаешь, такое и во сне-то вряд ли приснится[205]. Очевидно, что и тогда множество нормальных людей втихомолку посмеивалось и не верило во всю эту газетную чушь. Однако, веришь ты или не веришь, а – как мы уже поняли – ты обязан во всех своих делах, решениях, выступлениях, оценках исходить из предписанного тебе газетами как из *сегодняшней истины*. Что там на самом деле происходит в колхозах, на шахтах или на дрейфующих льдинах всерьез

---

[204] Поповский А.Д. Искусство творения. М.: Профиздат, 1948

[205] Когда-то трындели по поводу и без повода: *НТР, внедрение АСУ* (это тебе не пинцеты!), позже стали упирать на *стволовые клетки*, *Сколково* и *нанотехнологии*, а по существу-то: *Что было, то и будет, и что творилось, то творится, и нет ничего нового под солнцем.*

интересовать никого не может (кроме каких-нибудь вступающих в жизнь юнцов, экзальтированных дамочек и тому подобных неавторитетных личностей), поскольку не имеет прямого отношения к твоей жизни и к выполняемому тобой делу, а дело, за которое с тебя могут в любой момент спросить, зависит от того, что пишут в данный момент в газетах и сообщают на партсобраниях. Поэтому то, что делает Лысенко, – например, *обновление семян* – настоящее *дело*, а твои личные соображения по этому поводу – чепуха, о которой даже твоей жене знать не обязательно. Таким *делом* (если можно называть этим словом *охмурение пана Козлевича* и ему подобных) Лысенко продолжал заниматься практически всю свою жизнь, хотя формы, в обличье которых выступало одно и то же *дело*, регулярно и чуть ли не ежегодно менялись: на место яровизации картофеля выступала ветвистая пшеница, а ей на смену шла гнездовая посадка дубовых лесополос и т.д. Взяв на себя нелегкую задачу поставлять «новости» в газеты, Лысенко упорно тянул эту лямку вплоть до 1964 года, когда эту обязанность партия с него, наконец-то, сняла. На этом пути было много разных примечательных эпизодов, достойных читательского внимания, в них участвовали многие любопытные личности (как окружавшие Лысенко прохиндеи, так и замечательные люди, продолжавшие несмотря ни на что бороться с лысенковскими «новациями»), но мы больше не будем углубляться в их обсуждение – для нашей темы гораздо важнее то, что с первой половины тридцатых годов у *мужицкого академика* появляется – и постепенно выходит на первый план – другая обязанность: он начинает непримиримую борьбу с той наукой, в лоне которой он возрос и стал академиком.

Можно сказать, что именно в данное время воистину начинается тот спектакль, три акта которого уже прошли перед нашими глазами. Хотя вся диспозиция была уже заложена в предыдущих актах и развязка уже предрешена, ни зрители, ни персонажи пьесы до этого времени еще не могли догадываться, в каком именно действе они принимают участие и с какой целью на сцену выведены именно эти персонажи. Истинный сюжет пьесы начал проясняться лишь после того, как с яровизацией, оказавшейся лишь затравкой для будущих катаклизмов, было, в основном, покончено и события приняли новый оборот: Лысенко недвусмысленно заявил о своем желании выступить в «крестовый поход» против *формальной генетики* и начал собирать войско для этой амбициозной затеи, освященной, как быстро выяснилось, сидящим в Кремле *мировым духом*.

К сожалению, на основании сведений, сообщаемых в доступной мне литературе, я не в состоянии более или менее точно датировать появление первых публичных выпадов Лысенко и его сторонников в отношении тех, кого потом окрестили *формальными генетиками* и *вейсманистами-морганистами*. Вероятно, до 1932 – 1933 годов таких выпадов и не было, а те высказывания, которые в этом смысле сомнительны, были настолько туманны и не конкретны, что их никто и не упоминает. Правда, весь рисунок поведения Лысенко – его, так сказать, имидж – выражал его отчуждение от *профессорской науки*, требующей основательного образования, знания иностранных языков, умения использовать сложное оборудование и изощренные методы исследования. Его ставка на *хаты-лаборатории* и *колхозников-опытников*, подаваемых в качестве основных научных кадров, – помимо своей основной цели: фальсифицировать результаты чужими руками – одновременно воспринималась и как критика общепринятых образцов научной работы. Фактически, Лысенко демонстрировал альтернативный образ ученого – образ, хорошо вписывающийся в общую тенденцию пропаганды того времени и выдаваемый за идеал новой *пролетарской* науки:

Вы, называющие себя учеными, каждое дело превращаете в спектакль, в котором демонстрируете свою ученость и свое превосходство над простыми, необразованными людьми, а для этого уснащаете всякое дело разными финтифлюшками и запутываете в паутине мало кому понятных слов. Для вас главное – не дело делать, а себя показать и убедить всех в своей незаменимости. Мы же, люди, идущие от практики и нацеленные на практические результаты, не нуждаемся во всех этих ухищрениях: мы сами вышли из народа, мы чувствуем себя его частью и не собираемся отгораживаться от него

частоколом научных слов и высосанных из пальца понятий, играющих роль дымовой завесы, за которой вы пытаетесь скрыть свои претензии на сладкую жизнь и на незаслуженный вами почет и уважение общества. Мы подходим к делу просто, по-рабоче-крестьянски, практически: есть задача – и мы идем к ее решению напрямик, наипростейшим путем, то есть тем, который ведет к желанному решению вопроса. А ваши игрушки – всякие там интегралы, кроссинговеры и критерии Стьюдента – можете оставить себе: мы и, не разбираясь в них, делаем порученное нам дело. Об этом говорят практические результаты нашей работы.

В подобных потугах придать напору невежественных претендентов на научный статус характер *классовой борьбы в науке* не было, собственно говоря, ничего нового – уже известная нам статья «Поля зимой», с которой началась карьера Лысенко, демонстрирует эту позицию в полном объеме. Тенденция эта, выступающая в разных обличьях, имеет многовековую историю, в те годы наблюдался ее бурный всплеск, подогреваемый государством, да и сейчас она не остается без многочисленных сторонников. Однако от демонстративного пренебрежения научными методами и теориями до прямого их ниспровержения и объявления их ложными, заводящими в тупик и призванными обеспечивать *господство буржуазии со своими прихлебателями над трудящимся людом*, дистанция огромного размера. До определенного момента Лысенко и складывающаяся вокруг него команда не покушались на явное выступление против основ той науки, в организационных рамках которой они успешно занимались своей деятельностью. Да и что могло им дать такое выступление?

Вопрос о том, что вызвало к жизни *мичуринскую биологию* и какими мотивами руководствовались ее непосредственные создатели, играет в моем изложении всей этой истории кардинальную роль. Для тех, кто рассматривает главного героя лысенковщины как фанатичного дуболома, – а среди исследователей и мемуаристов, вспоминающих подробности тех дней, такой взгляд на Лысенко можно считать господствующим – постановка подобных вопросов оказывается смазанной и не требующей долгих размышлений. Ну, а чего еще, дескать, можно ожидать от неразвитого и малограмотного субъекта, волею судеб взобравшегося на научный олимп и возвещающего с его высоты свои убогие соображения об устройстве живых организмов. Так и должен себя вести не ведающий сомнений фанатик, не способный – в силу своей дремучей безграмотности – даже понять аргументацию своих противников. То, что он «открыл», – неоспоримая истина, и она должна быть признана всеми, а те, кто с ней не согласен, – враги советской науки (под которой фанатик разумеет только себя и своих сторонников), прислужники буржуазии, и их надо – любыми способами – заставить замолчать. Всё очень просто. И дело не в мотивах фанатика (какая нам разница, чем он при этом руководствовался и как набрел на свои бестолковые «открытия»), а в том, как ему удалось добраться до столь высокой трибуны и заставить миллионы людей себя слушать, – вот в чем проблема. Ей и надо заниматься.

Такие рассуждения логичны, внутренне согласованы и не оставляют места для поставленных мною вопросов – они оказываются избыточными для понимания сути дела. Но эта точка зрения мне не подходит, поскольку я не считаю Лысенко ни дуболомом, ни, тем более, фанатиком. Я уверен, что он был не только вполне трезво- и здравомыслящим, но и достаточно проницательным, не лишенным определенного остроумия и крестьянской сметки человеком, который руководствовался в своем поведении вполне рациональными, вытекающими из обстоятельств мотивами. Он, по моему мнению, не стал бы настаивать ни на каких истинах, если бы не видел в этом конкретной, осязаемой пользы для достижения определенных человеческих целей. Держась такой линии, я просто вынужден задавать себе вопросы: чего он добивался, отрицая существование генов и их связь с хромосомами? каким образом признание законов Менделя или проводимые на дрозофиле исследования могли помешать ему *морочить олухов* яровизацией картофеля и ветвистой пшеницей? и т.д. И вообще: как ему могло придти в голову желание выступить против всего научного истеблишмента тех дней? Ясно ведь, что это – дело не безопасное. Даже после того, как он стал

академиком (и даже двух академий), он не мог недооценивать опасность ссоры с руководителями научного сообщества – он, как ни крути, всего лишь один из множества академиков, и начни он обличать их всех сразу в лживости их научных теорий, вряд ли он мог ожидать от них благосклонного к себе отношения. На что он надеялся, решаясь на такую ссору? Понятно, что он получил определенные гарантии своей неприкасаемости и защиты от возмездия со стороны будущих противников, вынуждаемых защищать свои взгляды и свое научное реноме. Но почему он поверил этим гарантиям? Разве он не видел, как большие люди, до того самовластно распоряжающиеся жизнью и смертью миллионов, в одно мгновение слетали со своих высоких постов, и от них уже бессмысленно было требовать выполнения каких-либо обещаний? Что толку в данных ими гарантиях? Они и сами могут от них отказаться – и ухом не поведут, – да и трудно предсказать, что будет с дающими гарантии через пару лет, – нет, на их обещания никак нельзя полагаться. А самое главное: в чем выгода такого шага? что окупает связанный с ним риск?

Если учесть, что объявление войны шло со стороны Лысенко и что Вавилов всеми силами старался такого развития событий избежать – мы знаем, что еще в 1936 году он пытался заглушить начинающийся конфликт и (пусть только для видимости) высказывался в пользу Лысенко, – приходится признать, что Лысенко ввязался в войну в тех обстоятельствах, которые никоим образом его на такой шаг не провоцировали. Я не вижу никакого разумного объяснения его поведения и должен предположить, что решение о начале похода против генетиков было принято не им и что у него не было иного выхода, нежели выполнять то, что ему было указано сверху. Здесь чувствуется вмешательство некой чужой воли, которой Лысенко не мог не подчиниться. Я думаю, что с этого момента руководство задуманным спектаклем перешло непосредственно в руки Сталина, который управлял событиями через послушную ему государственную машину – причем не через ее видимые на поверхности рычаги и колеса, а через ее скрытую от наблюдателей часть, действующую втайне и исподтишка. Без активного вовлечения в дело тайной полиции здесь, по всей видимости, не обошлось.

Еще раз взглянем на эту, с моей точки зрения, основополагающую проблему и попробуем смоделировать поступки Лысенко, встав на его место – что бы мы сделали, оказавшись в той позиции, какую он занял к 1935 году? Как ни сомнительна такая постановка вопроса (в духе «пикейных жилетов»), но без нее, похоже, не обойтись – должны же мы от чего-то отталкиваться, оценивая рациональность лысенковского поведения. Представим себе, что реконструируемый нами гомункулус, который изображает беспринципного прохвоста, действующего строго рационально и устремленного исключительно к своей выгоде, оказывается на месте Лысенко в 1935 году и, оценив свою текущую позицию, планирует свои дальнейшие действия. К каким выводам он должен придти и чего мы должны от него ожидать? Нет сомнений, что моделируемый персонаж, подводящий итоги прошедшей пятилетки, должен быть доволен: несмотря на явное снижение накала страстей *на фронте яровизации* и затухание этой затеи, постепенно переходящей в ранг рутинного мероприятия, наш герой нимало не потерял в благосклонности высшей власти. Предлагая всё новые «почины», он не исчезал со страниц газет и кочевал по многочисленным собраниям, сессиям и совещаниям, олицетворяя ту «науку», которой требовало государство: простую, безо всякой зауми, решающую конкретные сегодняшние задачи и – что самое главное – всегда успешную: *вы пожелали, эччеленца*[206], *и вот оно желаемое – уже несут на блюдечке – дорого яичко ко Христову дню!*

---

[206] «…Семен Семенович мне постоянно говорит: ‘Нужен, – говорит, – нам, рабочим и крестьянам, нужен красный, свой, советский Эдисон’. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!

Аппетит наш невелик.

Правда, всё это не очень надежно. Вот и его главный покровитель, Я.А.Яковлев, покинул кресло наркома земледелия СССР в 1934 году, и теперь там другой начальник – но это еще не вечер, тем более, что Яковлев не исчез без вести, а даже поднялся и стал заведующим Сельхозотдела ЦК, и следовательно, Лысенко по-прежнему числится в его епархии. Так что печалиться нет причины: молодец – *босоногий профессор*, он все правильно рассчитал, сорвал гигантский куш, прыгнув из безвестного захолустья на место одного из самых знаменитых людей страны. Сейчас надо только постоянно держаться на плаву и достаточно часто анонсировать новые проекты – власть в них нуждается, и на них постоянный спрос. В этом отношении всё идет по плану. А вот в отношении научной карьеры все планы перевыполнены: он даже не предполагал, что такое возможно, – за несколько лет он взлетел от неприметного младшего специалиста провинциальной опытной станции до научного руководителя крупного исследовательского института[207] и стал академиком двух академий (ВУАН и ВАСХНИЛ), редактором научного журнала[208] – можно ли было такое предполагать? Это просто подарок судьбы. Благодаря вмешательству Вавилова ему удалось перескочить все промежуточные этапы и оказаться на самой верхушке – другие тратят на такое продвижение всю свою жизнь, и каждый шаг на этом пути добывается тяжким трудом, а он – раз и в дамки! Неслыханное везение!

Я не думаю, что реальный Лысенко заблуждался в истинных мотивах Вавилова и верил в его искреннее желание поддержать яровизатора-новатора – такое объяснение озадачивало многих, знавших Вавилова, не могло оно показаться естественным и Лысенко, рассматривавшему крупных ученых с позиции тупого и нерадивого студента, для которого любой профессор – естественный враг. *Ясно почему*, – наверное, соображал наш герой, – *велено ему, он и старается. Вот письмецо-то*[209] *– он и не скрывает. А сам на меня, поди, как*

Лишь зад-да-да-да-данье нам дадите, –
всё исполним в тот же миг.

…Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Эчеленца, прикажите, – аппетит наш невелик!» (Маяковский В. Баня // Маяковский В. ПСС в 13 томах. Т. 11. М.: ГИХЛ, 1958).

[207] Около 1930 года, как пишет Д.Урсу, А.А.Сапегина по указанию того же Яковлева арестовывают в Харькове (надо полагать, за саботаж и вредительство). Вскоре его выпускают на свободу, но директором Одесского ГСИ в 1931 назначают агронома Ф.С.Степаненко, быстро сообразившего, что ему по пути с Лысенко (а, может, ему и подсказали, чтó к чему). Сапегин занимает место научного руководителя ГСИ. Когда же в 1933 году Сапегин по приглашению Вавилова становится его заместителем в только что образованном Институте генетики АН СССР и уезжает в Москву, Лысенко занимает его место. Через два года он становится директором ГСИ и его полновластным руководителем, что сопровождается переименованием подчиненного ему учреждения во Всесоюзный селекционно-генетический институт. (Урсу Д. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед и поражений. // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып. 14. Одесса: Печатный дом, 2012, с. 217-220).

[208] Журнал (в котором печатались, в основном, Лысенко и его сторонники) в 1932 – 1934 годах назывался «Бюллетень яровизации», затем он был переименован в «Яровизацию» (1935 – 1941), а после войны этот возобновленный журнал выходил под названием «Агробиология» (в 1946 – 1965 годах). После отстранения Лысенко от рычагов управления агронаукой журнал отнюдь не прекратил свое существование, а под именем «Сельскохозяйственная биология» выходит и по сей день.

[209] «2 марта 1932 г., в Одессу.

Уважаемый Трофим Денисович,

Нарком земледелия тов. Яковлев поручил Президиуму Академии оказать всяческое содействие Вашей работе и мне лично поручил взять на себя об этом заботу.

Прошу Вас, во-первых, коротенько самому или через Ваших помощников сообщить о ходе дела, как с массовыми опытами, так и с Вашей работой, а также о всем том, что нужно сделать, чтобы облегчить Вашу работу.

Н. Вавилов»

(Письмо Вавилова цитируется по статье: Шварц А. Схватка // Слово/Word, 2011, № 72)

солдат на вошь смотрит. Но странно было бы на этом основании отказываться от оказываемой протекции. Теперь, выйдя почти на уровень самого Вавилова и получив (можно сказать, даром получив) самостоятельное положение, уравнивающее его с признанными научными светилами, естественно было бы наладить контакты и деловые отношения с другими академиками, профессорами и руководителями институтов, вписаться в их среду, найти в ней союзников. Он чужак среди них, и никогда они не признают его своим собратом. Однако общие интересы важнее личных симпатий – и они пойдут на контакты, если поймут, что это им выгодно. Пока власть на стороне Лысенко, он может быть важным союзником каждому, кто заинтересован в каком-либо собственном проекте. С другой стороны, многих может заинтересовать участие в проектах, инициированных самим Лысенко, ведь им заранее гарантирована мощная поддержка со стороны органов власти. Пока он на гребне успеха и в фаворе у властей, надо воспользоваться этим и сблизиться с чуждой ему академической средой. При этом вовсе не обязательно терять свое звание «мужицкого академика» или радикально менять методы своих «научных исследований», от которых все эти Сапегины и прочие воротят нос. Всё это пустяки. Вот Вавилов тоже видел, как я получаю свои результаты в сотрудничестве с колхозниками, и это же ему не помешало стать на мою сторону. Нет, материальный интерес – великая сила, он любую их интеллигентскую брезгливость преодолеет. Я – такой, а они – этакие, но здесь нет причины отказываться от взаимовыгодных союзов. Я могу быть им полезен, а потому я смогу найти среди них таких, которые пойдут на сотрудничество.

Это помогло бы создать почву под ногами и приобрести относительную независимость от покровительства Вавилова в сфере науки. Но и с ним мне нет нужды конфликтовать или демонстративно от него дистанцироваться – пока что он мне помогает, и прекрасно. Я перед ним не заискиваю. Я сам по себе, и могу вести себя так, как считаю нужным, я не просил его ни о каких одолжениях, а потому ничем ему и не обязан. Мне от него, собственно говоря, уже ничего и не надо, кроме того, чтобы он не лез в мои дела. И, вероятнее всего, он и не будет этого предпринимать. Как бы он и его компания ко мне на самом деле не относились, после всех вылитых ими на яровизацию потоков хвалебных слов, им будет крайне затруднительно вдруг развернуться на сто восемьдесят градусов: всё был хорошим и вдруг стал плохим. Кто же им поверит. Главное, не давать им повода переменить свое отношение к захваленному ими Лысенко. Собственно говоря, если я найду общий язык с академиками и сумею упрочить достигнутое положение в научной иерархии (а для этого многое и не требуется – пописывай статейки в свой журнальчик, докладывай на сессиях «интересные результаты», полученные Долгушиным с прочими прохвостами, не ввязывайся ни в какие научные ссоры – и всех делов), я мог бы помаленьку отойти от своих громких «новаций» и сопутствующей им газетной шумихи, без которых мне пока что не обойтись, но которые мне сейчас уже не требуются. Я уже отхватил такой кусок, на который вначале не смел и надеяться. Теперь надо бы вырулить в какую-то более тихую гавань и, по возможности, не встревать ни в какие авантюры – я уже руководитель института, академик, чего еще больше.

Рассуждая за Лысенко подобным образом, я не могу придумать никакой разумной причины, лежащей в основе его желания затеять священную войну с Вавиловым и окружавшими его генетиками. Приходится признать, что такой причины и не было: на войну он выступил не по собственному желанию, а по приказу. Власть, у которой наш новатор постоянно был под шахом, дала ему новое ответственное поручение, и, конечно, он не мог от него отказаться. Не надо было ему долго объяснять, чем кончится для него любое неудовольствие высоких начальников, он и сам всё отлично понимал и постоянно чувствовал висевшую над ним угрозу. Достаточно было тем, кто фактически командовал кампанией всей этой «яровизации», спросить, сделав вид, что они только что проснулись от сладкого сна: *Ну, так сколько всё-таки пудов дает прибавка к урожаю от рекламируемой вами яровизации? давайте-ка проверим*, – и моментально яровизационная афера закончилась бы именно тем,

чего ожидал Вавилов. Неизбежно последовали бы снятие со всех постов и лишение всех званий, шельмование в газетах и самого Лысенко и других связанных с ним персонажей – от директора УГСИ А.Ф.Степаненко до безвестных колхозных бригадиров и учетчиков, подававших дутые сведения, – их разоблачение и выставление у позорного столба с последующим показательным приговором. И хорошо, если дело кончится этим, без раскрытия разветвленной троцкистско-белогвардейской организации, ставящей целью вредительство и нанесение ущерба *стающему на ноги колхозному строю*. Напрасно будет тогда напоминать начальникам: *Вы же сами хотели сказку* – это лишь усугубит твою вину. А потому ни о каком непослушании или увиливании от спускаемых сверху поручений Лысенко не мог и помышлять. Он со своими «инициативами», обещаниями и бравурными рапортами постоянно висел на крючке у закрывавших глаза на его проделки начальников, и это определяло любое его решение.

На роль основного «агента влияния», обеспечившего поворот усилий Лысенко и идущей за ним компании *дураков и прохвостов* (в ту пору еще маленькой и тесной – почти вся она была сконцентрирована в УГСИ) на борьбу с существующей научной иерархией, хорошо подходит Исай Презент, хотя у «мужицкого академика», несомненно, были и другие «кураторы», не оставлявшие своего подопечного без внимания с самого начала его блистательной карьеры. Многие авторы указывают на Презента, как на «темного демона», искавшего приложения своей разрушительной энергии и ради этого заключившего союз с простоватым и недалеким Лысенко. Предполагается, что именно он, гораздо более образованный и начитанный, нежели ставший его сюзереном Лысенко, сбил с толку тщеславного академика, желавшего создать свою научную школу, но не имевшего в наличии какой-либо серьезной собственной теории, которая могла бы претендовать на своеобразие. Амбиции неграмотного «самородка» и его корявые соображения были раздуты с помощью полуграмотного, не имевшего биологического образования «консультанта» до заявки на создание новой версии современной биологии, получившей название *мичуринской биологии и творческого дарвинизма* и неминуемо вступившей в противостояние с основными научными взглядами, господствовавшими в то время в биологии. Война с генетиками понимается в этом случае, как борьба за признание и распространение собственной – поневоле убогой и бестолковой – «теории», которая появилась в результате совместных усилий объединившихся Лысенко и Презента.

Мне представляется, что такой взгляд на генезис *мичуринской биологии* помещает описываемые события в неподходящую систему координат и, вследствие этого, искажает историческую реальность. Я считаю, что как Лысенко, так и призванный направить «крестьянского самородка» на путь истинный Презент действовали отнюдь не по своей воле. Выполнявший функцию эмиссара высокой *инстанции* профессор ЛГУ, призванный разъяснить Лысенко, что от него требуется, высказывался вовсе не от себя лично – стал бы его Лысенко слушать, сообразив, что требуемое противоречит его собственным интересам, – он был лишь передаточным звеном и через него было доведено указание, которого Лысенко не мог ослушаться. При этом роль Презента, как видно из дальнейшего, не ограничивалась лишь побуждением тугодума Лысенко к активным действиям в намеченном направлении, он стал и основным «соисполнителем» спланированного где-то в верхах (нет сомнений, что решение принимал непосредственно Сталин) и порученного Лысенко задания. С самого зарождения и до последних лет владычества *мичуринской биологии* Лысенко и Презент действовали в тесной связке, и основные догмы «новой науки» излагались от их общего имени. При этом Лысенко не только не скрывал, а даже временами (вероятно, не без ехидства) прямо указывал на интеллектуальное первенство своего соавтора в построении их общего учения, подаваемого – ради престижа и для запутывания сути дела – как истинное наследие величайших биологов прошлого: Дарвина, Мичурина и Тимирязева (уже сам по себе этот иконостас оставляет юмористическое впечатление). И хотя четвертым в этом ряду недвусмысленно подразумевался Лысенко, всем было ясно: в качестве *великого биолога* он слишком *непрезентабелен*, а потому для придания хотя бы внешнего лоска новому «учению» потребовался *Презент* (шутка,

несомненно, существовавшая в те годы, но не попавшаяся мне ни у одного из прочитанных мною мемуаристов[210]).

С другой стороны, не стоит, видимо, рассматривать Презента как «серого кардинала», фактически руководящего процессом, в котором Лысенко занимает место бессловесного идола – нет ни малейших сомнений, что главным в этом тандеме был «мужицкий академик», без него весь спектакль просто потерял бы смысл, а Презент лишь суфлировал ему значительную часть реплик (общий смысл которых был уже определен содержанием пьесы), и кроме того исполнял роль чиновника по особым поручениям. Уже во второй половине тридцатых годов, когда в лагерь активно наступающей *мичуринской биологии* перебежало достаточно большое количество прилично образованных людей, Презента вполне можно было бы заменить на кого-нибудь другого, однако этого не произошло, из чего мы можем заключить, что образовавшаяся на раннем этапе связка «Лысенко – Презент» была вовсе не бутафорской, а выражала реальное сотрудничество двух этих неординарных жуликов.

Я уже приводил кое-какие сведения о Презенте из книги Борейко, но здесь стоит еще раз пристально вглядеться в эту личность под особым ракурсом: вся его карьера недвусмысленно указывает на то учреждение, которое стояло за *entente cordiale* интересующих нас прохиндеев и которое было истинным инициатором проекта «мичуринская биология». В этом отношении отошедший к ведомству истории Исай Презент оказывается весьма сходным с ныне здравствующим и не собирающимся уходить с публичной сцены героем наших дней – Владимиром Жириновским. Единственное значимое различие между ними, которое удалось обнаружить, состоит в том, что у Жириновского были родственники, тесно связанные с НКВД, – первый муж его матери (Андрей Жириновский) был начальником службы безопасности Ленинградской железной дороги, а его биологический отец (Вольф Эдельштейн), чью фамилию маленький Вова носил до 17 лет, был, по всей видимости, не последним человеком в *советской разведке* – и это важно, так как в рядах *чекистов* как нигде уделяют внимание семейственности и преемственности в отношении своих кадров, и именно здесь надо искать настоящие *рабочие династии*[211]. Родившийся в 1902 году Презент не мог похвастать такой родней по понятным причинам (хотя нельзя исключить, что кто-то из его родственников сотрудничал с царской охранкой – как ни удивительно, но и такой факт мог послужить рекомендацией в советские времена)[212]. В остальном же эти два персонажа вполне годятся для современного издания *Сравнительных жизнеописаний* в духе Плутарха. Как и небезызвестный «сын юриста», окончивший Институт восточных языков, Презент начинал свою бурную деятельность с «работы за рубежом», однако этот этап его карьеры был очень кратковременным – ни Штирлица, ни Кима Филби из него не вышло. В своем очерке В.Домиль пишет:

> Руководство заметило Презента. И, судя по всему, решило использовать его в качестве заграничного агента. То ли по линии Коминтерна. То ли ещё как-то. Презент был командирован сначала в Германию. Потом в Иран. Карьера проводника коммунистических идей и борца за мировую революцию у Презента не сложилась. Его, как активного троцкиста, арестовали. Впрочем, Презента, чуть ли

---

[210] Зато многие вспоминают бытовавшую в тридцатые годы фразу: *Презент – это не подарок*.

[211] Как писал по сходному поводу Шаламов: «…этим подземным миром правят потомственные воры – те, у которых старшие родственники – отцы, деды или хотя бы дяди, старшие братья были уркаганами; те, которые выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру; те, которые не могут променять своего положения на другое по понятным причинам; те, чья «жульническая кровь» не вызывает сомнения в своей чистоте». (Шаламов В. Очерки преступного мира // Шаламов В. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 12)

[212] Я почти не сомневаюсь, что, если у Презента были дети (или хотя бы племянники), то упомянутая склонность к зарождению *рабочих династий* должна была отразиться в их биографиях. К сожалению, мне не удалось найти какие-либо сведения о родственниках этого персонажа.

> не единственного из группы арестованных вскоре освободили. Что породило, обычные в таких случаях, вопросы[213].

К сожалению, Домиль не указывает на источники, из которых он почерпнул эти сведения, но, вероятно, он знает, о чем говорит. Кроме того, косвенным свидетельством реальности описанных событий может служить книга, написанная Презентом и изданная им под прозрачным псевдонимом в 1930 году[214] – чего ж накопленным материалам пропадать. Каковы бы ни были подробности этой интересной истории (про Жириновского тоже ведь ничего толком не известно – что там с ним в Турции приключилось?), Презента, по-видимому, «вывели за штат» и «перебросили» на другое – менее престижное – направление: он продолжил, как мы уже знаем от Борейко, свои труды по развалу системы образования и *советизации высшей школы*. Была, видимо, и такая специализация, на которую можно было сослать неудавшихся шпионов и провокаторов[215].

Самого Борейко также интересовали связи описываемого им «адвоката дьявола» (так в его книге называется глава о Презенте) с ОГПУ-НКВД и он – правда, с некоторой неуверенностью – склоняется к мнению о сотрудничестве этого типа с тайной полицией:

> Характерная особенность злодеяний Презента: большинство из его жертв — Вавилов, Станчинский, Яната, Райков — оказывались в ГУЛАГе. Это явно не случайное совпадение. И хотя пока не найдено фактов о прямом сотрудничестве правой руки Лысенко с ОГПУ-НКВД, в ‘деле’ ленинградского методиста-биолога Б.Е.Райкова такую ‘ниточку’ я обнаружил. Есть предположение, что донос на него написала группа студентов-комсомольцев, которым Борис Евгеньевич за неуспеваемость ставил двойки. Возможно, одним из их вдохновителей и был Презент, в 1930 г. уже преподававший в пединституте им. Герцена доцентом. Более того, в своей книжке ‘Классовая борьба на естественно-научном фронте’ (1932 г.), посвященной борьбе с “райковщиной”, на странице 36 Презент ссылается на письма к Райкову полтавского учителя Любимова (у Презента — педагог В”), которые Презент мог прочитать только в ОГПУ, ибо они были изъяты у ученого при обыске и находились в его ‘деле’ (в чем я лично убедился при его просмотре) как вещественное доказательство. Возможно, Презент и не был причастен к аресту Райкова, однако уже одно то, что начальство Ленинградского ОГПУ позволило Презенту использовать следственные материалы, говорит о многом[216].

Несмотря на важность приводимой Борейко улики, она всё же остается лишь косвенным подтверждением поддерживаемой здесь версии, чья убедительность покоится на совокупности многочисленных непрямых свидетельств. Однако, данных, непосредственно указывающих на сотрудничество Презента с ОГПУ, у нас нет. Не много здесь может помочь и

---

[213] Домиль В. Адъютант его превосходительства // Заметки по еврейской истории, 2006, № 4

[214] Даров И. Бехаизм (Новая религия Востока). Л.: Прибой, 1930

[215] Интересно, что Н.Мандельштам в своих «Воспоминаниях» описывает двух таких заматеревших «специалистов», работавших вместе с ней в Ульяновском пединституте:

«Всю свою жизнь Тюфяков отдал ‘делу перестройки вузов’ и потому не успел получить ни степеней, ни дипломов, ни высшего образования. Это был вечный комсомолец двадцатых годов и ‘незаменимый работник’. …Таких вечных комсомольцев у нас было два – Тюфяков и другой, Глухов, эту фамилию следовало бы сохранить для потомства – внуков и дочерей, преподающих где-то историю и литературу. Этот успел получить орден за раскулачивание и кандидатское звание за диссертацию о Спинозе. Он действовал открыто и вызывал к себе в кабинет студентов, чтобы обучить их, о ком и какую разоблачительную речь произнести на собрании, а Тюфяков трудился втихаря. Оба занимались разгромом вузов с начала двадцатых годов» (Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Книга, 1989).

Судя по концентрации специалистов этого профиля в Ульяновске, они составляли солидную прослойку в [2]интеллигенции советских времен.

[216] Борейко В.Е. Белые пятна истории природоохраны. Т 1. Киев: Киевский эколого-культурный центр, 1996.

аналогия с Жириновским[217] – если мы не сомневаемся в том, чьей креатурой является «Жирик», то почему мы должны сомневаться в правдивости такого же утверждения по отношению к Презенту? Ведь они так похожи. И всё же доказательством такие, интуитивно убедительные, соображения назвать трудно.

К нашему счастью, в мемуарной литературе имеется и свидетельство, способное развеять всяческие сомнения в данном вопросе. И это не какой-нибудь паршивый «документ», который *миронины* всякого рода не преминули бы тут же разоблачить как грубую и неаккуратную подделку, бросающую тень на ближайшего соратника великого Лысенко, – это *царица доказательств* (по бессмертному выражению тех времен). Здесь мы имеем дело с *чистосердечным признанием подозреваемого* – признанием сделанным без применения *недозволенных методов следствия* и при обстоятельствах, исключающих внешнее принуждение и психологическое давление на сознающегося. Это ценнейшее свидетельство обнаруживается в довольно неожиданном месте: в воспоминаниях детского писателя-фантаста Кира Булычева, который, оказывается, в свои молодые годы (в конце пятидесятых) жил с семьей в коммунальной квартире, где их соседом был доцент МГУ Алексеев, близко приятельствующий с Презентом. Такое соседство привело будущего писателя к случавшимся время от времени мирным беседам с лауреатом Ленинской премии и академиком ВАСХНИЛ (правда, к тому времени уже значительно потерявшим былое влияние). За чаем они обсуждали то и сё, и уже в наши дни Булычев вспоминает:

> На кухню приходил маленький сухой пожилой человечек с живыми черными глазами и добрыми паутинками в уголках глаз. Он всегда печально улыбался и был дьявольски умен – хотелось его слушать. Он отлично умел комментировать все происходившее в стране, причем оставался в мягкой оппозиции к режиму, как обычный кухонный интеллигент тех лет, только куда более образованный, начитанный, обогащенный множеством цитат и ссылок на авторитеты, а также обладающий острым чувством юмора.
>
> На мои нетактичные высказывания и ссылки на иных авторитетов он не отвечал, а если отвечал, то сразу сажал меня в галошу. Но никогда не ссорился... …Поэтому я так и не знаю, каким Презент мог быть, когда открывал рот, чтобы показать клыки. Но кое-что смог представить после того, как не поленился прочесть его речь и выступления, особенно ремарки во время других выступлений на дискуссии по биологической науке.
>
> Дешевая, злобная шавка – вот кто он был, судя по этой книге.
>
> Милейший интеллигентный профессор – таким он был на нашей кухне.

А затем речь идет и о признании нашего подозреваемого:

> Вспоминал он смешно. В воспоминаниях выступал не героем, нет, ни в коем случае.
>
> Вот послушайте:
>
> – Как-то, в начале пятидесятых, когда готовились меры против евреев, меня вызывали в соответствующий кабинет. *Беседовал со мной старый знакомый, нам незадолго перед тем пришлось немало вместе потрудиться. Посидели с ним, вспомнили старое* [курсив мой – *Н.В.*], потом он говорит: «Поступил на вас, Исай Израилевич, неприятный сигнал…
>
> …Я тогда не задумывался о трагизме этой смешной ситуации.

---

[217] Все-таки удивительно, до чего эти два персонажа напоминают друг друга. Фактически, это один и тот же типаж: невысокие, живые и подвижные евреи; яркие демагоги с хорошо подвешенным языком и способностью разглагольствовать на любые темы (ничего особо ценного от них не услышишь, но и за словом в карман им лезть не приходится); скандалисты, регулярно попадающие в разного рода неприличные истории; абсолютно беспринципные и продажные (и даже бравирующие этим)…

Такое впечатление, что у власти имеются особые запасники, где до поры до времени обретаются заранее подобранные субъекты такого рода и откуда их извлекают при появлении запроса на их специфические услуги.

> Оказывается, какой-то чекистский чин мог вызвать на ковер академика, верного, испытанного в партийных боях научного вельможу, и грозить ему…, пользуясь, как дубинкой, каким-то мелким доносом[218].

Если мемуаристу не изменяет память и если он ничего не присочинил в своих рассказах о прежних днях (фантаст, всё-таки)[219], то мы можем считать, что наш вывод верен и подтвержден словами самого героя: Презент был тесно связан с тайной полицией и работал по ее заданиям.

Я отвел так много места обсуждению личности Презента и его связи с ОГПУ не столько потому, что считаю его такой уж важной фигурой, а его влияние на проект «мичуринская биология» – решающим, сколько для подтверждения своего исходного тезиса, гласящего: этот проект не является выражением желания Лысенко высказать свои заветные мысли по кардинальным биологическим проблемам – в личном плане, он лишь вредил *мужицкому академику*, – и следовательно, он взялся за его выполнение только под внешним давлением, которое оказывала на него власть через подчиненные ей структуры ОГПУ. И если это так, то основное содержание будущей *мичуринской биологии* определялось не какими-то (скорее всего просто не существующими) взглядами Лысенко и его соратников (включая Презента) на те или иные биологические проблемы, а тем «техническим заданием», которое было сформулировано (и, возможно, в дальнейшем изменялось и уточнялось) на высоких уровнях власти (я даже предполагаю, что «контрольные параметры» этого задания определял лично Сталин).

Если мы примем этот тезис, то неизбежно приходим к выводу об отсутствии всякого смысла в выяснении того, что именно думали Лысенко с Презентом по поводу менделевских законов или различных версий неоламаркизма и как они относились к Мичурину – а ведь как раз такой подход характерен для подавляющего большинства работ, описывающих *мичуринскую биологию* как определенную псевдонаучную доктрину. С излагаемой точки зрения, все попытки такого рода ведут в тупик и лишь искажают (и затуманивают) реальную картину происходивших событий. Мы исходим из того, что *мичуринская биология* вовсе не является продуктом свободного творчества ее непосредственных создателей – они выполняли порученное им задание. И поскольку невозможно предположить, что Политбюро ЦК ВКП(б) и его вождь могли всерьез озаботиться защитой неоламаркизма, или опровержением хромосомной теории Моргана, или доказательствами возможности перерождения пшеницы в овсюг, или еще какими-то – абсолютно несущественными для них – биологическими вопросами, то мы должны заключить, что полученное Лысенко задание вовсе не касалось этих – безразличных для власти – проблем. Суть его была отнюдь не в этом. Вероятно, что-то из реальных мнений Лысенко и могло войти в окончательную конструкцию *мичуринской биологии*, но нам-то зачем с этим разбираться, если мы уже поняли, что все эти *хромосомы* и *овсюги* не имеют ни малейшего самостоятельного значения и, не получи Лысенко конкретного задания, он бы про них скорее всего и не вспомнил. Все эти плоды лысенковско-презентовского «теоретизирования» (пусть даже они в какой-то степени и отражают их взгляды на биологические проблемы) представляют собой лишь несущественную обертку, маску, скрывающую истинную суть проекта, в котором действительно была заинтересована власть,

---

[218] Булычев К. Как стать фантастом. М.: Дрофа, 2003

[219] Любопытно, что несмотря на очевидные отличия между вспоминающим и вспоминаемым – жизнь их сложилась совершенно по разному, – канва начальных этапов их жизни до определенной степени сходна: Булычев, поступая на иняз, готовился стать советским разведчиком (этого не произошло по не зависящим от него причинам), затем сколько-то лет работал в Институте востоковедения (известной *конторе*, теснейшим образом связанной с выполнением специфических поручений за рубежом) и лишь впоследствии полностью отдался сочинению фантастических книжек.

Хочется продолжить параллель и сказать, что его фантастика – прямая наследница бредней, сочинявшихся Презентом на полвека раньше, но не стану этого делать. Отступлюсь на этот раз от своего принципа, гласящего: всякую ерунду не только *можно*, но и *нужно* хаять, не читавши – это значительно экономит силы.

заказавшая Лысенко его осуществление. Разбираться надо не с тем, в какой *форме* излагалось существенное содержание проекта, а с тем, что́ именно составляло его истинное *назначение*.

Если мы, вынося за скобки все эти – признанные нами несущественными – *хромосомы*, *частички живого тела* и *чеканку хлопка*[220], попытаемся проанализировать основное содержание *мичуринской биологии* не с ее формальной стороны[221], а с точки зрения того, какой *истинный мессидж* несла она читателям и слушателям, то картина, как мне кажется, сразу прояснится, и нетрудно будет понять, что всё содержание *мичуринской биологии* на девяносто пять процентов сводится к отвержению некоторых (хотя и многочисленных, в конечном итоге) утверждений, отстаиваемых передовой биологической наукой того времени. Никакого самостоятельного позитивного содержания у *мичуринской биологии* нет, да, похоже, оно ей и не требуется – невооруженным глазом видно, что авторы сей «доктрины» не стали тратить время на его изобретение, ограничившись отрицанием самых ярких и весомых достижений биологической науки двадцатого века. Весь смысл большого количества слов, которые были произнесены и напечатаны проповедниками *мичуринской биологии* по разным поводам в течение многих лет и которые, собственно, составляют корпус текстов *нового биологического учения*, можно без потери существенного содержания выразить в трех словах: *мы не согласны*[222].

– С чем не согласны?

– Вот с этим… И с этим. Да и с этим не согласны. И вот с этим тоже – мы в прошлый раз про него забыли. А, кстати, с этим мы тоже не можем согласиться. И скажем наперед – чтобы вы больше не приставали: мы еще со многим не согласны и еще на это укажем (в свое время).

– Но ведь всё вами перечисленное – общеизвестные вещи. Почему же вы это отрицаете?

– Потому что это: 1) ошибочно, 2) не доказано и спорно (по крайней мере, мы так считаем), 3) грубо попирает наследие наших великих учителей, 4) заводит в тупик передовую советскую науку, 5) противоречит данным, полученным нами в хатах-лабораториях, 6) не имеет никакой ценности для нашего общего дела и, по сути, является

---

[220] Я не только не знаю, что такое *чеканка хлопка*, но и не вижу надобности с этим разбираться.

[221] Здесь мы, по-видимому, имеем дело с проговоркой по Фрейду. Заклеймив совокупность воззрений, с которыми они боролись, *формальной генетикой*, Лысенко с соавторами невольно приобнажили свою тщательно скрываемую тайну – те различия между ниспровергаемой обычной *генетикой* и прокламируемой ими *мичуринской генетикой*, на существование которых *мичуринцы* напирали в своих писаниях, были для них лишь *формой*, в которой проявлялось расхождение между противоборствующими сторонами, то есть чем-то несущественным и не затрагивающим глубинную суть ведущейся борьбы. Само словечко взято, конечно, из репертуара разгоревшейся в 1936 году кампании *по борьбе с формализмом в искусстве* (многие слышали о ней в связи с запрещением оперы «Катерина Измайлова», произошедшим в рамках этой кампании) и должно было нагнать дополнительного страху на противников, но за этим – на первый взгляд, случайно подобранным с полу – словесным оборотом можно учуять ход мыслей, подобный следующему: Ну *что вы тычете нам в нос свои, якобы, неопровержимые факты и советуете заглянуть в микроскоп – ведь это всё пустяки! Ну, допустим на минуту, что мы согласимся с вами в этом вопросе и признаем закономерное расхождение хромосом в процессе клеточного деления. Что может изменить такое наше признание? Вы ведь не станете от этого ни на йоту лучше и не перестанете быть нашими врагами. А посему нам и нет надобности в ваших микроскопах – мы и без этого с вами справимся.*

[222] Тут можно усмотреть близкую аналогию с тем обменом мнениями, который возник между профессором Преображенским и Шариковым по поводу переписки Энгельса с Каутским:
«Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
Шариков пожал плечами.
– Да не согласен я»
(Булгаков М. Собачье сердце. // Булгаков М. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 3. М.: Голос, 1995, с. 111).

формалистическими выкрутасами, 7) является плодом буржуазного перерождения науки в странах капитала, 8) было пропагандируемо в трудах ныне разоблаченных врагов народа, пытавшихся увести нашу науку и практику в сторону от коренных проблем нашего времени, 9) опровергнуто новейшими экспериментальными данными одного французского ученого-селекционера… как же его фамилия?.. впрочем, не важно, вы все равно о нем не слышали, 10) льет воду на мельницу наших классовых врагов…

Может, остановимся на этом? Мы ведь еще долго можем продолжать: например, потому что это 11) аналогично тому, что утверждают известные фашистские апологеты WX и YZ.

У нас в запасе еще масса аргументов, и вам нечем крыть, господа ученые.

Увы, мне не попались воспоминания современников, в которых бы отразилось впечатление, произведенное на научное сообщество того времени первыми публичными нападками Лысенко на общепринятые в биологии взгляды. Но, вероятно, они вызывали чувство удивления и недоумения, не столько шокируя ученую публику, сколько приводя ее в состояние растерянности. *Это надо же! «Самородок» вдруг заговорил. И оказывается, у него есть какие-то собственные мнения – причем не о сроках посадки картофеля или нормах посевного материала, а о фундаментальных биологических вопросах. Но это же просто цирк! «Говорящая собака» какая-то*.

Как ни привычны были тогдашние профессора и академики к оголтелости и малограмотности инициаторов различных «дискуссий», затеваемых время от времени в научной среде, но такой массированной и абсолютно голословной атаки на все основные устои их науки они не ожидали. И от кого? От человека, который и в седьмом классе средней школы должен был бы занять место на последней парте, в соответствии с уровнем своей образованности. Да он и не скрывает своего невежества, он, вроде бы, даже кичится им. У В.Сойфера приводится один из примеров того, как Лысенко публично демонстрировал свою вопиющую безграмотность в тех вопросах, на самостоятельное разрешение которых он замахивался. Цитируя Лысенко, Сойфер пишет, что в декабре 1935 года на совещании передовиков (том самом, где прозвучало сталинское *Браво!*), выступая перед слушавшим его Сталиным:

> …Лысенко не постеснялся признать, что до недавнего времени не знал работ Дарвина и что учителем его в данном вопросе был Презент. О столь существенных пробелах в своем образовании Лысенко повинился публично перед Сталиным, видимо, понимая, что Сталин не начнет о нем дурно думать, поскольку и он тоже -- недоучившийся семинарист:
>
> «Я часто читаю Дарвина, Тимирязева, Мичурина. В этом помог мне сотрудник нашей лаборатории И.И.Презент. Он показал мне, что истоки той работы, которую я делаю, исходные корни ее дал еще Дарвин. А я, товарищи, должен тут прямо признаться перед Иосифом Виссарионовичем, что, к моему стыду, Дарвина по настоящему не изучал. Я окончил советскую школу [*?? - В.С.*], Иосиф Виссарионович, и я не изучал Дарвина»[223].

---

[223] Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002

В другом месте Сойфер, комментируя эти слова, пишет, что них видна определенная прямота и научная честность Лысенко, признававшего свою необразованность.

Но я всё же думаю, что это – неверное толкование мотивов персонажа и что, вообще, при описании той эпохи с эпитетами «прямой», честный», «откровенный», «искренний» надо обращаться с большой осторожностью, независимо от того, к кому мы их прилагаем: к Лысенко ли с Презентом или к Вавилову и Дубинину. Сама обстановка тех лет никак не побуждала к искренности и прямоте в высказываниях. В данном же случае Лысенко, по-моему, намеренно демонстрировал свое баснословное невежество (возможно, даже утрируя его): его слова следует понимать как карт-бланш, выдаваемый всем прочим бесчисленным невеждам, собирающимся заниматься «научной деятельностью». Суть лысенковского послания *советским ученым*, донесенная им через газету «Правда», сводилась приблизительно к следующему: *если такому знаменитому ученому, как академик Лысенко, позволительно было не подозревать о существовании Дарвина, и это никак не помешало ему подняться на вершины научной*

Вероятно, на первых порах ученые не очень-то и вникали в существо положений «нового биологического учения», тачаемого Лысенко и Презентом скоростными (в 1935 году можно уже было сказать: *стахановскими*) методами. Их, как можно предположить, ошеломлял сам феномен: «ученая собака заговорила» и недвусмысленно претендует на то, чтобы ее уравняли в правах с теми, кто, собственно, и дал ей возможность называться *ученой собакой.* Она пытается вступать в «научную полемику» с настоящими учеными и оценивать (со своей дубинноголовой точки зрения) корифеев биологии, которые уже заняли свое место в истории и которым поклоняется весь научный мир. Тимирязева и Мичурина она одобряет (при чем тут, кстати сказать, очень вовремя – в 1935 году – умерший Мичурин; ни он себя видным биологом не считал, и никому другому это не могло придти в голову), а Менделю с Бэтсоном собирается задать таску и указать им их истинное место – в углу у печки на горохе. Ситуация просто абсурдная – анекдотическая ситуация. Невольно вспоминается едкая насмешка Достоевского (приписанная им в *Братьях Карамазовых* некоему *ученому немцу*):

> Покажите русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною.

Но здесь-то мы имеем дело не с четырнадцатилетним гимназистом, которого можно оставить без обеда и пригрозить задержкой с переводом в следующий класс, мы слышим такие речи от человека, которого сами же возвели в звание академика. Здесь-то как быть?

Несколько помешкав – благо первые нападки на биологическую науку со стороны будущих *мичуринцев* были достаточно сдержанными и не содержали нигилистического отрицания всего подряд, – ученые вынуждены были втянуться в навязываемый им спор об основах их науки. Оценивая происходившее задним числом, можно сказать, что тактика правоверных генетиков и выступавших с ними единым фронтом ученых была крайне неэффективной.

Во-первых, открытый спор между учеными и *мичуринцами* лишь придавал весу последним в глазах сторонней публики, наблюдавшей за спором, но не понимающей сути разбираемых проблем. Спор до определенной степени легитимизировал позиции адептов *мичуринской биологии* – если признанные ученые соглашаются спорить с ними, значит тут есть, о чем спорить, значит речь идет о непонятных нам, не специалистам в этой области, но важных для биологии спорных проблемах, по поводу которых могут существовать разные мнения в среде специалистов. Следовательно, речь идет о споре *двух научных направлений* – назовем их *школой Вавилова* и *школой Лысенко* или *формальной генетикой* и *мичуринской генетикой* (как предпочитали говорить лысенковцы), – но ведь это нормальная форма развития науки. Всем известно, что ученые вечно спорят между собой, и каждый из кожи лезет, чтобы доказать свою правоту. Может быть, в некоторых случаях такие споры и не очень красиво выглядят со

мысли, то и я, двоечник и тупица, могу не беспокоиться по поводу отсутствия у меня элементарных знаний – моя безграмотность вовсе не должна помешать мне успешно заниматься наукой и стать, если не академиком, то хотя бы профессором. Внешне умаляя себя (и попутно лягнув *советскую школу* – указав ее истинное место, по сравнению со *старорежимными* гимназиями, реальными училищами и семинариями), Лысенко одновременно похвалялся своей ловкостью и превозносил себя за сообразительность и проницательность. Его совет молодой научной поросли, учившейся в той самой *советской школе*, можно было расшифровать так: пусть недалекие умом зубрилы грызут гранит науки и в поте лица задалбливают в мозги таблицу умножения и прочие премудрости, нам, истинно умным людям, намеревающимся стать *советскими учеными*, вся эта чепуха ни к чему – не в ней секрет научных успехов в наше время.

И *товарищ Сталин* правильно понял тонкую игру своего подопечного, назначенного на одну из главных ролей в начинавшемся спектакле, – артист верно сыграл в данном эпизоде (интересно, сам ли Лысенко выбрал здесь нужную интонацию, или ему подсказали, чего от него ожидает вождь?), а потому и заслужил одобрительное: *Браво, товарищ Лысенко!* Одновременно это *браво* означало: выдаваемый Лысенко карт-бланш на право заниматься «наукой» всяческой бездари и жулью подписан не только «колхозным академиком», но и *высшей инстанцией*.

стороны, но они не только неизбежны, но и в высшей степени полезны. Благодаря неустанной полемике между различными научными школами обеспечивается постоянный прогресс науки и предотвращается опасность для нее впасть в застой и грозящее догматизмом единомыслие.

Так что пусть ученые продолжают спорить – из этого спора может родиться новая научная истина (или, как выразились бы сегодня, *вероятно, что мы присутствуем при рождении новой научной парадигмы*). Такой, как бы естественный для образованных людей, ход мысли привел к тому, что мнение о существовании определенной *научной теории*, выдвинутой Лысенко и его соратниками, дожило и до наших дней. Пусть критики Лысенко признают эту *теорию* убогой и несостоятельной, но – главное – ее наличие никто не отрицает. Однако, чем отличается *теория* Лысенко – Презента от той *теории*, которая была представлена научной общественности в чеховском *Письме к ученому соседу*? С непредвзятой точки зрения, между ними существует неоспоримое сходство, а коренное их отличие в том, что чеховское *Письмо* было воспринято как юмористический рассказ, а *мичуринская биология* была воспринята как опасный конкурент существующей биологической науке и была подвергнута сокрушительной критике маститых ученых (более того, ее продолжают критиковать и до сих пор).

Во-вторых, при первых же попытках вразумить *мичуринцев* и разъяснить им, что отвергаемые ими генетические концепции не взяты с потолка, а покоятся на солидном экспериментальном материале, стало очевидным, что любые усилия в этом направлении бесперспективны и никакие разъяснения ни к чему привести не могут. Любая научная аргументация отскакивала от Лысенко и его сподвижников как от стенки горох (опять горох – ну никуда без него!) отчасти потому, что они не были способны ее воспринять, ввиду своей малограмотности, а, главным образом, потому, что их несогласие с общепринятыми взглядами было обусловлено вовсе не какими-то их собственными соображениями, приведшими их к противоречию с существующей наукой, а лишь их желанием выразить свое несогласие. Легко можно заметить, что перечень основных положений, против которых выступали *мичуринцы*, практически совпадает с наиболее фундаментальными достижениями общей биологии за предыдущие полвека. Мастерящие заказанную им *мичуринскую биологию* Лысенко с Презентом (потом им, наверное, помогали и другие умельцы того же толка) вовсе не ломали себе голову, отыскивая в существующей биологической теории какие-то слабые места и спорные моменты, чтобы, воспользовавшись ими, побольнее уязвить противников и состряпать на этой основе свою контртеорию. Ничего подобного: для выражения своего несогласия они выбрали наиболее яркие и бесспорные моменты, относительно которых наука уже высказала свое окончательное мнение и которые уже вошли в стандартные учебники биологии. Вновь переоткрытые в начале XX века законы Менделя; принципиальное отличие соматических клеток от половых; окончательное экспериментальное опровержение неоламаркизма, доказывавшего возможность наследования благоприобретенных признаков; отрицание значимой роли отбора гамет при оплодотворении; огромный массив экспериментальных данных, указывающий на решающую роль хромосом в передаче потомкам наследственной информации, вместе с примыкающей сюда хромосомной теорией Моргана с основанным на ней картированием расположения генов в хромосомах и всей бурно развивающейся цитогенетикой; отрицание возможности вегетативной гибридизации путем растительных прививок – всё это можно считать твердо установленными постулатами биологии тридцатых годов, и как раз с ними выразили свое несогласие *мичуринцы*.

Никаких позитивных утверждений в *мичуринской биологии* не обнаруживается, если не считать таковыми туманные рассуждения о, якобы, имеющем фундаментальное значение *законе стадийного развития организмов*, открытие которого приписывалось (и то не впрямую, а, так сказать, в подтексте) гению Лысенко, но про который трудно было сказать, в чем он, собственно, заключается и чем лысенковская трактовка стадий развития отличается от трактовки того же понятия в обычных учебниках по физиологии растений тех лет. Таким образом, *несогласные* не привносили в биологию ничего нового, а своим отрицанием ее последних достижений возвращали науку на тот уровень, на котором она пребывала

приблизительно за полвека до появления *мичуринской биологии*, претендующей на звание новейшего биологического учения. Но если это так (а это именно так!), то почему же *мичуринцы* были не согласны с современной им биологией, хотя у них и не было никаких собственных концепций, вступавших в противоречие с существующими? А вот об этом-то мы уже говорили: читайте список из одиннадцати первых пришедших мне на ум причин несогласия[224]. Всякому понятно, что список этот далеко не исчерпывает потенциального перечня аналогичных доводов и его легко можно продолжить.

Если человек не соглашается с чем-то не потому, что считает данное утверждение ложным, противоречащим логике или твердо установленным фактам, а потому, что *не хочет* соглашаться, то какая же аргументация научного толка может заставить его *захотеть*? И кроме того, представьте себе следующую ситуацию. Вы заявляете своему оппоненту:

– Дважды восемь – шестнадцать. Вы согласны с этим?

– Ни в коем случае! Согласившись с этим, я – так же как и вы – оказался бы на одной платформе с фашистскими теоретиками, использующими эту формулу в доказательстве своих человеконенавистнических расистских теорий. Нет уж, увольте нас от такой чести! Мы, пожалуй, лучше останемся при своем мнении и будем считать, что результат любой операции умножения (равно как и любого другого математического действия) не предопределен раз и навсегда вечными и неизменными (ха-ха!) законами математики, а зависит от конкретной стадии развития процесса, которую мы, вооруженные передовой марксистской теорией, можем взять под свой контроль и управлять ею. Вы же, гипнотизируемые затверженными в школе формулами, оказываетесь неспособными решать практические задачи, которые ставит перед нами советский народ.

Вот вам еще пример из того же ряда: знаете ли вы, что высокообразованные инженеры (в некотором смысле, ваши коллеги, учившиеся в тех же, что и вы, университетах), которые на основании своих расчетов утверждали невозможность значительно повысить темпы и выполнить пятилетку в четыре года, использовали в этих расчетах столь любезную вашему сердцу и, по-вашему, неопровержимую теорему Пифагора? Когда им указывали, что они неправы, они только трясли своими чертежами и таблицами и твердили свое: это теоретически невозможно. А вот наши рабочие и крестьяне, по большей части даже не слышавшие об этой знаменитой в инженерных кругах теореме, подошли к делу практически, не тратя времени на бесплодные разглагольствования, и – читайте сегодняшнюю «Правду» – выполнили то, что инженеры считали невозможным. Так что, теория – теорией, но главный критерий истины – практика. Надеюсь, с этим-то вы не станете спорить?

Ну да, действительно, как же с этим спорить, если так выразился кто-то из марксистских классиков – может быть, даже и сам Маркс. Спорить с этим глупо и небезопасно. Но дело-то не в цитате из Маркса. Дело в том, что совершенно непонятно, каким образом можно было бы продолжить спор и попытаться публично припереть противника к стенке, если даже не удастся положить его на обе лопатки. При том стиле аргументации, который выбрал ваш оппонент, все мыслимые способы что-либо доказать теряют всякую действенность. Вы ему про Фому, а он вам про Ерему – в итоге сотрясение воздуха и больше ничего. К тому же, публика, не знающая таблицы умножения и плохо понимающая, о чем вы говорите, а с другой стороны, весьма чувствительная к демагогии вашего противника, расходится с протекавшей на ее глазах бурной «дискуссии» с ощущением вашего публичного провала. *А здорово профессор-еврейчик того срезал... ну, когда он про фашистов-то упомянул… академику и ответить было нечего,* – делятся впечатлениями слушатели, выходя в фойе. Вы в их глазах – одного поля ягоды: ваш

---

[224] Не надо думать, что этот перечень – плод моей свободной фантазии. Вовсе нет. Я просто постарался припомнить кое-что из мною прочитанного и лишь чуточку присочинил по аналогии. Однако при желании можно было бы подтвердить каждый пункт соответствующими цитатами и литературными ссылками – только лень (вкупе с опасением чрезмерно перегрузить внимание читателей) предотвратила появление таких цитат в тексте.

оппонент – *профессор-еврейчик*, вы – *академик-москаль*, но оба вы – заслуженные ученые, а как же иначе? *Один – профессор, другой – и вовсе академик. А не могут столковаться – спорят. Наука – дело сложное, умственное*.

Всеми этими – возможно, излишними – картинками я пытаюсь проиллюстрировать сложность того положения, в котором оказались генетики во главе с Вавиловым, столкнувшись с неожиданным появлением на научной арене этой самой *мичуринской биологии*. Я сразу сказал – и думаю, читатель с этим согласится, – избранная учеными тактика быстро обнаружила свою неэффективность. Однако, был ли у ученых выбор? Существовала ли тогда какая-то альтернатива обреченным на бесплодность спорам, в которые Вавилов и его соратники вынуждены были ввязываться? Наверное, вавиловцы не хуже нас с вами заранее понимали, что и наглецов-*мичуринцев* ни в чем не удастся убедить, и на сочувствие непредвзято настроенной публики рассчитывать не приходится. Да и была ли у них такая публика, к которой можно было апеллировать и надеяться на понимание? Вряд ли. Если оставить в стороне рядовых читателей газет, для большинства из которых все эти *гены* и *хромосомы* были такой же заумью, как и рассуждения о *формализме в искусстве*, то интересующая нас научная и околонаучная среда, непосредственно не участвовавшая во всех этих «дискуссиях», исходно была разделена на две неравные группы: тех, кто и безо всяких «дискуссий» воспринимал тезисы *мичуринцев* как очевидный бред, и тех, кто, не вникая в суть приводимых сторонами аргументов, подходил к данному конфликту практически, то есть пытался спрогнозировать результат всех этих споров и понять, какое они могут оказать влияние на его собственную жизнь и положение в обществе. Тех же наивных субъектов, которые могли быть очарованы лысенковско-презентовскими «аргументами», можно, по-видимому, не принимать во внимание по причине их явной малочисленности. Таким образом, меньшую часть имеющейся у вавиловцев аудитории и не надо было убеждать, а бóльшую часть, вероятно, можно было бы перетянуть на свою сторону, но для этого требовались не научные аргументы, доказывающие правоту генетиков, а нечто совсем другое, поскольку эти люди воспринимали происходившие дебаты в совершенно иной плоскости.

Спорить было не с кем и спорить было не о чем. С другой стороны, нельзя было и уклониться от спора. Попытка отмолчаться и проигнорировать лысенковские нападки привела бы лишь к тому, что выжидающее большинство научного сообщества восприняло бы молчание Вавилова и его команды как проявление слабости и как вынужденное согласие признать бесспорной заявку Лысенко на особое положение *мичуринской биологии*. Такой взгляд на дело неизбежно приводил к дилемме: либо Вавилову и научному руководству удастся восстановить относительный «порядок» в этой отрасли науки и добиться соблюдения статус-кво, при котором следование некоторым общепризнанным канонам научной деятельности является общеобязательным для всех членов сообщества, – а для этого надо было заставить Лысенко прекратить свои нападки на генетику и признать свою неправоту, – либо в этой отрасли общеобязательный канон перестает действовать, и каждый волен выбирать, что ему считать истиной. Хочешь верить в линейное расположение генов в хромосомах – верь, а не хочешь – так можешь и не верить: назови себя *мичуринцем* и верь во что тебе заблагорассудится. Нам может показаться, что дилемма эта разрешаема только одним способом, поскольку отрицание общепризнанных истин не совместимо с самим существованием науки.

Но это нам только кажется. А на деле, мы живем в эпоху торжества сталинско-лысенковского «проекта» во всемирно-историческом масштабе. Считается, что лысенковщина была окончательно разоблачена, как уродливое порождение периода культа личности, и повергнута после 1964 года – от нее, дескать, сегодня не осталось и следа: время залечило раны и смыло с науки налипшую на нее грязь. Но это, опять же, только кажется. Была отброшена и осуждена только корявая *мичуринская* форма, в которой подавался «проект» (да ведь она и с самого начала замышлялась как несущественная упаковка для предлагаемого товара), а по сути, никуда этот проект не исчезал. Его содержание было усвоено научным

сообществом, и сегодня оно образует фундаментальную основу того общественного института, который по-прежнему носит название «науки». И добро бы этот вывод касался только отечественной науки, но нет: в XX веке вся мировая наука неуклонно эволюционировала в том же направлении. Были за рубежом и свои Лысенки, и свои Презенты, и свои академики Митины – простор для желающего создать современные *Сравнительные жизнеописания* огромный. Но там, *у них*, все происходило мягче, по-европейски, без расстрелов и ссылок за можай, без крикливых разоблачений и поношений. Они, закордонные лысенки, справились со своей задачей тихо, относительно мирно, не прибегая к помощи публичных аутодафе, а задушив прежние научные институции демократическим путем в культурной, не вызывающей отвращения обстановке, так что и криков-то никаких никто не слышал. Европейский политес, знаете ли – не то, что у наших мясников и дуболомов. Однако, как бы ни различались европейские и наши, *исконно-посконные*, методы осуществления проекта, нацеленного на превращение науки в *современную науку*, результаты-то получились очень похожими, если не сказать, структурно идентичными.

Постепенно мы подобрались к тому, чтобы предложить разумный ответ на давно поставленный вопрос: зачем и кому нужна была эта корявая, бестолковая и не скрывающая своей убогости *мичуринская биология*? Действительно, если, как я предположил, создание этого «учения» не было личной выдумкой Лысенко, а явилось следствием некоего поручения, данного ему властью, то выше повторенный вопрос приобретает кардинальное значение. Как бы ни были правдоподобны – и, я надеюсь, убедительны для читателя – наши рассуждения, обосновывающие данное предположение, до тех пор, пока мы более или менее ясно не представляем, зачем власти потребовалось вызывать к жизни *мичуринскую биологию*, любые рассуждения на эту тему остаются сомнительными. Эти сомнения только усиливаются, если мы будем пытаться понять, какую пользу могла принести власти эта жалкая поделка двух не блещущих познаниями и не прилагавших особенных стараний халтурщиков. В отличие от прочих лысенковских «практических инициатив» она – в своей направленности – не обещала своим заказчикам никаких золотых гор и вовсе не концентрировала внимание на описании связанных с ее расцветом радужных перспектив. Конечно, без этой струи ни одно из выступлений *мичуринцев* не обходилось, но не этим они привлекали внимание к своему уродцу – похвальба в этом случае была лишь дежурным риторическим обрамлением, таким же, как обязательные для любого публичного выступления славословия в адрес *большевистской партии и советского правительства*. Так что же надеялась извлечь для себя власть из появления инициированного ею лысенковского «учения»?

Некоторым намеком на истинные мотивы власти может послужить тот факт, что ядром *новой биологической теории* (а именно так – с большой помпой – подавали свой «проект» *мичуринцы* уже через пару лет после его первой презентации научной общественности) было отрицание современной генетики и связанных с нею биологических дисциплин. Можно было бы подумать, что, давая указания по созданию *альтернативной биологии* (если воспользоваться современным жаргоном), в которой не было бы места нормальной генетической теории, власть подготавливала идеологическое обоснование для репрессий против Вавилова и группировавшихся вокруг него генетиков[225]. Однако такое – внешне

[225] Вавилова, вероятно, трудно было бы считать специалистом в области генетики. Н.К.Кольцов, область научной специализации которого была гораздо более связана с классической генетикой, однажды даже скептически заявил на сессии ВАСХНИЛ в 1936 году:

«Я обращаюсь к Николаю Ивановичу Вавилову, знаете ли вы генетику как следует? Нет, не знаете... Наш ‘Биологический журнал’ вы читаете, конечно, плохо. Вы мало занимались дрозофилой, и если вам дать обычную студенческую зачетную задачу определить тот пункт хромосомы, где лежит определенная мутация, то этой задачи вы, пожалуй, сразу не решите, так как студенческого курса генетики в свое время не проходили» (Цитата дана по статье: Сойфер В. Мужество великого Кольцова // Наука и жизнь, 2002, № 8).

Надо полагать, кольцовские упреки были не совсем безосновательны, и тем не менее именно Вавилов стал олицетворением бурно растущей отечественной генетики того времени. Это, главным

правдоподобное объяснение – ведет к немедленному возникновению следующих, не менее заковыристых вопросов, на которые нам придется найти подходящие ответы.

Во-первых, нам надо найти какую-то убедительную причину, объясняющую исключительную нелюбовь политбюро *и лично товарища Сталина* к генетикам и исповедуемым ими теориям. Чем они так раздражили *вождей мирового пролетариата*? Других забот у вождей что ли не было? (А ведь ясно, что без санкции этой большевистской верхушки ни о какой *мичуринской науке* не возникло бы и речи). И не стоит тут ссылаться, как это пытались делать некоторые из позднейших критиков лысенковщины, на юношескую любовь Сталина к ламаркизму[226] (который эти злодеи-генетики опровергли и отвергли). Слишком уж это не солидно звучит в качестве обоснования государственной политики, проводимой Сталиным и его сподвижниками. Даже чижик, съеденный медведем-воеводой,

---

образом, связано не с его непосредственным участием в генетических исследованиях, а с его деятельностью как организатора науки. Он добился создания в АН СССР Института генетики и стал его директором, организовывал генетические конгрессы, всячески поддерживал ученых, работавших в области генетики, как только мог пропагандировал их достижения, поддерживал бесчисленные контакты с ведущими зарубежными генетиками и во всех своих статьях, книгах, выступлениях не уставал повторять, что прогресс биологических наук немыслим без дальнейшего развития исследований в области генетики. А потому именно он оказался на острие борьбы классических генетиков против наскакивающих на их науку лысенковцев и естественным образом возглавил эту борьбу.

[226] В своей ранней «теоретической» работе «Анархизм или социализм», напечатанной в 1906 году, Сталин, рассуждая в духе *марксистов-ленинцев* о диалектике, обронил одну фразу: «Менделеевская ‘периодическая система элементов’ ясно показывает, какое большое значение в истории природы имеет возникновение качественных изменений из изменений количественных. Об этом же свидетельствует в биологии теория неоламаркизма, которой уступает место неодарвинизм» (Сталин И.В. Сочинения. Т. 1. М.: Политиздат, 1954, с. 301). По отношению к диалектике первое из этих двух предложений ни в чем не уступает второму – оба бьют, как это и было заведено у правоверных *теоретиков-ленинцев*, прямо в яблочко.

Но нас-то интересуют здесь не *диалектические* потуги молодого Сталина, а его отношение к ламаркизму. И здесь надо сказать, что приведенная фраза никак не может характеризовать личные взгляды автора статьи на проблему, очень далекую от его тогдашних интересов. Она лишь отражает широко распространенное мнение, разделяемое почти всеми образованными людьми того времени. Вера в то, что появившиеся у родителей в течение их жизни изменения наследуются их потомством, зародилась в незапамятные времена и перешла в биологию из общепринятых бытовых воззрений. Не Ламарк ее выдумал – напротив, он построил на ней свою теорию, как на общеизвестном факте. В определенном смысле, «ламаркистами» были в девятнадцатом веке все – и ученые-биологи, и неученые профаны. В этом плане и Дарвина с его теорией геммул, пытавшейся объяснить данный – не подвергавшийся никакому сомнению – «факт», можно назвать «ламаркистом». И лишь Вейсман, подвергший в конце века это разделяемое всеми заблуждение резкой и убедительной критике, поколебал существующий в науке консенсус. Только с этого времени биологи разделились на «неоламаркистов» и «неодарвинистов». Естественно, старые взгляды не сдавались без борьбы, и только в двадцатые годы XX века биология окончательно отбросила прежние взгляды на «наследование благоприобретенных признаков», как теоретически неприемлемые и не подтверждаемые экспериментальными данными.

Если даже считать, что Сталин до конца своих дней сохранил запавшую ему в душу веру в правоту неоламаркизма (см. об этом: Медведев Ж. Лысенко и Сталин // Зеркало недели, 1998, № 36; Россиянов К.О. Сталин как редактор Лысенко // Вопросы философии, 1993, № 2, 56-69), всё же этого, я считаю, недостаточно, чтобы объяснить его заказ Лысенко на борьбу с генетикой. Вообще, мне кажется, не следует объяснять какие-либо решения Сталина и его компании личными симпатиями и антипатиями. Люди они были в высшей степени трезвые, прагматичные, отнюдь не склонные к какой-либо сентиментальности, а потому для их понимания полезнее искать некие рациональные мотивы их поведения, нежели напирать на их психологические изломы и расценивать их поступки как следствие присущих всем тиранам прихотей и капризов. Идеальный *большевик* – это, по моему мнению, человек, полностью отрешившийся от всего человеческого в себе, у которого нет никаких личных желаний, мнений и пристрастий – это чистая функция власти. И Сталин, вероятно, ближе всех подошел к этому большевистскому идеалу.

выглядит на этом фоне мудрой политической акцией. Не таких *кровопролитиев* ожидали от Сталина современники – и он в полной мере оправдал их ожидания, – а здесь какие-то детские обиды. Нет, что-то тут не так. Но и другой разумной причины не обнаруживается!

Во-вторых, оставив предыдущий вопрос без ответа, предположим, что Сталин со товарищи, действительно, невзлюбили за что-то этих *мухолюбов-человеконенавистников*[227] (чем-то они все же мешали власти, хоть мы и не знаем, чем именно) и решили с ними расправиться по полной программе – так, чтобы и от генетики ихней следа не осталось, и чтобы впредь другим неповадно было чем-то подобным заниматься. Пусть так. Но почему, поставив себе данную задачу, вожди двинулись к ее решению таким окружным путем? Казалось бы, чего проще – не понравились вам эти генетики, так и расправьтесь с ними по известному, отработанному до мелочей сценарию – нам ли вас учить? Да и нам эта механика в общих чертах известна. Столько раз она применялась, что нетрудно было и запомнить. Арестовать несколько десятков – или сотен – или тысяч человек, поработать с ними (методы работы еще и до Ивана Грозного были известны), вымучить у них «признания», на основании таких «признаний», оговоров и самооговоров сляпать на бумаге разветвленную «контрреволюционную организацию, ставившую себе целью…» и готово дело – хоть показательный процесс устраивай в Колонном зале, хоть и безо всякого суда расстреливай, отправляй на Соловки, ссылай к черту на рога – какие тут могут быть вам препоны?

Ведь именно так поступили за пару лет до разворачивания «мичуринского проекта» (в 1930 – 1932 годах) с большой группой ученых-экономистов, занимавшихся исследованиями экономики крестьянского хозяйства, среди которых наиболее видными фигурами были Н.Д.Кондратьев и А.В.Чаянов. Похватали массу специалистов, имевших хотя бы некоторое отношение к сельскому хозяйству, и просто зацепленных по пути личностей, помурыжили соответствующее время в камерах, собрали необходимые чекистам «материалы», после чего сообщили о раскрытии «контрреволюционного заговора» и участии арестованных в деятельности «Трудовой крестьянской партии» – такое название дало следствие им же выдуманной мифической «подпольной организации буржуазных реставраторов». Зарубежные ученые, узнавшие об этом деле из многочисленных статей в советских газетах (среди них были и Эйнштейн, и Планк, и другие известные личности), громко протестовали, Н.И.Вавилов ходатайствовал за Чаянова (кстати сказать, своего сокурсника и близкого приятеля во время учебы в Тимирязевской академии), но толку от этого было немного: в конечном итоге, кого-то расстреляли (и таких было отнюдь не мало), большинство посадили и сослали[228]. Чаянов, отсидев в заключении пять лет, был отправлен в ссылку в Алма-Ату, а затем после повторного

---

[227] Один из примкнувших к лысенковцам «ученых», А.Н.Студитский, опубликовал в «Огоньке» в 1949 году статью под таким названием, где писал:
«Менделевская генетика, евгеника, расизм и пропаганда империализма в настоящее время неотделимы. Вот почему разгром менделизма-морганизма на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина вызвал такую злобу реакционеров от политики и науки во всем мире» (Студитский А.Н. Мухолюбы-человеконенавистники // Огонек, 1949, № 11).

Чушь, конечно, но откуда мог это узнать рядовой читатель «Огонька», видевший подпись «доктор биологических наук» и основное свое внимание уделявший жутковатым изображениям «империалистов» и «ку-клукс-клановцев» на иллюстрациях еще одного *специалиста-интеллектуала* – Бор.Ефимова. В 1987 году тот же Студитский, занимавший должность заведующего лабораторией Института эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР (бессменный заведующий: с 1944 до смерти в 1989) дудел в ту же дудку, но уже в совершенно другой тональности, и удивлялся, «зачем же ворошить события тридцатилетней давности [тут старичок немного обсчитался – *Н.В.*]…» (Студитский А.Н. За прекращение конфронтации в биологической науке // Наука и жизнь, 1987, № 12)

[228] «Всего на периферии, по неполным данным, было арестовано в связи с делом ТКП 1296 человек. …о действительном числе невинно пострадавших людей можно судить по материалам Воронежской области. …всего по делу проходило 779 человек… Осуждено 547 и выделено в особое производство 100 чел.» (Кругов А.И. Дело «Трудовой крестьянской партии» // Научные проблемы гуманитарных исследований, 2009, № 4)

ареста расстрелян в 1938 году. В том же году был расстрелян находившийся в лагере Кондратьев. И всё. Замечательная научная школа исчезла в одночасье, как корова языком слизнула. Ну, повопили какое-то время в газетах о «чаяновщине» и «кондратьевщине», как об *опаснейших буржуазных извращениях в советской науке*, нагнали страху на всех, кто еще остался не арестованным, и дружно забыли об этих ученых. Книги, в которых упоминались их имена, были изъяты из библиотек, дело их раскатано по бревнышку, и на долгие годы целое научное направление было вытерто в сознании общества. А какая блистательная была наука – труды Чаянова и Кондратьева и их соратников были не менее яркими и поражающими воображение, чем исследования отечественных генетиков тех лет. В некотором отношении, они имеют даже большее значение вследствие их исключительной оригинальности, – даже сейчас, почти век спустя, мировая наука не может похвастать исследованиями в данной области, затмевающими работы наших классиков этого жанра, они до сих пор представляют собой вершины мирового крестьяноведения. В 1987 Чаянов с Кондратьевым были, наконец, реабилитированы, часть их трудов переиздана, но ничего изменить уже невозможно: нет уже и тех русских крестьян, которых они изучали, нет и исследователей со сравнимым научным потенциалом – была наука, и нет ее. Четко, в лучших чекистских традициях сработали ОГПУшники, и хоть множество тех, кто боролся с «чаяновщиной», попали под тот же каток в 1937 – 1938 годах, но *дело этих борцов живет и поныне*, а дело (без кавычек) Чаянова практически погибло, и мало вероятности, что оно когда-нибудь возродится и расцветет.

Так почему же не применили тот же рецепт к ставшим неугодными власти генетикам? Шаблоны обкатаны, методички написаны – кого только не «раскассировали» по этой программе до полного исчезновения целых научных направлений: и педологию, и славяноведение, и «школу Покровского» (а какой влиятельный был историк: главный, можно сказать, марксист в исторической науке; сам многих своих коллег *вывел на чистую воду*), и психоанализ, и…[229] А вот с Вавиловым и генетиками избрали совершенно другой путь – почему? Зачем столько приготовлений, хлопот, затрат? Зачем выставлять себя на посмешище перед всем миром? Зачем было нужно – и это, пожалуй, самое удивительное – параллельно с подготовкой к уничтожению генетики и генетиков давать Вавилову колоссальные по тем временам средства для разворачивания обширнейшей сети научных учреждений, если заранее было известно, что он постарается во все из них впихнуть свою любимую генетику и прочие близкие ей премудрости? Где здесь логика? Чего же все-таки вожди хотели, и зачем им это было нужно?

И еще здесь же, попутно заметим: несмотря на длительную подготовку и многолетнее проведение агитпроповско-чекистской «антигенетической операции», не были ведь генетики стерты с лица земли, как это было сделано с «чаяновцами» и «кондратьевцами». Конечно, некоторое их число исчезло за это время в недрах ГУЛАГа (погиб от голода в Саратовской тюрьме и их признанный вождь – Н.И.Вавилов), но бóльшая их часть избегла этой участи. В предвоенные годы все эти непрестанные «дискуссии» и нападки в печати, раздоры в научной среде, отсутствие действенной поддержки со стороны властей, страх репрессий и крайняя неопределенность будущего очень мешали нормальному развитию генетических исследований (однако, ведь и ученым других направлений приходилось в это время не сладко), и тем не менее основная масса генетиков продолжала возиться со своими *мушками-*

---

[229] Да что мы тут носимся с *научными направлениями*, насчитывавшими, в лучшем случае, несколько сот человек, когда в то же самое время, теми же самыми вождями за пару лет было физически уничтожено более тридцати процентов коренного населения всего Казахстана (населявшие его казахи и прочие вымерли от голода и сопутствующих ему эпидемий). Общие потери населения оцениваются цифрами от одного до двух миллионов человек (Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода. Сельское хозяйство СССР, 1931 – 1933. М.: РОССПЭН, 2011, с. 415-416). И сделано это было без чрезмерного напряжения сил и лишнего крика в печати, в спокойной рабочей обстановке, таким образом, что общественность нашей страны и не обратила на эту «акцию» особого внимания. Кто этими казахами и интересовался-то – у каждого своих забот было по горло.

дрозофилами и *химическими мутагенами*, без особых препятствий печатать статьи и выступать на конференциях (правда, зарубежные связи практически прервались, и даже Вавилову с 1933 года не разрешались заграничные командировки) – худо-бедно, но генетика жила и развивалась. В войну про борьбу с ними и вовсе забыли – вождям было не до того, а после – до августа 1948 года – в противостоянии *мичуринцев* и генетиков было относительное затишье. И даже дикий всплеск «антигенетической» истерии, вызванный печально знаменитой августовской сессией ВАСХНИЛ, не привел к полному искоренению генетиков как научной корпорации. Все их «места скоплений» были разогнаны, они были повсеместно «вычищены» со всех постов в науке и образовании, многим пришлось перекраситься и замаскироваться, однако в каких-то щелях и разного рода укромных местечках большинству удалось физически уцелеть, и некоторые из них еще смогли продолжить свои исследования после 1964 года. Такое впечатление, что установка вождей на искоренение *формальной генетики* была (по их же воле) спущена на тормозах и не доведена до своего логического конца, как это было в случаях с другими научными направлениями. И тогда мы снова возвращаемся к вопросу: стоило ли такую сложную конструкцию городить, чтобы бросить запланированное дело на полпути?

Я думаю, что мы можем избежать всех этих неудобных и не ведущих ни к какой ясности вопросов, если остановимся на выводе: целью «мичуринского проекта» не являлось реальное уничтожение генетики и генетиков, и цель эта радикально отличалась от тех целей, к которым стремилась власть при нападках на многочисленные другие – как упомянутые выше, так и оставшиеся неупомянутыми – отрасли науки и научные школы. Речь в случае мичуринской биологии шла совсем о другом.

Перед тем, как ломать голову над необъяснимой ненавистью советских вождей к безобидной генетике, мы пришли к выводу, что во второй половине тридцатых Вавилов и его команда (а за ними стояла довольно большая и разношерстная группа ученых, которые сами острым нападкам *мичуринцев* не подвергались и в конфликте непосредственно не участвовали, но с нетерпением ожидали, когда же кончится этот бедлам) оказались в положении, имевшем два несовместимых исхода: либо им удастся заставить *мичуринцев* замолчать, либо наука (и не только генетика, а и биология в целом) должна прекратить свое существование. Поскольку власть явно не желала прекращения мичуринской демагогии, мы вынуждены заключить, что целью всего обсуждаемого «проекта» было желание поставить биологию в положение, несовместимое с ее нормальным функционированием. В этом случае нам даже не требуется призывать на помощь наш любимый метод «*апелляции к реальности*». Реальность, возникшая вследствие возникновения *мичуринской биологии*, была такова, что она сама по себе – безо всяких методологических ухищрений – привлекает к себе пристальное внимание и мы понимаем: происходившее не появилось случайным образом, оно стало результатом целенаправленных действий, заранее просчитанных и управляемых опытной режиссерской рукой. Нам остается только понять, какую выгоду надеялись получить режиссеры в итоге своей «спецоперации» под кодовым названием *Мичуринская биология*. Однако, уже теперь мы можем с уверенностью констатировать фундаментальный факт: инициируя появление в научном сообществе *мичуринской* клики, политбюро уверенно держало курс на возникновение в сфере науки *двоевластия*, нарушающего нормальное функционирование отрасли, а затем и парализующего всю научную жизнь. Именно *двоевластие* дало в руки большевикам рычаги государственного управления в 1917 году, и воодушевленные таким феноменальным результатом большевики никогда не забывали про этот мощный *инструмент революционного переустройства общества*. Использовали они его и на этот раз: при революционном переустройстве науки.

Мы знаем, что власть всей своей агитпроповско-ОГПУшной мощью выступила на поддержку *мичуринцев* (а по нашему мнению, власть сама и была инициатором этой кампании). Как и в случае с «чаяновщиной-кондратьевщиной» в «Правде» печатались откровенно тенденциозные отчеты о дебатах по поводу «двух направлений в генетике» (чувствуете руку мастеров своего

дела: *в отношении пятен на Солнце существует два конкурирующих направления научной мысли – одно из них представлено в печатаемой нами дискуссии господином, укрывшимся под именем Ученого соседа, под флагом же другого направления выступает не скрывающий своего лица урядник Императорского Войска Донского Василий Семи-Булатов; запомните это имя – вы еще не раз столкнетесь с ним на наших страницах*). Следовательно, вся чиновничья «вертикаль», которую не берут никакие исторические катаклизмы и которую никаким керосином не выведешь, уже знала, какое из «научных направлений» ей следует поддерживать, и безошибочно могла спрогнозировать, к чему приведут все эти «дебаты». Но точно так же воспринимала происходящее вся страна, может, и не читавшая регулярно «Правду», но понаслышке знающая о том, что в ней сегодня пишут[230].

Смотрите, как ловко и тонко была спланирована кампания по «вживлению» *мичуринской биологии* в ткань существующей сельскохозяйственной науки. Несколько откровенных невежд, не пользующихся ни малейшим авторитетом в научном мире (*да какой же он – ученый? ну, самородок – обыкновенный булыжник, который хозяину заблагорассудилось назвать «самородком», – ну, ладно, пусть лежит на витрине – кому это мешает?*), выступило с некими чудовищными по глупости заявлениями – они, видите ли, *не согласны* с основными положениями генетики. Как следовало бы поступить при возникновении подобной ситуации в нормальной науке?

Господин Семи-Булатов, вы по-прежнему отрицаете существование пятен на Солнце? – Отрицаю. Какие-такие черные пятнушки? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я ужасно предан науке и не могу с этим согласиться. – Так. Ясно. С сегодняшнего дня вы уволены с должности научного руководителя Одесской обсерватории. Выходное пособие в размере месячного оклада получите в бухгалтерии. А, кстати, как вы попали на эту должность? Ах, господин Ученый сосед вас рекомендовал. Понятно. Ну, что ж. Это его грубая ошибка, мы поставим ему на вид. Всё. Вы свободны. Есть еще у нас не согласные с пятнами на Солнце? Ага. Уже нет. Прекрасно. Переходим к следующему вопросу.

При такой постановке дела даже вопроса о *мичуринской биологии* не могло бы возникнуть – не сумасшедшие же, в самом деле, были Лысенко с Презентом. Но руководители сельхознауки были лишены возможности действовать таким естественным образом, обеспечившим бы им радикальное решение проблемы и искреннюю поддержку всех нормальных ученых в их отрасли. За *мичуринцами* стоял истинный хозяин всей их науки – государственная власть. Лишь она могла принимать окончательные решения, поскольку вся эта наука существовала на

---

[230] Н.К.Кольцов, занявший с самого начала этих «дискуссий» откровенную и недвусмысленную позицию (и полной мерой расплатившийся за нее в ближайшем будущем), писал в начале 1937 года:

«В особенности несчастными оказались преподаватели генетики провинциальных вузов... Они вернутся на свои кафедры, и студенты скажут им, что не желают слушать тенденциозной антидарвиновской генетики. Ведь такую характеристику генетики они только и знают из газет, которые печатали необъективные и часто совершенно неграмотные сообщения о заседаниях сессии. Чего стоит, например, отчет в ‘Правде’ от 27 декабря... Как Вы назовете такую ‘правду’? Неужели она останется неопровергнутой?»

Сойфер, цитируя это письмо, с сожалением сообщает, что Вавилов, солидаризируясь на словах с мнением Кольцова, не поддержал его официально на заседании Президиума ВАСХНИЛ. Как считает исследователь, такое поведение было обусловлено тем, что Вавилов не мог публично усомниться в правдивости «Правды» (Сойфер В. Мужество великого Кольцова // Наука и жизнь, 2002, № 8).

По-видимому, так и было: у Вавилова, вероятно, еще теплилась надежда переубедить верхи и склонить их на свою сторону – уговорить их, чтобы они отозвали своих спущенных на травлю генетики собак. А потому, надеясь на разумный диалог с властями, ему приходилось строго соблюдать навязанные ими аппаратные правила игры, среди которых было и правило, касающееся газеты «Правда»: все сказанное в *Правде* – правда, и она не перестанет ею быть до тех пор, пока в *Правде* не появится другая правда. Отсюда следует неизбежный вывод: опровергнуть правду, напечатанную в *Правде*, можно лишь одним способом – уговорив Политбюро напечатать в *Правде* ту правду, которую ты признаешь за истинную. Но с таким ходом мысли согласился бы, наверное, и Кольцов – разве не к этому он призывает в своем письме?

выделяемые властью средства, в то время как научные руководители отрасли могли действовать только на основании выданной властью доверенности. Им оставалось только апеллировать к здравому смыслу хозяина и убеждать его в нецелесообразности проекта «мичуринская биология». В этом и был смысл участия ученых во всех так называемых «дискуссиях»[231]. Вряд ли кто-то из выступавших на них надеялся переубедить *мичуринцев* – кто же им мешал самим убедиться в правоте генетики, почитав любой вузовский учебник? – аргументы были предназначены не им, а тем, кто стоял за их спиной: поймите же, дескать, поддерживать такую чепуху неприлично, всё это – мракобесие и дикость, если бы ваши Маркс и Энгельс были живы, они бы тоже осудили эти безграмотные измышления. Когда же все ламентации ученых остались без ответа, им волей-неволей пришлось взяться за письма в ЦК, в Наркомзем, в обком… – и далее по всем мыслимым адресам, по которым ученые надеялись найти в кругах власти каких-то союзников по борьбе с *мичуринской* заразой. Такое поведение ученых дало Кременцову основание расценить вавиловцев, как научную клику, аналогичную клике лысенковцев, поскольку и те и другие в научном споре пользовались одинаковыми методами борьбы, требуя от власти принятия административных мер по отношению к своим противникам. Но именно признание этих споров *научными*, то есть борьбой двух *научных концепций*, и является коренной ошибкой Кременцова и других сторонников его позиции – на самом деле, в научной плоскости спорить вавиловцам было не с кем и не о чем (насчет отсутствия у этих споров научной подоплеки не заблуждались ни та, ни – тем более – другая сторона, сама продуцирующая откровенную чушь), и потому с самого начала, даже протекая в форме как бы научной полемики, эти споры имели в виду воздействие на противника через обращение к власти и старания перетянуть власть на свою сторону. Но другого способа разрешения конфликта в той ситуации просто не было. Ученые вынуждены были бороться с прохвостами теми методами, которые были загодя запланированы для них лицами, заварившими всю эту кашу. Вавилову с командой не было оставлено никакого выбора: свои шаги они невольно делали в соответствии со сценарием, разработанным в ОГПУ.

Следующие шаги сторон также были сделаны по сценарию, не предусматривавшему никаких неожиданностей. Как только ученые были втянуты в «научное обсуждение» имеющихся разногласий (*так есть всё же черные пятнушки или их нет?*), главная газета страны, а за ней и прочие газеты и газетенки под заголовками «Ученые спорят: отчет с сессии ВАСХНИЛ» или «Революция в биологии? Гены, которые нельзя увидеть, и их критики» возвестили всем, кому интересны судьбы современной науки, о том, что в биологии глубокий раскол и что научное сообщество разделилось на два непримиримых лагеря по их отношению к формальной генетике. Опять же обратите внимание на ловкое передергивание: мы можем его не заметить, потому что знаем, раскол, действительно, был и протянулся на долгие годы – но в момент «дискуссии 1936 года» как выглядели-то «два непримиримых лагеря»: с одной стороны, Лысенко, Презент, еще несколько лиц, ну и несчастные сотрудники УГСИ (виноват, уже переименованного во ВСГИ), которые никак не могли покинуть лагерь *мичуринцев,* поскольку зарплата в институте была их единственным источником средств существования, а с другой стороны – Вавилов, его окружение и… все прочие ученые, не причисленные к лагерю *мичуринцев*. Можно ли это назвать «расколом биологии на два лагеря»? И не было ли у исполнителей обсуждаемого нами «проекта» определенного *головокружения от успехов*: проект, нацеленный на раскол, только еще пущен в ход, а они уже хвалятся якобы достигнутым результатом – ведь здесь речь шла вовсе не о создании красивой сказки, как в случаях *яровизации* или других *торфоперегнойных горшочков*, а о вполне рациональной акции, в которой бравурные отчеты никак не могли считаться окончательным результатом. Увы, надо

[231] Таких «дискуссий» было несколько, и в качестве основных называют обычно «дискуссию 1936 года» (на сессии ВАСХНИЛ), «дискуссию 1937 года» и «философскую дискуссию» Мы не будем со всеми ними разбираться, поскольку все эти перипетии борьбы за генетику и за нормальную биологическую науку детально, с обилием подробностей изложены в книгах В.Сойфера, М.Поповского, Ж.Медведева и других авторов, исследовавших историю «взлета и падения» *мичуринской биологии*.

признать, что те, кто диктовал «Правде» содержание и тональность статей, знали, что они делают, и вовсе не впадали в иллюзии. Они знали, что́ именно написано на следующей странице их сценария и не сомневались в будущем развитии событий: если предусмотрено, что раскол будет, то он и появится в предуказанное начальством время. А забегание «Правды» вперед – всего лишь один из ходов, записанных в сценарии на текущей странице.

Можно сказать, что развертывание во времени *мичуринского* проекта во многом аналогично шахматному матчу между двумя теоретически подкованными соперниками: после первых ходов дальнейшее разыгрывание партии может быть в значительной мере предсказано, поскольку, выбрав тот или иной вариант дебюта, шахматисты должны играть по определенному шаблону, так что в течение некоторого времени нетрудно предсказать следующий ход и ответ на него противника. Все дебюты давно изучены, просчитаны и оценены с разных сторон, так что неожиданный ход в процессе их развития (то есть ход, не описанный в учебниках шахматной игры) – почти наверняка неверный ход, ход, ведущий к утрате некоторых преимуществ и, в конечном итоге, к проигрышу. А потому никаких особых неожиданностей в этой части партии и не будет – и свой ход, и ответный ход можно запланировать заранее.

Поэтому авторы проекта (здесь я имею в виду не Лысенко с Презентом – те знали только то, что им было поручено, хотя, возможно, о многом и догадывались) заранее могли предсказать, как поведет себя поднаторевший в аппаратных играх Вавилов, в ответ на появление мичуринской биологии, и позаботились о том, чтобы сузить его выбор возможных ходов до единственного приемлемого варианта. Они вынудили его пойти на симуляцию «научной дискуссии» – и он пошел, они через «Правду» заявили о расколе в науке – и он ничего не мог с этим поделать, так как несогласие со сказанным в «Правде» сразу же привело бы к его «дисквалификации и снятию с соревнований» – он такого неверного хода и не сделал. Ему оставалось только писать письма «в верха» и подбадривать своих погрустневших соратников – мол, не всё еще потеряно. В то же время *мичуринцы* демонстративно торжествуют свою победу: во-первых, их активно поддерживает власть, а во-вторых, за ними идут *массы передовых советских ученых*.

– Что за бред? Какие массы? Кто эти передовые ученые? Долгушин с Презентом что ли?

– А вы, господин хороший, читайте сегодняшнюю «Правду», и завтрашнюю почитайте, не поленитесь. Там ведь всё ясно прописано: есть два направления в генетике. Есть. Понимаете? Не будут, а есть. И хотя сейчас они выступают на равных правах, но не далек тот день, когда все поймут, что их правда отжившая – она обречена вместе с тем обществом, которое ее породило, вместе с тем социальным строем, при котором кому-то все блага и почести, а остальным, то есть всей массе трудящихся, что останется, а скорее всего и вовсе ничего не перепадет. Наша генетика – генетика передовая, и не потому, что мы доказали что-то особенное про ихние хромосомы и кроссинговеры (они ведь этого от нас ждут? ждут, что мы будем усердно трудиться по их указке, и тогда-то они нас похвалят, может быть, – не дождутся!), а потому, что мичуринская генетика (и мичуринская наука в целом) – это наука завтрашнего дня, за ней будущее. И многие уже сегодня это понимают, а если это еще не дошло до сознания большинства, то все же трудящаяся масса научных работников чувствует на чьей стороне правда. Не надо думать, что мичуринская биология появилась в результате некой выдумки: дескать, сели Лысенко с Презентом, наморщили лбы и придумали свое направление в науке (наверное, чтобы прославиться и похваляться оригинальностью своих мыслей). Так вы думаете? И глубоко заблуждаетесь. Не в Лысенке дело и не в его сотрудниках – если бы не они, это совершил бы кто-то другой, как это всегда бывает с прогрессом в науке, который неизбежно идет через массу случайностей, проб и ошибок, но, в конечном итоге, совершается то, что требовалось на данном этапе научного развития. Мичуринская биология возникла как ответ на настоятельный запрос широких трудящихся масс научных сотрудников. Пусть этот запрос, это стремление к новым формам научного творчества не были осознаны, но они уже давно поселились в сердцах подавляющего большинства тех, кто и составляет

основные кадры нашей советской биологии, а также тех, кто является ее кадровым резервом, то есть в сердцах советского студенчества. Как только эти научные массы осознают, что с появлением мичуринской биологии возникла новая форма организации науки, к которой они всегда стремились, но были скованы в своем движении догматическими представлениями, косными «научными традициями» и жестким, не допускавшим никакого своеволия диктатом со стороны своих научных руководителей – всех этих научных бонз и кичащихся своим «европейским образованием» научных мандаринов, тесно связанных родственными и сословными узами с господствующими классами отживающего свой век буржуазного строя, – как только научная масса это уразумеет, тогда и вы увидите своими глазами тот раскол в научной среде, который сегодня видит газета «Правда» и стоящая за ней большевистская партия, прозревающие не столь уж отдаленное будущее. И тогда посмотрим, где пройдет линия раскола между сторонниками мичуринской генетики и теми, кто несмотря ни на что останется приверженцем старой формальной – менделевско-моргановской – генетики. У вас еще будет возможность убедиться в том, что мичуринское направление – это выбранный научной массой магистральный путь развития науки в нашу эпоху.

Как ни противно признавать, что чекистские стратеги, разрабатывавшие проект «мичуринская биология», и вся та шваль, которая была задействована для претворения этого плана в жизнь, оказались правы в своем социальном прогнозе, но признать это приходится. Ведь в своих рассуждениях мы ищем не приятного, а истинного, и потому не можем закрывать глаза на тот печальный факт, что, как бы невежественно – и даже намеренно идиотично – ни было содержание «нового научного направления», оно было принято основной массой научных работников, занятых в сельскохозяйственных науках и в биологии в целом.

Не стоит тешить себя мыслью, что отечественная наука была загнана в это грязное стойло лишь благодаря жуткому террору, парализовавшему все наше общество, и в том числе нашу науку. Всеобъемлющий страх сыграл, конечно, в этой «мичуринизации» советской биологии не последнюю роль: кого-то он подтолкнул в желательную власти сторону, в ком-то придушил желание активно сопротивляться волне мракобесия, кому-то облегчил муки совести (*как это ни неприлично и, вероятно, даже подло, но у меня нет выбора: не могу же я из-за верности генетике и элементарной порядочности по отношению к своему учителю и другу обречь на муки всю свою семью* – вспомним уже затронутую нами судьбу В.Е.Писарева), многих страх заставил затаиться и прибегнуть к мимикрии, выжидая лучших времен, для некоторых он оказался дополнительным стимулом в ситуации выбора (*черт их разберет этих теоретиков – кто из них прав? но с этими связываться опасно, они, похоже, сами на ниточке висят, пойду-ка я лучше в другую лабораторию – там понадежнее*). Можно придумать и еще ситуации, в которых боязнь оказаться неугодным власти, совершенно обезумевшей от кровопролития, приводила людей в стан *мичуринцев*, играла на руку беспардонному жулью и увеличивала количество активных и пассивных сторонников *клики Лысенко*. Но всего террором не объяснишь, и следует полагать, что террор и вызванный им страх не были основной причиной победы *мичуринской биологии* – они лишь способствовали переходу научных работников на *мичуринские* позиции и ускоряли этот процесс.

Действительно, как бы нас ни отвращала картина наблюдаемой нами реальности, но мы вынуждены принять как данное, что резкое ослабление террора после смерти Сталина и переход к гораздо более *вегетарианским методам* управления обществом мало что́ изменили в жизни отечественной биологии и науки в целом. Даже отставка Хрущева, почему-то горой стоявшего за Лысенко и за его паршивое «научное направление»[232], не привела к

[232] Были у него, вероятно, свои резоны. Мы не понимаем, зачем «обобщенному Хрущеву» нужен был этот, к тому времени в конец дискредитировавший себя «агрономический гений» и вся его команда (все как один под стать своему вождю-жулику), но сами-то советские руководители, наверное, знали, что они делают. Я не верю, что твердая и неуклонная государственная поддержка компании завравшихся проходимцев была следствием непомерной глупости партийной верхушки. Во-первых, никакого

радикальным переменам в этом отношении. Я не буду сейчас что-либо доказывать и разъяснять, поскольку собираюсь обстоятельно обсудить *исторические итоги мичуринизации отечественной науки* в конце этой – непомерно разросшейся – части своего труда, и ограничусь здесь краткой констатацией неоспоримого, на мой взгляд, факта: ниспровержение Лысенко привело к тому, что исчерпавшая свою роль *мичуринская форма* давнего проекта была отброшена за ненадобностью, но тем самым было окончательно закреплено уже прочно прижившееся в науке *внутреннее содержание* перемен, совершавшихся на протяжении нескольких десятилетий. Мендель и Морган (а не прошло и четверти века, как и сам Вавилов) были реабилитированы, и открытые ими законы заняли свое место в ряду с таблицей Менделеева и теоремой Пифагора, но сказать, что отечественная биология вернулась в своем функционировании к принципам, господствовавшим в ней в *домичуринскую* пору, нет ни малейшей возможности. Структура науки, отношения между членами научного сообщества, организация управления наукой, ее кадровый состав и все прочие параметры ее жизнедеятельности остались после 1965 года ровно теми же, какими они были при господстве *мичуринской биологии*. Все перемены ограничились корректировкой научных планов (в которые возвратились генетические исследования) и теми неизбежными *перестановками* и новыми *размещениями* и *сочетаниями* научного начальства, которыми сопровождается любая смена верховной власти в государстве. В научном сообществе ни после 1965, ни после 1991 не наблюдалось ни малейших попыток дополнить эту привычную начальственную *комбинаторику* серьезным переустройством научной жизни и возвращением к *вавиловским принципам управления наукой*. Да никто более или менее знакомый изнутри с ситуацией в науке ничего подобного и не ожидал.

Таким образом, можно констатировать, что террор прекратился, а поведение членов научного сообщества осталось, в общем и целом, прежним. Но это значит, что вне зависимости от того, каким образом основная масса научных работников оказалась в лоне *мичуринской биологии*, через некоторое время пребывания в этой позиции, она, эта масса, привыкла к ней и чувствовала себя в такой науке достаточно комфортно, не выказывая желания освободиться от нее, как от ненавистного ярма, навязанного террором и принуждением. Следовательно, те цинично откровенные разглагольствования *мичуринца-идеолога*, которые я попытался реконструировать (в меру своего понимания) страницей выше, по сути своей верны – к нашему прискорбию, предложенная от имени Лысенко *новая научная парадигма*, действительно, отвечала на запрос, хотя и не выражавшийся явно, но назревавший в глубине существующей в то время науки.

Считается, и вряд ли совсем без оснований, что большевики действовали в согласии с лозунгом «Железной рукой загоним человечество к счастью» – фраза, правда, какая-то корявая, но по духу, пожалуй, близкая к другим продуктам деятельности агитпропа на ранних ее этапах. В рассматриваемом нами примере мы видим, можно сказать, буквальное осуществление этого пародийно звучащего слогана: массу образованных людей загнали, затащили, заманили (кого – кнутом, кого – ржаным пряником) в построенные ими же бараки, и они там так прижились, что не только не желают их покидать, но их оттуда и не выкуришь. И отсюда наш общий вывод: проект *мичуринской биологии* был успешно реализован и оказался настолько эффективным, что даже через многие десятилетия эволюция отечественной науки

особенного ума для разоблачения *мичуринцев* не требовалось – всё их вранье было шито белыми нитками, на которые только ленивый не указывал пальцем. А во-вторых, как мы уже неоднократно убеждались, многие внешне абсурдные действия большевиков были обусловлены вовсе не их глупостью, а напротив, тонким расчетом и иезуитской хитростью их инициаторов.

Было бы интересно разобраться с глубинной логикой процессов на позднем этапе развития *мичуринской* эпопеи, но, к сожалению, эти годы не привлекали особенного внимания исследователей лысенковщины (а если и привлекали, то лишь со стороны описания действий активизирующихся противников Лысенко, и упускали из виду мотивы поддерживающей его власти) – вопросы эти остались малоизученными, и у меня нет никаких интересных соображений на этот счет.

продолжает идти в том же, намеченном в тридцатые годы, направлении. На протяжении прошедших восьмидесяти лет тренд изменений остается прежним, и из года в год, от поколения к поколению то новое, что внесла в науку *мичуринская биология*, становится всё глубже, отчетливее и рельефнее. Жизнь наша изменилась за эти годы радикально, но имплантированная в нее *мичуринская* парадигма и до сего дня *живее всех живых* – это ли не торжество большевистского плана переустройства общества?

Так за что же проголосовало большинство членов научного сообщества, в конечном итоге, согласившихся с той программой коренной перестройки отечественной биологии, за которую ратовали не обладавшие ни малейшим научным авторитетом Лысенко и Презент, но в числе мощных сторонников которой была и газета «Правда» со стоявшим за ней Агитпропом, и легко угадываемое ОГПУ, управляемое Политбюро и самим Сталиным, олицетворявшим на тот момент центр большевистской власти в нашей стране? Когда я пишу «проголосовало большинство», я не имею в виду выступления ученых на этих самых «дискуссиях» или газетные статьи, под которыми стояли имена тех или иных деятелей науки, хотя, безусловно, и эти публичные выражения «общественного мнения» играли некую роль в процессе, который растянулся на долгие годы и который сформировал массовую поддержку новой версии отечественной биологии. Это – фигурально понимаемое – «голосование» состояло из сотен тысяч поступков, высказываний, индивидуальных решений множества никак не связанных между собой людей и выражало, в конечном итоге, волю большинства тех, из кого и состояла отечественная биология. Масса людей, объединенных в профессиональное сообщество, сделала свой выбор, и – как мы видим по прошествии восьмидесяти лет – из двух «поставленных на голосование» моделей науки была выбрана новая (лысенковская) версия, а старая концепция науки, которую отстаивали Вавилов и его сторонники, была большинством ученых отвергнута. Выбор научного сообщества склонился в пользу *советской биологии*, в то время как предшествовавшая форма существования *биологии* (в то время ее можно было считать частью *мировой науки*) была отклонена как неадекватная новым условиям научной деятельности.

И я вернусь к исходному вопросу: что же выбрало большинство? Неужели эти, в массе своей неглупые, здравомыслящие люди проголосовали за *частички живого вещества* и отбросили, как непригодное, представление о *линейном расположении генов в хромосомах*? Можно ли в это поверить? И не было ли это случаем массового умопомешательства в одном, отдельно взятом профессиональном сообществе? Конечно, нет, и, конечно, сделанный выбор основывался вовсе не на сравнении *двух альтернативных научных теорий*. Сравнивать, как мы уже выяснили, было нечего, и подавляющее большинство ученых, решавших так или иначе свои конкретные проблемы в создавшихся после возникновения *мичуринской биологии* условиях, прекрасно понимало, с кем и с чем они имеют дело. Если даже учесть мнение тех – самых темных и малограмотных, – которых можно было очаровать *частичками* (а ведь были, несомненно, и такие, и процент их среди начинающих «исследователей» нельзя считать пренебрежимо малым), то всё же не они определяли мнение сообщества в целом. Итоги голосования были предопределены не *научной новизной частичек* (попались они мне на язык!) и не убедительностью *научных аргументов*, использованных Лысенко и его шайкой, – речь шла о гораздо более важных материях, а вся эта *мичуринская* труха была безболезненно[233] отброшена научным сообществом, как только создались благоприятные исторические условия для перехода на новую форму одежды (командование решило, и ромбики на петлицах были заменены звездочками на погончиках – делов-то). Выбор был сделан между *советской биологией* и *мировой биологией* того времени, а лысенковская

[233] Даже известный нам Студитский и тысячи ему подобных *рептилий юрского периода* вовсе не пострадали и продолжали еще десятилетиями безмятежно занимать свои посты и должности, чваниться своими орденами и званиями, воспитывать желторотых студентов и аспирантов, несмотря на якобы произошедший в 1965 году *геологический переворот в науке*, стерший с лица Земли *мичуринскую биологию*.

мичуринская биология была лишь несущественной формой, в которой вступила в жизнь будущая *советская биология*.

Теперь, через много лет, прошедших со времен *дискуссии 1936 года*, вылетающая в сумерки *сова Минервы* (рискну воспользоваться этим выражением, уже ставшим, с легкой руки Гегеля, затасканным ораторским шаблоном) может констатировать *post factum*, что вселившийся на краткое время в Сталина и его политбюро *мировой дух* и послушное ему ОГПУ воспользовались удачным стечением обстоятельств и успешно провели операцию, получившую впоследствии название «Мичуринская биология». Как бы дико и убого ни выглядела эта «научная реформа», произошедшая вдали от основных центров мировой науки в нашей – во многих отношениях отсталой, полуазиатской – стране и, если и вызвавшая интерес у зарубежных ученых, то лишь своей демонстративной дикостью, но именно она обозначила магистральное направление развития мировой науки в нашу эпоху – направление, которое можно было бы назвать *советизацией мировой науки*, поскольку суть его – превращение *науки* в *советскую науку*. Так что не только *в области балета* мы были *впереди планеты всей*. Обстоятельства[234] сложились таким образом, что отечественная биология оказалась – если воспользоваться выражением большевиков – *слабым звеном* в системе мировой науки, а потому именно здесь произошел впервые тот радикальный поворот на новые рельсы, который уже назрел в науке на протяжении предшествующих десятилетий и который осуществился во всех научных отраслях и во всех странах без прямого вмешательства большевиков в этот естественно-исторический процесс. Наука СССР лишь немного забежала вперед и довела развитие данного проекта до, можно сказать, *кристаллически-чистого* состояния *советской науки* – состояния, которого мировая наука еще, пожалуй, не достигла и до настоящего времени.

Если бы западная наука заинтересовалась происходящими в СССР процессами и, в частности, присмотрелась бы к забавному – при взгляде из безопасного отдаления – феномену *мичуринской биологии*, у нее появился бы шанс стать свидетелем эпохального эксперимента на живых людях, превращаемых – на глазах всех желающих этим полюбоваться – в *советских людей*, в данном случае в *советских ученых*. Подобные трансмутации происходили во многих сферах нашего общества, но если заглянуть в колхозы или в советские школы, или в армейские подразделения, или любые другие ячейки советского общества, где шли аналогичные процессы (я так много страниц посвятил описанию превращения советского *агронома* в *советского агронома*, что надеюсь, читатели еще не забыли печальную судьбу этого эпизодического персонажа), было затруднительно из-за становящегося почти непроницаемым «железного занавеса» и из-за густой, создаваемой агитпроповскими стараниями дымовой завесы, то процесс становления *мичуринской биологии* с самого начала разыгрывался как спектакль, и, хотя часть важных событий была скрыта за кулисами, всё же основные действия развертывались на открытой сцене и были доступны наблюдению со стороны. Если бы, повторюсь, западные ученые почувствовали себя не просто современниками тех событий, которые возмущали их и заставляли сострадать несчастным коллегам, попавшим в лапы большевикам, а наблюдателями некоего социального эксперимента, требовавшего от них – как от *ученых* – внимательной регистрации условий опыта, описания протекающих в колбе реакций, учета ингредиентов, в них участвующих, и выявления прочих доступных наблюдению параметров, а затем и осмысления полученных в опыте результатов, то у западной науки

---

[234] И наличие ОГПУ (и всех прочих реинкарнаций этой зловещей организации) было лишь одним из обстоятельств, благоприятствующих запланированной реформе. Еще раз повторю, что не страх перед репрессиями был основным мотивом, обусловившим выбор научного сообщества, он лишь способствовал такому выбору. Главным образом, его эффект заключался в предотвращении активных действий со стороны *консервативного меньшинства*, которое как могло противилось изменению самих основ научной деятельности и тормозило переход к новой парадигме, противоречащей вековой научной традиции и потому не без труда внедряемой в сознание многих членов профессионального сообщества.

появился бы шанс понять механику наблюдаемого процесса и, сделав соответствующие выводы, создать долгосрочный прогноз будущей эволюции мировой науки.

Я не стану утверждать, что создание такого – алармистского по своей сути – прогноза могло бы что-то существенно изменить в процессе *советизации мировой науки*, поскольку все предпосылки для такой эволюции были уже созданы, и подспудное перерождение науки в *советскую науку* (или, может быть, точнее: в *науку советского типа*) уже шло во всех передовых странах Запада, но всё же знакомство с большевистским экспериментом могло бы разъяснить представителям мирового научного сообщества, что с ними происходит и в чем они участвуют. Пусть ученым не удалось бы повернуть вектор развития, но они, по крайней мере, выполнили бы свой долг: дошли бы до понимания истинных механизмов происходящего и возвестили бы найденную ими истину всему обществу, на роль *интеллигенции* которого (в «латинском» смысле слова) они претендовали. К сожалению, ничего подобного не произошло, пресловутая *сова Минервы* и не почесалась вылететь пораньше, пока сумерки еще не сгустились до полной и беспросветной тьмы, а теперь что же? Даже предполагая, что сегодняшнее состояние мировой науки еще далеко от чистого и беспримесного состава *советской науки*, и у нее еще много родимых пятен, напоминающих о ее благородном происхождении, приходится признать, что старой *науки* уже нет и что сегодня *сове* просто некому рассказывать о том, что она увидела во тьме. *Ученые*, способные понять ее уханье, еще не перевелись (и надо полагать, не могут полностью исчезнуть ни при каких обстоятельствах), но *науки*, как общественного института, способного усвоить открывшуюся истину и использовать ее как основу для дальнейшего развития научных исследований, уже нет, и совершенно непонятно, когда, как и в каком обличье она сможет вновь возродиться. Тот же общественный институт, который сегодня именуется мировой наукой, ни в какой истине не нуждается – у него совершенно другие задачи и другая механика функционирования, – а потому *сова* абсолютно напрасно стучалась бы в двери *храма науки* (если бы ей – после ее открытий – могло бы придти это в голову) – храм-то вроде бы прежний, но жрецы его коренным образом изменились. Так что *сова* моталась бы с конференции в Монреале, на симпозиум в Гонолулу, а оттуда на съезд в Монтевидео, и везде была бы отмечена в заключительном слове председательствующего на секции и удостоена похвалы за интересный доклад, тезисы которого непременно будут напечатаны в соответствующем томе трудов конференции, но толку от этого было бы ровно столько же, сколько и от прочих заслушанных на секции докладов. Разве что нашелся бы предприимчивый и пробивной ихний *dr. Prezentmann*, который сумел бы из совиного уханья сляпать очередной научный бренд, и тогда в Сорбонне или в Гарварде открылась бы новая «кафедра алармистского науковедения», сумевшая несколько потеснить уже давно существующую «кафедру мичуринской биологии» и отхватить у нее пару комнат. И только. На большее сегодня рассчитывать не приходится.

И всё-таки, нам надо опять вернуться к оставшемуся без ответа вопросу: почему члены научного сообщества, группировавшиеся вокруг аграрных и биологических наук, выбирая между *наукой*, в рамках которой они привыкли существовать, и еще не существующей *советской наукой*, выбрали тот вариант своего будущего существования, который был предложен Лысенко? Что могло привлечь основную массу деятелей науки в той галиматье, которая им предлагалась под названием *мичуринской биологии*, и почему она не оттолкнула их заранее рассчитанной – можно сказать, программной и демонстративной – убогостью своего содержания? Мы уже пришли к выводу, что значительная часть поставленных перед выбором видела лживость выдвигаемых Лысенко «идей» и, следовательно, не питала никаких иллюзий относительно истинности *мичуринской* «теории». Но тогда мы обязаны сделать еще шаг и констатировать: решение было обусловлено не верой в истинность новой *советской науки* – не к истине стремились выбиравшие этот путь. Они выбирали не истинную, а *правильную* теорию, то есть ту, которая была *полезной*.

Главная польза, которую обещало появление дремучей *мичуринской биологии*, заключалась в освобождении научного сообщества от диктата научной истины.

Я намеренно сформулировал свой вывод в виде своеобразного парадокса, до некоторой степени напоминающего решение задачи о построении *круглого квадрата*. Но хочу на некоторое время отложить его анализ и выяснение заложенного в нем смысла, а в этом разделе работы ограничиться более конкретными выгодами, полученными от лысенковской версии науки теми, кто – своим поведением – проголосовал за признание ее основным направлением развития отечественной науки.

Крайне желательно разобраться здесь в том, какими рациональными мотивами руководствовались члены рассматриваемого нами научного сообщества, когда дружными усилиями затягивали петлю на шее своей науки. Если мы поймем их мотивацию и не будем считать их баранами, которых ОГПУ и прочие пастухи загнали в ворота мясокомбината, а будем исходить из предположения, что те, кому выпало на долю решать в тридцатые и последующие годы судьбу нашей науки, были такими же разумными людьми, как и мы с вами, то у нас появится возможность понять и то, каким образом члены научного сообщества продолжали существовать в качестве ученых и после того, как они довели свое дело до конца, и удавленная ими наука испустила свой последний вздох.

Возьмем для начала простейший пример и рассмотрим мотивы тех, кто в разгар борьбы за становление и признание *мичуринской биологии* еще не влился в ряды научного сообщества, но намеревался это сделать в ближайшем будущем, то есть взглянем с этой точки зрения на *советское студенчество*, обучающееся в вузах сельскохозяйственного профиля. Студенты – в массе своей – народ, хотя и способный увлечься (по молодости) разными интересными штуками, о которых им рассказывают преподаватели, но в своем реальном поведении весьма прагматичный и трезвый. Вероятно, такими они были всегда (в том числе и в тридцатые годы), так что в этом отношении вряд ли сильно отличались от сегодняшних представителей этого племени. Если у среднего студента появляется возможность чего-то не учить, то он этого учить и не будет, тем более что общий объем того, что требуется выучить, намного превышает реальные возможности учащихся. Когда преподаватель говорит, что такие-то параграфы учебника можно пропустить – они слишком сложны, и на экзамене этот материал спрашивать не будут, – невозможно ожидать, что аудитория возмутится и потребует, чтобы исключенный материал был возвращен в программу экзамена. Даже самый закоренелый отличник и зубрила не решится на такой экстраординарный шаг. Студенты, как и большинство выполняющих некоторое задание, хотели бы уменьшить свою нагрузку, и это естественно.

Но их стремление к минимизации трудовых затрат оправдано и в долгосрочной перспективе. Зачем будущему специалисту, собирающемуся после получения диплома занять место сменного мастера на заводе, знать доказательство теоремы Пифагора? Ведь в его реальной деятельности оно никогда не понадобится, как не понадобится знание правила Харди-Вейнберга инспектору Сахаротреста: разве можно предположить, что в своей многообразной и ответственной деятельности он когда-нибудь столкнется с проблемами популяционной генетики, – само такое предположение выглядит юмористически. Так зачем же тратить драгоценное время молодости на зазубривание никчемных интеллигентских побрякушек, столь далеких от реальных запросов жизни. Правда, преподаватели утверждают, что без знания всех этих изысков витающего в идеальных сферах и страдающего от отсутствия настоящего дела ума нельзя стать истинным интеллигентом, а потому по пути к избранной профессии студенты должны значительную часть своих усилий посвящать усвоению всех этих веками накапливающихся научных сокровищ. Но ведь это – всего лишь мнение конкретных преподавателей, воспитывавшихся в совершенно иных – уже сметенных историей – условиях. Их представление об истинных интеллигентах сформировано уже ушедшей эпохой (мировая бойня, в которой участвовало большинство европейских стран вместе со своей

интеллигентской прослойкой, наглядно показала, чего стоит такая интеллигенция) – зачем же нам, современным людям, идущим им на смену, заморачивать себе голову их идеалами, безнадежно отставшими от современности и во многом неприложимыми к сегодняшней реальности? В представлении профессоров, *интеллигент* – это тот, кто разобрался с биномом Ньютона, читал по латыни «Записки о Галльской войне», знает, когда жил Пипин Короткий, и тому подобные пустяки. А не вернее ли считать современными *интеллигентами* тех заводских мастеров и колхозных агрономов, которые используют полученные в вузах знания для выполнения практических задач и, став специалистами, приносят обществу конкретную ощутимую пользу. Ведь знания – не самоцель, а потому студентам нужны не какие угодно знания, но лишь полезные для жизни истины. И потому учащиеся должны сосредоточиться на том, что может пригодиться в жизни, а не расходовать время и силы на приобретение избыточной эрудиции, которой кичатся старорежимные интеллигенты, отгораживаясь ею от выходцев из рабоче-крестьянской среды, но которая большей частью оказывается ни для чего не пригодной – разве что для решения кроссвордов или салонной интеллигентской болтовни. Такой внутренне спаянный и не лишенный рациональных обоснований подход к целям и методам высшего образования существовал, по-видимому, всегда[235] и не реализовывался лишь потому, что преподаватели выступали единым фронтом, и студентам, желающим получить заветный диплом, приходилось подчиняться и вызубривать массу различных премудростей, без которых они могли бы прекрасно обойтись. Но если общественная обстановка изменялась, и среди преподавателей и руководства вузов появлялись сторонники упрощения учебных программ и приближения его к возможностям нового состава студенческой массы (то есть тех, кто *в гимназиях не обучался*), то можно было не сомневаться, что призывы к избавлению от ненужных предметов и курсов найдут живой отклик у студентов, нацеленных на приобретение полезных для жизни знаний.

В своей книге М.Поповский, ссылаясь на протокол заседания Президиума ВАСХНИЛ, пишет о первых последствиях такой – исходящей от профессора вуза – агитации за *мичуринскую биологию* и о влиянии ее на учащиеся массы:

> Летом 1935 года член президиума ВАСХНИЛ, профессор Московского университета Михаил Михайлович Завадовский впервые обратил внимание своих коллег на странный альянс, образовавшийся в науке. Завадовский рассказал, что в Ленинградском университете распространяется мнение, будто в Советском Союзе нет никакой генетики и никаких генетиков, кроме Мичурина и Лысенко. Что Лысенко – прямой продолжатель Дарвина. Утверждает все это на своих лекциях заведующий кабинетом дарвинизма философ И.И.Презент. «Поскольку пресса подхватывает некоторые утверждения Лысенко – Презента, они приобретают, с моей точки зрения, угрожающий характер... Шумиха, которая имеет место... не только выворачивает мозги у молодежи и аспирантов, выворачивает мозги и у самих работников…»[236]

Из выступления заслуженного профессора ясно, что надежды на разумное отношение студентов к подобной демагогии у него нет. Опытный педагог, он, вероятно, прекрасно понимал, что основная масса учащихся будет на стороне любого, кто подведет «теоретическую базу» под удаление из учебного курса любой сложной дисциплины, обременяющей студентов усвоением ненужных им знаний. А потому Завадовский ратовал не за разъяснение студентам очевидной глупости проповедуемых Презентом «идей», а за воздействие на демагогов, разрушающих единство высшей школы. Их надо было остановить любым способом, чтобы не доводить дело до образовательной катастрофы. Но, как мы знаем, все попытки приструнить *мичуринцев* оказались безуспешными, и крах отечественного высшего образования в области

---

[235] «Когда прошлою весной на курсах Лесгафта в Петербурге барышни-ораторши требовали упрощения программы, ибо физиология пролетариату не нужна, это было вполне в стиле момента: уличная психология захватила». (Жаботинский В. Наброски без заглавия // Еврейская мысль, № 2, 12.10.1906 – цитируется по *Иерусалимский журнал*, 2013, № 47*).*

[236] Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990

биологии стал неизбежным. В.Сойфер рассказывает о своей беседе с другим педагогом, в которой тот вспоминал более поздние времена, когда биологию уже преподавали по *мичуринскому* канону. Но и он говорит о том же: если предлагается выбор *учить или не учить*, средний студент всегда выбирает то, что проще.

> В 1958 году выдающийся русский генетик С.С.Четвериков рассказывал мне, как порой трудно приходилось ему, когда он должен был вдалбливать студентам, особенно посредственно успевающим, закономерности этой нетривиальной науки.
>
> «Студентам надо было здорово потрудиться, -- говорил Сергей Сергеевич, -- чтобы проникнуть в мир генетических знаний, а параллельно со мной, в соседней аудитории А.Н.Мельниченко, в соответствии с распоряжением Министерства высшего образования читал лекции по курсу 'мичуринской генетики'. А там всё просто, понятно, доходчиво. Не надо знать ни генов, ни кроссинговеров, наследственность послушно изменяется, стоит лишь измениться внешней среде, никакой математики. И ходили самые тупые студенты в отличниках у Мельниченко, росла их неприязнь к другим профессорам университета»[237].

И заметим, рекрутация массы студентов в число сторонников *мичуринской биологии* происходила безо всякого принуждения. Для этого не требовался никакой террор[238], процесс шел сам собой и выражал – как уже было сказано – неосознаваемый запрос на *мичуринскую науку* со стороны тех, кто готовился влиться в ряды отечественной [2]интеллигенции. Конечно, до возникновения *новой биологической теории* эти ребята вряд ли могли четко сформулировать свой запрос, они и сами не понимали толком, чем их не устраивает существующая биология, и какую именно биологию они посчитали бы подходящей для них. Они всего лишь смутно чувствовали, что их против воли пичкают всякими ненужными им и сложными в понимании научными излишествами, от которых они рады были бы освободиться. Однако, когда им был предложен и выбор, они долго не раздумывали. Их не надо было загонять в *мичуринское* стойло *железной рукой*: они и сами предчувствовали, что им здесь будет удобно.

Вероятно, здесь будет уместно разъяснить свою позицию – для тех читателей, которые могут увидеть в предыдущих фразах мое издевательское отношение к поколению наших отцов и дедов. Так вот, поясняю: ничего подобного я к студентам тридцатых годов не испытываю, считаю, что в массе своей они были не хуже нашего поколения, а если учесть, в каких условиях им приходилось жить, то недалеко и до вывода, что деды были крепче нас на излом и что нам есть чему у них поучиться. И когда я подбираю аргументы в пользу того, что студенты тридцатых должны были приветствовать или, по крайней мере, сочувствовать *мичуринцам*, постепенно завоевывающим ключевые позиции в сфере высшего образования, то я делаю это вовсе не в укор тогдашним студентам. Напротив, я хочу как можно ярче представить читателям тот простейший факт, что их позиция отнюдь не была обусловлена их бараньей покорностью власти – идущие на лекцию *мичуринской генетики* студенты скорее всего и подумать не могли, что тем самым они действуют по плану наводящего ужас учреждения, – а естественно вытекала из тех реальных условий, в которых функционировала отечественная [2]интеллигенция. И чем бы ни мотивировалась студенческая приверженность педагогам-*мичуринцам*, это была абсолютно рациональная позиция. Конечно, затеянная Лысенко и стоящими за ним помощниками главного режиссера *игра на понижение* выгодна уже и потому, что имеет на своей стороне закон всемирного тяготения и спускать воду, разрушая плотину, гораздо проще, чем создавать

---

[237] Сойфер В. Власть и наука. М.: ЧеРо, 2002

[238] Это утверждение не исключает, разумеется, того, что некоторые особо шебутные и много разглагольствующие личности были изъяты из вузовской среды, чтобы они не мешали здоровому в своей основе и демократическому процессу выбора между двумя конкурирующими научными теориями. Однако ясно, что не эти единичные акции ОГПУ определяли стихийно выбираемое направление процесса. Можно не сомневаться, что если бы перед студентами стоял выбор между теорией солнечных пятен, сопровождавшейся необходимостью сдавать экзамен по *физике солнечной плазмы*, и альтернативной теорией, без затей утверждающей, что никаких *черных пятнушек на солнце* нет и быть не может, то вторая собрала бы подавляющее количество студенческих голосов.

ее напор, но участвовавшие в этой игре студенты не просто поддавались соблазну минимизировать свои трудовые усилия, а поступали совершенно правильно – в соответствии с их истинными жизненными интересами. Даже если бы они осознали все последствия своего частичного отказа от приобретения предлагаемых им образовательных благ, то оставаясь разумными субъектами, преследующими свои личные цели, они вынуждены были бы принять то же самое решение, к которому их склоняло нежелание чрезмерно напрягать мозги при постижении всех этих генетических премудростей.

И здесь же стоит сказать несколько слов об упомянутом Четвериковым преподавателе *мичуринской генетики*[239], пока читатели не забыли, о ком идет речь. Хотя имя его не слишком известно, он был не последним человеком в отечественной вузовской науке. Он стал доктором биологических наук еще до войны, был директором, а затем ректором крупных вузов. Казалось бы, ему-то зачем связываться с *мичуринцами*, что он от них мог еще получить? Но я не думаю, что он, стиснув зубы и внутренне содрогаясь от отвращения, выполнял суровое приказание Министерства высшего образования и рассказывал студентам о наследственности *частичек живого тела*. Не так, конечно, это было. Потому что ясно: он точно так же, как и внимавшие ему студенты, делал это малопочтенное дело с легким сердцем, поскольку распоряжение министерства хорошо укладывалось в его личные интересы. Ведь, как рассказывает нам Четвериков, обучать истинной генетике тех, кто вовсе не рвется как следует в ней разобраться, тяжелый и неблагодарный труд (как, впрочем, и обучение студентов любой серьезной дисциплине): втолковываешь учащимся необходимые сведения, строжишься на них, пытаешься как-то завлечь и побудить к работе… А на экзамене убеждаешься, что почти вся твоя работа была напрасной: у большинства в том месте сознания, где должен быть усвоенный курс генетики, какие-то жалкие обрывки из прочитанных лекций и полное непонимание смысла задаваемых тобою вопросов. Можно сразу поставить двум третям экзаменуемых двойки, можно с грехом пополам натянуть большинству жалкие условные троечки, но ни в том, ни в другом случае удовлетворения ты от своих педагогических успехов ожидать не можешь, да и начальство будет коситься на тебя из-за того, что результаты твоих экзаменов снижают *показатели качественной успеваемости* всего вуза. Но ничего другого ты со своей *заумной* – как считают твои студенты – генетикой добиться не можешь. И совсем другое дело преподавать курс *мичуринской генетики* (Мельниченко был, судя по всему, человеком сообразительным и оставил этот лакомый кусочек за собой, хотя, будучи ректором ГГУ и завкафедрой зоологии, вполне мог бы поручить это дело любому из своих подчиненных). Студенты охотно посещают твои лекции: содержание их легко доступно и самым малограмотным, да и вообще, если слушатели заскучают, можно рассказать им подходящий анекдот или случай из жизни, – обилие материала тебя не поджимает, даже если чего-то не успеешь рассказать, никакой беды в этом нет – студенты и сами сообразят чего-нибудь в

---

[239] На сайте Нижегородского государственного университета есть о нем биографическая справка: «**Андрей Николаевич Мельниченко**. Родился в1904 г. в с. Казимировка в Белоруссии. После окончания биолого-химического отделения Смоленского университета в 1929 г. он стал аспирантом кафедры зоологии и дарвинизма в этом университете. Объектом его научного исследования являлись медоносные пчелы и цветковые растения. В 1934 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1949 г. стал доктором биологических наук. А.Н.Мельниченко был избран членом-корреспондентом Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук. Им опубликовано 140 научных трудов, из них 4 монографии, 12 работ опубликовано в зарубежной печати. А.Н.Мельниченко с апреля 1946 г. по август 1952 г. был ректором ГГУ и заведующим кафедрой зоологии. С августа 1952 г. стал заведовать кафедрой дарвинизма и генетики ГГУ. Затем перешел на работу в сельскохозяйственный институт, где заведовал кафедрой зоологии. А.Н.Мельниченко являлся председателем правления областной организации общества ‘Знание’, председателем секции пчеловодства и шелководства ВАСХНИЛ, членом бюро Национального комитета пчеловодов СССР. А.Н.Мельниченко награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом ‘Знак Почета’, медалями ВДНХ».
(http://www.unn.ru/general/rectors/melnich.html)

отношении *частичек*. Тем более, что, слушая их ответы, ты и сам вряд ли сможешь отличить их *устное народное творчество* от прямых цитат из лысенковских трудов (сам Презент, наверное, не смог бы справиться с этой задачей). Никакого смысла в той белиберде, которую ты оглашаешь на лекциях, нет, а потому можно с чистой совестью, выслушивая на экзамене аналогичную белиберду из юных уст, ставить чуть ли не всем подряд пятерки и гордиться затем блестящими успехами своих питомцев (*нет, на самом деле, талантливые есть ребята – некоторые вполне могли бы заменить Презента*) – так и должно быть: ректор задает уровень педагогического мастерства всем прочим преподавателям. Как же не радоваться такой возможности, позволяющей с минимальной затратой сил выполнять свои служебные обязанности (подчеркну: честно выполнять – мне было поручено, и я, ни на миллиметр не уклоняясь от духа и буквы задания, делал порученное мне дело). И все вокруг довольны: студенты любят таких преподавателей (*а какие интересные случаи из своих зоологических экспедиций он нам рассказывал на лекциях!*), педагогическая общественность уважает и ценит (достаточно сказать, что А.Н.Мельниченко и после падения *мичуринской биологии* не стал изгоем в своей среде: он продолжал возглавлять кафедру дарвинизма и генетики ГГУ до 1983 года), государство щедро награждает орденами и медалями. В итоге, можно без тени сомнения утверждать: заслуженный деятель науки, профессор *честно прошел свой доблестный путь, благородный*.

И опять же. Не надо понимать написанное в предыдущем абзаце как выражение презрения к профессору Мельниченко. То, что я о нем случайно узнал, не настраивает, как мне кажется, на уважительное отношение к этому деятелю отечественной науки. Но ведь я о нем практически и не знаю ничего, кроме слов Четверикова в передаче Сойфера и формального перечисления должностей, званий и дат в официальной справке. Можно ли дать адекватную оценку Мельниченко как ученого, преподавателя, руководителя образовательных структур, основываясь на таком жидком фактическом фундаменте? Я бы на это никогда не решился. Но, к счастью, нам это и не требуется. Я не пытаюсь оценивать жившего когда-то человека, а всего лишь стараюсь разобраться с одним конкретным эпизодом из его жизни и понять, можем ли мы сегодня – глядя из другой эпохи – поставить ему в вину тот несомненный факт, что когда-то он участвовал во внедрении *мичуринской биологии* в умы подрастающего поколения интеллигентов. С одной стороны, факт этот его не красит – не хвалить же нам его за это. И нам понятно презрительное отношение Четверикова к нему и к подобным субъектам: в его глазах все они не заслуживают уважения, как ренегаты, из-за шкурных соображений предавшие ту науку, от лица которой они представительствуют, а кроме того, они еще и ренегаты-педагоги, поскольку вкладывают камень вместо хлеба в руку студента, поступившего в вуз для приобретения истинных знаний. И Четвериков, несомненно, прав: никто из *мичуринских* последователей не сможет отвертеться от таких обвинений.

Однако, с другой стороны, стоит лишь немного изменить ракурс, в котором мы рассматриваем данный случай, как картинка пред нашими глазами становится значительно менее ясной. Мы предполагаем, что Четвериков считал их ренегатами, то есть интеллигентами, изменившими своему призванию – служению истине и предавшими его за чечевичную похлебку. И это лежало в основе его презрительной оценки. Но мы, разделив понятие *интеллигент* на два схожих в некотором отношении термина, можем, в отличие от Четверикова, предположить, что рассматриваемый нами субъект (и множество других, аналогичных ему персонажей) не был [1]*интеллигентом* (и соответственно, не присягал истине как таковой), а был *простым человеком*, выбравшим себе место службы в рядах [2]*интеллигенции*. И хотя, на первый взгляд, разница здесь не велика, но на деле она приводит к существенному смещению оценок. Как и в случае оценки поведения студентов, выбравших *мичуринскую биологию* в качестве более простой и понятной учебной дисциплины, мы должны будем признать определенную разумность и внутреннюю правоту тех, кто, как и Мельниченко, согласился признавать *мичуринскую генетику* за полноценную науку.

Предположим, что Мельниченко понимал вздорность и псевдонаучность читаемого им курса (а скорее всего так и было – у него было биологическое образование). Но разве это могло быть достаточным основанием для того, чтобы он отказался выполнять данное поручение руководства? А если бы он был не профессор, а токарь, мог ли бы он отказаться точить втулки, считая, что для их изготовления следует использовать металл другой марки, а не той, какую ему определил мастер? Это было бы крайне странно, и такой сверхинтеллигентный токарь сразу же попал бы в поле зрения начальников, как крайне ненадежный элемент производственной системы. Вероятно, при втором подобном конфликте от него постарались бы избавиться, и прочие – обычные, простые – токари считали бы такое решение вполне рациональным и правильным. Если ты – член большого производственного коллектива, то должен честно выполнять свои обязанности и не вмешиваться в функции других работников, чтобы не нарушать течение слаженного трудового процесса. Точишь втулки, и точи их – тебе платят именно за качественную токарную работу, а не за твои соображения об устройстве мира. Всё здесь четко, ясно, логично – нам в этом случае просто не к чему придраться. И вряд ли кому-то может придти в голову, что токарь, который согласился точить втулки устаревшей конфигурации (во всем мире уже отказались от таких втулок), достоин презрения, как ренегат и предатель идеалов токарного дела. Токарь – *простой человек*, ради зарплаты взявший на себя обязательство честно исполнять поручаемые ему задания, как это и положено квалифицированному токарю. И только. Всё остальное его как специалиста не касается. И к нему не может быть никаких претензий – он может с чистой совестью идти в кассу за своей честно заслуженной зарплатой.

Но почему же мы не подходим с той же меркой к Мельниченко и его подельникам? Ведь ситуация, с которой мы сталкиваемся, абсолютно аналогична той, что мы разобрали на примере токаря. Мельниченко честно выполнял все задания, включая чтение курса *мичуринской генетики*, он старался при этом донести до слушателей содержание этой «науки» – такое, какое было им обнаружено в трудах Лысенко и прочих *мичуринцев*, вы уж не обессудьте – и делал это вполне успешно, добивался почти стопроцентного посещения занятий и прилагал дополнительные усилия, чтобы слушатели не скучали на его лекциях. Что еще можно требовать от преподавателя? И если его втулки получались кривыми и корявыми, то разве это его вина? Он всё делал согласно выданной ему технологической карте и вытачивал их из того рабфаковского материала, который был ему предоставлен. И почему тогда он должен стесняться своих орденов Ленина и Трудового Красного Знамени? Он их честно заслужил.

Ситуация была бы существенно иной, если бы студенты стремились бы к истинным знаниям о генетике и ее законах, а Мельниченко со товарищи загораживали бы им доступ к этой науке и подсовывали бы гнилую *мичуринскую генетику*. Налицо был бы конфликт интересов: Министерство высшего образования от лица общества и через посредство Мельниченко втюхивало бы конечному потребителю эрзац, не обладающий питательными свойствами, а потребитель, естественно, бы брыкался, воротил нос и требовал полноценной пищи. Тогда лекции Мельниченко тянули бы на преступную деятельность в составе криминальной организации, занимавшейся злостным мошенничеством и грубо нарушавшей правила торговли. Но ведь ничего подобного не было. Мы уже решили, что подавляющее большинство студентов относились к генетике – и к той, которую им пытался преподавать Четвериков, и к мельниченковской *мичуринской* – как к совершенно ненужной им талмудистике, навязываемой им в нагрузку к полезным знаниям. Ничего питательного для себя они в генетике не видели. Можно верить, что в опилках содержится громадное количество калорий, но питаться целлюлозой мы не можем. Мы же не термиты, у нас и ферментов, необходимых для расщепления целлюлозы, нет. Но точно так же обстояло дело и с усвоением генетики студентами в тридцатые годы. И, что важнее всего, они не чувствовали ни малейшей потребности в генетических знаниях: ни понятие о *неполной пенетрантности гена*, которое старался внедрить в их неокрепшие умы Четвериков, ни совершенно аналогичное (на их

взгляд) понятие о *расшатывании наследственности*, о котором рассказывал им Мельниченко, не могли пригодиться им в их будущей работе. Но в таком случае получается, что лекции Мельниченко можно расценивать как определенное благо для подавляющего большинства студентов, так как благодаря им они экономили усилия (которых потребовало бы усвоение лекций Четверикова) и сохраняли мозги в первобытно девственном состоянии. Так где же здесь криминал? И за что нам презирать *простого человека* Мельниченко, законными путями строившего свое маленькое человеческое благополучие?

Но как же быть с истиной? – скажете вы. Однако, о какой истине вы говорите? Что это за истина, если она оказывается бесполезной для ее предполагаемых потребителей, если общество в ней не нуждается, и на нее нет платежеспособного спроса? Это не истина – несмотря на ее адекватность реальности, – а всего лишь некая умственная эквилибристика, которой занимались люди, освобожденные и даже оторванные (в силу своего социального положения) от решения насущных жизненных проблем – старое общественное устройство позволяло представителям имущих классов тратить свое время на разнообразные прихоти, и та наука, которой посвящали жизнь интеллигенты старого образца, в значительной степени состояла из подобных плодов праздного времяпровождения. Но сейчас иные времена – рыцарские турниры, царские соколиные охоты, мадригалы, записываемые в альбомы светских красавиц, и неспешные медитации над грядками с горохом безвозвратно ушли в прошлое. Сегодня наука стала производительной силой и сама превратилась в часть всеобщего производительного процесса – ее современный лозунг: практичность полученных результатов. Если результаты ваших исследований помогают решать некие общественно значимые проблемы, то они – вклад в современную науку, а если нет, то – как бы занятны, остроумны и эффектны они ни были – они не более, чем *научные забавы и развлечения* (помните, были такие старые книжки?) за казенный счет. Соответственно этой тенденции строится и современная организация научных исследований. Открытия сегодня делаются не учеными-одиночками и не медитирующими монахами, а большими научными коллективами, в которых каждый научный сотрудник выполняет свою конкретную работу, и лишь на заключительных этапах эти незначительные сами по себе кусочки исследования и добытые в них факты синтезируются в мощную и эффективную научную теорию, обеспечивающую очередной рывок в познании и выводящую нас на новый этап в овладении силами природы.

Я думаю, что значительная часть читателей согласится с написанным в предыдущем абзаце. Если вы из их числа, то должен сказать вам, что вы напрасно читаете этот текст – он написан не для вас. Конечно, жаль, что вам пришлось потратить столько времени на его чтение, но всё же лучше бросить его сейчас, чем домучивать до формального окончания, которое будет еще не скоро. Бесполезное это занятие. А мы двинемся дальше с теми, кто не согласен с выписанными мною фразами. Как ни привычны рассуждения такого рода, но истинность их крайне сомнительна, а местами в них слышатся отчетливо демагогические нотки – отзвуки многочисленных пропагандистских кампаний, хорошо знакомых старшему поколению наших соотечественников. Вероятно, кому-то подобные взгляды полезны, и их стараниями они неуклонно воспроизводятся снова и снова. Но нам от них никакой пользы не предвидится. И привел я их лишь для того, чтобы продемонстрировать, как легко от вполне рациональных выводов соскользнуть на позиции того, с кем ты вроде бы взялся спорить. Как бы ни далеки были друг от друга *незыблемая истина* и *заведомая ложь*, но границы между ними очень зыбки, и надо быть осторожнее.

Теперь, покончив с мотивацией заслуженного профессора, вернемся к его подопечным – студентам. Вначале они попали в поле нашего зрения как будущее пополнение научного сообщества, но затем, чтобы упростить рассуждения, я свернул на тех, кто собирался в будущем не заниматься наукой, а влиться в ряды производственников. Здесь можно усмотреть некоторое передергивание. Действительно, тому, кто будет работать на заводе, на стройке или в Сахаротресте, вряд ли когда-нибудь могут понадобиться знания, полученные при изучении теоретических дисциплин и далеко отстоящие от их непосредственного применения, но разве

можно переносить этот вывод на тех, кто стремится работать в научно-исследовательском институте или конструкторском бюро – они-то должны требовать от лекторов максимума сведений на самом современном научном уровне.

Против этого трудно что-либо возразить, и на ум приходит единственный, но, на мой взгляд, решающий аргумент. Картинка, изображающая настроенного на научную работу студента, который требует самых лучших знаний в как можно большем их количестве, слишком идеализирована. Я не хочу сказать, что такие студенты в жизни не встречаются, – наверняка, бывает и такое. Но, во-первых, количество таких энтузиастов очень мало[240], и, заинтересовавшись научными проблемами, они обращаются не столько к преподавателям, сколько к книгам и научным журналам, так что на стандартный процесс обучения их активность практически не влияет. Ясно, что преподаватели в своей повседневной работе не могут исходить из уровня подготовки и устремлений такого «продвинутого», как сейчас говорят, меньшинства – их главные заботы связаны с основной массой студентов.

А во-вторых, и это, пожалуй, главное: так ли уж отличается работа в НИИ от работы на производстве, если посмотреть на нее не глазами юного адепта науки, рвущегося открывать фундаментальные законы природы, а трезвым взглядом молодого специалиста, из личных соображений выбравшего один из известных ему научно-исследовательских институтов в качестве будущего места работы. Чем занимается младший научный сотрудник НИИ пластмасс и композитов, пришедший после вуза на работу в одну из лабораторий? Может быть, сидя за компьютером, он планирует некие грандиозные эксперименты, призванные совершить переворот в избранной им области науки? Смешно даже предполагать такое. Если он о чем-то подобном и задумывается, то лишь в свободное от служебных обязанностей время, а по долгу службы он будет – получив от своего шефа *научную тему* – изо дня в день смешивать определенные компоненты в различных пропорциях и определять по стандартной (и, возможно, технически сложной) методике прочность, упругость, гибкость, прозрачность (или что ему там было поручено?) образовавшегося в результате реакции материала. Через энное количество лет такой – обезьяньей, прямо скажем, – работы он сможет сделать вывод об оптимальном составе разрабатываемой пластмассы, обладающей минимальным удельным весом при заданной прочности, и получит от начальника «добро» на оформление соответствующей диссертации. Защитившись же и сам став шефом, он и этого делать не будет, ну а, когда он станет, в конце концов, доктором наук и завлабом, его заботы в течение рабочего дня и вовсе станут неотличимы от забот сменного мастера на заводе: вопросы финансирования, снабжения, согласования со смежниками, оформление планов, отчетов, склоки между сотрудниками, соблюдение техники безопасности и тому подобные проблемы будут занимать девяносто процентов его рабочего времени (и на девять десятых определять *научную продуктивность* возглавляемой им лаборатории). И если он не забудет про планировавшиеся в молодости эксперименты, то заняться их обдумыванием он сможет лишь в то время, которое останется от ежедневных хлопот, – да и то сказать, зачем ему теперь эти детские мечтания: он и так уже заслуженный деятель науки. Ну и где здесь место накопленным в вузе теоретическим знаниям? Большинство из них будет благополучно забыто, а если что-то и понадобится, то всегда можно будет открыть учебники и разобраться в пропущенном при обучении в вузе разделе – не так уже часто это будет и необходимо.

Толковый, прочно стоящий на земле студент легко поймет суть обыденной научной работы после того, как побывает на практике в одном из научных учреждений, и дополнит свои впечатления в разговорах с приятелями, закончившими вуз на пару лет раньше его. Ничего

---

[240] Как вспоминает В.Сойфер, учившийся в Тимирязевской академии во времена наивысшего влияния *мичуринской биологии*, среди студентов этого вуза был определенный интерес к классической генетике. Он сам и два его приятеля даже перешли на физический факультет МГУ, чтобы в дальнейшем заниматься научными исследованиями в области биофизики. Но, пусть даже количество таких активных студентов было в десять раз больше, в любом случае они составляли лишь незначительный процент всех обучавшихся в то время в академии.

эзотерического и связанного с парением в горних сферах работа в НИИ не предполагает, а потому ей может заниматься любой, кто получил соответствующий диплом. И в этом нет ничего удивительного. Чем, собственно говоря, работа на импортном газо-жидкостном хроматографе последней модели (а хоть бы и на адронном коллайдере) принципиально отличается от работы на современной промышленной стиральной машине? Есть инструкция, делай всё по ней, и получишь то, что требуется. Естественно, для успешной работы на хроматографе нужны определенные навыки, ну так они во всякой работе нужны. И что мы так прицепились к этому хроматографу? Если твоя научная работа будет заключаться в создании новых моющих средств, то и работать ты будешь на той же стиральной машине. Так что и наука сегодня делается, в основном, руками самых простых обыкновенных специалистов, которым незачем забивать себе голову различными теоретическими тонкостями.

Но, в значительной мере, это было уже так и в тридцатые годы. Вспомним Лысенко и его опыты с сидерационными культурами. Какая теоретическая подготовка требовалась от младшего специалиста, чтобы выполнять полученное от начальства задание? Умение читать, писать и считать до тысячи… да, еще навыки обращения с термометром – вот, пожалуй, и всё. И, в конце концов, получилась вполне пристойная научная работа, которую можно было опубликовать и доложить на всесоюзном съезде. Но ведь функции младшего специалиста в этом случае мог бы выполнять и совсем неграмотный *дід Денис*. Именно об этом говорил Лысенко в своей речи перед Сталиным. *При чем тут Дарвин,* – так можно понять его слова. – *Хорошо, конечно, знать, кто такой Дарвин, но это так далеко от реальной научной работы, в ней эти высокие материи вовсе не требуются.* И Лысенко не слишком грешил против истины, ведь не один он был таким – в научных учреждениях успешно работали тысячи специалистов, так же, как наш герой, закончивших заочные отделения сельхозинститутов и по уровню теоретической подготовки мало от него отличавшихся. Сама организация научных исследований, при которой проблемы ставились не перед отдельными учеными, а перед большими, построенными по образцу промышленного производства коллективами, приводила к тому, что основная масса функций в таких коллективах могла выполняться работниками, не имевшими серьезных теоретических знаний. Это было общеизвестно, хотя в научной среде и не принято было об этом вспоминать. А раз так, то этот факт не мог остаться неизвестным и для тех студентов, которые готовились стать очередным пополнением научного сообщества. Их и подбадривал Лысенко, обращаясь к тем, кто подобно ему *гимназиев не кончал* и тем не менее собирался заниматься наукой: *Не бойсь, ребята! И для вас может найтись в советской науке теплое местечко. Не в Дарвине дело!*

И теперь, разобравшись со студентами и их вузовскими наставниками, надо обратить, наконец, внимание на тех *младших, средних*, а может быть, и на *старших специалистов*, которые после рабфаков и вузов пошли работать в научные учреждения, подведомственные ВАСХНИЛ и входившие в возглавляемую Вавиловым отрасль отечественной науки. Они составляли основную массу членов рассматриваемого нами научного сообщества, и, естественно, оказались в поле зрения исследователей, занимавшихся феноменом лысенковщины. Мнение писавших о их роли в распространении *мичуринского* поветрия достаточно единодушно.

> Феномен лысенкоизма – политический, возник он задолго до появления на политической сцене самого Лысенко. В пору становления советской власти, в период создания Лениным и Сталиным «красной интеллигенции», «красных спецов» были заложены условия и для зарождения лысенкоизма[241].
>
> …именно в системе Сахаротреста зародилось течение, которое спустя несколько лет, разрастаясь и давая метастазы подобно раковой опухоли, получило название «мичуринской агробиологии и советского творческого дарвинизма». Приходится признать, что недостаток специалистов, возникший в начале 20-х годов и связанные с

[241] Сойфер В.Н. Красная биология. Псевдонаука в СССР. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1998, с. 22

этим снижение их квалификации, равно, как упор на прикладные, узко прагматические аспекты при поспешной подготовке кадров будущих семеноводов и селекционеров не прошли абсолютно бесследно. Они создали достаточно благоприятную интеллектуальную среду для возникновения и первоначальной экспансии этого направления «пролетарской науки»[242].

…в науку хлынул поток недоучек. Скороспелые выдвиженцы, подчас энергичные и честолюбивые, не понимавшие и не хотевшие понимать сложности науки (это касается не только генетики, но и статистики, опытного дела), и составили армию, которую Лысенко возглавил и двинул против «буржуазных ученых»[243].

…за спиной Лысенко уже стояла наготове армия специалистов-биологов советской генерации – в массе своей малограмотных, зато самодостаточных и без царя в голове. То, что говорил Лысенко, было им понятно, зато профессора-биологи буржуазной выучки были излишне образованы, а потому раздражали[244].

Несмотря на различные оттенки этих суждений все они сходятся в главном и подчеркивают малограмотность, необразованность новой генерации специалистов, заполнивших научные учреждения агробиологического профиля в двадцатые и тридцатые годы. Именно на необразованности основывалась их поддержка *мичуринской биологии*. Если я правильно понимаю внутреннюю логику этих высказываний, связывающих широкое распространение лысенковской «теории» с тем примитивным пониманием биологических проблем, которое господствовало среди новоиспеченных специалистов, то связь эта была обусловлена тем, что сам Лысенко по социальному происхождению и по уровню образованности был одним из таких специалистов, отсюда и общность их «научных» взглядов на проблемы генетики и прочие затрагиваемые *мичуринской биологией* вопросы – Лысенко с высоких трибун говорил именно то, что думало молчащее большинство. И оно поддержало выразителя своих взглядов.

Не отрицая того, что ощущение общности «по крови»» с Лысенко, а, главное, противопоставление себя тем высокообразованным «старорежимным профессорам», которые выступали против *мичуринцев*, играло важную роль в поддержке Лысенко со стороны *младших специалистов* такого рода, я все же поставил бы на первое место другой фактор, имеющий более рациональную основу. Я хочу сказать, что малообразованный и занимавший нижние ступеньки научной иерархии слой специалистов высказался в массе своей за *мичуринскую биологию*, потому что им это было выгодно. Их логика была проста: если *теория Лысенко* полезна (а ей надо было присвоить высшую степень полезности, так как она была полезна не кому-то, а лично им), значит это *правильная теория*. В отличие от вавиловских высокоумных бредней, от которых им никакой пользы не предвиделось – скорее такие теоретические измышления могли оказаться рогатками на их жизненном пути. Выбор их был прост и рационален.

В своем точном суждении о массовой поддержке Лысенко в научной среде С.И.Романовский употребил выражение *без царя в голове*, вероятно, имея в виду отсутствие у описываемых субъектов ясной и продуманной системы теоретических взглядов. И хотя с этим спорить не приходится, но тем не менее, мыслили они, как мне кажется, четко, ясно, логично и *царь в голове* у них был – как давно было сказано, *этот царь беспощаден, голод названье ему. …Он-то согнал сюда массы народные*… Большинство этих людей пришло в науку не из склонности к построению теоретических конструкций и не из желания активно участвовать в научных экспериментах – привел их сюда не поиск истины, а поиск заработка. Они взялись за эту работу, потому что за нее платили. Плохо ли, хорошо ли, но эта работа давала возможность как-то прокормиться, что уже само по себе было достижением в годы массовой безработицы. Мы уже обсуждали этот вопрос, когда решали, почему Лысенко стал научным работником, будем считать, что и в этом он мало отличался от общей массы *младших специалистов*. Они

---

[242] Глазко В.И., Чешко В.Ф. Август – 48. Уроки прошлого. (Научное киллерство, к истории советской генетики, к феномену распада СССР). М.: РГАУ–МСХА, 2009.

[243] Захаров-Гезехус И.А. Лысенковщина // Газета «Биология» (Изд. Дом «1 сентября»), 2004, № 20

[244] Романовский С.И. Притащенная наука. СПб.: Издательство СПБУ, 2004, с. 181

были *простые люди* – работящие, не склонные напрасно тратить время на разговоры, упорные, привычные к трудностям, не поддающиеся иллюзиям и настроенные на достижение конкретных результатов на том пути, который уготовала им судьба. Наука не была для них призванием, она была местом их работы и средством достижения благополучия. Я думаю, что они – в массе своей – трезво оценивали свои перспективы карьерного роста в непривычной (и во многом чуждой им) научной среде и не тешили себя несбыточными мечтами. Ясно было, что профессорами смогут стать лишь очень немногие из них – не тот был у них уровень старта. Но они могли быть довольны и теми возможностями, которые были для них вполне реальны: от босоногого деревенского хлопчика до шествующего на работу в костюме-тройке преподавателя сельхозинститута в областном центре или до старшего специалиста, заведующего отделом сортоиспытательной станции, с которым сам первый секретарь райкома здоровается за руку, дистанция гигантского размера, но они уже прошли три четверти (а то и четыре пятых) этого казавшегося непроходимым пути и имели реальные шансы добиться желанного положения в обществе и сопутствующего ему материального положения. Такие планы были основной целью их жизни, и следовательно, базой для всех их жизненных установок и оценок. Я думаю, что именно с этой точки зрения они приглядывались к внезапно откуда-то вынырнувшей *мичуринской биологии*: может ли она способствовать достижению их целей или станет для них дополнительной преградой.

Когда мы вслед за большинством исследователей лысенковщины предполагаем, что малообразованная масса научных сотрудников тех лет симпатизировала Лысенко как социально близкому для них типу советского ученого, мы вряд ли далеко отклоняемся от реальности – такие симпатии и антипатии кажутся вполне естественными и возникающими сами собой. Но делать из этого вывод, что поддержка Лысенко базировалась на такого рода чувствах, будет, на мой взгляд, чрезмерным упрощением реального процесса. Люди, о которых мы говорим, происходили из несклонной к сантиментам крестьянской среды и были воспитаны суровым временем, в условиях войны, разрухи и жесточайшей борьбы за элементарное выживание. Всё, что мы о них знаем, свидетельствует в пользу того, что в своих решениях и поступках они были трезвы и прагматичны – вероятнее предполагать в них предельный практицизм, нежели податливость каким бы то ни было чувствам.

Почему герой Зощенко воспевал в своих творениях *тучки* и *бычков* – потому что их любил? И действительно, разве не мог он с умилительным чувством вспоминать далекие теперь от него картины сельской природы? Что в этом может показаться неестественным? Мог, конечно, но не это было причиной его выбора *тучек* в качестве объекта поэтических переживаний. Он был достаточно сообразителен, чтобы почувствовать, что творчество в русле «крестьянской поэзии» для него – с его происхождением и биографией – единственный путь, дающий некоторые шансы на внимание со стороны редакторов литературных изданий. Ему не откажешь в определенной сообразительности и крестьянском затаенном хитроумии. Правда, как мы видим из рассказа, фортуна ему не улыбнулась, и поэтом ему стать не удалось. Однако его расчеты были вполне рациональными и базировались на верной оценке ситуации.

Но ведь во многих отношениях зощенковский *Иван Филиппович* – родной брат рассматриваемых *младших специалистов*, и так же, как они, пытается освоить далекое от его привычной жизни поэтическое искусство. Предположим, что ему удалось бы пробиться в ряды многочисленных «крестьянских поэтов» и регулярно публиковать свои опусы, получая за них какие-никакие гонорары. Можно ли сомневаться, что в таком случае новоиспеченный «поэт» будет обеими руками голосовать за любую теорию поэзии, отвергающую рифмы, поэтические размеры и знаки препинания. И неважно даже, по какой причине они будут отвергнуты: то ли, как формы стихосложения, *уже устаревшие и отброшенные передовой европейской поэтической практикой,* то ли же как изыски, *свойственные «буржуазной поэзии» и непригодные для современных рабоче-крестьянских поэтов*? И понятно, что выбор *Ивана Филипповича* и ему подобных творцов будет определяться не их поэтическими пристрастиями (да и можно ли предполагать их наличие у *Ивана Филипповича*?), а трезвым расчетом – в

конечном итоге, той выгодой, которую должно принести его «творчеству» распространение такой теории (непринципиально, какой именно из них – главное, что обе они против рифм) среди литературной общественности, включающей журнальных редакторов.

Но аналогичный расчет должен был, мне кажется, руководить поступками и тех членов научного сообщества, которые решали для себя, признавать ли *правильной* новую теорию или ее отвергнуть. *Мичуринская биология* была для них *правильна*, потому что она убирала с дороги малограмотных специалистов дополнительные труднопреодолимые препятствия – Лысенко объявлял все эти неумещающиеся в голове *пенетрантности, кроссинговеры и методы наименьших квадратов* несущественной чепухой, и тем самым уравнивал по степени образованности *младших специалистов* с их начальниками, окончившими в свое время гимназии и университеты. В рамках *мичуринской биологии* отличия между теми, кто разбирался в генетике и подобных сложных вопросах современной биологии, и теми, кто про них даже не слышал, теряли всякое значение[245]. Так как же они могли не поддержать Лысенко? Это было бы крайне неразумно с их стороны. И совершенно неважно, верили ли рассматриваемые нами специалисты в истинность неоламаркизма и ложность неодарвинистских взглядов (скорее всего поверили бы, если бы кто-то удосужился растолковать им разницу между этими течениями), не об истинности той или иной теории шла речь – *мичуринская биология* была им полезна и, следовательно, это была *правильная теория*. Как только *специалисты* осознали, что идущие *генетические дискуссии* между *мичуринцами* и правоверными генетиками имеют предметом не высокоумные абстракции вроде *линейного расположения генов в хромосомах*, их ни в малейшей степени не интересовавшие, а что речь на этих *дискуссиях* идет об освобождении их (всех вместе и каждого в отдельности) от *ига биологической грамотности*, они дружными колоннами перешли в лагерь *мичуринцев*, чья «теория» обещала им несомненную пользу. Раскол научного сообщества, о котором загодя сообщала газета «Правда», перешел в открытую фазу и стал очевидным. При этом большая часть членов сообщества либо открыто заявляла о правоте Лысенко, либо молчаливо ему сочувствовала. Мы должны признать, что истина оказалась на стороне ОГПУ и выдуманного мною *мичуринского идеолога*, указывавшего на существование в недрах внешне благополучного и монолитного научного сообщества запроса на его коренную реконструкцию и предрекавшего раскол, вызванный появлением *мичуринской биологии*, которая отвечала на уже назревший запрос широких научных масс и актуализировала скрытую до тех пор тенденцию развития советской науки. Здесь стоит, по-видимому, еще раз подчеркнуть, что террор и запугивание не играли существенной роли в определении своей позиции *младшими специалистами* – они действовали в согласии с собственными интересами, и принуждать их к голосованию за *мичуринскую программу реформ* не было никакой необходимости.

После нашего рассмотрения мотивов тех, кто перешел на сторону нагло напирающих и чувствующих за собой мощную поддержку государственной власти *мичуринцев*, может создаться впечатление, что раскол научного сообщества произошел, фигурально выражаясь, в *горизонтальной плоскости*: за *мичуринцев* были, в основном, *научные низы*, а против них выступала *научная верхушка*, имевшая высокие научные звания и занимавшая ключевые руководящие посты в научных учреждениях. Можно было бы предположить, что не способные понять классическую генетику *низы не хотели* далее терпеть ее притязаний на всеобщее признание и усвоение, а гораздо более образованные и понимавшие истинность генетики *верхи не могли* сдержать напора малограмотных научных масс – это и привело к

---

[245] Допустим, что вы способны написать стихотворение *шестистопным ямбом с цезурой после третьей стопы*, а я не знаю, что такое *ямб*, – но какое это может иметь значение, если мы оба пишем верлибром, как и требуется от современных поэтов? Но точно так же ваше отличие от меня, не знающего, когда жил Пипин Короткий, потеряет всякий смысл, как только мы с вами признаем правильность «теории» Фоменко. А кстати, *вы* можете ее и не признавать, достаточно будет и того, что *я* ее признаю, – после чего все ваши нападки на мою *вопиющую безграмотность* (с вашей точки зрения) будут отскакивать от меня как от стенки горох.

распространению и доминированию бессмысленной по существу *мичуринской биологии*. Однако такая простая и наглядная картинка не находит подтверждения в реальности: на деле раскол научного сообщества произошел снизу доверху (в *вертикальной плоскости*) и на стороне *мичуринцев* оказались многие ученые, вполне способные понять, что истина на стороне классической генетики, а *мичуринская генетика* – не более, чем кустарная поделка деревенских умельцев, не имеющих даже элементарных познаний в этой области. *Верхи* состояли отнюдь не из одних Вавиловых, Сапегиных, Деревицких и прочих лиц, озабоченных истинностью проповедуемых биологических теорий, значительную часть образованной верхушки научного сообщества составляли, как выяснилось на деле, те ученые, у которых, по-видимому, были достаточно серьезные мотивы поддержать – вопреки истине – ту заведомую ахинею, которую провозглашали Лысенко с Презентом. Но я не хочу здесь разбираться с их предполагаемыми мотивами и отложу решение этой проблемы до следующего раздела. А пока что мы будем исходить из того, что значительная – в количественном отношении – часть научного сообщества, действуя из соображений пользы, высказалась за *мичуринскую биологию*.

И здесь мы вплотную подходим к центральному моменту рассматриваемого нами противостояния Вавилов – Лысенко. Можно сказать, я для того и затеял свое исследование феномена *мичуринской биологии*, чтобы разобраться с глубинной подоплекой этого противостояния. Но прежде, чем перейти к непосредственному обсуждению интересующей меня проблемы, отвлечемся и еще ненадолго вернемся к попавшим в центр нашего внимания малограмотным *младшим специалистам*.

Я хочу еще раз зафиксировать в сознании читателя тот основополагающий факт, что люди, о которых мы взялись судить, были – в массе своей – честными тружениками и, высказавшись за *мичуринскую биологию*, они продолжали честно работать и старательно выполнять свои должностные обязанности. Они были приблизительно такими же, каким был и сам Лысенко до встречи с Вит.Федоровичем и появления статьи в «Правде». Однако после этого Лысенко, открывший для себя *основной закон советского управления общественными процессами*, быстро переквалифицировался в махрового жулика, в то время как они – прочие *младшие специалисты* – остались прежними, и считать их, наряду с Лысенко, жуликами и халтурщиками было бы грубой методологической ошибкой. Ничего подобного они за собой не чувствовали. Чтобы нагляднее изобразить, как они оказались в одном стане с откровенным жульем, воспользуемся прозрачной аналогией.

Предположим вы – *младший специалист* опытной станции и занимаетесь оценкой урожайности нового сорта овса в зависимости от глубины вспашки (или сравнением чувствительности двух разновидностей пшеницы к заражению мучнистой росой, или разработкой нового метода чеканки хлопка[246] – суть ваших занятий нам здесь абсолютно не важна). Рядом с вашими делянками находятся делянки таких же, как вы, младших специалистов, каждый из которых занят своим порученным ему делом. Все вы – младший научный персонал станции – в общем и целом, одинаковы, но среди вас есть один специалист, являющийся членом партии «Единая Россия». Вас этот факт мало волновал бы, поскольку вы не особенно интересуетесь политическими теориями и не ломаете себе голову над тем, как *Россия должна вставать с колен* и *стоило ли ей вступать в ВТО*, справедливо полагая, что ничего путного вы лично посоветовать в этом плане не можете, но дело в том, что членство в партии заметно выделяет данного субъекта из рядов прочих младших специалистов. Он пользуется всегдашней благосклонностью вашего начальства, он чаще других получает премии и путевки в санатории, первым стоит в очереди на квартиру, его статьи чаще появляются в ведомственных сборниках, фотография его красуется на доске почета рядом с фотографией главного бухгалтера, ему вне очереди выделяется техника для обработки его делянок и так далее. Пока среди вашего начальства существует нерушимое единство взглядов на необходимость предпочтения, отдаваемого членам признанной в масштабах государства

[246] Употреблю еще раз это залихватски звучащее и таинственное для меня по смыслу выражение.

партии, вы не особенно над этим задумываетесь – пусть такое положение и несправедливо, но оно общепринято, и не вам с этим спорить. Однако, когда на очередном производственном собрании ваш научный руководитель произносит речь о том, что партия «Единая Россия» ведет нашу страну в тупик, а политическая теория, которой она руководствуется, ошибочна и порочна в своей основе, вы с большим интересом прислушиваетесь к тому, что он говорит. Когда же он заканчивает свою критику выводом о том, что всякие преференции членам этой партии должны быть немедленно отменены и что любые поощрения сотрудников должны соответствовать их реальным производственным достижениям и не принимать во внимание политические теории, ими исповедуемые, вы с большинством прочих младших специалистов провожаете оратора с трибуны дружными аплодисментами и долго еще потом обсуждаете в курилке, *как он им здорово врезал – крыть-то им нечем было*. Следовательно, можно без натяжек утверждать, что вы – и основная часть научных сотрудников вашей станции – встали в ряды противников политической теории, которую защищает партия «Единая Россия». И никакого значения не имеет, что вам по-прежнему остается практически неизвестным содержание этой самой теории (как и содержание конкурирующих с ней теорий). Да и зачем вам это знать, когда вы видите, что опровержение указанной теории и лишение партии бывшего у нее (и как оказалось, незаслуженного) авторитета ведет к правильным выводам и соответствует вашим притязаниям на справедливое распределение благ.

Но ведь именно так выглядела ситуация с высшим биологическим образованием с точки зрения младших специалистов, в силу многих причин не получивших оного. Вероятно, они не стали бы внутренне протестовать против предпочтения, оказываемого в науке лицам с основательными познаниями в области генетики и прочих общебиологических дисциплин, если бы знание всех этих кроссинговеров (*ну и словечко, не выговоришь с первого раза*) и прочих генетических премудростей приводило бы к лучшим результатам в повседневной экспериментальной работе. Но ведь этого не было. И если такой высокообразованный биолог мог при случае ввернуть в свою статейку пару таких иностранных слов, это никак не влияло на понимание тех процессов, которые изучались в эксперименте. Такие слова и фразы лишь демонстрировали глубокие познания автора в генетике и служили «бантиком», украшающим его поневоле примитивное обсуждение результатов опытов. Никакой серьезной теории тех процессов, результаты которых интересовали селекционеров, растениеводов, животноводов, пчеловодов и прочих исследователей, не существовало, и знание генетических законов практически ничем тут не могло помочь. Знаешь ли ты назубок все три закона Менделя или зазубрил как «отче наш» высказывания Лысенко о «расшатывании наследственности», это ни на йоту не может увеличить урожаи на твоих делянках. Но тогда, каково же преимущество классической генетики перед мичуринской? В чем проявляется ее истинность? А самое главное: почему в таком случае мы, не сумевшие освоить на должном уровне генетику, считаемся исследователями второго сорта и вынуждены во всем уступать дорогу тем, кто ее хорошо знает? Где здесь логика и где здесь справедливость? Ну да, ты умеешь вовремя ввернуть слово *кроссинговер*, а я умею играть на баяне «По долинам и по взгорьям», но можно ли на этом строить выводы о том, кто из нас лучший пчеловод? Мы видим, что такой взгляд на проблему обнаруживает наличие у младших специалистов своей правды, которой трудно отказать в солидной обоснованности. У них были свои резоны поддерживать Лысенко и – что важно – они могли пойти на этот шаг, не теряя внутренней уверенности в его справедливости и совместимости с честной работой в своей науке.

А теперь посмотрим, откуда они – эти малограмотные научные низы – взялись в таких количествах, что их мнение стало играть значимую роль в определении путей развития отечественной науки. Мы согласились, что у них была своя правда, которую они вправе были защищать, но не надо забывать, что и у нас – рассуждающих на эту тему – есть своя правда, причем частью нашей правды является знание о том, что позиция таких малограмотных научных сотрудников способствовала удушению отечественной науки и замещению ее *советской наукой*.

Исходной и, по-видимому, основной причиной наплыва в научные учреждения лиц с формально высшим, но фактически чрезвычайно низким уровнем образования было перепроизводство дипломированных специалистов в двадцатые годы. В нашей стране диплом о высшем образовании прочно ассоциировался с высоким социальным статусом и материальным благополучием. Лиц, имевших интеллигентные профессии, было относительно мало, и несмотря на цивилизационную отсталость страны и, соответственно, на малое число рабочих мест для лиц со специальным образованием, всякий, окончивший университет или образовательное учреждение, к нему приравненное, мог рассчитывать на достаточно высокий уровень жизни и различного рода социальные преимущества. Расширение этого круга лиц сдерживалось малым количеством вузов в стране и сложностью поступления и обучения в них, так что ни о каком перепроизводстве образованных специалистов речь идти не могла, и считалось, что развитие страны тормозится их нехваткой. Однако, профессиональные корпорации, объединявшие врачей, инженеров, агрономов и прочие группы интеллигенции, не были заинтересованы в бурном росте количества своих членов и – как и во всем мире – разными способами притормаживали появление своих новых коллег, способных увеличить конкуренцию и ухудшить условия на их достаточно узком рынке предложения профессиональных услуг. Я не хочу сказать, что чеховский *Ионыч* стал бы возражать против расширения сети медицинских факультетов в России – дипломированных врачей в России явно не хватало, и основная масса населения страдала от недостатка квалифицированной медицинской помощи. Врачи были нужны, но появись в том городишке, где практиковал чеховский герой, еще два-три молодых врача, можно не сомневаться, старый, уже окопавшийся на этом месте врач и его коллеги по профессии стали бы возмущаться тем, что *эта нахальная, еще ничего не знающая и не умеющая молодежь* в борьбе за место под солнцем прибегает к демпингу и, резко снижая цены на медицинскую помощь, перебивает клиентуру у своих опытных и заслуженных коллег, которые, собственно, и приучили обывателей этого сонного царства обращаться в случае необходимости к врачу, а не в церковь или к знахарям. *Пусть устраиваются в земскую бесплатную больницу или едут в деревню и набираются там знаний и опыта, а уж потом им можно будет претендовать на то, чтобы заменить нас*. Ясно, что мнение *Ионычей* не могло непосредственно повлиять на количество специалистов, ежегодно оканчивавших медицинские факультеты и академии, но, будучи широко распространенным в профессиональной среде, оно способствовало созданию системы, которая строго фильтровала поток желающих получить диплом врача и право на врачебную практику. В этом огромную роль играл высокий уровень требований к качеству знаний специалиста. Обучение в университете было сложным, предполагавшим солидную предварительную подготовку в объеме гимназического курса, и не всякому удавалось пройти его до конца[247], но зато те, кто получал дипломы о высшем образовании, были глубоко и разносторонне образованными специалистами, способными самостоятельно разбираться в любых проблемах в своей области знаний. Может быть, не стоит излишне обольщаться относительно объема познаний и широты кругозора *Ионыча* и других представителей дореволюционной интеллигенции – всякое, наверное, бывало, и в рассказах того же Чехова можно найти немало мимоходом упомянутых деталей, которые должны предостеречь нас от чрезмерной идеализации врачей, агрономов или судебных следователей тех времен. Однако совершенно невозможно предположить, что окончивший курс и признанный полномочным специалистом агроном дореволюционной выделки мог остаться в неведении относительно

[247] Как пишет А.И.Аврус: «Из поступавших в срок заканчивала учебу незначительная часть. В СПУ ежегодно принимали более 1 тыс. студентов, а выпускали лишь третью часть» (Аврус А.И. История российских университетов. Очерки. М.: Московский общественный научный фонд, 2001). Конечно, такой гигантский отсев учащихся был в основном обусловлен тяжелым материальным положением, в котором находились многие студенты, но и высокие требования к качеству обнаруживаемых на экзаменах знаний играли в этом немаловажную роль.

того, чем прославился знаменитый Дарвин, или не знать, что такое *клейковина* и как ее содержание связано с качеством зерна[248].

Ситуация с возможностями приобретения высшего образования (а точнее, получения диплома о нем) резко переменилась после революции. Количество желавших стать врачами и инженерами и тем самым приобрести высокий социальный статус было огромным, и власть, провозглашавшая себя рабоче-крестьянской, не противилась этому напору. Знание, которое эксплуататорские классы превратили в своеобразный социальный капитал, должно было стать доступным для простого народа. Высшее образование перестало быть социальной привилегией – учиться мог каждый, кто высказывал такое желание.

> Декрет СНК РСФСР от 2 августа 1918 г. «О правилах приема в высшие учебные заведения» отменил вступительные испытания, плату за обучение и социальные ограничения для абитуриентов. Согласно декрету, «каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения без предоставления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы»[249].

Естественным образом это привело к появлению множества новых вузов, которые открывались даже в некоторых уездных городах, и возникновению бесчисленных новых факультетов и кафедр в уже существующих университетах. И все эти вузы были переполнены разнородной массой молодежи, твердо настроенной получить заветный диплом.

> …в Саратовском университете на 1 января 1917 г. было 1072 студента… на 1 января 1918 г. - 2250 студентов, на 1 января 1919 г. - 10242 студента… Такой наплыв студентов вызывал серьезные затруднения: не хватало аудиторий и занятия проходили в 2 - 3 смены, многие студенты были неподготовлены к слушанию университетских лекций и оказывались совершенно беспомощны, когда дело доходило до лабораторных и семинарских занятий. Попытки профессорско-преподавательского состава провести проверку знаний вновь набранных студентов власти расценили как антисоветские действия и саботаж[250].

В Петроградском университете, как сообщает тот же автор, число студентов увеличилось с 4325 в 1917/1918 учебном году до почти 20 тысяч к 1 июля 1919 года. Ясно, что подавляющая масса поступивших в вузы была совершенно не подготовлена и не способна воспринимать знания, предлагаемые высшей школой. Так как в самый краткий срок это стало очевидным, власть нашла выход из положения в организации рабфаков – подготовительных отделений вузов, на которых не имевшие среднего образования «пролетарии» с путевками от партийных, комсомольских и прочих ответвлений большевистской власти должны были получить хотя бы начатки знаний, необходимых для обучения в вузе[251]. Эта вынужденная мера несколько

---

[248] Сойфер приводит в своей книге публичное высказывание Лысенко, вещавшего о том, что ученые должны не учить колхозников, а учиться у них, и приоткрывшего при этом свое глубочайшее невежество: «Значительное увеличение в зерне пшеницы процента белка дает более вкусный и питательный хлеб. Это очень важное явление. Всего этого, до получения колхозных образцов, я не знал. А теперь это... является одной из проблем, в сути которой мне предстоит разобраться, -- иначе какой же буду исследователь и руководитель Института».

Комментируя это ошеломительное признание академика ВАСХНИЛ, в течение многих лет руководившего выведением новых сортов пшеницы, Сойфер пишет: «Истину эту открыли вовсе не колхозники, а ученые -- притом за несколько десятилетий до этого. Человеку не знавшему элементарной зависимости свойств клейковины (а, значит, и свойств выпекаемого хлеба) от содержания белка не гордиться надо было такими ‘откровениями’, а стыдиться собственной безграмотности».

[249] Андреев Д.А. «Пролетаризация» советской высшей школы: 1921 – 1925 годы. // Известия РГПУ им. А.И.Герцена, 2007, т. 18, № 44

[250] Аврус А.И. История российских университетов. Очерки. М.: Московский общественный научный фонд, 2001

[251] «Первоначально срок обучения на рабфаках установили в 6 месяцев, но это оказалось явно недостаточно и его продлили до 2, а затем и 4 лет. Набор на рабфаки проводился только по

сгладила абсурдность ситуации, но изменить ее коренным образом было на этом пути невозможно: среди студентов преобладали малограмотные, а то и вовсе неграмотные молодые люди, которые при всем их старании не могли *большим скачком* перепрыгнуть пропасть между элементарным умением читать и писать и науками, преподаваемыми в университете. Если учесть, что вся эта «революция в образовании» происходила в ситуации всеобщего голода, войны и разрухи, то не приходится удивляться катастрофически низкому уровню знаний у *специалистов*, получавших образование в эти годы.

О судьбе отечественной высшей школы в пореволюционные и более поздние годы существует обширнейшая литература, из которой при желании можно извлечь немалое количество сведений, описывающих процесс деградации высшего образования в нашей стране. Но нам, для наших целей, такие дополнительные данные были бы избыточны. Уже приведенные немногочисленные цифры убедительно свидетельствуют о крахе отечественной системы высшего образования, которая до революции считалась вполне сравнимой с аналогичными социальными институциями передовых европейских стран. Как стройная и отвечающая за результаты своей работы образовательная система, отечественная высшая школа прекратила существовать, и ее хотя бы частичное возрождение растянулось на долгие десятилетия, в течение которых она продолжала штамповать дипломы своим полуграмотным выпускникам, не знающим, кто такой Дарвин, и имеющем крайне смутное представление о биноме Ньютона. Уже переступая порог вуза, подавляющее большинство отечественных [2]интеллигентов было, в общем и целом, готово стать *советским агрономом, советским врачом* или *советским юристом* – окончательную шлифовку своей социальной роли они получали на отведенных им рабочих местах.

Нет сомнений, что рассматриваемый процесс был в основе своей стихийным движением, обусловленным давним и жгучим стремлением широких масс «выйти из народа» и влиться в ряды интеллигентской «прослойки», – власти не требовалось инициировать его, достаточно было лишь убрать существовавшие до того ограничения, резко затруднявшие доступ представителей низших социальных слоев к высшему образованию[252]. Власть – на всех ее уровнях, – действуя в соответствии с идеологическим принципом «социальной справедливости» и ничего не имея против «экспроприации высшего знания» у представителей эксплуататорского меньшинства, довела тенденцию общедоступности знаний до явного абсурда и, по-видимому, не тяготилась полученными результатами[253]. Можно сказать, что движущими силами процесса, превратившего ранее живую и эффективную высшую школу в

направлениям райкомов РКП и комсомола, фабрично-заводских профсоюзных комитетов. К концу гражданской войны насчитывалось 74 дневных рабфака и 14 вечерних, на них обучалось несколько десятков тысяч человек» (Аврус А.И. История российских университетов. Очерки. М.: Московский общественный научный фонд, 2001).

Мы видим, что только система рабфаков превосходила по размерам всю систему дореволюционного высшего образования.

[252] То, что массовый наплыв учащихся в вузы не был одной из пропагандистских кампаний большевистской власти, а отражал реальные настроения масс, говорят данные, свидетельствующие об аналогичных процессах в сфере высшего образования на территориях, находившихся в тылу белых армий.

«…если в январе 1917 г. в Томском университете обучалось 1192 чел. (включая вольнослушателей), то в 1918 г. – 2845 чел., а в начале 1919 г. – 4945 чел. …В Томском технологическом институте численность студентов возросла с 479 чел. в 1917 г. до 903 чел. в 1919 г.» (Дмитриенко Н.М., Черняк Э.И. Образование и культура в Томске в годы революции и Гражданской войны // Современное историческое сибиреведение XVII - начала XX вв. Барнаул: Аз Бука, 2005).

[253] Можно предположить, что по ходу описываемой бурной «реформы высшего образования» выяснились те – скорее всего не запланированные заранее – свойства новой генерации *специалистов*, которые делали их очень удобным материалом для формовки нового *советского человека*. Так что шаг за шагом именно этот аспект совершаемых преобразований выходил на передний план и становился, в конечном итоге, основным мотивом действий власти в образовательной сфере.

руину, остатки которой действовали наперекор ее уставным целям и задачам, были власть, как собственница вузов и их управительница, и представители «народных масс», стремящиеся в ряды [2]интеллигенции. Но здесь нам важно подчеркнуть, что у данного процесса был и еще один соучастник, в не меньшей степени, чем власть и «народ», заинтересованный в том, чтобы события развивались в направлении, определившемся уже с самого начала. Таким соучастником была отечественная интеллигенция, которая, казалось бы, должна была резко выступить против осуществляемых властью «реформ», неминуемо ведущих систему высшего образования к очевидному краху.

Несмотря на некоторую парадоксальность описываемой реальности – приговоренные к повешению дружно и даже с энтузиазмом мылят предназначенные для этой цели веревки, – не стоит удивляться происходящему: позиция представителей «старорежимной» интеллигенции была вполне адекватной сложившимся в стране условиям, и можно считать, что у большинства из них не было другого выхода, кроме как приветствовать бурное разрастание вузовской системы и активно ему способствовать. Даже сейчас, зная к чему всё это привело, мы не можем отказать в разумности и логичности той, вероятно, вполне осознаваемой (ведь и тогда было ясно, каков будет результат) позиции, которую заняла отечественная интеллигенция в «реформе высшего образования». И речь здесь идет вовсе не о тех, кто пошел на соглашение с властью из соображений получения пайков и выживания ценой предательства интеллигентских идеалов. Я имею здесь в виду Вавилова, Сапегина, Кольцова, Деревицкого и прочих, время от времени упоминаемых нами и во множестве оставшихся неупомянутыми, представителей интеллигентского племени, которых мы справедливо считаем образцами [1]интеллигентов и истинными творцами отечественной науки в первой половине XX века. Разобравшись, насколько это нам под силу, с их мотивацией, вынудившей их участвовать в – прямо сформулируем – разгроме высшей школы, мы вряд ли сможем поставить им в вину это участие.

Если взять в качестве примера Н.И.Вавилова, о котором мы знаем немного больше, чем о других деятелях той поры, то как мы должны оценить его поведение в годы, когда он был профессором Саратовского университета и когда аудитории этого вуза были залиты бурным потоком из десяти тысяч недорослей, *достигших 16 лет* и желающих стать дипломированными специалистами? Мне кажется, что мы не ошибемся, если будем считать основным мотивом поведения Вавилова в эти годы желание сохранить, по возможности, хотя бы часть того научного и образовательного потенциала, который перешел в ведение новой власти, как наследство, оставленное ей царской Россией. Что мог сделать для этой цели человек с вавиловскими энергией, талантом и желанием послужить родному отечеству, не решившийся эмигрировать (или же, вернее, отказавшийся от такой возможности по неясным для нас причинам) и оказавшийся в ситуации, характерной для первых лет после революции?

Старый режим рухнул и лишил основания университеты, жившие на содержании у этого режима. Теперь средства для продолжения существования можно было ожидать только от новой власти, распоряжавшейся печатным станком и всеми в одночасье национализированными ресурсами страны – всё необходимое для жизни было в ее руках. И следовательно, от ее решений зависело, что будет в ближайшие месяцы и годы со всеми этими профессорами, ассистентами, приват-доцентами, служителями университетского вивария, анатомическим музеем, ботаническими, зоологическими и минералогическими коллекциями, фондами университетской библиотеки и всем прочим, что в сумме своей составляло кадровые и вещественные ресурсы российской науки. Если бы власть, по какой-то своей прихоти, не пожелала бы входить в нужды отечественных ученых – этой крайне незначительной категории подвластных ей граждан – и употребила бы сэкономленные на этом средства на поддержку мукомольной промышленности или на развитие клубной работы на селе (да мало ли было у власти забот – вся страна представляла собой бездонную дыру, куда можно было ухнуть любое количество ресурсов), то вся российская наука исчезла бы еще до конца 1918 года. Отечественная промышленность лежала в руинах, сельское хозяйство окуклилось в глухой

деревне, всячески отгораживающейся от города и «городских», торговля практически прекратилась, все прочие социальные ниши, где могли найти себе пристанище люди с высшим образованием, сузились до микроскопических размеров. Для интеллигента, предварительно обобранного до нитки конфискацией всего накопленного им в предыдущей жизни и ищущего себе хоть какой-то источник пропитания, оставалась лишь служба в растущих как грибы после дождя советских учреждениях, да и то этот путь был крайне ненадежным – конторы вовсе не нуждались в высокообразованных специалистах, и для служащих в них достаточно было элементарной грамотности и умения считать на счетах. Ситуация была ужасной даже на фоне бедствий, претерпеваемых в это время прочими слоями населения. Отечественная интеллигенция, бывшая до тех пор под патронатом государства, разом потеряла всякую опору в жизни и была обречена на разложение и уничтожение в самое ближайшее время. Те, кто, как Вавилов и близкие ему по духу коллеги, видел свою задачу в спасении интеллигенции и неразрывно связанной с нею отечественной науки, мог рассчитывать только на чудо. И это чудо явилось им в виде центральной правительственной газеты[254], в которой был напечатан *Декрет СНК РСФСР от 2 августа 1918 года*, возвестивший о радикальной реформе высшего образования.

«Пролетарское» государство, не стесняющееся оправдывать свою разрушительную деятельность интересами «народных масс», решило пойти в данном случае на беспрецедентное по масштабу удовлетворение одного из реально существующих в народе интересов и предоставить этому самому «народу» право на высшее образование. Как ни абсурдны выбранные властью средства удовлетворения народной потребности и как ни противоположен очевидный результат применения этих средств провозглашаемым целям «реформы», но выбранное властью направление действий дает реальную возможность спасти для отечества кое-кого из тех, кто, действительно, может принести пользу народу и, в конечном итоге, способствовать истинному повышению уровня народной образованности. После появления подписанного Лениным *Декрета* коллеги Вавилова по университету могут начинать переговоры с властью на принципиально новой основе: они не могут выжить без поддержки со стороны государства, но и власть нуждается в ученых, чтобы иметь возможность приступить к выполнению своих гигантских планов по созданию «пролетарской интеллигенции». *Вы желаете дать высшее образование всем желающим учиться,* – могут теперь сказать Вавилов с коллегами. – *Прекрасно. Мы целиком и полностью за это демократическое преобразование высшей школы. Но увеличение числа студентов требует выделения нам соответствующих ресурсов. Нам нужны деньги на зарплату сотрудникам, продовольственные пайки, гужевой и автомобильный транспорт, дрова и уголь, электроэнергия, керосин и прочее, включая охранные свидетельства, предотвращающие выселение наших сотрудников из занимаемого ими жилья, защиту от самоуправства различных советских учреждений и еще много всего другого, необходимого для выживания в условиях гражданской войны и разрухи. И, естественно, чем больше студентов запишется на наши факультеты, тем больше потребуется нам ресурсов. Если вы сможете предоставить нам необходимое, все мы – независимо от наших индивидуальных политических взглядов – готовы сотрудничать с советской властью и безо всякого намека на саботаж примемся за выполнение ваших планов. Мы считаем, что дело просвещения темной и отсталой России выше любых политических разногласий.*

Идя на такой – пусть вынужденный, но дающий шанс на сохранение отечественной науки – компромисс с большевистской властью, ученые, надо полагать, отчетливо понимали, к чему должен привести прием в вузы всех желающих независимо от уровня их предварительного образования. Университеты обречены были превратиться в некое отделение сумасшедшего дома, где даже подготовленным студентам было бы непросто чему-либо научиться. Однако такова была плата за сохранение кадрового и вещественного потенциала существовавшей до того науки, и в сложившихся обстоятельствах она не казалась непомерной. Даже сейчас, с

[254] «Известия ВЦИК», № 166, от 6 августа 1918 года.

нашей точки зрения, с которой легко увидеть, чем пришлось отечественной науке расплатиться за продление своего существования, мы вряд ли можем упрекать ученых той эпохи за неверно выбранный курс. Я думаю, нам придется признать, что массовое согласие ученых на проводимую властью дикую «реформу высшей школы» было единственным выходом из сложившейся ситуации – чтобы как-то перебраться через разверзнувшуюся перед ними пропасть, ученые вынуждены были пойти на беспрецедентную профанацию высшего образования и читать лекции по матанализу аудитории, в которой большинство нетвердо знало таблицу умножения. Как ни дико выглядело такое поведение преподавателей, с точки зрения эффективности их труда, но непомерно большое число студентов спасало систему высшего образования в целом. В тех специфических условиях всякий профессор, ставший бы противиться приему и обучению малограмотных «студентов», выглядел бы в глазах преподавательского коллектива человеком, пилящим сук, на котором они все сидят. Вряд ли такая оппозиция властному курсу могла бы встретить поддержку большинства университетских ученых.

Через несколько лет – в середине двадцатых годов – Вавилов и его единомышленники могли с удовлетворением констатировать, что избранный ими в 1918 году курс на сотрудничество с властью в деле проведения «реформы» дал, в целом, приемлемые результаты. Университетская наука – пусть с большими потерями, – но выжила и мало-помалу, преодолевая массу трудностей, развивалась. Вавилову удалось даже за эти годы создать работоспособный научный коллектив из молодых сотрудников, часть которых последовала за своим руководителем в Ленинград и продолжала быть его опорой на протяжении многих лет. Важным итогом вавиловского сотрудничества с властью можно, по-видимому, назвать его опыт налаживания контактов с теми из большевистского руководства, кто был настроен на государственную поддержку научных исследований и выделение крупных ассигнований на развитие сети научных учреждений. Идеологической подоплекой таких настроений в партийных кругах были официальные лозунги, провозглашающие, что «первое в мире государство рабочих и крестьян» строится коммунистами на строго научной основе и что на современном этапе развития общества наука становится непосредственной производительной силой.

Как согласовать эти лозунги с программой фабрикации десятков тысяч малограмотных «пролетарских спецов», никто особенно не задумывался: государственные функционеры потому, что они вообще не склонны задумываться над чем-то, имеющим отношение к содержанию принимаемых ими решений (*эччеленца, прикажите – и готово! можно переходить к следующим свершениям*), ученые, участвовавшие в выполнении такой программы, – потому, что с самого начала расценивали этот «образовательный брак» как неизбежное следствие переходного периода, возникшего вследствие смены государственной власти. Кроме того, та откровенная халтура, которой занимались преподаватели вузов в первые пореволюционные годы и которая низводила вузы до уровня фабзавуча, была впоследствии несколько умерена и приведена в более пристойное с виду состояние, поток *достигших и желающих*, хотя и не переставал постоянно бурлить и пениться (о чем, как мы знаем, заботились специально инструктируемые субъекты), был введен в какие-никакие берега, и его стихийные порывы дозировались согласно командам сверху – можно было, при желании, считать, что период ломки системы высшего образования закончился и появилась возможность более стабильной работы. В конце концов, грех, взятый на душу профессорско-преподавательскими коллективами вузов, не казался таким уж тяжким, особенно если учесть ради чего он был совершен. Всем было ясно, что инженеры и агрономы советской выделки в массе своей и в подметки не годятся тем, кто получал образование до революции, но так ли уж это было страшно? Власть хотела за свои деньги получить массу малообразованных работников, которых она могла бы считать новой пролетарской генерацией специалистов, идущей на смену буржуазной интеллигенции – она их и получила. Они, конечно, не могут заменить настоящих агрономов и инженеров, но даже такие «специалисты» нужны стране,

страдающей от хронического недостатка квалифицированной рабочей силы. Пусть этот выпускник медицинского факультета только называется врачом – по своему образованию он еле-еле дотягивает до фельдшера, но ведь его и не назначат руководителем инфекционного отделения губернской больницы, а пошлют в дальнее село, где люди не могут получить никакой медицинской помощи, пусть он работает там, как умеет, то есть, называясь врачом, работает как фельдшер. И это ведь совсем неплохо. Если он будет старательно и усердно трудиться, приобретать практический опыт, то разве не лучше иметь толкового фельдшера там, где все равно не было бы врача – откуда же его взять в нашей нищей и темной стране. И если выпускнику советского вуза, имеющему диплом инженера, нельзя поручать расчеты конструкций железнодорожного моста, то мастером смены или помощником прораба на строительстве этого моста он вполне может работать. А следовательно, профессора и преподаватели, обучавшие этих малообразованных «специалистов», трудились не совсем напрасно – нельзя сказать, что они лишь симулировали процесс обучения, чему-то они своих горе-студентов все же обучили, Хотя то образование, которое они получили на рабфаке и в вузе, и нельзя назвать *высшим образованием*, – это, без сомнения, подмена понятий – но разве так уж важно, как работник называется? Важно, что он делает. Пусть выпускники ранней советской системы высшего образования лишь «эрзац-инженеры» и «суррогат-юристы»[255], но и такие продукты образовательной системы способны в создавшихся условиях удовлетворять – в некоторых аспектах – потребность общества в настоящих инженерах и юристах, которых катастрофически будет не хватать при оживлении хозяйственной и общественной жизни. Так за что же нам винить Вавилова и ему подобных ученых, пошедших на компромисс с властью и отказавшихся (на время, как они считали) от своих прямых обязанностей, заменив *высшее образование* на некий расширенный аналог *фабрично-заводского обучения*?

Я не рискую утверждать, что Вавилов и его коллеги исходили в своих решениях из подобных соображений – мне не попадались воспоминания участников тех событий, в которых затрагивался бы столь деликатный и вряд ли приятный для мемуаристов вопрос. Но всё же, если судить по дальнейшей линии поведения Вавилова и его ближайшего окружения, мы должны, мне кажется, склониться к выводу, что результаты «вузовской реформы» его не разочаровали: он убедился, что людоедский характер новой власти не исключает возможности сотрудничества с ней. Идя навстречу пожеланиям власти и, естественно, кое-чем поступаясь при этом, можно было добиваться от нее существенных преференций для развития отечественной науки. Вся дальнейшая деятельность Вавилова в качестве организатора и руководителя науки, связанной с потребностями сельского хозяйства, указывает на то, что он был настроен использовать любые исходящие от власти установки и течения для укрепления позиций нашей науки и ее дальнейшего развития.

Не надо сегодня быть семи пядей во лбу, чтобы понять: курс, выбранный Вавиловым и подобными ему учеными, оказался ошибочным и привел, в конечном итоге, к катастрофе, постигшей отечественную биологию и захватившей практически все отрасли научных исследований. Дело всей его жизни рухнуло, и когда он ожидал смерти в тюремной камере, он не мог утешаться гордым сознанием того, что сделанное им переживет его и что, отдавая свой долг отечеству и любимой им науке, он внес весомый вклад в их развитие и будущее процветание. Конечно, я имею в виду не личные научные достижения этого замечательного ученого, а его научно-организаторскую деятельность, которой он в течение почти двух десятилетий отдавал львиную долю своей беспримерной энергии. Почти всё, что он сумел сделать для добра своей науки, было разрушено пришедшими ему на смену деятелями, и его «Вавилон» – как современники шутя называли его детище – был превращен в руины, порос бурьяном и превратился в пристанище шакалов. Всё это так. Но можем ли мы, ввиду столь печального итога деятельности Вавилова, поставить ему в вину грубую ошибку, допущенную

---

[255] Как в царской армии были звания *зауряд-поручика* или *зауряд-капитана*, которые получали лица, не имеющие соответствующего офицерского чина, но выполнявшие функции этих офицеров в связи с потребностями военного времени.

им в самом начале его трудов по превращению отечественной биологии в один из передовых отрядов мировой науки? Вопрос этот, на мой взгляд, очень сложен, запутан, и его стоит рассмотреть в разных аспектах.

И вначале попробуем решить более простую, как мне кажется, из проблем, связанных с вопросом о возможной вине Вавилова. Коренное заблуждение ученых – а Вавилов в этом отношении, вероятно, не отличался от всех прочих – заключалось в том, что они рассматривали свои взаимоотношения с властью как некий торг: власть нуждается в развитии промышленности и сельского хозяйства, увеличении вооруженности армии, других технических усовершенствованиях, повышающих могущество подвластной державы, а ученые, обладающие современными знаниями и методами, могут способствовать достижению этих целей, но нуждаются в определенных ресурсах, следовательно, между властью и учеными возможно взаимовыгодное соглашение – ученые получат деньги на развитие своей науки и будут работать над выполнением тех задач, которые поставит им власть. О верности этой схемы говорили не только простейшие рациональные соображения, но и опыт взаимоотношений с властью на протяжении двадцатых годов. Несмотря на все изгибы, выверты и перекосы «генеральной линии» власть вела себя, в общем и целом, так, как следовало из этой схемы. Я не могу привести никаких подтверждающих цитат или мемуарных свидетельств (да и можно ли на них надеяться – такие вещи вслух не говорились), но не сомневаюсь, что все планы Вавилова строились, в конечном счете, на его убежденности в рациональности высшей власти. Захватив власть в стране, большевики стали хозяевами всех ее материальных и людских ресурсов, а потому кровно заинтересованы в росте и развитии подвластного им хозяйства. Никакие идеологические завихрения в головах советских руководителей не могут отменить воздействия этого соображения. К чему бы ни стремилась власть, для достижения любых ее целей требуется развитие наличных производительных сил – следовательно, и науки, ускоряющей такое развитие. А потому власть – для своей же выгоды – будет выделять средства на развитие научных учреждений. Значит у ученых есть твердая позиция, занимая которую, они могут рассчитывать на достижение соглашений с властью.

Мы знаем, что такие – на первый, да и на какой угодно взгляд, безупречные – рассуждения оказались ошибочными, но можно ли винить Вавилова в этой ошибке? Мы уже касались этой темы, когда обсуждали позицию, занятую Вавиловым в яровизационной афере, и пришли к выводу, что было бы анахронизмом упрекать ученых того времени в подобном заблуждении. Мысль о том, что полновластный хозяин может быть абсолютно не заинтересован в результатах деятельности своего хозяйства, просто не могла придти им в голову. Надо было быть человеком другой эпохи, выросшим в «перевернутом» большевистском мире, чтобы увидеть этот несомненный – и даже очевидный – факт во всей его полноте, как это удалось И.Д.Константиновскому. Однако и теперь, через сто лет после большевистского переворота, когда опробованные большевиками способы управления завоевали практически весь мир, теория Константиновского воспринимается современными учеными как занятный интеллектуальный парадокс: *любопытный ход мысли у автора – возразить вроде бы нечего, но не может же так быть на самом деле, это же нонсенс*. Серьезные историки (не говоря уже о прочих социологах и политологах) не торопятся взять это положение за методологическую основу своих работ по советской истории – оно по-прежнему занимает в их умах ровно то же место, какое занимало пятьдесят лет назад, когда Константиновский излагал суть открытия своим хорошим знакомым. Но в таком случае мы должны расценить неведение Вавилова не как результат допущенной им ошибки (дескать, он, выбирая стратегию, должен был предусмотреть незаинтересованность власти, и если не предусмотрел, то в этом и виноват), а как трагическое заблуждение, которого он был не в состоянии избежать и которое привело к его гибели и к разрушению всего построенного им «Вавилона» сельскохозяйственной науки. Отсюда, на мой взгляд, следует вывод: курс Вавилова на соглашение с властью, выбранный им как единственное в тех условиях средство сохранять и развивать отечественную биологию, был вполне оправданным и разумным решением, и не его

вина, что это направление деятельности оказалось бесплодным и завело науку в безысходный тупик.

Однако существенно иначе выглядит научно-организационная деятельность академика, если посмотреть на нее «изнутри», то есть с точки зрения, расположенной внутри самой науки или, точнее, внутри научного сообщества, представительствующего в данный момент в данном обществе от лица вневременной и не привязанной к какому-либо социальному организму науки. Будем исходить из того, что [2]интеллигенция, составляющая исследуемое нами научное сообщество, является частью общественного «ума», и попробуем оценить, какое влияние оказала деятельность Вавилова и его соратников на состояние этого коллективного «ума». Я полагаю, что инициированный Вавиловым и пролоббированный его покровителем в правительственных верхах Н.К.Горбуновым взрывной рост числа научных учреждений агрономического профиля нарушил хрупкий баланс, удерживающий данное научное сообщество от неизбежного перерождения. И вот этот-то незапланированный, но несущий с собой вполне реальную угрозу результат ученые должны были предусмотреть заранее – все предпосылки для восприятия опасности у них были. И если они не обратили внимания на возможность такого развития событий или недооценили степень опасности, то это – их вина, и, вероятно, Вавилов, как лидер рассматриваемой отрасли науки, должен первым отвечать по данному пункту обвинения.

В уже цитированной выше статье И.Захаров-Гезехус пишет:

> В конце 1920-х – начале 1930-х гг. количество сельскохозяйственных научных учреждений в СССР увеличивалось лавинообразно: в 1929 г. при образовании ВАСХНИЛ в ее составе был один институт, через 5 лет их число перевалило за 100. Такое количество учреждений невозможно было обеспечить хорошо подготовленными кадрами, и в науку хлынул поток недоучек[256].

Он абсолютно верно увязывает бурное размножение *младших специалистов*, обеспечивших массовую поддержку *мичуринской биологии*, со взрывным характером развития отрасли науки, возглавляемой Вавиловым. Если считать, что между потоком недоучек и расколом в биологии, вызванным появлением *мичуринского учения*, существует причинная связь – а я считаю, что автор в этом прав: количественное доминирование малообразованных «специалистов» было важнейшим условием относительно мирного завоевания нашей науки *мичуринской биологией*, – то поневоле приходится признать, что Вавилов – помимо своей воли, конечно, – стал одним из творцов победоносного шествия *мичуринской биологии*. Или, сформулировав то же самое несколько помягче, можно констатировать, что он сыграл роль одного из виднейших деятелей науки, подготовивших почву для возникновения и бурного расцвета *мичуринской биологии*. Захаров-Гезехус, правда, не делает такого вывода, но он непосредственно вытекает из перечисленной в статье последовательности событий: *рост числа институтов – размножение недоучек – поддержка Лысенко*. Таким образом получается, что тот, кто своими действиями вызвал бурный рост количества институтов в системе ВАСХНИЛ, и был подлинным инициатором всех последовавших за этим событий, и следовательно, именно он создал условия для последующей катастрофы в отечественной биологии.

Почему же Вавилов и другие авторитетные ученые не воспрепятствовали организации несметного числа институтов и опытных станций, которые даже в минимальной степени не были обеспечены настоящими специалистами, способными выполнять реальные научные исследования? Неужели они не видели, что создаваемые исследовательские институты только называются научными учреждениями, а на деле – не более как очередные «потемкинские деревни», призванные лишь услаждать взоры больших начальников, но ни к какой серьезной научной работе не пригодные? Конечно, видели. Они были опытные, прошедшие суровую жизненную школу люди и прекрасно знали, что за вывеской какого-нибудь *Института по*

---

[256] Захаров-Гезехус И.А. Лысенковщина // Газета «Биология» (Изд. Дом «1 сентября»), 2004, № 20

цикорию или *Центральной научно-исследовательской станции верблюдоводства* находится один грамотный специалист и два спешно прикомандированных сотрудника ВИРа, и на прежнем месте работы не отличавшихся научными достижениями, а кроме них два десятка *младших специалистов*, которые толпятся в приемной у начальника и ждут дальнейших указаний – *мебель они уже перетаскали*. Можно ли считать такое новообразование научным учреждением? Нет, разумеется. Но зачем же ученые раздували эту помпезную организационную шумиху, по сути, не так уж отличающуюся от кампании по изготовлению 800 000 пинцетов? Может, Кременцов не так уж и ошибается, считая Вавилова главой научной клики, которая так же, как и лысенковская камарилья, стремилась выдоить из государства как можно больше на свои дутые «научные проекты»? Однако такого рода предположения возможны лишь в том случае, если мы будем судить о Вавилове и его соратниках по аналогии с типичным сегодняшним академиком ВАСХНИЛ[257], стремления которого ограничены получением максимального финансирования, – что, по-видимому, и лежит в основе позиции Кременцова. Если же мы будем считать, что такого рода аналогии неуместны – вавиловцы были людьми иной конструкции[258], нежели доминирующие сегодня *советские ученые* (в этом и была глубинная подоплека борьбы, начинавшейся в тридцатые), – то нам придется найти разумное объяснение поведению Вавилова, инициировавшего создание десятков фиктивных научных учреждений, и понять, каким образом он связывал эту «бумаготворческую» деятельность со своей основной целью – развитием сельскохозяйственных отраслей биологии и науки в целом.

Не надо, мне кажется, искать за действиями Вавилова особо хитроумную интригу или непонятный нам иезуитский план – он шел точно тем путем, каким положено было идти крупному государственному чиновнику. Власть дала согласие на организацию отраслевой академии – само по себе это было большой победой Вавилова и «протолкавшего» это решение через сотни препятствий Н.К.Горбунова: ВАСХНИЛ была первой в нашей стране научной структурой такого масштаба, параллельной давно существующей Академии наук. Но чтобы воплотить принципиальное решение власти в жизнь, надо было написать сотни и тысячи бумаг, согласовать их содержание с многочисленными организациями, утвердить в соответствующих наркоматах и партийных инстанциях. Чем грандиознее была эта бумажная конструкция, чем больше бюджетных строчек она занимала, тем больше ресурсов можно было получить в будущем от государства – по крайней мере, появлялся шанс на их выделение еще не существующим научным структурам. Вавилов, надо полагать, все делал по правилам неписанной бюрократической игры – но делал он благое дело: закладывал фундамент под планируемое им (и другими энтузиастами-учеными) развитие сельскохозяйственной биологии, которая должна была выйти на самый передовой научный уровень. Появление в утвержденном плане строчки «Институт по цикорию» давало возможность получить для этого вымышленного института ставки согласно прилагаемому штатному расписанию, деньги на оборудование по прилагаемой смете, размеченной по годам и являющейся основанием для выделения соответствующих фондов всесоюзными снабженческими организациями, средства и фонды для строительства здания института (а пока что выделение ему приемлемого временного помещения) и жилья для сотрудников, автотранспорт, отведение земельных участков для опытов и так далее и так далее. Получение всех этих благ и ресурсов еще не гарантирует никакого развития науки – в составлении и «пробивании» таких проектов и нынешние академики – мастера (пожалуй, и Вавилову могут нос утереть), – но без этой материальной и ресурсной базы трудно рассчитывать на значительное расширение реальной

---

[257] Конечно, теперь уже *бывшей ВАСХНИЛ*. Теперь они влились в число академиков РАН. Или всё же не совсем влились? Понять это трудно, но не так уж, вероятно, и важно. Так ли уж отличаются сегодня эти две категории академиков и не устарело ли в наши дни такое – тянущееся из прошлого – разделение академиков на *настоящих* и прочих: *сельскохозяйственных, медицинских, педагогических*?

[258] Не *другого сорта* (то есть, не то чтобы лучше или хуже – я их не знаю и не пытаюсь сравнивать), а именно *другой конструкции* – структура личности у них была иной.

научной работы. Науку, конечно, делают ученые, а не снабженцы, но будущим – еще не появившимся в массе своей – исследователям должны быть созданы возможности для плодотворной работы. Создать такие возможности, расчистить и спрямить дорогу тем, кто захочет приложить свои силы к исследованию природы, – это и было задачей, которую решали Вавилов и его окружение.

Если они исходили из такой задачи, то для них было не так уж и важно, что новообразованные институты не были готовы проводить серьезные научные исследования, а специалистами в них значились, главным образом, молодые выпускники советских вузов, которым еще надо было *учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин*. Их и приняли не столько затем, чтобы они разворачивали исследования – ясно было, что им это не по плечу, – сколько затем, чтобы в штатном расписании института не было пустых, незаполненных строчек. Выделенные ставки надо было срочно заполнить кем угодно, чтобы их не сократили в будущем финансовом году. А потому при приеме на работу было не до придирок к качеству подготовки младших специалистов – был бы у поступающего на эту должность диплом, то есть бумажка, позволяющая без нарушения инструкций, назначить сего претендента на должность специалиста – научного сотрудника ВАСХНИЛ. А что он за человек, каковы его способности и уровень теоретической подготовки, годится ли он для выполнения задач, стоящих перед институтом, всё это можно выяснить потом, в процессе работы. Даже если он окажется в дальнейшем совершенно непригодным и не способным усвоить те знания, которые необходимы для научной работы, то всё же главную свою задачу он выполнит – сохранит должность специалиста для того, кто придет ему на смену. Стратегию такого «подбора кадров», рекомендующую принимать в научные сотрудники *всех желающих и достигших* получения вузовского диплома, диктовала ситуация. Власть вдруг повернулась *лицом к сельскохозяйственной науке* и щедро выделяла средства – глупо было бы отказываться и мямлить, что *деньги, конечно, нужны, но вот сейчас мы еще не готовы создать такого количества институтов, поскольку существует большая нехватка квалифицированных сотрудников в уже имеющихся научных учреждениях*. Это было бы крайне недальновидным шагом – благоволение власти не протянется долго, и завтра она повернется лицом к чему-нибудь другому. А потому надо ловить момент, урвать сейчас сколько удастся и использовать полученные средства в качестве запаса на будущее. Всё, в конечном итоге, в дело пойдет. А что касается малограмотных специалистов, то всё решит их соответствие конкретным задачам – начнут они работать, и будет ясно, кто на что способен. Работа сама заставит их набираться знаний и повышать свой теоретический уровень: изучать иностранные языки, усваивать статистические методы обработки данных, разбираться в физиологии и генетике. Кто-то из них окажется способен на такой рывок и тем самым ликвидирует свою малограмотность, а те, кто не захочет или не сумеет, вынуждены будут уйти и подыскать себе другую работу. Не надо с этим торопиться и постепенно всё войдет в свою колею. Сейчас надо застолбить участок для будущих научных работ – остальное приложится.

Так мне представляется логика поступков Вавилова, и я не вижу, к чему в ней можно придраться: ничто в ней вроде бы не противоречит здравому смыслу, цель благая, средства выбраны в соответствии с теми условиями, в которых ему приходилось руководить сельскохозяйственными науками. В чем же его ошибка и в чем он провинился перед будущими поколениями ученых, унаследовавшими ту систему организации науки, которую он закладывал в тридцатые годы? Но ошибка-то была. Ведь руководимое им в ту пору сообщество ученых выбрало в конечном итоге *мичуринскую биологию*, и, как мы выяснили, не столько под давлением всемогущего государства, сколько по собственной воле. Власть с ее кнутом и пряниками поощряла такой выбор, но ученые, в массе своей, без сопротивления двинулись по указанному им пути. Но тогда приходится признать, что планы Вавилова со товарищи были иллюзорными: они ложились костьми и брали на свою совесть разнообразные грехи, без которых невозможно было сосуществовать с советской властью, для того, чтобы члены организуемого ими научного сообщества могли успешно искать истину, а в реальности научное

сообщество, ради которого они старались, оказалось глубоко равнодушным к уже найденным истинам – члены сообщества не видели в этих истинах пользы для себя и, соответственно, не желали чем-либо жертвовать для их защиты. Научное сообщество отказалось от бесполезной истины ради конкретной пользы. И всё, что удалось Вавилову сделать на предыдущем этапе, пошло прахом. Более того, его стараниями воспользовались те, кто безо всякого сожаления выкорчевывал всё, что он насаждал в течение своей жизни. Так в чем же он ошибся?

Для того, чтобы понять, в чем заключался принципиальный порок вавиловской стратегии, мы должны, мне кажется, отвести взгляд от малограмотности *младших специалистов* – не в ней было дело – и присмотреться к мотивам их деятельности, выяснить их внутреннее отношение к тому, чем им приходилось заниматься в *Институте по цикорию* и других подобных учреждениях. Вряд ли можно сомневаться в том, что основная масса устраивающихся на работу в научные учреждения в начале тридцатых заполняла вновь образованные вакансии с простой и ясной целью: честно и старательно работать, чтобы добиться материального благополучия и приличного социального статуса. Подавляющее большинство из них были простыми трудящимися людьми, готовыми не щадить сил, чтобы занять достойное место в обществе, стать уважаемыми и обеспеченными представителями той науки, которая согласилась принять их в свои ряды. Интерес к истине как таковой занимал в их структуре ценностей крайне незначительное место и вовсе не определял их поступки и решения. Их нельзя считать [1]*интеллигентами*, в которых стремление к истине действует как самостоятельный мотив, определяющий направление деятельности независимо от существующих условий. Это были *простые люди*, которых истина могла привлечь только своей полезностью для достижения личностных целей, с истиной непосредственно не связанных. Став членами [2]*интеллигенции* и уяснив, что в данном сообществе благополучие и статус достигаются на пути поиска и воспроизведения принимаемых сообществом истин, они были готовы – вспомним наши рассуждения о мотивах Лысенко, занимавшегося изучением сидерационных культур на Ганджийской станции, – усердно трудиться и искать те истины, которые интересовали их руководителей. Они прилежно следовали правилам той игры, которая была принята в сообществе, членами которого они стали. Пока тон в этом сообществе задавали Деревицкие, всем пошедшим в науку *Иванам Филипповичам* приходилось обсчитывать экспериментальные данные с помощью метода наименьших квадратов, хотя для них было бы проще камни дробить на солнцепеке, чем возиться с этими не вмещающимися в мозги *квадратами* (*причем здесь квадраты, сами подумайте, ведь горох высаживали рядками, по линеечке?*), но как только – с появлением *мичуринской биологии* – выяснилось, что можно преспокойно обходиться и безо всяких математических выкаблучиваний: достаточно показать две картинки – жиденький снопик с делянки без перекрестного опыления и рядом пышный сноп с делянки после применения оного, – то продолжать возиться с этими квадратами могут только чудаки и упертые фанатики-прожектеры, а серьезные люди отбросили их как помеху на пути к достижению реальных вещей. Вся эта старорежимная ученость, которой так гордился Деревицкий и ему подобные, оказалась абсолютно ненужной для того, чтобы стать уважаемым научным сотрудником и получать хорошую зарплату. Тогда какой же в ней смысл? Это лишь бессмысленная трата сил и искусственно накрученные накладные расходы, вовсе не требующиеся для достижения реальных результатов труда, которые будут оценены научным сообществом по высшему разряду.

Ранее, рассуждая теоретически, мы пришли к выводу, что [2]интеллигенция может выполнять свою функцию ума общества лишь до тех пор, пока ее деятельность контролируется [1]интеллигентами, входящими в ее состав и занимающими в ней ключевые позиции. Стремление к истине должно доминировать над прочими мотивами, определяющими решения и поступки основной массы сотрудников тех организаций, из которых и состоит [2]интеллигенция в целом. Как только простые члены сообщества получают возможность выйти из-под жесткого контроля [1]интеллигентов, система в целом приходит в состояние распада, так как ее части, получившие самостоятельность, перестают руководствоваться общей целью –

стремлением к достижению истины – и система начинает эволюционировать в сторону некоего устойчивого состояния, в определении которого вопросы истинности или неистинности перестают играть существенную роль: основным оптимизируемым параметром оказывается в этом случае широко понимаемая «полезность».

Исходя из такого взгляда на процессы, происходящие внутри мирового научного сообщества в двадцатом веке, мы можем сказать, что основным трендом развития науки, понимаемой как социальный институт, в наше время стала подмена «истины», в течение веков игравшей роль верховного регулятора в этой области человеческой деятельности, «пользой», которую такая деятельность должна приносить людям[259].

Девятнадцатый век – «век пара и электричества» – убедительно продемонстрировал огромную потенциальную мощь, таящуюся в формулах науки и обнаруживающую себя в развитии современных технологий, бурный рост которых радикально изменил жизнь общества. Наука была осознана в качестве базиса общественного прогресса. Лишь те страны, в которых создавались оптимальные условия для деятельности ученых, могли рассчитывать на рост экономики, на успешное участие в мировой торговле, на развитие транспорта, связи, модернизацию сельского хозяйства, на реальную военную мощь. Если хочешь быть сильным и успешным, если хочешь, чтобы с тобой считались в мировой политике, ты должен повернуться лицом к науке и приложить все усилия, чтобы занять в ней лидирующие позиции. Этот императив стал к концу девятнадцатого века одним из общепризнанных, банальных утверждений. Его верность убедительно демонстрировалась сравнением передовых европейских стран с Китаем или с Турцией – наследницей могущественной некогда Османской империи.

Сентябрь 2019

Работа над этим трактатом была прервана в 2019 году и с тех пор так и оставлена без логического завершения и конечных выводов. Поскольку нет никакой уверенности в том, что мне удастся в обозримом будущем вернуться к продолжению неоконченной работы, я решился представить ее читателям в том виде, который она имеет на сегодняшний день.

Январь 2022 *Н. Вольский*

[259] Здесь можно усмотреть определенную аналогию с параллельно протекавшим процессом секуляризации общества, его освобождения от регуляторов, вознесенных на заоблачные высоты и требующих от человека неукоснительного послушания божественным установлениям (заповедям).